

ФЕНОМЕН ПРОШЛОГО



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ФЕНОМЕН ПРОШЛОГО

Ответственные редакторы И.М.Савельева, А.В.Полетаев
Издательский дом ГУ ВШЭ Москва 2005

УДК 930.1:316.7(06) ББК 63.3-7 Ф42

Рекомендовано редакционно-издательским советом Государственного университета — Высшей школы экономики

Рецензенты:

доктор исторических наук И.Н. Данилевский; доктор социологических наук Н.Е. Покровский

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ

в рамках исследовательского проекта 03-01-00016а "Репрезентация прошлого как социоинтегративный фактор"

ISBN 5-7598-0322-0

© Оформление. Издательский дом ГУ ВШЭ. 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
Типы знания о прошлом	
<i>И.М. Савельева, А.В. Полетаев.....</i>	12
Поэтика прошлого	
<i>М.Л. Андреев.....</i>	67
Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода	
<i>А.Ф. Филиппов.....</i>	96
II. DE MEMORIA.....	121
Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии	
<i>Л.П. Репина.....</i>	122
"Историческая память":	
к допросу о границах понятия	
<i>И.М. Савельева, А.В. Полетаев.....</i>	170
Психоанализ, история, травмированная "память"	
<i>А.М. Руткевич.....</i>	221
III. ZUR KRITIK.....	251
Советский и постсоветский исторический роман: герои, поэтика, социальные функции	
<i>Б.В. Дубин.....</i>	252
<i>Оглавление</i>	
Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика	
<i>Г.И. Зверева.....</i>	292
Провал "успешного дела"?	
Использование истории и злоупотребление ею	
в швейцарском политическом дискурсе	
<i>И. Эрманн.....</i>	316
Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")	
<i>Н.В. Самутина.....</i>	337
IV. RUSSIAN STUDIES.....	367
Роль античности в историческом сознании русского общества в конце XVIII — начале XIX в.	
<i>Т.А. Сабурова.....</i>	368
Увековечивая в бронзе: правительственный замысел памятника "Тысячелетию России" и его воплощение	
<i>А.В. Антощенко.....</i>	396
Знание о прошлом в теории	
экскурсии И.М. Гревса и Н.П. Анциферова	
<i>Б.Е. Степанов.....</i>	419

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия знание о прошлом является объектом активного обсуждения в самых разных аспектах — от проблем эпистемологии и национальной идентичности до школьного образования и "культурной памяти". Знание о прошлом у многих ассоциируется только с историей. Вместе с тем очевидно, что "прошлая реальность", во всем многообразии ее подсистем, элементов и связей, является объектом не только исторической науки, но и других видов научного и вненаучного знания, прежде всего религиозного, философского, идеологического и эстетического (художественного). Именно такой многомерный анализ образа прошлого впервые в исследовательской практике предлагается в монографии "Феномен прошлого".

Тема репрезентации прошлого и выработки знаний о прошлом сегодня не просто присутствует, но

артикулируется почти во всех гуманитарных и социальных науках. Характерно, что в одних дисциплинах больше изучаются сами социальные представления, в других — источники их формирования, прежде всего экспертное знание о прошлом. В настоящее время речь идет в основном об интерпретации исторического знания, изучении традиций, представлений о прошлом и культурной памяти — историками, об изучении индивидуальной и социальной памяти — психологами, об исследовании способов передачи и хранения памяти о прошлом в дописьменных обществах — антропологами, о литературоведческом анализе репрезентации прошлого в рамках отдельных литературных жанров — филологами. Политологи и правоведы также высказываются по данному поводу. Однако несмотря на то что изучение прошлого как социального конструкта в последние десятилетия стало достаточно распространенной исследовательской установкой, продуктивность которой подтверждается работами многих известных ученых, представляющих разные области современного научного знания, подобные штудии, по существу, только начинаются и имеют фрагментарный характер даже

Феномен прошлого

на уровне монодисциплинарных исследований. Проблема междисциплинарного синтеза остается актуальной не только в смысле объединения усилий представителей разных дисциплин для решения общей исследовательской задачи, но и в смысле выработки целостного взгляда на взаимовлияние разных типов знания, формирующих представления о прошлом в том или ином сообществе.

Под "историей" иногда понимают все знания о прошлом, однако презумпция авторов монографии состоит в том, что в современном обществе словом "история" целесообразно обозначать только общестественнонаучное знание о прошлой социальной реальности. В настоящее время этот тип знания играет доминирующую роль в общей совокупности представлений о прошлом, и именно он является основным объектом данного исследования. Однако роль других символических универсумов в формировании образа прошлого очень велика, особенно когда речь идет о досовременных обществах, в которых, строго говоря, вообще не существовало общественных наук как самостоятельного типа знания, а смыслы слова "история" разительно отличались от современных. Более того, и в настоящее время вненаучные формы знания о прошлом занимают достаточно важное место в создании общей картины мира. Они воздействуют не только на массовые представления, но и на профессиональное историческое знание.

Предлагаемый подход к анализу знания о прошлом базируется на использовании и развитии концепций, разработанных в рамках социологии знания, которая оказалась очень эффективным теоретическим инструментом для осуществления задуманного междисциплинарного исследования. В рамках этой концепции ключевыми понятиями для авторов являются историческое знание и историческая реальность в их социологической интерпретации, согласно которой формирование знания является социальным процессом, а под словом "реальность" понимается все, что считается реальностью в том или ином обществе. При этом знание о социальной реальности одновременно конструирует саму эту реальность, включая ее прошлое, настоящее и будущее.

Переход от философии познания к социологии знания "уравнял в правах" разные типы знания. Согласно этому подходу, все виды знания могут рассматриваться как производные от социальных интересов и социального контекста развития знания в целом, а методы социологического анализа науки (включая содержание естественнонаучных

Предисловие

теорий и математического знания) ничем не отличаются от исследовательских подходов к таким феноменам культуры, как миф, религия, мораль и т.д. Соответственно объективность знания имеет прежде всего социальный характер и выражается в имперсональности, независимости от личных предпочтений субъекта. Такой расширительный и комплексный подход к анализу знания получил развитие в известных работах П. Бергера и Т. Лукмана, Б. Барнса, Д. Блура, К. Гирца, К. Кнорр-Цетины, Н. Гудмена, Х. Шпинера и др. Линии демаркации разных видов знания ныне являются весьма расплывчатыми и довольно подвижными.

Тем не менее отсутствие четких границ между разными символическими универсумами, присутствие элементов одного типа знания в дискурсах, считающихся принадлежащими к другому типу, не снимают проблемы различий между видами знания, в том числе и по функциям, которые они выполняют в обществе. С эвристической точки зрения признание наличия разных типов знания, их специфичности и несводимости одного к другому дает гораздо более широкие возможности для понимания и объяснения прошлой социальной реальности, чем представления об аморфном и недифференцированном образе прошлого.

В соответствии с задачами нашего исследования мы рассматриваем в первую очередь те типы знания, в рамках которых активно конструируется прошлая социальная реальность. В каждом из них можно выделить как минимум два среза — узкопрофессиональное "высокое" знание и "популярное", своего рода полупрофессиональное знание (хотя его носители и распространители во многих случаях являются профессионалами). "Популярное" знание (популярная религиозная, философская, научная литература, так же как и массовое искусство) связано с "высоким" знанием, но отнюдь не тождественно ему.

Что касается общественнонаучного знания, то ситуация, характерная для данного символического универсума, до некоторой степени схожа с остальными — практически во всех общественных науках наряду со знанием о настоящем присутствуют элементы знания о прошлом (хотя бы на уровне информации)

и о будущем (прогнозы). Но кроме того, в общественных науках существует отдельная специализированная дисциплина, изучающая прошлую социальную реальность, — история.

Любое знание о прошлой социальной реальности конструирует эту реальность. Но для того чтобы общество признало эту конструкцию в

Феномен прошлого

качестве реальности (или, что то же самое, признало то или иное "мнение" о прошлом в качестве знания), эта конструкция (знание) должна соответствовать определенным правилам, критериям и т.д. Эти критерии в большинстве своем подвижны, изменчивы, но они существуют в каждом обществе в каждый момент времени. Современное историческое знание не является в этом случае исключением — оно должно соответствовать определенному набору требований, предъявляемых к общественнонаучному знанию в целом. Будучи признанным в качестве знания, данный исторический дискурс начинает участвовать в конструировании (формировании, создании) прошлой реальности.

Конструирование прошлого — одна из тем, равно интересных для социологии, истории и политической науки, — нуждалось в создании общей для всей работы теоретической концепции (статья И. Савельевой и А. Полетаева), а также в разработке теории временных аспектов социальных событий (статья А. Филиппова). К этому ряду концептуальных работ относится также статья М. Андреева, в которой на временном отрезке от античности до XVIII в., с позиций классической теоретической поэтики, рассматриваются те жанры европейской литературы, которые имели своим предметом преимущественно прошлое (трагедия, эпос и роман).

Помимо теоретических статей авторы сборника представили и конкретные исследования образов прошлого, формируемых в рамках истории, историософии, идеологии, психоанализа, художественной литературы, кино, монументального искусства. Эти исследования ориентированы на то, чтобы выявить, как именно прошлая социальная реальность конструируется в разных типах знания, какие различия существуют в объектах, способах и соответственно результатах конструирования прошлого в отдельных символических универсумах и какие взаимовлияния здесь можно проследить.

Специальный раздел посвящен анализу концепции "исторической памяти". В статьях этого раздела проанализированы различные дефиниции понятий "историческая память", "социальная память" и "культурная память" и современные дискуссии вокруг этой проблемы (статьи Л. Репиной, И. Савельевой и А. Полетаева, А. Руткевича). История исторической культуры включает динамику взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и

8

Предисловие

исторической мысли и исторического знания той или иной эпохи — с другой. Изучение истории историописания как процесса, обусловленного системными связями историографии с данным типом культуры, демонстрирует двойственную роль историков в формировании, трансляции и трансформации социальной памяти о прошлом. Хотя одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, ученое знание, оказывая определенное влияние на коллективные представления о прошлом, само испытывает мощное воздействие массовых стереотипов.

Важным направлением исследования стал анализ образа прошлого, формируемого в идеологии. Для большинства европейских стран идеологическое знание о прошлом неизбежно. Если европеец оглядывается на прошлое своей страны, он видит поразительное идеологическое и социально-политическое разнообразие, которое релятивизирует господствующие идеологии. Прошлое для политиков — всегда источник и опоры, и опасности, ибо любая идеология находит там свои "хорошие" и "плохие" времена. Идеологический аспект знания о прошлом анализируется почти во всех статьях сборника (это и блок работ, посвященных проблеме исторической памяти, и исследования разных форм репрезентации прошлого — от собственно идеологии до кино, — осуществленные Б. Дубиным, Г. Зверевой, И. Эрманн, Н. Самутиной, Т. Сабуровой, А. Антощенко, Б. Степановым). Кстати, эти статьи особенно наглядно вскрывают взаимовлияние разных форм знания, создающих синтетический образ прошлого.

Большое место в нашем анализе занимает искусство, в силу особой важности этой символической системы для формирования представлений о прошлом. Репрезентации прошлого в художественной литературе, кино и монументальном искусстве посвящено несколько статей данного сборника (статьи М. Андреева, Б. Дубина, Н. Самутиной, А. Антощенко). С социологической точки зрения искусство является одной из важнейших систем знания, не менее значимой, чем та же философия. Существенно при этом, что искусство представляет собой прежде всего элемент массового знания. Философия, наука, техническое знание, право, отчасти религия (по крайней мере теология как теоретический компонент религиозного знания) — в значительной мере эзотерические системы знания, предназначенные для профессионалов, экспертов в той или иной области. Искусство принадлежит всем членам

общества, а не только создателям произведений искусства. Вербальные и визуальные виды искусства несут в себе существенный познавательный компонент, т.е. прямую информацию о мире. Художественное знание в значительной мере формирует наше представление о том, как "выглядит" та или иная прошлая реальность. Достаточно сказать, что практически исключительно благодаря искусству мы знаем, как "выглядели" Иисус Христос и Сатир, Атланта, покинутая войсками южан, и Москва, занятая Наполеоном, как сватались

военнослужащие и как устраивали пикники на траве в XIX в. и многое, многое другое.

И.М. Савельева, А.В. Полетаев

I. ΘΕΣΙΣ

ТИПЫ ЗНАНИЯ О ПРОШЛОМ

И.М. Савельева, А.В. Полетаев

Типы знания о прошлом

Однако многим западным социологам эта схема кажется слишком гармоничной, чтобы быть убедительной.

Ю. Давыдов, А. Филиппов. Общество

В данной статье кратко излагается концепция, предложенная и развитая нами в двухтомной монографии "Знание о прошлом: теория и история"¹ и использованная в качестве теоретической основы этой коллективной работы. Представляя резюме большого исследования, мы неизбежно вынуждены во многом оставить за рамками изложения сам процесс анализа, предлагая читателю только выводы. Чтобы частично компенсировать подобный изъян, связанный с форматом статьи, попытаемся объяснить, каким путем возникла сама концепция.

Начало нашим размышлениям было положено в книге "История и время: в поисках утраченного", где мы пытались определить место истории в пространстве социальных наук, исследуя категорию времени в историческом анализе². Трактую современное историческое знание как научное, мы тем не менее обращали внимание на его гораздо менее формализованный характер, почти полное отсутствие самостоятельных *исторических* теорий и активное заимствование концепций и методов в социальных и гуманитарных науках, элементы интуиции и игры, присущие многим историческим сочинениям. Там мы, по суще-

¹ Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. Т. 1. Конструирование прошлого. Т. 2. Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003—2005.

² Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997.

12

ству, отстаивали тезис, что с конца XIX в. история складывается как специализированное научное знание о *прошлой* социальной реальности, т.е. отличается от других наук по критерию времени. Все же ответ на вопрос: что такое история — пришел позднее, когда мы вышли за пределы анализа научного знания и попытались посмотреть и продемонстрировать, как и какое знание о прошлом конструируется в других символических универсумах, не менее, а в предшествующие исторические периоды и более влиятельных, чем собственно историческое знание. Архаичные представления, религия, философия, идеология, искусство, обыденные представления — основные из них. Все они предлагают свои "образы прошлого", и все эти репрезентации влияют друг на друга. Поэтому важно дифференцировать их, показать, какой образ прошлого создается в каждом типе знания и какими средствами, а потом суметь различить в конкретном дискурсе собственное ядро и включения представлений о прошлом, выработанные в других символических универсумах. Конечно, нас интересовали в первую очередь исторические работы, но тот же метод можно применять и к историческому роману, и к политическому манифесту, и к философскому трактату, и к школьному учебнику.¹

Предлагаемый нами подход к анализу знания о прошлом базируется на использовании и развитии концепций, разработанных в рамках социологии знания, которая оказалась очень эффективным теоретическим инструментом для осуществления задуманного нами исследования.

Напомним, что социологическая теория знания восходит к высказанной К. Марксом в 1859 г. идее о существовании "форм общественного сознания", а становление этого направления приходится на конец XIX — начало XX в. Прежде всего объектом анализа стали архаичные ("примитивные") представления (Э. Тайлор, Э. Лэнг, М. Мосс, А. ван Гённеп и др.). Отталкиваясь от этнологических исследований, Э. Дюркгейм вводит понятие "коллективные представления". Появляются первые работы по социологии отдельных типов знания (символических систем): искусства (И. Тэн, Ж.-М. Гюйо, Э. Геннекен), религии (М. Вебер, Э. Дюркгейм), права (Р. фон Иеринг, Г. Еллинек), естественнонаучного знания (А. Пуанкаре).

Второй этап формирования данного направления относится к 1920—1930-м гг., когда, благодаря М. Шелеру, входит в обиход само понятие "социология знания". В сферу социологического анализа, наряду с архаичным знанием, религией, правом, искусством, включаются

13

Феномен прошлого

идеология (К. Манхейм), наука (Т. Знанецкий, Р. Мёртон) и, наконец, обыденное знание (А. Шюц). Третий этап — 1960—1970-е гг. В этот период появляются обобщающие теоретические работы по социологии знания (П. Бергер и Т. Лукман, Д. Блур, Б. Варне, К. Кнорр-Цетина). Одновременно резко активизируются исследования по социологии отдельных символических систем³: прежде всего науки (М. Малкей и др.), искусства, обыденного знания, а также религии, идеологии и даже философии. Кроме того, в сферу социологического анализа знания включаются проблемы властных и имущественных отношений. Речь идет о концепциях "власти — знания", "символического капитала", "символической власти" и т.д. (М. Фуко, П. Бурдьё).

В результате формулируется достаточно четкое социологическое определение знания:

"Для социолога знание — это то, что люди считают знанием. Оно состоит из тех представлений (beliefs), которых люди уверенно придерживаются и с которыми живут. В частности, социолог должен заниматься представлениями, которые воспринимаются как данные или институционализированные, или наделенные авторитетом группами людей"⁴.

С точки зрения феноменологической социологии формирование социального запаса знания (по терминологии А. Шюца) одновременно является процессом конструирования "реальности":

"...Поскольку всякое человеческое «знание» развивается, передается и сохраняется в социальных ситуациях, социология знания должна попытаться понять процессы, посредством которых это происходит и в результате чего «знание» становится само собой разумеющейся «реальностью» для рядового человека. Иначе говоря, мы считаем, что социология знания имеет дело с анализом социального конструирования реальности"⁵.

³ См., например, серию статей К. Гирца: Гирц К. Идеология как культурная система [1964] // Гирц К.

Интерпретация культур: Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 225—267; Гирц К. Религия как культурная система [1966] // Там же. С. 104—148; Geertz C. Common Sense as a Cultural System [1975] // Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. N.Y.: Basic Books, 1983. P. 79—93; Geertz C. Art as a Cultural System [1976] // Ibid. P. 94—120.

⁴ Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L: Routledge & Kegan Paul, 1976. P. 2.

⁵ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания: Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1966]. С. 12—13.

14

Типы знания о прошлом

Слово "реальность" может отчасти дезориентировать читателя, ассоциируясь с "реальным существованием", но здесь мы используем понятие реальности в более широком социологическом смысле, когда под "реальностью" понимается все, что считается реальностью в том или ином обществе. Социологический подход к определению "реальности" и "знания" следует отличать от обыденного и философского смысла этих терминов:

"Можно сказать, что социологическое понимание «реальности» и «знания» находится где-то посередине между пониманием их рядовым человеком и философом. Рядовой человек обычно не затрудняет себя вопросами, что для него «реально» и что он «знает», до тех пор, пока не сталкивается с проблемой того или иного рода. Он считает свою «реальность» и свое «знание» само собой разумеющимися. Социолог не может сделать этого хотя бы только вследствие понимания того факта, что рядовые люди в разных обществах считают само собой разумеющимися совершенно различные «реальности»... В свою очередь философ в соответствии со своей профессией вынужден... стремиться к достижению максимальной ясности в отношении предельного статуса того, что рядовой человек считает «реальностью» и «знанием»... <т.е.> будет исследовать онтологический и эпистемологический статус этих понятий"⁶.

Как отмечают П. Бергер и Т. Лукман, ключом к пониманию различий между обыденным, философским и социологическим подходами к определению "реальности" и "знаний" является употребление кавычек. Рядовой человек, говоря о реальности и знании, мысленно всегда использует их без кавычек. Философ стремится решить, где кавычки нужны, а где их можно спокойно опустить, т.е. отделить обоснованные утверждения о мире от необоснованных. Наконец, социолог, говоря о "реальности" и "знании", всегда подразумевает кавычки, т.е. социальную и культурную относительность этих понятий.

Напомним, что в классической философии познания социальный, коллективный аспект познавательной деятельности практически не ре-флексировался.

Во-первых, знание всегда понималось как продукт человеческой психики, связанный с мыслительной деятельностью. При этом знание вплоть до XIX в. концептуализировалось как "правильные

⁶ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 10—11.

15

Феномен прошлого

представления о мире, возникающие в рамках индивидуального сознания, и соответствующие теории были связаны в первую очередь с психологией.

Во-вторых, в рамках философии к знанию относились отнюдь не все представления о мире, а только некоторые из них. Селекция основывалась как на особенностях мыслительных операций, так и на характеристиках объекта осмысления. В современных терминах можно условно говорить о селекции по методу и по предмету, т.е. знанием считались представления, полученные только определенным методом (с помощью специфических мыслительных процедур) и относящиеся только к некоторым объектам.

В-третьих, для классической гносеологии было характерно устойчивое представление о существовании абсолютного знания (абсолютной истины), которое активно использовалось даже в марксистско-ленинской философии. Абсолютное знание могло отождествляться с внеположенными идеями, Божественным разумом как носителем абсолютного знания, универсалиями, трансцендентальностями и т.д. Другой стороной этих представлений была трактовка знания как результата процесса познания — или внешнего мира (и приближения к абсолютному знанию), или непосредственно самого абсолютного знания (его постижения). Социология знания отказывается от установок классической философии познания, рассматривая знание как продукт человеческой деятельности, формирующийся в процессе социальных взаимодействий и включающий все виды социально признанных представлений.

Переход от философии познания к социологии знания в значительной мере ликвидировал и проблему классификации знаний, которой ранее придавалось огромное значение. На смену многообразным классификационным схемам, создававшимся со времен античности и достигшим к началу XX в. умопомрачительной сложности, пришло старое доброе задание типов знания простым перечислением через запятую. В некотором смысле подход к этой проблеме стал даже проще, чем у Платона — тот хотя бы пытался составить полный список дисциплин, теперь же обычно никто не претендует и на это. Начиная с Маркса возникла замечательная, на наш взгляд, традиция: давать не исчерпывающий список типов знания, а оканчивать его словами "и т.д.", "и др.", "и пр.". Мы полностью поддерживаем этот подход и лишь напомним, что в число самостоятельных типов знания обычно

16

Типы знания о прошлом

включаются философия, религия, общественные науки, естественные науки, идеология, литература и искусство (эстетическое знание), техническое и практическое знание, мораль и право (этическое знание), обыденное знание и др.

Обратной стороной процесса "уравнивания в правах" всех типов знания стало повышенное внимание к проблеме демаркации, или различения, отдельных типов знания, решение которой в рамках философии познания считалось самоочевидным⁷. Еще в начале XX в. вопрос решался на удивление просто: наука отличалась, например, от религии, тем, что первая была знанием, а вторая — верой (не-знанием или ложным знанием). Признание эпистемологического равноправия всех символических универсумов потребовало более тонких способов демаркации и стало полем для многочисленных дискуссий. Возникшие концептуальные сложности привели к появлению крайней позиции, сводящейся к тому, что поскольку формирование всех типов знания происходит в целом одинаковым образом, различиями между ними можно пренебречь, например, определяя их все как "верования". Однако различение и демаркация знаний и соответствующая экспертная специализация являются одним из важнейших условий прогресса знания и усовершенствования конструкции социальной реальности.

Большинство типов знания и создаваемая в них картина реальности имеют некие темпоральные характеристики, т.е. представления о прошлом, настоящем и будущем, о процессе изменений объекта знания во времени, о состоянии и характеристиках "реальности" в разные моменты и т.д. Все знания о *прошлой социальной реальности* часто именуют "историческими", что вносит некоторую терминологическую путаницу в обсуждаемую проблему, ибо на самом деле они вырабатываются в самых разных символических универсумах. Что касается истории, то в современном обществе ее целесообразно определять как специализированное общественнонаучное знание о прошлой социальной реальности (вопрос о соотношении истории с общественнонаучным знанием в целом мы обсудим ниже).

⁷ Проблема демаркации была сформулирована К. Поппером в 1934 г. применительно к разделению научного и философского ("метафизического") знания. Мы используем этот термин в более широком смысле, для характеристики проблемы различения всех видов знания.

17

Феномен прошлого

Задача данной работы — продемонстрировать, как именно прошлая социальная реальность конструируется в разных типах знания. В качестве объектов анализа мы выделяем архаичное знание, религию, философию, идеологию, общественнонаучное и обыденное знание. За рамками нашего анализа остается искусство, хотя мы отдаем себе отчет в особой важности этой символической системы для формирования представлений о прошлом⁸.

Архаичное знание

Анализ архаичных представлений позволяет понять не только "истоки и корни" современных моделей организации мира во времени, но и некоторые общие принципы их построения.

Многие основные образы темпоральной картины мира, сформировавшиеся еще в рамках примитивных, недифференцированных систем представлений, используются вплоть до сегодняшнего дня в специализированных типах знания — религии, философии, общественных науках, идеологии, равно как и в исторической науке. Существование этих устойчивых образов обусловлено, на наш взгляд, простейшими мыслительными операциями, с одной стороны, и использованием при конструировании темпоральной картины социальной реальности *природных образов*, которые устойчивы просто в силу фактической неизменности природной среды обитания человека, — с другой.

Общие характеристики архаичного мышления детально исследованы в литературе, поэтому мы лишь

коротко напомним основные из них.

Во-первых, в архаичной картине мира практически отсутствуют границы между божественной (трансцендентной), социальной и природной реальностями.

Во-вторых, примечательной особенностью архаичной "реальности" является предметность. Мир осмысливается прежде всего через физические предметы, вначале это — элементы мира природы, позднее добавляются предметы, изготовленные людьми. При этом в рамках установки на целостность, взаимосвязанность мира возникает

* Репрезентации прошлого в художественной литературе, кино и монументальном искусстве посвящено несколько статей данного сборника (статьи М. Андреева, Б. Дубина, Н. Самутиной, А. Антощенко).

18

Типы знания о прошлом

тенденция к уменьшению, размыванию различий между предметами. Отсюда — известные явления антропо- и зооморфизации растений и неживой природы, с одной стороны, и отождествления живых существ с растениями и элементами неживой природы — с другой⁹.

Еще одной чертой архаичных представлений является особый тип мышления, выражающийся в слабом развитии системы понятий и активном использовании простейших сравнений или уподоблений (эти уподобления иногда именуется метафорами, но прилагать теорию литературных тропов к архаичным представлениям некорректно)¹⁰. С "допонятийным" мышлением тесно связано отсутствие правил рациональной логики, в частности, правила "исключенного третьего". Эти характеристики архаичного мышления многократно обсуждались в литературе, начиная с работ Л. Леви-Брюля, обозначавшего примитивное мышление как "дологическое", и кончая работами о доминировании правополушарного мышления у примитивных народов (А. Лу-рия, П. Тульвисте, Т. Черниговская).

С точки зрения нашего исследования существенными представляются три аспекта архаичных представлений: образы времени, представления о прошлом и, наконец, уже на уровне высоких культур древности, простейшие образы ("модели") развития общества.

Образы времени. Уже в архаике формируются по меньшей мере два образа времени. Первый основан на представлении о времени как некой материальной субстанции, чаще всего движущейся (отсюда — время летит, течет, бежит, несется и т.д.); второй — на представлении о времени как подобии пространства. Как и обыное пространство, архаичное время-пространство не является абстрактным, пустым, оно всегда заполнено или временем-материей, или чем-то иным — событиями, явлениями и т.д. Отсюда, как показал Б. Уорф, возникают такие лингвистические конструкции, как "период времени", аналогичные выражениям типа "чашка чая", "буханка хлеба" и т.д. Развивая идеи Уорфа, можно сказать, что время-пространство делится на некие периоды или отрезки (части), заполненные временем-материей. Идея о разном "на-
* Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь / Ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 634.

¹⁰ Этот вопрос исследовался в работах Я. Голосовкера и О. Фрейденберг.

" Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку [1939] // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 1999. С. 58—92.

19

Феномен прошлого

полнении и, соответственно, качественном различии отдельных частей времени-пространства лежит в основе разделения прошлого, настоящего и будущего.

В рамках представлений о времени-пространстве использовались по меньшей мере два типа пространственной ориентации: вертикальная и горизонтальная. В каждой из них, в свою очередь, возможно разное "местонахождение" прошлого и будущего. В архаичных культурах обычно прошлое располагалось или "наверху" (при вертикальной ориентации) или "вперед" (при горизонтальной ориентации, что свидетельствует об аксиологических предпочтениях прошлого настоящему и будущему (как известно, "наверху" считалось и по сей день считается лучше, чем "внизу", а "спереди" — лучше, чем "сзади"). В частности, генеалогическое древо в рамках вертикальной временной ориентации, которое "растет" сверху вниз, отражая большую значимость предков.

Судя по данным исторических и этнологических исследований, эти первичные аксиологические структуры постепенно начинают меняться на противоположные. Вначале это происходит в рамках вертикальной ориентации: уже будущее помещается наверху, отсюда — идея "восхождения" (по ступеням и т.д.) как форма "движения" в будущее. Что касается горизонтальной ориентации, то здесь смена установок происходит позднее: по мнению некоторых исследователей, лишь с утверждением христианства "человечество" начинает "двигаться" в будущее (т.е. будущее становится более ценным, чем прошлое)¹².

Прошлое. Главный структурообразующий принцип в архаичной картине прошлого — это разделение так называемого мифического и эмпирического прошлого (времени).

"Мифическое время есть время «начальное», «раннее», «первое», это «правремя», время до времени, т.е. до начала исторического отсчета текущего времени. Это время первопредков, первотворения, первопредметов... сакральное время в отличие от последующего профанного, эмпирического, исторического времени. Мифическое время и заполняющие его события, действия предков и богов являются сферой первопричин всего последующего, источником архетипических прообразов, образом для всех последующих действий. Реальные достижения культуры, формирование социальных отношении в историческое время и т.п. проецируется мифом в

¹² Арутюнова Н.Д. *Время: модели и метафоры // Логический анализ языка. Язык и время / Ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. М.: Индрик, 1997. С. 51—61.*

20

Типы знания о прошлом

мифическое время и сводится к однократным актам творения. Важнейшие функции мифического времени и самого мифа — создание модели, примера, образца. Впоследствии, в эпических памятниках мифическое время преобразуется в славную героическую эпоху единства народа, могучей государственности, великих войн и т.д. В мифологиях, связанных с высшими религиями, мифическое время преобразуется в эпоху жизни и деятельности обожествленных пророков, основателей религиозной системы и общины¹³.

На наш взгляд, впрочем, точнее говорить о дифференциации "мифических времен", а не об их превращении в героические. В рамках такой дифференциации "мифические времена" начинают делиться, условно говоря, на "доисторические", "предысторические" и "героические". В "доисторические времена" еще нет людей, они фактически появляются только в "предысторические времена", но играют в этом периоде незначительную роль. В свою очередь, "героические времена" оказываются связующим звеном между "мифическими" и "эмпирическими". "Доисторические времена" имеют вселенский характер ("мир"), "предысторические" — универсально-социальный ("люди"), наконец, "героические времена" обретают отчетливо выраженный "национальный" (племенной, родовой) характер ("мы"). Существенно при этом подчеркнуть, что в архаичном знании как "мифические времена" в целом, так и их более дифференцированные типы уже отчетливо выступают в качестве прошлого, "другого" по отношению к настоящему.

С точки зрения анализа символических репрезентаций прошлого и соответствующих конструкций, создававшихся в архаичных культурах, важное значение имеет форма таких дискурсов. Существуют две основные классификации архаичных повествований о прошлом. В первом случае дискурсы делятся на мифы и легенды, в свою очередь легенды делятся на собственно легенды и предания¹⁴. Во втором случае дискурсы делятся на мифы и эпос, в свою очередь эпос

" Мелетинский Е.М. *Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь. С. 635.*

¹⁴ Sapir E. *Indian Legends from Vancouver Island [1925] // Journal of American Folklore. 1959. Vol. 72. P. 32—51;*

Малиновский Б. *Магия, наука, религия [1925] // Малиновский Б. Магия, наука, религия: Пер. с англ. М.: Рефл-бук, 1998. С. 19—91; Малиновский Б. Миф в примитивной психологии [1926] // Там же. С. 92—144.*

21

Феномен прошлого

делится на архаический и классический¹⁵. В обеих системах подразумевается постепенное вытеснение сакрально-фантастических представлений о прошлом "историческими" или эмпирическими, хотя различие между типами дискурсов, повествующих о прошлом, является не слишком четким и в любом случае не универсальным для всех архаичных культур.

Модели мира. Попытаемся теперь выделить основные типы архаичных моделей мира, задающих его темпоральную организацию. Заметим, что приводимая ниже типология является достаточно условной, поскольку в рамках архаичных систем знания разные образы не были жестко разделены между собой и во многих случаях фактически сливались в сознании.

Одними из наиболее распространенных являются **циклические космологические модели**, связанные с представлениями о влиянии космических тел на человеческую жизнь¹⁶. В развитых архаичных культурах исходные космологические темпоральные модели мира преобразуются в достаточно сложные концепции циклического развития мира в целом (различные вариации "Великого года") и общества в частности (в качестве наиболее известного примера можно привести концепцию циклов форм правления, которая была впервые предложена Платоном, усовершенствована Аристотелем и законченное выражение получила у Полибия)¹⁷.

К числу преимущественно природных относится и **модель "возрастов жизни"**. В рамках простейших представлений, основанных на

¹¹ Неклюдов С.Ю. *Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России / Ред. К. Аймермахер, Ф. Бомсдорф, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2000. С. 17—38; Гринцер П.А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира / Ред. П.А. Гринцер. М.: Наука, 1971. С. 7—67; Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь. С. 634—640; Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М.: Изд-во восточной литературы, 1963; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. 2-е изд. М.: Наука, 1995 [1976].*

¹⁶ Обзор и библиографию астрологических концепций циклов общественной жизни см.: Sorokin P. *Social and Cultural Dynamics. 4 vol. N.Y.: The Bedminster Press, 1937—1941. Vol. 4. P. 460—497.*

¹⁷ Платон. *Государство. 445c—d; 449a; 543b—d; 545b—c; Аристотель. Политика. 1279a33—38; 1279b5—10; Полибий. Всеобщая история. VI. 3—9.*

22

Типы знания о прошлом

физиологических характеристиках живых организмов — изменении физической силы и репродуктивных способностей — в данном случае задается П-образная картина развития ("улучшение" от рождения до зрелости, "ухудшение" от зрелости до смерти). Поскольку период как до рождения, так и после смерти можно рассматривать как "небытие", эта модель часто преобразуется в циклическую (появление из небытия — цикл развития — уход в небытие). Именно поэтому в современной лексике данная модель часто именуется "циклом жизни", или "жизненным циклом" (life cycle).

В высоких культурах древности принцип индивидуальных "возрастов жизни" начинает переноситься на коллективный уровень. По-видимому, одним из первых эту идею реализовал в IV в. до н.э. ученик Аристотеля Дикеарх из Мессины (Сицилия), но широкое распространение модель "возрастов жизни" в приложении к истории государства получает в Древнем Риме (она присутствует в сочинениях Варрона, Цицерона, Аннея Флора, христианского писателя Лактанция, Аммиана Марцеллина и др.)¹⁸.

К числу древнейших относятся и **семейно-родовые модели**, которые широко применялись для темпоральной организации мира. С древнейших времен история семьи (рода) в "эмпирическом времени" периодизировалась по смене глав рода. "Семейная" трактовка поколения перешла и в исторические исследования — речь идет о периодах правления, которые издревле использовались в качестве единицы времени. Период правления властителя часто отождествлялся с поколением — такую трактовку можно найти уже у Геродота¹⁹.

Из семейного времени концепция поколений переходит в описания истории общества, утрачивая при этом персонифицированный характер. Идея смены социальных поколений встречается в работах самых разных авторов, в частности, Гесиода²⁰, Гераклита, Геродота, Платона,

" Анней Флор. Две книги римских войн. Кн. I. Пер. А. Немировского, М. Дашковой // Малые римские историки: Пер. с лат. М.: Ладомир, 1996. С. 99—191; Лактанций. Божественные установления. VII, 15, 8; Аммиан Марцеллин. История (Res gestae). XIV, 6, 4; см. также: Немировский А.И. Луций Анней Флор // Малые римские историки. С. 267—301.

" Геродот. История II. 142; VI. 98.

²⁰ Напомним, что знаменитые "пять веков" Гесиода (золотой, серебряный и т.д.) — это на самом деле не что иное, как пять "поколений" (y^VoQ).

23

Феномен прошлого

Аристотеля, Зенона из Китиона, Полибия, а также Варрона, Лукреция, Вергилия, Горация, Овидия, Плутарха, Цензурина и др.²¹

Наконец, в развитых архаичных культурах возникает еще один тип моделей темпоральной организации мира, связанный уже не только с природой, но и с деятельностью человека. К моделям такого типа относятся, прежде всего, различные концепции "золотого века" (поколения, периода, эпохи и т.д.), где каждый период "истории" ассоциируется с неким металлом или минералом (золото, серебро, бронза, медь, железо, камень). Впервые, насколько нам известно, такой подход предложил Гесиод. В разных вариантах он обнаруживается как в последующих работах древнегреческих авторов, а затем и римских писателей, так и в древнеиудейских текстах Ветхого Завета (Книга пророка Даниила), и в некоторых других архаичных культурах (например, в германо-скандинавской мифологии не существовало развернутой модели смены "века", но все же в начальный период после творения боги-асы живут в мире, где все сделано из золота).

К этому же классу принадлежат модели, основанные на ассоциации отдельных исторических периодов с разными видами хозяйственной деятельности человека (или отсутствием таковой). Прежде всего речь идет о схемах типа "охота — скотоводство — земледелие". Первая известная нам концепция такого рода была предложена упоминавшимся Дикеархом из Мессины, который выделил три ступени в истории человечества: первобытную, пастушескую, земледельческую; эту схему использовал и Варрон (I в. до н.э.), у которого она имеет явно выраженную прогрессивную окраску. Не удивительно, что подобные модели вновь обрели необычайную популярность в период доминирования идей прогресса, в конце XVIII—XIX в.

Наконец, для историка необычайно интересна модель "пути", которая конкретизировалась в образах "дороги" и "лестницы", акцентирующих горизонтальное и вертикальное движение. Эти образы широко использовались в мифах о культурных героях, а затем постепенно стали переноситься с индивидуального на коллективный уровень. "Путь" связан с человеческим действием, во многих случаях — с целенаправленным, т.е. обладает телеологичностью. Он может "вести" в

²¹ При этом у большинства авторов, апеллировавших к процессу смены поколений, концепция развития общества обычно имела регрессивный характер.

24

Типы знания о прошлом

будущее, к Богу, к совершенству, познанию самого себя, но также в ад, в тупик, в никуда.

Телеологические характеристики одновременно играют аксиологическую роль — цель движения во многом определяет его ценность, соответственно формируются представления о "правильном", "верном" или "праведном" пути, и наоборот. В соответствии с аксиологией пространственной ориентации, о которой речь шла выше, движение вверх, вперед и вправо считалось предпочтительнее движения вниз, назад и влево.

Универсалия "пути" особенно варьируется в рамках "топографического" подхода, где "путь" ("дорога") имеет разнообразную горизонтальную структуру — повороты, развилки, перекрестки, распутья, — уподобляющие его горизонтально лежащему дереву, он может быть "прямым" и "кривым" и т.д. Кроме того, "путь" связан не только с рельефом, но и с общим характером местности, по которой он проходит (через лес, поле, мост через реку или пропасть). Наконец, сам "путь" имеет разные качественные

характеристики — торная тропа, тернистый путь, накатанная или мощеная дорога (например, дорога в ад, вымощенная благими намерениями). "Путь" ("дорога") размечается "вехами", "придорожными столбами", у "дороги" есть "обочины", здесь существуют "тупики", а в XX в. возникают даже исторические "магистральные пути" и "улицы с односторонним движением".

Примерно такую же эволюцию претерпел образ "лестницы", исходно связанный с образом дерева и представлениями о вертикальной структуре мира. Первоначально вертикальное движение по "лестнице" было прерогативой относительно узкого числа мифических персонажей и имело более сакральный характер, чем движение по "дороге". По "мировой лестнице" могли двигаться шаманы (в низших мифологиях), мифологические трансцендентные существа (боги, ангелы и т.д.) и, наконец, души людей, как умерших, так и живущих героев. Образ "духовной лестницы" материализовался в погребальных сооружениях (пирамиды, зиккураты), и даже в четках, перебирание которых символизировало восхождение по ступеням лестницы. Но постепенно образ "лестницы" генерализируется и социализируется, переносится с индивидуального на коллективный уровень. Возникают модели социального движения по "ступеням лестницы", отражающие изменение коллективного духа, разума и т.д.

25

Феномен прошлого

Религия

Говоря о религиозной форме знания, мы будем опираться только на примеры из христианства, чтобы не усложнять изложение. Христианское религиозное знание играло в Европе доминирующую роль в формировании образа прошлого человечества на протяжении более чем тысячелетнего периода — по крайней мере с V до XV в. Более того, в Западной Европе в этот период религиозное знание было практически единственным типом специализированного знания, в том числе и об обществе.

Хотя в настоящее время роль религиозного знания в конструировании прошлой социальной реальности сравнительно невелика, анализ формирования образа прошлого, существующего в рамках религиозного знания, представляет не только исторический интерес: религия оказала колоссальное влияние на те типы знания о прошлом, которые возникли и специфицировались в Новое время — прежде всего историософию и идеологию.

В современной литературе религиозное знание о прошлом обычно подразделяется на теологию истории (под "историей" здесь понимается процесс бытия человечества во времени) и христианскую историографию. *Теология истории*. Темпоральная картина мира в христианстве выстраивалась постепенно и подверглась существенной эволюции. Первый этап концептуализации состоял в отделении настоящего от прошлого. "Займованную у иудаизма модель апокалиптического ожидания скорого пришествия Иисуса Христа как «конца времен» полностью заменила эллинистическая концепция, берущая начало в двух трудах Луки (Евангелии и Деяниях Апостолов), в которой Иисус Христос трактовался как «середина времен»: *во-человечивание Бога в Христе рассматривалось как поворотный пункт мировой истории*, понимаемой как драма, разыгрываемая между Богом и миром"²².

В результате период до Воплощения начинает трактоваться как прошлое, а после Воплощения — как настоящее. На концах мирской истории размещались два особых периода: Сотворение мира и пребы-

²² Кюнг Г. Великие христианские мыслители: Пер. с нем. СПб.: Алетей, 2000 [1994]. С. 100.

26

Типы знания о прошлом

вание Адама и Евы в раю, с одной стороны, и царствование Антихриста (или период второго пришествия Христа) — с другой. При этом мирская "история" или бытие человечества во времени с обеих сторон было окаймлено "вечностью" или "встроено" в вечность.

В пределах этой общей схемы использовался набор более конкретных концепций или моделей, разделявших мирскую историю на отдельные периоды. Особой популярностью пользовались трех-, четырех- и семичастные схемы, что было обосновано еще Августином²³.

Трехчастное деление "истории" основывалось на двух основных схемах, восходящих к Новому Завету. В первом варианте трем частям истории соответствовали периоды от Сотворения мира до Авраама или до Моисея (период "естественного состояния" или "естественного закона"), от Авраама или от Моисея до Рождения Христа (период Старого или "Ветхого" Завета/договора, или "закона"), и от Христа до конца света (период Нового Завета или "закона" или "Божией милости"). Эта схема была разработана Евсевием Кесарийским и Августином и неоднократно использовалась впоследствии. В частности, в первой половине XII в. она была популяризована французским каноником-августинцем Гуго Сен-Викторским.

В другом варианте трехчастной периодизации истории первый этап относился к периоду от Сотворения мира до Рождества Христова (прошлое), второй — от Христа до Страшного суда (настоящее), а третий — уже к трансцендентному будущему или небесному "Царству Бо-жиему", долженствующему наступить после Страшного суда. В XII в. эта схема стала связываться с ипостасями Святой Троицы. Радикальную модификацию этой схемы осуществил в конце XII в. Иоахим Флорский. Он концептуализировал нетрансцендентное, тысячелетнее земное будущее человечества, которое качественно отлично от настоящего и должно наступить после непродолжительного "царства Антихриста"²⁴.

Эта концепция относительно секуляризованного (насколько это возможно в рамках религиозного знания)

будущего стала не только основой для разнообразных ересей и различных реформаторских и революционных политических движений, но и явилась прообразом многих историософских схем XVIII—XIX вв., в том числе марксистской.

²³ Августин. О Граде Божиим. XI, 31.

²⁴ Иоахим Флорский. Согласование Ветхого и Нового Заветов. V, 84.

27

Феномен прошлого

При объединении этих двух типов трехчастных схем возникала че-тырехчастная модель (более отдаленное прошлое, более близкое прошлое, настоящее, будущее). Но самостоятельный тип четырехчастных схем основывался прежде всего на концепции четырех царств. Отталкиваясь от Книги пророка Даниила, а также от "Истории Филиппа" Помпея Трога (нач. I в.), а позднее — ее краткого изложения, сделанного Юстином (нач. III в.), раннехристианские авторы разрабатывают модель "четырёх царств" — Ассиро-Вавилонского, Мидийско-Пер-сидского, Греко-Македонского и Римского. Впервые она встречается в "Толковании на книгу пророка Даниила" Ипполита Римского (II в.), затем в комментариях на книгу Даниила, написанных Иеронимом (кон. IV в.), и, наконец, в "Истории против язычников" (нач. V в.) ученика Августина Павла Орозия²⁵.

Концепция "четырёх царств" была дезавуирована после распада Римской империи, факт гибели которой достаточно отчетливо осознавался современниками этого события²⁶. Возрождение идеи четырех монархий начинается в конце X в., когда создается Священная Римская империя (с конца XV в. — Священная Римская империя германской нации). При формальном следовании канонической идее о вечности "последнего царства" — Римской империи, "идеологи" германо-итальянских политических притязаний дополнили ее идеей "translatio imperii" — так называемого переноса имперской власти из Рима в Византию, затем на Запад — к Карлу Великому, преемниками которого объявили себя германские императоры²⁷.

Развитием этой модели стали возникшая на Руси в XV в. после падения Константинополя концепция "Третьего Рима" (где к Западной Римской империи добавлялось два новых "Рима" — Константинопольский и Московский) и появившаяся в XX в. в Германии концепция "Третьего рейха" (Священная Римская империя германской нации, Германская империя 1871—1918 гг. и фашистская Германия).

²⁵ Орозий. История против язычников. II, 1, 4—6.

²⁶ Правда, сама формулировка "гибель Империи" впервые встречается лишь в написанной в начале VI в. хронике комита Марцеллина (ум. ок. 535).

²⁷ Подробнее см.: Swain I. The Theory of Four Monarchies: Opposition History Under the Roman Empire // Classical Philology. 1940. Vol. 35. N 1. P. 112—130; Goetz W. Translatio imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Tübingen: Mohr, 1958.

28

Типы знания о прошлом

Если же говорить о самостоятельных семичастных схемах всемирной истории, то они также существовали в двух вариантах. Первый основывался на аллегорическом толковании семи дней Творения, включая суб-ботный день отдыха. Неделе Творения должно было соответствовать семь тысячелетий истории человечества. Как и в случае с "тремя эпохами", первоначально седьмое тысячелетие относилось к периоду после Страшного суда, а затем — к земной истории. Но в силу множественности датировок Творения и отсутствия значимых событий на тысячелетних рубежах эта схема актуализировалась лишь спорадически. Гораздо более широкое распространение получила модель семи "возрастов" или "веков", предложенная Августином и основанная на некоем содержательном, а не арифметическом делении истории. В работе "Об истинной религии" (ок. 389/391) Августин уподобил историю человечества жизни отдельного человека, но если у римских авторов обычно использовалась схема из четырех возрастов, то Августин нарастил ее, увеличив число возрастов до семи. Позднее, в заключительной главе "О Граде Божиим" (ок. 427), Августин предложил другой вариант этой схемы, заменив "возрасты" на "века". Августиновская концепция "семи возрастов/веков" встречается у самых разных авторов. Ее воспроизводит Исидор Севильский (VII в.), развивает Беда Достопочтенный (VIII в.), в XII в. ее использовали французский монах Гуго из Флери; Отгон, епископ Фрейзингенский и др.

В Новое время христианские схемы исторического развития постепенно начинают секуляризоваться. Существенную роль в этом сыграла развернувшаяся со второй половины XVI в. "историографическая война" между протестанскими и католическими историками Церкви (см. ниже), результаты которой реализовались в конце XVII — начале XVIII в. на уровне схем как истории Церкви (протестанты А. Рехенберг, И. Мосгейм), так и всемирной истории (католик Ж. Боссюэ и др.). В XIX—XX вв. религиозная мысль в основном ограничивается периодизацией истории Церкви. При этом как в католической, так и в протестантской литературе церковная история в целом так или иначе соотносится с принятой ныне периодизацией истории гражданской. Разница заключается лишь в том, что "древняя" церковная история не простирается, естественно, ранее I в. н.э.

Образы прошлого — настоящего — будущего. Уже в ветхозаветном иудаизме (точнее, яхвизме) сформировалась достаточно сложная картина прошлого — настоящего — будущего. В современных тер-

29

Феномен прошлого

минах ветхозаветные представления об историческом процессе можно условно обозначить как чередование

регрессивного и прогрессивного видения истории. Представления о будущем имели и некоторые циклические или повторяющиеся мотивы, поскольку были связаны с идеей возрождения, восстановления иудейской государственности и величия и могущества иудейского народа времен Давида.

С утверждением христианства характер переплетения прогрессивных и регрессивных представлений о развитии мира еще больше усложняется. В рамках формально единой доктрины оказываются совмещенными разные подходы, что обусловило многие из последующих теологических дискуссий, взаимных обвинений в ереси и церковных расколов.

К традиционным иудейским представлениям о динамике исторического развития добавились и *статичные модели* бытия человечества, частично заимствованные из греческих пространственных концепций космоса. Подобные статичные или "экстемпоральные" представления об истории мира сформулировали еще первые христианские теологи — Тертуллиан (ок. 160 — после 220), Ориген и др. В дальнейшем стремление утвердить статичный образ мира распространяется и на некоторые элементы общественной жизни. Речь идет, в частности, о введенном Августином и развитом позднее Фомой Аквинским промежуточном, между "временем" (*tempus*) и "вечностью" (*aeternitas*), понятием "век" (*aevum*), которое открыло возможности для утверждения непреходящего характера и постоянства некоторых общественных институтов, прежде всего Церкви, а затем и института королевской власти²⁸.

В христианстве можно также выделить и отчетливые *циклические концепции* исторического движения, имеющие в своей основе как минимум четыре компонента.

Первый из них — это циклические мотивы, унаследованные от иудаизма и связанные прежде всего с трактовкой будущего конца света как возвращения к исходному божественному состоянию²⁹.

²⁸ См., например: Kantorovicz E.H. *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964 [1957]. P. 273 ff.

²⁹ О христианском учении как концепции одного мирового цикла см.: Cairnes G.E. *Philosophies of History: Meeting of East and West in Cycle-Pattern Theories of History*. N.Y.: Philosophical Library, 1962.

30

Типы знания о прошлом

Другой вариант "циклизма" христианство заимствовало из греческой философии. Циклические концепции исторического движения, выражавшиеся обычно в идее последовательной смены "миров", или эонов, разрабатывали главным образом раннехристианские теологи³⁰.

Третья основа циклических воззрений в христианстве связана с влиянием астрологических систем, издревле популярных на Ближнем и Среднем Востоке. В период становления христианского учения влияние астрологических циклических концепций и различного рода "сакральных чисел" особенно заметно проявлялось (наряду с эллинистическими образами космоса) в трудах гностиков II в. — Валентина, Василиды и др. Новый всплеск интереса к астрологическим циклам возник в XII—XIV вв. благодаря влиянию арабов, которые принесли с собой в Европу не только тексты древних авторов, прежде всего Аристотеля, но и восточную астрологию.

Наконец, четвертая основа "циклизма" в христианстве уже не связана с посторонними влияниями и является собственным изобретением христианских теологов. Речь идет о сопоставлении двух частей Библии — Ветхого и Нового Завета — и поиске так называемых параллельных мест, которым занимались многие христианские авторы, начиная с Оригена и Евсевия.

Что касается прогрессивного видения истории, то следует напомнить, что уже в Новом Завете содержится идея превосходства Нового Завета над Старым, соответственно — настоящего над прошлым. В наиболее явном виде прогрессистские (точнее, девелопменталистские) идеи выражены в августиновской концепции возрастов мира. "Прогрессистское" восприятие исторического процесса проявлялось и в упоминавшихся выше трехчастных схемах всемирной истории, а также в работах византийских теологов, от Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в.) и Максима Исповедника (VII в.) до Григория Паламы (XIV в.), которые постулировали превосходство "будущего века"

³⁰ Например, Тит Флавий Климент (Александрийский) (ок. 150 — до 215), Оригена (ок. 185—253/254), Евсевий Кесарийский (260/265—338/339) и не-которые другие (см.: Брагинская Н.В. Зон в "Похвальном слове Константину" Евсевия Кесарийского // *Античность и Византия* / Ред. Л.А. Фрейберг М.- Наука 1975. С. 286-306).

31

Феномен прошлого

над "нынешним"³¹. В Западной церкви попытки бросить вызов прошлому и дать надежду на будущее особенно активизируются в XII—XIII вв.¹²

Вместе с тем теологические рефлексии по поводу истории зачастую были пронизаны глубоким пессимизмом. Та же модель возрастов мира часто использовалась для обоснования тезиса о дряхлении, упадке, умирании мира при концептуализации настоящего как последнего "возраста". Существенное влияние на формирование образов прошлого, настоящего и будущего оказала Реформация. Если в Средние века в христианских историко-теологических схемах главную роль играло будущее, то в Новое время в протестантизме, и особенно в кальвинизме, акцент в значительной мере был перенесен на прошлое и настоящее. Идеалом являлось "доисторическое" прошлое времен раннехристианских общин; более близкое прошлое — это период "папистского безумия"; наконец, настоящее, т.е. Реформация, рассматривается как центр темпоральной

структуры мира. Идея Страшного суда отходит на задний план, и второе пришествие начинает связываться с установлением господства на всей земле истинно христианского общества³³.

Христианская историография. Христианская историография тесно связана с проблематикой конкретной, условно говоря, "эмпирической" реализации Божественного Промысла. В самом общем виде предметом христианской историографии являются действия людей и трансцендентных субъектов (и, естественно, результаты этих действий) в их соотносительности с общим Божественным планом в отношении человечества. Таким образом, христианская историография в строгом смысле охватывает лишь те работы, в которых конструируемая картина социальной реальности включает прямые упоминания о

" Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья (общие замечания) // Античность и Византия. С. 266—285.

³² Некоторые намеки на девелопменталистские идеи можно найти, в частности, в работах Гуго Сен-Викторского (ок. 1096—1141), Бернара Клервосского (1091—1153), Иоахима Флорского (ок. 1132—1202), Фомы Аквинского (1225/1226—1274), Роджера Бэкона (ок. 1214—1292) и др.

⁵³ Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. М.: Наука, 1981. С. 64.

32

Типы знания о прошлом

Божественных действиях или прямо соотносит действия людей с Провидением или Божиим Промыслом.

Главной отличительной чертой христианской историографии является трансцендентное присутствие. В конструкциях социальной реальности оно фигурирует в двух основных формах — на уровне описания и объяснения. На уровне описания к трансцендентным элементам относятся явления (события), трактуемые как присутствие или проявление Провидения — откровения в узком смысле и чудеса. Вместе с тем трансцендентные факторы могут использоваться и для объяснения происходящих мирских событий: например, некто сделал то-то или произошло то-то, поскольку на то была воля Божия, людей попутал дьявол и т.д.

По времени описываемых событий христианская историография может быть условно разделена на две части: *Древнюю* и *Новую* историю. Формальным рубежом между ними является Рождение или Воскрешение Христа, но фактически в качестве историографического водораздела выступает рубеж I—II вв. Иными словами, к Древней истории, по сути, относится период, сопряженный со Священной историей, т.е. охватываемый как Ветхим, так и Новым Заветом, к Новой истории — послебиблейские времена. Эти две части христианской историографии соотносятся с двумя относительно самостоятельными частями теологии — соответственно экзегетической (библейской) и экклезиологической (церковной).

В Новое время складываются три основных направления христианской Древней истории, которые условно можно обозначить как текстологическое, *археологическое* и *христологическое*.

Подавляющая часть исторических работ относится, естественно, к Новой истории, в рамках которой, в свою очередь, можно выделить три относительно самостоятельных направления: *агиографию*, *историю Церкви* и *историю догмы*.

Говоря о христианской историографии, прежде всего следует иметь в виду, что работы, обозначаемые нами этим термином, довольно долго не были "историческими" в современном значении. Христианская "историография" не ограничивалась только конструированием прошлого и почти всегда включала картину настоящего. Принцип *usque ad tempus scriptoris* (вплоть до времени пишущего) использовался в исторических сочинениях на протяжении всех Средних веков. Более того, в течение длительного времени (по крайней мере с V по XIV в.)

33

Феномен прошлого

в христианской "историографии" абсолютно доминирующие позиции занимало именно конструирование настоящего и "актуального прошлого", охватывающего период жизни одного-двух предшествующих поколений.

Что касается более отдаленного прошлого, выходящего за рамки "актуальной памяти", то здесь обычно использовались предшествующие работы, также являвшиеся когда-то, в момент их написания, конструкциями настоящего. Существенно, что история не переписывалась каждый раз заново, с позиций сегодняшнего дня, а в буквальном смысле списывалась у предшественников, чей авторитет не подвергался сомнению. Но это не означает, естественно, что конструкция "прошлого" в рамках христианского "Нового времени" оставалась абсолютно неизменной. "Переделка" прошлого была весьма распространена, например, в агиографиях — здесь существует множество примеров того, как видоизменялось житие того или иного святого с каждым последующим описанием.

Вначале конструирование прошлого было связано с борьбой за утверждение христианства и противостоянием язычеству. Но на рубеже I—II тысячелетий, в связи с развитием новых общественных ин-

ституты — политических, социальных, экономических, — возникает потребность и в обосновании различных статусных и имущественных претензий. С этой целью начинают активно использоваться "исторические" свидетельства и доказательства притязаний отдельных монастырей, епископств и Церкви в целом, как в случае с "Исидоровыми декреталями" и "Константиновым даром", созданными во второй половине IX в. Существенную роль играли и религиозно-групповые интересы, связанные со схизмами: Восточной (1054—1204), Западной (1378—1417), а затем и с появлением протестантизма. Наконец, этому способствовали и групповые интересы различных школ, течений и т.д., где к традиционным интересам добавились статусные (авторитет, позиции в клерикальном сообществе и т.д.). Первоначально конструкции прошлого в христианской историографии отличались гораздо большим произволом, чем описание настоящего. Но осознание важности прошлого для настоящего, с одной стороны, и столкновение различных групп интересов — с другой, способствовали постепенной выработке общепринятых правил конструирования прошлого. Решающую роль здесь, безусловно, сыграла "историографическая война" между протестантами и католиками,

34

Типы знания *о прошлом*

начавшаяся во второй половине XVI в. и, по сути, продолжающаяся по сей день. Начало конфессиональному противостоянию церковных историй положила протестантская "Церковная история, изложенная по столетиям" в 13 томах (1559—1574), составленная под руководством жившего в Магдебурге³⁴ Матвея Флация Иллирика (иллирийского славянина Матвея Власича). Ответом католиков стали написанные под руководством хранителя папской библиотеки кардинала Чезаре Баронио едва ли не столь же объемные "Церковные анналы" в 12 томах (1588—1607), а за этим последовало множество других противостоящих версий церковной истории.

Прошлое в христианской средневековой историографии было сильно персонифицировано, что проявлялось, в частности, в большом удельном весе агиографии. Лишь в Новое время происходит сдвиг от деяний (истории личностей) к институтам. Возникает тенденция к деперсонификации церковной истории, начиная с института папства, Вселенских соборов и т.д. Подобная деперсонификация проявляется и в истории догмы, что выражается в переходе от обсуждения ереси Маркиона к маркианству, от ереси Ария к арианству и т.д. Общий принцип конструирования социальной реальности в христианстве условно можно обозначить как "историзм" (хотя этот термин возник лишь в позднее Новое время). Христианская историография во многом следовала библейской традиции, в соответствии с которой изложение ведется по законам временной последовательности. Этот принцип соблюдался во всех разновидностях христианской историографии — Древней истории (что прямо диктовалось структурой Библии), но также в агиографии (в биосах), истории Церкви, а позднее и в истории догмы. Изложение последовательности событий во временной непрерывности имплицитно порождает ощущение преемственности и даже каузальности: "после этого — вследствие этого".

Примерно с XVII в. христианская историография в ее классическом "трансцендентном" смысле практически прекращает свое существование и сохраняется только в форме агиографии. В настоящее время в "серьезной" христианской историографии трансцендентные компоненты практически не используются ни на уровне описания, ни для объяснения тех или иных событий. Главным трансцендентным объектом Новой истории в христианской историографии становится

"Поэтому данная работа обычно именуется "Магдебургские центурии"

35

Феномен прошлого

Церковь как Божественный институт, в котором и реализуется Божественное присутствие. В целом сегодняшняя христианская историография занимает весьма скромное место в системе знаний о прошлом³³. Но летоисчисление мы по-прежнему ведем от Рождества Христова...

Философия

Философские размышления о прошлом обычно именуется "философией истории" или "историософией". Первый термин ввел Вольтер в работе "Философия истории" (1765), обозначив им подход, ориентированный на извлечение "полезных истин" из прошлого — не столь возвышенный и умозрительный, как "настоящая" философия, но и не столь приземленный и детальный, как "настоящая" история. В свою очередь термин "историософия" был впервые использован польским философом А. Цешковским в изданной в 1838 г. в Берлине работе "Пролегомена к историософии"³⁶.

Во избежание терминологической путаницы следует подчеркнуть, что термин "философия история" мы употребляем здесь только для обозначения так называемой субстанциальной (онтологической, спекулятивной) философии истории, где слово "история" фигурирует в значении "бытие человечества во времени". Эта оговорка необходима, поскольку в XX в. "философией истории" стали обозначать и философию исторического знания, которая не связана непосредственно с конструированием темпоральной картины мира³⁷.

" См., например: Cochrane E. What Is Catholic Historiography? [1975] // God, History, and Historians. Modern Christian Views of History / C.T. McIntire (ed.). N.Y.: Oxford University Press, 1977. P. 444—465.

³⁴ Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ред. В.С. Степин и др. М: Мысль, 2000-2001. Т. 4. С. 324.

³⁷ В свою очередь философия исторического знания обычно подразделяется на "критическую", представленную

работами конца XIX — первой половины XX в. (В. Дильтей, Ф. Ницше, Г. Зиммель, Б. Кроче, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Дж. Коллингвуд, К. Поппер) и "аналитическую", возникшую в 1930—1940-е гг. и активно развивавшуюся во второй половине XX в. (снова К. Поппер, К. Гёмпель, Э. Нагель, У. Дрей, М. Мандельбаум, М. Уайт, А. Данто и др.). Замыкает (пока) этот ряд "новая философия истории", представленная прежде всего работами Ф. Ан-керсмита.

36

Типы знания о прошлом

Элементы или зачатки философского осмысления бытия человечества во времени, бесспорно, присутствовали уже в античности, а то и раньше. Точно так же и религия, особенно христианская, содержит подобные размышления. В этом смысле можно говорить о существовании философии истории и в Древней Греции, и в средневековой Европе. Но первые попытки философской рефлексии по поводу социального прошлого и настоящего, не растворенные в общем знании о мире, как в античности, или в знании о трансцендентной реальности, как в Средние века, обнаруживаются лишь в эпоху Возрождения.

Если же говорить о философии истории как о некоей относительно самостоятельной области знания, то в этом смысле она формируется только в век Просвещения, а конец XVIII в. знаменовался уже настоящим бумом историософских сочинений. Показательно в этом смысле даже название работы И. Гердера "Ещё одна философия истории для воспитания человечества. Новый опыт в дополнение к множеству опытов нашего века" (1774)³⁸.

В XIX — начале XX в. историософия занимает доминирующие позиции как в осмыслении настоящего и будущего, так и в конструировании прошлой социальной реальности. В XX в., в связи с развитием научно-исторического знания, роль философии истории несколько уменьшается, однако и поныне она продолжает играть важную роль в формировании представлений о прошлом, в том числе оказывая влияние на общественные науки. Так, все основные "культурно-исторические эпохи" — античность, Возрождение, Просвещение, романтизм и т.д. — в первую очередь являются философскими, а не научными понятиями, что не умаляет значимости этих концептов в общей системе представлений о прошлом.

Центральными для субстанциальной философии истории являются понятия "современности" и исторического развития. Осмысление "современности" или "настоящего" автоматически влечет за собой концептуализацию прошлого, как некоего предшествующего состояния социального мира, от которого и отличается "настоящее". Затем "прошлое" также начинает делиться на качественно различные периоды, образуя ведущую к "настоящему" последовательность этапов

³⁸ Эта работа была первым вариантом основного сочинения Гердера "Идеи к философии истории человечества" (1784—1791), оставшегося неоконченным (были написаны четыре тома из пяти запланированных).

37

Феномен прошлого

исторического развития. Наконец, естественным логическим завершением подобных рефлексий являются поиски признаков окончания "настоящего" или "современности" и концептуализация наступающего или грядущего социального будущего. Таким образом, основную задачу, для решения которой создаются философские концепции исторического процесса, можно обозначить как определение "временного положения настоящего" между прошлым и будущим.

Философия истории унаследовала от архаичного недифференцированного знания базовый способ репрезентации социального мира через природные и материальные образы: например, дерево (рост, корни), река (течение, истоки), колесо (качение, вращение), маятник (качение) и т.д. К числу древнейших относятся и антропоморфные образы социальных общностей; отсюда широко распространенные пространственные метафоры "исторического движения": восхождение по ступеням лестницы и путь/дорога, со всей сопутствующей "дорожной" лексикой (исторические перекрестки, тупики, развилки и т.д.).

С концептуальной точки зрения философия истории представляла собой радикальный разрыв с христианской теологией, но одновременно историософия возродила многие традиции теологии истории в ее патристическом варианте. Прежде всего это стремление к кафоличности, "вселенскости", попытка объяснить бытие "человечества" в целом. Далее, историософия восприняла от теологии истории темпоральную целостность, стремление охватить прошлое, настоящее и будущее в их неразрывной связи. У патристической теологии историософия заимствовала и некоторые базовые схемы или модели исторического процесса — "возрасты", эпохи, стадии, равно как и августиновскую идею развития человечества. Наконец, во многих историософских работах присутствуют традиционные для христианской теологии идеи телеологичности истории, равно как и проявления действия неких "внешних" по отношению к социальному миру сил, граничащих с трансцендентными.

Наконец, от естественнонаучной традиции философия истории унаследовала страсть к поиску "законов", неизменных правил, "механизмов" и "движущих сил" исторического процесса. Во многих случаях историософы прямо заимствовали терминологию, понятийный аппарат и даже целостные теории из естественных наук. В первую очередь это была классическая физика, со второй половины XVIII в. — химия, а в XIX в. их дополнила и отчасти вытеснила биология. Соответственно

38

Типы знания о прошлом

общество уподоблялось то механизму (по типу "небесной механики" или искусственных механических устройств), то веществу, то живому организму. Так же как и в естествознании, в классической философии истории не было места для человека — главными объектами анализа были "общество" или "культура".

Связь классической философии истории с естествознанием отчетливо проявляется и на уровне терминологии. Еще со времен античности для характеристики социального мира использовался термин "движение", связанный с миром физическим. С XVII в. под влиянием классической механики утверждается термин "динамика". В XVIII в. благодаря успехам химии укореняется понятие "процесс". В XIX в. к ним добавилось еще и "изменение", соответственно возникают теории социальных, политических, экономических и т.д. изменений, а под влиянием биологии лексикон пополнили "рост" и "развитие" (последнее стало подразделяться на "революционное" и "эволюционное").

В сущности, философы оперируют всего тремя базовыми образами исторического процесса (или в лучшем случае их несложными комбинациями), которые можно обозначить как "прогресс", "регресс" и "повторение". Каждый из этих образов задает свой тип соотношения между прошлым, настоящим и будущим.

"Прогрессивные" концепции исторического процесса предполагают, что настоящее превосходит (по некоему критерию или параметрам) прошлое, а будущее будет по тому же критерию превосходить настоящее. "Регрессивная" концепция отражает пессимистический взгляд на историю: настоящее уступает (по некоему критерию или параметрам) прошлому, а будущее будет по тому же критерию уступать настоящему (по крайней мере, если все будет идти так, как оно шло раньше). Наиболее сложной является концепция "повторения", которая может реализовываться как в жестких механистических циклических моделях, так и в достаточно аморфных образах "воспроизведения" неких предшествующих состояний социального мира. В рамках концепции "повторения" возможны и весьма различные взгляды на соотношение прошлого, настоящего и будущего, в зависимости оттого, о "воспроизведении" каких именно состояний социальной системы идет речь.

Важнейшей характеристикой философского подхода является монистический взгляд на историю, что в явном виде было отражено в названии известной работы Г. Плеханова. Современные исследователи выделяют в историософии два вида монизма: социологический

39

Феномен прошлого

(термин М. Мандельбаума) и хронологический (термин П. Андерсона).

Как отмечает М. Мандельбаум,

"общей для всех вариантов <социологического> монизма является посылка о том, что любой элемент общества связан с другими элементами данного общества таким образом, что он может быть понят только через понимание всех остальных элементов и через понимание данного общества в целом"³⁹.

Наряду с принципом полного социологического монизма Мандельбаум выделяет две формы "частичного" монизма. Первая из них выражается немецкими понятиями *Denkenstil* (образ мыслей, стиль мышления) или *Zeitgeist* (дух времени) и может быть обозначен как "культурный монизм", который распространяется на все формы "духовной" составляющей социальной системы (искусство, мышление, вкусы и т.д.). Вторая форма — "институциональный монизм" — охватывает социальную подсистему, включая экономическую организацию, семью, систему образования, политический и юридический контроль.

Однако, на наш взгляд, точнее говорить не столько о "монизме" или "холизме" историософских концептуализации прошлого, сколько о стремлении определить некую доминанту, характеризующую ту или иную эпоху. Такие доминанты могут выделяться как в социальной подсистеме общества, так и подсистеме культуры, реже — в подсистеме личности.

Основные принципы построения историософской картины прошлого наиболее наглядно проявляются в схемах "всемирной истории". В дополнение к социологическому монизму эти схемы ориентированы также на конструирование "хронологического монизма", т.е. решение проблем синхронии и диахронии, многообразия и единства исторического развития. По способу достижения "хронологического монизма" все схемы "всемирной истории" можно условно разделить на три группы, которые мы обозначим, как: 1) выделение ядра; 2) десинхронизация синхронии; 3) синхронизация асинхронии.

Выделение ядра. В данном случае мы пользуемся терминологией И. Уоллерстайна, предложенной им при разработке концепции "мира-

" Mandelbaum M. *The History of Ideas, Intellectual History, and the History of Philosophy // Theory and History*. 1965. Beiheft 5. *The Historiography of the History of Philosophy*. P. 47.

40

Типы знания о прошлом

системы" (World-system). Ключевую роль в этой концепции играет понятие "ядра", т.е. наиболее развитых, "центральных" регионов (стран и народов), задающих облик и ключевые параметры "мира-системы" в целом. Хотя И. Уоллерстайн и другие сторонники концепции "мира-системы" (за некоторыми немногочисленными исключениями) используют ее лишь для анализа истории Нового времени, т.е. начиная с XVI в. это понятие весьма точно отражает суть первого типа историософских схем "всемирной истории".

В этом случае "всемирная история" является историей "ядра", которое и отождествляется с "миром". Состав "ядра" может изменяться, но все происходящие в нем события упорядочены на шкале реального

исторического времени. Подобная схема, увековеченная в сатирико-новской "Всеобщей истории", до сих пор фигурирует в большинстве школьных учебников, в которых последовательно рассматриваются Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим, средневековая Европа и европейская "Новая история". Конкретный способ выделения "ядра" отчасти зависит от исторических и географических знаний того или иного автора, но практически всегда в качестве основы выступает некий "идеологический" компонент. История некоторых стран и народов объявляется всемирной, а все остальные рассматриваются как периферия или не рассматриваются вообще (варвары, иноверцы, нецивилизованные народы и т.п.). В качестве такого ядра могут выступать христианский мир, европейская цивилизация, "народы, принадлежащие к осевому времени" (К. Ясперс) и т.д.

Естественно, что "ядро" также является неоднородным и состоит из отдельных общностей (наций, государств и т.д.). Но обычно в историософских схемах эта проблема игнорируется, и в пределах ядра исторические события, происходящие в отдельных его сегментах, рассматриваются как общие, имеющие универсальное значение для всего ядра, а тем самым и для "мира" в целом.

ресинхронизация синхронии. Второй тип схем "всемирной истории" тесно связан с ростом географических и этнографических знаний. Столкновение представителей "ядра" с другими народами порождает стремление упорядочить страны по уровню развития, разместив их на единой шкале времени. Но, как правило, и в этом случае в качестве стандарта все равно используется исторический опыт развития некоего "ядра", прежде всего европейского. В результате история каждого

41

Феномен прошлого

народа рассматривается не столько в реальном историческом времени, сколько по некоторой условной шкале стандартного "времени по Гринвичу".

Известным примером такой модели является возникшая еще в античности триада охота — скотоводство — земледелие. В Новое время ее первым реанимировал А. Тюрго ("Рассуждения о всемирной истории", 1750), в конце XVIII — начале XIX в. она встречается у К. Гельвеция, Д. Дидро и многих других просветителей. А. Смите "Богатстве народов" (1776), вслед за охотничьей, пастушеской и аграрной ввел "торговую" стадию. В развитие этой схемы в XIX в. представителями немецкой исторической школы в экономике был предложен целый ряд более изощренных стадийальных экономических моделей (Ф. Лист, Б. Гильдебранд, Г. Шмоллер, К. Бюхер и др.).

А. Ферпосон в работе "Опыт истории гражданского общества" (1765) предложил новые названия исторических эпох: дикость, варварство и цивилизация, и деление по этому критерию также получило продолжение, например, в работах Л. Моргана "Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации" (1877); Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства" (1884).

Новый всплеск интереса к подобным историческим схемам возник уже после Второй мировой войны. Стимулом послужили работы в области экономической и социальной истории, в частности, теории индустриализации и модернизации. На сей раз "всемирная история" предстала как последовательная смена разных типов общества: доиндустриального (аграрного, традиционного) — индустриального (модернизированного) — постиндустриального (информационного, технологического и т.д.). Наиболее детально разработанной концепцией такого типа является модель "стадий экономического роста" У. Ростоу (1961).

Синхронизация диахронии. Третий тип схем "всемирной истории" в некотором смысле противоположен предыдущему по способу достижения "хронологического монизма". В схемах второго типа он достигается за счет диахронизации синхронных событий и расположения всех обществ на единой шкале условного исторического времени исходя из уровня их развития, а в схемах третьего типа "хронологический монизм" устанавливается благодаря синхронизации диахронной истории разных обществ. Предполагается, что каждое общество (культура, цивилизация) проходит одни и те же этапы (фазы, перио-

42

Типы знания о прошлом

ды) развития, поэтому историю каждого общества можно нанести на унифицированную временную шкалу, разделенную на этапы, единые для всех обществ.

Наиболее представительными для класса историософских схем, ориентированных на "синхронизацию диахронии", являются "биологические" модели, уподобляющие общество живому существу (переживающему младенчество, детство, юность, зрелость, старость, дряхлость и смерть) или растению. Другим вариантом служат ассоциации с годовым аграрным циклом, поэтому для "ботанических" моделей характерно использование терминов типа "ростки", "расцвет", "плоды", "увядание" и т.д., или обозначения сезонов ("весна", "лето", "осень").

Напомним, что модель "цикла жизни" человека прилагалась к обществу еще Цицероном, Варроном, Флором и другими римскими историками, а затем она была необычайно популярна в теологии истории начиная с Августина. Но у них, равно как и у использовавшего позднее этот подход Гегеля с его "четырьмя возрастными мирами", история была уникальной или монистичной — схема "возрастов" прилагалась к истории одного "мира". По сути, лишь в XIX в. укореняется идея множественности социальных "миров", каждый из которых проходит свой "цикл жизни" — зарождение, подъем, упадок, гибель.

По-видимому, одну из первых схем "биологического" типа предложил Г. Форстер в работе "Руководящая нить будущей истории человечества" (1789), но активное развитие моделей такого рода начинается с середины XIX в. Во Франции к их числу можно отнести сочинения Ш. Фурье и Ж. де Гобино; в Германии — Г. Рюккерта, в России — сочинения Н. Данилевского и К. Леонтьева. В прошлом веке эта модель *была* особенно популярной в межвоенный период, когда заметно усилились кризисные процессы в обществе (О. Шпенглер, Ф. Корнелиус, А. Тойнби).

Наконец, третий раунд появления моделей "циклов жизни" относится к концу 1950-х — началу 1960-х гг. (Ф. Бэгби, Р. Кулборн, К. Купили, Дж. Седжуик-мл. и др.). Отчасти интерес к подобным концепциям был стимулирован завершением публикации многотомной работы Тойнби, но в большей степени — реакцией на распространение в этот период линейных моделей развития, основанных на "стадиях роста", "модернизации" и т.д. После этого поток подобных сочинений идет на убыль, хотя время от времени они появляются в различных модификациях: упомянем в качестве примера работы Л. Гумилева.

43

Феномен прошлого

В последние десятилетия XX в. принципиально новых моделей "всемирной истории" практически не появлялось, но это не означает исчезновения этого направления в целом. Классические историософские схемы (условно говоря, вплоть до "модернизационных" моделей 1960-х гг.) по-прежнему входят в современный "социальный запас знания". Прежде всего они включены в систему высшего образования во всех странах. Классические историософские произведения продолжают переиздаваться и переводиться на другие языки. Выходят работы, посвященные анализу историософских произведений. Наконец, публикуется множество сочинений, воспроизводящих, развивающих, комбинирующих классические историософские схемы. И хотя эти работы в абсолютном своем большинстве являются, по сути, вторичными, они также обеспечивают сохранение позиций моделей "всемирной истории" в системе знаний о прошлом.

Идеология

Термин "идеология" ввел французский философ и экономист А.К. Дес-тют де Траси в своей четырехтомной работе "Элементы идеологии" (1801—1815) для обозначения *учения об идеях*, устанавливающего твердые основы для политики, этики, и т.д. Ныне идеологии играют особенно важную роль в формировании образа прошлого. Это объясняется даже не столько значимостью данного типа знания в современных обществах, сколько местом, которое, как показали еще К. Ман-хейм и Х. Арндт, формирование образа прошлого занимает в идеологических конструкциях.

"Когда частное определение реальности соединяется с конкретным властным интересом, его можно назвать идеологией"⁴⁰. Идеологии существенно отличаются от религиозного знания. Они — *не одинаковы* для всего общества, и социальные универсумы, которые они конструируют, — партикулярны. Идеологии создают для своих приверженцев политически детерминированную *групповую* социальную реальность. Чтобы чувствовать себя в ней как дома, надо ощущать себя демократом, пролетарием, патриотом и т.д. При этом, как правило, партику-

* Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. С. 201.

44

Типы знания о прошлом

лярные интересы выдаются за всеобщие, и идеологии охватывают весь мировоззренческий спектр — от понимания отношений людей к действительности и друг к другу до интерпретации социальных проблем и конфликтов, включая цели и программы социальной деятельности.

Все классические (общие) идеологии имеют философскую основу. Либерализм, консерватизм, социализм существуют и как философские, и как идеологические системы. Все идеологии касаются проблем авторитета, власти, властных отношений, моделей "устройства" общества и способов их практического воплощения. Однако, в отличие от политической философии, идеология больше ориентирована на реальный политический процесс и "массового" потребителя.

"Ведь философия истории, превращенная в политическую идеологию, обладает той особенностью, что — в силу характерного для нее рассмотрения истории как последовательности эпох — она позволяет разъяснить историческим субъектам этого рассмотрения, почему они благодаря их положению в историческом процессе впервые и исключительно способны постичь этот самый исторический процесс. На этом основано их право приписать себе роль партии, которая уже сегодня представляет авангард человечества будущего, а также право, даже обязанность, делать грядущие события политически обязательными"⁴¹.

Важнейшим фактором формирования идеологий было осознание наличия процесса социальных изменений. Большинство идеологов активно применяет историософскую терминологию, характеризующую изменения во времени: прогресс, революция, движение, развитие. Использование этих понятий свидетельствует о важности категории времени в идеологических построениях. Траектория идеологических концепций социума прочерчена от прошлого через настоящее к будущему. "Движение истории и логический процесс развертывания этого понятия (идеологии. — *И.С., А.П.*) предполагаются соответствующими друг другу так, что все происходящее случается согласно логике одной «идеи»"⁴².

Носители разных идеологий накапливают разный опыт, соответственно у них разные ретроактивные ожидания. Темпоральные отличия

⁴¹ Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем [1992] // Вопросы философии. 1994. №

4. С. 99.

⁴² Арндт Х. Истоки тоталитаризма: Пер. с англ. М.: ЦентрКом, 1996 [1951/1966]. С. 609.

45

Феномен прошлого

идеологических систем коренятся прежде всего в типе *соотношения* опыта и ожиданий. Для носителей одних взглядов важнее восстановление отношений с прошлым, для других — установление отношений с будущим.

Для большинства европейских стран идеологическое знание о прошлом неизбежно. Если европеец оглядывается на прошлое своей страны, он видит поразительное идеологическое и социально-политическое разнообразие, которое релятивизирует господствующие идеологии. Прошлое для политиков всегда источник и опоры, и опасности, ибо любая идеология находит там свои "хорошие" и "плохие" времена. К области темпорального компонента в идеологиях вполне можно отнести и понятие ритма (способа) социальных изменений, которым они оперируют.

Концептуальное разделение между прошлым и настоящим в *либерализме* вело к созданию специфических конструкций прошлого как серии последовательных триумфов прогресса. "Исторические интересы" либеральной идеологии концентрировались вокруг становления демократических институтов и ценностей, развития "прогрессивных" социальных процессов и действий передовых личностей и вдохновляемых ими масс. Либералов в истории привлекают такие явления, как парламентаризм, городское самоуправление, классовая борьба и революции, секуляризация общества, развитие науки и философии и многие другие, на примере которых зарождение и развитие демократических институтов и либеральных идей рассматриваются как код или закон общественного развития. Соответственно в либеральной истории действуют "предшественники", "основоположники", "пионеры", "основатели", т.е. герои, с именами которых связываются успехи демократии, экономики, науки, культуры. В прошлом идентифицируются идеи, события или люди, открывшие путь к новому, и конструируются последовательности из личностей, будто бы передающих эстафету прогрессивных идей или поступков из прошлого в настоящее.

Консерватизм может представлять собой как апологию существующих порядков, так и ностальгию по утерянному социальному миру. Однако

"консервативное восприятие времени находит важнейшее подтверждение обусловленности всего существующего в том, что открыто значение прошлого.

46

Типы знания о прошлом

значение времени, создающего ценности... Консерватор привержен прошлому не ради него самого, а ради настоящего и будущего"⁴³.

Главная причина, по которой консерватор стремится сохранить прошлое, состоит в том, что он ощущает его единство с настоящим. Для консерватора важнейший принцип — принцип континуитета, жизненно важной связи между прошлым, настоящим и будущим. У. Эллиот даже сказал, что консерватизм представляет собой, в первую очередь, "кредо континуитета"⁴⁴.

М. Оукшот акцентировал тот факт, что, с одной стороны, именно "неустроенность настоящего" пробуждает у консерваторов тягу к прошлому и обращает их к восстановлению утраченных устоев, но, с другой стороны, консерватизм процветает прежде всего в устойчивом, благоденствующем обществе, "причем наиболее сильными его позиции оказываются там, где процветание сочетается с опасениями его утраты"⁴⁵.

Общественные институты и ценности, в глазах консерватора — результат естественного отбора: веками сохраняются те, которые эффективны, и их сохранность, в свою очередь, доказательство их полезности. "Охранительная" тенденция консерватизма вводит прошлое во всем его объеме в настоящее. И не случайно, что "наиболее серьезное интеллектуальное усилие консервативной идеологии"⁴⁶ было осуществлено в области исторического анализа с целью реабилитации прошлого и изучения преемственности как противоположности революции.

Социалистическая идеология, больше чем любая другая, отмечена безусловной устремленностью в будущее, которое вытесняет настоящее и стирает прошлое. В социалистической доктрине с самого начала присутствовали две концепции перехода от капитализма к социализму: "социальная" (культурная) и "политическая", подразумевающая захват власти с последующим проведением преобразований. Социал-реформистский социализм, отрицающий насильственное преобразование

⁴³ Hearnshaw F.J.C. Conservatism in England. L.; Basingstoke: Macmillan, 1933. P. 22.

⁴⁴ Elliot W. Toryism and the Twentieth Century. L.: Macmillan. 1927. P. 18—19.

⁴⁵ Оукшот М. Что значит быть консерватором [1956] // Оукшот М. Рационализм в политике: Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 66.

⁴⁶ Хобсбаум Э. Век революций [1972]. Век капитала [1975]. Век империй [1987]: В 3 т.: Пер. с англ. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 338.

47

Феномен прошлого

мира, на протяжении XX в. сближался с либеральным реформизмом. Революционное же отношение к социальной реальности преобладало в марксистском социализме, который со времен

его появления занимает господствующие позиции в социалистической мысли.

Для идеологов марксизма социальное развитие — это перманентный разрыв с прошлым, радикальные трансформации и сдвиги (хотя Маркс признавал, что и после социальных революций элементы прежних формаций продолжают частично сохраняться в качестве постепенно отмирающих пережитков). "Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых" — известная и не случайная формулировка Маркса⁴⁷. Такая оценка роли прошлого совершенно немыслима ни в либеральной, ни в консервативной мысли.

Столь же уникальным является характерное для марксистской идеологии стремление оценивать все происходящее в настоящем с позиций представлений о будущем. Очень показательным, что для Маркса вся история человечества была лишь предысторией. "...Буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества", — писал он⁴⁸. Подлинная же история, по его мнению, должна была наступить с утверждением коммунистического общества. При этом будущее, с позиций марксистской концепции, детерминировано, оно как бы заключено в настоящем⁴⁹, ибо знание законов исторического развития дает возможность не только понимать прошлое и настоящее, но и предсказывать будущее, опираясь на знание этих законов. Отсюда важное место пророчеств в трудах марксистов, причем пророчеств активизирующих.

У идеологии *национал-социализма* в целом складывались весьма непростые отношения с временем. Не случайно столь мудрый политик, как У. Черчилль, долгое время полагал, что фашизм несет с собой

⁴⁷ Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта [1852] // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 8. С. 119.

** Маркс К. К критике политической экономии [1859] // Там же. Т. 13. С. 8.

⁴⁹ "Маркс использовал некоторый правдоподобный аргумент, согласно которому наука может предсказывать будущее, только если оно предопределено — если, так сказать, будущее присутствует в прошлом, свернуто в нем. Это привело его к ложному убеждению, что строго научный метод должен основываться на строгом детерминизме" (Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т.: Пер. с англ. М.: Культурная инициатива, 1992 [1945]. Т. 2. С. 101).

48

Типы знания о прошлом

угрозу возвращения в темное и далекое прошлое. Но в 1940 г. Черчилль предупреждал уже не об угрозе возврата в Средневековье, а об опасности гигантского прыжка *вперед*, в *новый* темный век (курсив наш. — *И.О., АЛ.*)».

Фетиш прошлого (и в смысле недавно пережитого национального позора, и в смысле жизнеутверждающего мифа о национальном величии) очень многое определил в содержании немецкого национал-социализма. Как считает немецкий историк Э. Нольте, "30 января <1933 г.> победил в первую очередь не столько Гитлер, сколько взгляд на историю и историческая легенда, характерные для националистической Германии"⁵¹.

Будущее, согласно фашистской политической программе, должно было быть завоевано путем обращения к прославленному, сословно-народному прошлому. Идеолог нацизма А. Розенберг в "Мифе XX века" писал:

"Расовая история является в одно и то же время естественной историей и духовной мистикой. История религии крови является соответственно великим всемирным нарративом подъема и упадка народов, их героев и мыслителей, их изобретателей и художников... «Смысл мировой истории», рожденный голубоглазой светловолосой расой, которая несколькими гигантскими волнами определила духовное лицо всего мира, распространился с Севера по всей Земле"⁵².

Что касается настоящего, то в национал-социализме оно соединилось с прошлым. "Куда ни кинешь взгляд, везде смесь Средневековья и модернизации"⁵³. С одной стороны, в избытке был пессимизм "асфальтовой цивилизации", противопоставленный "почве", прославлению полуархаического народа крестьян и воинов. Но с другой — в национал-социализме присутствовало стремление к модернизации,

⁵⁰ Lukacs J. Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung. Munchen: Luchterhand Literaturverlag, 1997. S. 108.

⁵¹ Нольте Э. Европейская гражданская война (1917—1945). Национал-социализм и большевизм: Пер. с нем. М: Логос, 2003 [1989]. С. 30.

⁵² Rosenberg A. Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Munchen: Hoheneihen, 1930. (цит. по: Political Ideologies / J.A. Gould, W.H. Truitt (eds.). N.Y.: Macmillan, 1973. P. 120.

⁵³ Fest J. Der zerstorte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters. Berlin: Siedler Verlag, 1991. S. 51—52.

49

Феномен прошлого

достижению технического превосходства, созданию самой современной технологии (при отрицании "асфальтовой цивилизации" — строительство автомобильных дорог, которому придавалось "историческое" значение). Да и крестьянские идиллии должны были осуществляться на территориях, завоеванных с помощью самой передовой военной техники.

Еще одна специфическая идеологическая доктрина современности, сыгравшая ключевую роль в

политической мобилизации масс и, в отличие от "классических" идеологий, продолжающая набирать обороты на рубеже XX—XXI вв. — *национализм*. Эта идеология отличается от идеологий, рассмотренных нами выше, и соответственно от инспирируемых ими политических движений. Она дает национальным движениям "особые символы, образы и понятия (например, «народ», «родина», подлинность, судьба и независимость), которые придают национализмам их мобилизующую привлекательность и направленность"⁵⁴.

Французская революция с идеями *la nation, la patrie et le citoyen*, новым французским флагом, *Национальным собранием* и другими атрибутами явила собой не только политический, но и "национальный" прорыв в бытии европейских народов. Ее внутривидовые предприятия резко ускорили процесс формирования национальной идентичности во Франции, а внешнеполитические акции в конечном счете положили начало созданию современной европейской геополитической системы. Само понятие "государство — нация" возникает именно в ходе Французской революции.

Э. Хобсбаум отмечает, что "уравнение нация = государство = народ (а тем более суверенный народ), несомненно связывало нацию с определенной территорией, поскольку структура и понятие государства стали теперь по существу территориальными"⁵⁵. С возникновением национальных государств "должна была быть изобретена историческая преемственность, например, путем создания древнего прошлого, не связанного с действительной исторической преемственностью, при помощи полувывымысла (Боудикка, Верцингеторикс)"⁵⁴. Смит Э.Д. *Национализм и модернизм: Краткий обзор современных теорий наций и национализма*. Пер. с англ. М.: Праксис, 2004 [1998]. С. 177.

⁵⁵ Хобсбаум Э. *Нации и национализм после 1780 года*: Пер. с англ. СПб.: Але-тейя, 1998 [1990]. С. 33.

50

Типы знания о прошлом

торикс, Арминий Хёруск) или подделки (Оссиан, чешские средневековые рукописи)"⁵⁶.

Двум основным концепциям нации, этнокультурной и государственно-политической, соответствуют два типа национальной идеологии, в которых по-разному выглядит соотношение прошлого, настоящего и будущего. Там, где не было государства, националисты конструировали из мифов прошлого и перспектив будущего идеальное отечество, которое не было укоренено в настоящем и должно было реализоваться политически когда-нибудь в будущем. Там, где государство уже было, создавалось менее мифологизированное бытие, но зато оно было больше наполнено политическими символами и ценностями и увязано с политической историей. В этом случае важную роль играло конструирование прошлого, связанное с доминантой настоящего, господствующими идеями и институтами, например, свободы, демократии, индустриализма, парламентаризма и т.д.

Националисты создают то прошлое, которое легитимирует их притязания на государство и территорию, свою или чужую, на политическое доминирование и обладание культурным капиталом. Их темпоральные представления очень зависят от конкретных национальных задач. Они могут почти всецело определяться политическим моментом, а могут — и призрачным идеалом будущего, но во всех случаях прошлое является важнейшим фактором формирования национальной идентичности и политической мобилизации.

Общественные науки и история

Практически во всех общественных науках⁵⁷ наряду со знанием о настоящем присутствуют элементы знания о прошлом (хотя бы на уровне информации) и о будущем (прогнозы). Однако задача общественных наук, в том виде, который они начали приобретать уже в

⁵⁶ Hobsbawm E. *Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition* / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 7.

⁵⁷ Чтобы не вдаваться в бесплодные классификационные дискуссии, мы не будем проводить специального различия между социальными и гуманитарными науками и науками о человеке, обозначая весь комплекс наук о социальной реальности как общественные науки, или науки об обществе (в широком смысле).

51

Феномен прошлого

конце XIX в., состоит в эмпирико-теоретическом анализе настоящего. Конечно, "настоящее" в общественнонаучном знании включает в себя некоторое прошлое, поскольку любые эмпирические данные о социальной реальности так или иначе принадлежат прошлому, даже если речь идет о свежайших политических новостях. Но если оставить в стороне такое "актуализированное" прошлое, которое трактуется как настоящее, то современные общественные науки, в принципе, не занимаются прошлым.

Но при этом в общественных науках существует отдельная специализированная дисциплина, изучающая прошлую социальную реальность, — история. (Отдельной общественной науки, связанной с производством знаний о будущем, не появилось, хотя и предпринимались попытки создания "футурологии".) Попытаемся понять, каким образом историческая дисциплина сформировалась как особый вид знания, а именно — научное знание о прошлой социальной реальности, и как эта специализация концептуализируется в современных условиях.

Начиная со времен античности термин "история" в значении знания использовался в самых разных смыслах. Но все же в этом многообразии смыслов всегда присутствовало, наряду со многими другими, понимание "истории" как чего-то вроде общественнонаучного знания (точнее, прообраза того, что мы теперь называем

обществознанием). С эпохи эллинизма "историей", когда более, когда менее отчетливо, обозначалось эмпирико-теоретическое знание о социальной реальности. Хотя оно чаще всего переплеталось с философией, мифами/религией, искусством, моралью и т.д., но элементы общественнонаучного знания явно присутствуют в большинстве тех сочинений, которые именовались "историческими", начиная с Геродота, Фукидида, Ксе-нофонта, Полибия, Ливия, Тацита и т.д.

Удельный вес общественнонаучного смысла термина "история" по известным причинам падает в эпоху Средневековья, когда религиозное знание становится абсолютно доминирующим, и возрождается только в эпоху Ренессанса. "Исторические" сочинения Никколо Макьявелли, Флавио Бьондо, Жана Бодена и их последователей все больше напоминают современное обществознание, т.е. эмпирико-теоретическое (не философское, не эстетическое, не этическое и т.д.) знание о социальном мире, отличаемое от мира божественного и природного. Наряду с "общественнонаучным" смыслом термину "история" продолжают придаваться и иные смыслы, отождествляющие его со знанием о

52

Типы знания о прошлом

божественной и природной реальности. Но уже со времен Фрэнсиса Бэкона, как правило, в этих случаях слово "история" доопределяется как "естественная (природная)" или "божественная (церковная)". Просто "история" все чаще отождествляется с особым типом знания о *социальной* реальности.

Ко второй половине XVIII в. этот смысл "истории" в значении общественнонаучного знания становится доминирующим — достаточно обратиться к известным работам лорда Болингброка (Г. Сент-Джона), Г.-Б. де Мабли, французских энциклопедистов. Такая широкая трактовка "истории", по сути сформировавшаяся в середине XVII в., отчасти сохранялась вплоть до конца XIX в. — в частности, И. Дройзен, В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт именовали все общественные науки "историческими". Более того, следы отождествления "истории" с обществознанием можно увидеть и в дискуссиях середины XX в., когда в рамках аналитической философии стал обсуждаться вопрос о методах объяснения в естественных и общественных науках. В этих дискуссиях, в том числе у К. Гемпеля, Э. Нагеля, У. Дрея, естественнонаучное знание сопоставлялось прежде всего с "историей", под которой неявно понималось общественнонаучное знание в целом.

В середине XIX в., т.е. в период, который условно можно обозначить как позитивистский этап представлений о структуре знания, история все еще не идентифицируется как дисциплина, занимающаяся *прошлой* социальной реальностью. В этот период общественные науки постепенно отделяются от философии, но в результате единое общественнонаучное знание представляется разделенным на "теоретическую" часть, которая присоединялась к естественным наукам, и "эмпирическую" часть, которая и называется "историей".

Коренной перелом наступает в последней трети XIX в., когда начинают формироваться современные представления о структуре знания. Во-первых, в этот период в явном виде концептуализируется понятие общественных наук как эмпирико-теоретического знания о социальной реальности, отличного от других видов знания. Во-вторых, выделяются самостоятельные общественнонаучные дисциплины (политология, социология, экономическая наука, этнология, психология и т.д.). Наконец, что существенно для нашего анализа, именно в этот период возникает размежевание "истории" как общественнонаучного знания о *прошлой* социальной реальности и всех остальных общественных наук.

53

Феномен прошлого

Состоявшееся самоопределение истории не означало конца дискуссий о характере исторического знания. С точки зрения традиционных представлений о знании деление по параметру времени выглядело довольно странно, прежде всего при сопоставлении с естественнонаучным знанием, которое задавало своего рода стандарт "научности" до середины XX в. Поэтому вплоть до этого времени (а по сути, и позже) выдвигался тезис о том, что история не является наукой. Это позволяло элиминировать "странное" разделение между общественными науками и историей, но по сути просто переводило проблему на другой уровень.

Если считать историю каким-то вненаучным видом знания, например, искусством, как это делал Б. Кроче, то снова возникает вопрос о том, почему в искусстве надо выделять специализированное знание, определяемое по параметру времени, если искусство в целом всегда включает знание о прошлом. Точно так же не решает проблемы утверждение, что история является неким смешанным видом знания, включающим элементы науки, философии, искусства, морали и т.д. Это опять-таки не объясняет причин тематизации "прошлого" в качестве самостоятельного объекта изучения, так как оно не дифференцируется специально ни в одном из перечисленных типов знания.

Историческое знание является по своей природе рациональным эмпирико-теоретическим знанием о социальной реальности. Поэтому история не отличается от общественных наук ни "по методу", как эмпирико-теоретическое знание, ни "по предмету", так как изучает социальную реальность. Однако история дифференцируется по времени, являясь знанием о *прошлой* социальной реальности.

Но из этого следует, что общественные науки в целом занимаются "настоящим". Принятие этого тезиса, естественно, требует ответа на несколько вопросов. Во-первых, почему только в общественнонаучном знании выделилось в самостоятельную область знание о прошлом? Во-вторых, если история — знание о прошлом, то как определить по параметру времени остальные общественные науки? Если они являются

знанием о настоящем, то где граница между прошлым и настоящим в общественнонаучном знании и чем она определяется?

Как отмечалось выше, отделение истории от остальных общественных наук произошло далеко не сразу. Например, на начальном этапе специализации общественнонаучного знания крупные работы по исторической социологии не были исключением, каковым они стали

54

Типы знания о прошлом

впоследствии. Причина заключалась не только в том, что социология проходила некий этап самоопределения и еще не сделала окончательного выбора. Дело и в некоторых характерных для XIX в. обобщенных относительно возможности "открыть" универсальные или "естественные" законы, пригодные для "всех времен и народов". Естественнонаучная парадигма в обществоведении, идущая от О. Конта, толкала социологов к определению всеобщих законов развития общества. Эволюционный подход, связанный с признанием социальной динамики, также ориентировал на поиски законов — в данном случае законов развития, законов перехода от одной общественной системы к другой.

Последующий отказ от естественнонаучного подхода в социологии, экономике и других социальных дисциплинах сопровождался общим "охлаждением" к проблематике прошлого. Выработка общественными науками самостоятельного категориального и теоретического аппарата, отказ от некогда модного "исторического" подхода и обращение к методам структурно-функционального анализа в некотором смысле отрезали их от прошлого. Как справедливо заметил американский историк Л. Стоун четверть века тому назад, "ни одна группа представителей социальных наук не интересуется серьезно ни фактами, ни интерпретацией изменений, если они происходили в прошлом"⁵⁸.

Вместе с тем и сегодня нельзя говорить в обычном смысле о том, что общественные науки занимаются "настоящим". Подавляющая часть информации о социальной реальности, которой оперируют исследователи, так или иначе относится к прошлому. Любая *сегодняшняя* газета рассказывает о *вчерашних* событиях, т.е. о прошлом, хотя читатели воспринимают свежую газетную информацию как рассказ о настоящем. То же самое относится и к телевизионным новостям: за исключением прямых репортажей, все остальные новости — это рассказ о событиях, которые уже произошли, т.е. относятся к прошлому.

Поскольку размежевание прошлого и настоящего связано с формированием понимания прошлого как Другого, то тем самым определяется граница между настоящим и прошлым: к настоящему, т.е. предмету специализированных общественных наук, относится та часть прошлого, когда общество не было Другим по отношению к настоящему, и поэтому к нему применимы схемы, модели, теории и концепции, созданные для анализа современности. Ясно, что эта гра-

⁵⁸ Stone L. The Past and the Present Revisited. L.: Routledge, 1987. P. 9.

55

Феномен прошлого

ница условна и размыта; по отдельным дисциплинам и даже внутри каждой из них грань между прошлым и настоящим может проходить по-разному. Но общий принцип деления "по времени" остается неизменным. Говоря о том, что современные общественные науки (в широком смысле, включая и "гуманитарные") не занимаются специально прошлым, а передали его в ведение исторической науки, необходимо сказать об одном важном исключении, а именно о филологии. Хорошо известна тесная связь истории и филологии, которая проявлялась в структуре образования, от включения истории в курс грамматики, входившей в состав "тривиума", до возникших в XIX в. историко-филологических факультетов университетов. Эта "смычка" определялась тем, что история, как и филология, связана с текстами — историки используют тексты для изучения прошлого и пишут "истории-тексты". Но одновременно филология, по крайней мере со времен Возрождения, имеет дело с прошлым. Более того, именно Лоренцо Балла едва ли не первым концептуализировал понятие прошлого как Другого на уровне анализа текстов, выдвинув и доказав идею о том, что в прошлом создавались *другие тексты*. Можно указать и некоторые другие гуманитарные дисциплины, сохранившие изучение прошлого в своей компетенции, — например, искусствоведение. Но хотя некоторые дисциплины и не передали изучение прошлого в ведение исторической науки, внутри этих дисциплин все же присутствует определенное разделение исследований "по времени": существуют специалисты по античной литературе и искусству, по литературе раннего Нового времени, по искусству XIX в. и т.д., равно как и по современной литературе и искусству. Конечно, специализация "по времени" здесь не является жесткой, тем не менее ее можно обнаружить. Точно так же в общественных науках специалисты по "истории мысли" обычно образуют отдельную экспертную группу.

Таким образом, мы подошли к ответу на вопрос о том, почему только в одном типе знания — научном знании о социальной реальности — специально выделяется знание, относящееся к прошлому. С точки зрения "предмета" ясно, что из трех типов реальностей — божественной, природной и социальной — только последняя мыслится как подверженная существенным (быстрым, качественным) изменениям. Божественная реальность зачастую вообще предполагается не-

56

Типы знания о прошлом

изменной, если же какие-то изменения в ней и допускаются, то периоды, качественно отличающиеся от настоящего (например, в христианстве — эпоха до Рождения Христа), обычно привлекают гораздо меньше

внимания, чем настоящее. В мире неживой природы постулируется или низкая скорость изменений, или отсутствие качественных изменений, и анализ прошлых состояний объекта изучения той или иной науки уже не требует специальных дисциплин и решается непосредственно в рамках астрономии, геологии и т.д. Для живой природы, где скорость изменений выше, эта проблема выражена уже более отчетливо, и с этим связано возникновение таких разделов биологии, как палеозоология и палеоботаника.

С точки зрения "метода" также понятно, почему специализация "по времени" возникает в рамках научного знания о социальной реальности. Другие виды знания — философия, мораль, искусство, идеология и т.д. — хотя и конструируют не только нынешнюю, но и прошлую и будущую социальную реальность, но в основном делают это с помощью вневременных, атемпоральных категорий (бытие, добро, красота, польза, власть и т.д.). В общественнонаучном же знании не существует "теории вообще", не привязанной к времени и социальному пространству. Даже самые формальные экономические модели исходят из некоей реальности, существующей в определенное время и в определенных странах.

Поэтому, в частности, мы не можем согласиться с распространенным мнением, будто бы историк лишь транспортирует в прошлое проблемы, которыми применительно к современному обществу занимаются представители других социальных наук. Дело в том, что теории общественной жизни применимы только к определенному историческому периоду и адекватны только ему. Каждая область человеческой деятельности имеет свое прошлое, а следовательно, и свою историю, и свою теорию.

С пониманием этого связан, по нашему мнению, очевидный спад влияния так называемой новой научной истории, которая изначально представляла собой попытку "продлить настоящее в прошлое". Ее сторонники явно или неявно исходили из возможности применения аппарата современных общественных наук к прошлому. Тем самым, по существу, постулировалась относительная неизменность общества, его социальной или экономической структуры. Однако чем больше отличалось от современного то общество, которое пытались конструировать

57

Феномен прошлого

представители "новых научных историй", тем очевиднее были неудачи. Типичный пример — книга американских историков Р. Фогеля и С. Энгермана "Время на кресте"⁵⁹, где общество, основанное на рабском труде, анализировалось в понятиях современной рыночной экономики. После этого в большинстве случаев американская новая экономическая история старалась не углубляться в периоды, предшествовавшие окончанию Гражданской войны в США, или, по крайней мере, предпочитала ограничиваться историей нерабовладельческих штатов.

Сфера действия и применимости большинства современных экономических, социологических, политологических концепций не превышает 100—150 лет (а во многих случаях много меньше). Все, что находится за пределами этого периода, требует иного теоретического и категориального аппарата. Начиная с какого-то момента для теоретического анализа исчезнувшей реальности надо разрабатывать другие схемы, модели и концепции. Таким образом, историческое знание оказывается не одной наукой, а системой наук, точнее даже, множеством систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом.

Условно говоря, в идеале, например, для анализа эпохи Просвещения требуются своя социология, экономическая наука, политология и т.д. Или по-другому: должна существовать социология эпохи Просвещения, Ренессанса, позднего Средневековья, раннего Средневековья и т.д.⁶⁰ Однако современное общество явно не склонно оплачивать труд необходимого для этого количества специалистов, занятых столь неактуальными проблемами. Человеческие ресурсы, участвующие в этом предприятии, весьма и весьма ограничены, чем и объясняется недостаточная "теоретичность" исследований, выполненных историками, и малое число исследований прошлой социальной реальности, произведенных учеными-обществоведами.

⁵⁹ Fogel R.W., Engerman S.L. Time on the Cross: The Economics of the American Negro Slavery. Vol. 2. Boston: Little: Brown, 1974.

⁶⁰ Применительно к экономике эту идею развивали представители немецкой истори-ко-экономической школы XIX — начала XX в. (например, К. Бюхер, А. Шпитгоф), считавшие необходимым разработку специальных экономических теорий для каждой "хозяйственной стадии" или "хозяйственного стиля". Такие теоретические концепции, привязанные к тому или иному историческому периоду, они именовали "наглядными теориями" в противоположность "вневременной" или "формальной" теории хозяйства, которая должна объяснять явления, не подверженные историческим изменениям.

58

Типы знания о прошлом

То обстоятельство, что история занимается изучением прошлого, не означает, что она не связана с настоящим. Историческое знание в каждый момент времени во многом определяется настоящим. В этом смысле конструкция прошлой реальности, воплощенная в сегодняшнем историческом знании, неразрывно связана с конструкцией настоящего, представленной в общественных науках.

Конечно, предлагаемая нами концепция применима только к современной научной эпистеме, в которой существует целый ряд сложившихся социальных дисциплин, отвечающих стандартам научного знания. И методы, которые использует, разрабатывает (или должна была бы найти и применять) историческая наука для познания своего объекта, отражают (или должны отражать) состояние социального знания на данный момент. Но, как нам кажется, внесение третьей "классификационной оси" — времени — позволяет точнее определить место истории в системе знания.

Обыденное знание

Обыденное знание о прошлом стало привлекать внимание исследователей лишь в последние десятилетия. Интерес к этому феномену проявляют представители разных дисциплин: социологии, социальной психологии, культурной и социальной антропологии, равно как и истории. Сегодня им занимаются также специалисты в области политических технологий, массовых коммуникаций и т.д. В принципе, проблема формирования социальных (коллективных, массовых и т.д.) представлений детально изучалась в разных дисциплинах. Но, к сожалению, многообразие подходов, концепций, моделей и результатов, полученных в рамках социологии, культурной антропологии и психологии, пока, насколько нам известно, практически не нашло применения в изучении социальных (обыденных) представлений о *прошлом*.

Обыденное знание о прошлом складывается из нескольких разнородных компонентов. Во-первых, это знания, формируемые на основе *личного* опыта действующего. Речь идет об образах прошлого, возникающих на основе прошлой жизни индивида и воспоминаний о ней, рутинных повседневных действий. Во-вторых, это различного рода "групповое прошлое", т.е. прошлое отдельных групп, членом которых является данный индивид. Групповое

59

Феномен прошлого

прошлое (прошлое нынешних и бывших членов группы) является важным элементом групповой идентификации. В то же время обыденное знание отнюдь не тождественно групповому. Групповые представления (групповое знание) — феномен, хорошо исследованный в социальной психологии, как на уровне механизма формирования, так и с точки зрения содержания. Учитывая многообразие социальных групп, общее понятие групповых представлений оказывается весьма расплыватым, в частности, в силу наличия профессиональных экспертных групп, ответственных за производство и поддержание тех или иных сегментов социального запаса знания. В свою очередь представления в группах, не связанных профессионально с производством знания, также в значительной мере формируются своего рода "экспертами", условно говоря — "идеологами" группы, и лишь затем в той или иной степени усваиваются остальными ее членами. Нас в данном случае интересует лишь эта последняя составляющая, а именно — обыденные представления о прошлом членов различных социальных групп.

В-третьих, в обыденном сознании отражаются и специфическим образом преломляются различные специализированные знания о прошлом — религиозные, философские, научные, художественные и т.д. Как правило, до уровня обыденных представлений специализированные знания доводятся через различные опосредующие звенья. В современных условиях это прежде всего учебная и научно-популярная литература и различного рода радио- и телепередачи, а, скажем, в Средние века таким инструментом служили проповеди и религиозные церемонии.

Конкретное содержание обыденных знаний многие исследователи пытаются выявить на основе косвенных сведений о неких социальных действиях (ритуальных, обрядовых, церемониальных и т.д.), в которых, теоретически, находят отражение представления совершающих эти действия или участвующих в них "простых" людей. Благодаря такого рода исследованиям мы теперь действительно довольно много знаем о том, что "безмолвствующее большинство" (выражение А. Гуревича)⁶¹ делало, но по-прежнему очень мало знаем о том, что оно думало. В особенности это относится к обыденным представлениям о прошлом. По существу, лишь в XX столетии стали доступны и начали

"Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства [1990] // Гуревич А.Я. Избранные труды: В 2 т. СПб.: Университетская книга, 1999. Т. 2. С. 261—547.

60

Типы знания о прошлом

использоваться несколько видов источников, отражающих в той или иной мере массовые исторические представления.

Первым таким источником являются различного рода *мемуары и воспоминания*, активно используемые при изучении индивидуальной и семейной памяти о прошлом, прежде всего в рамках истории повседневности. По меньшей мере с XVI в. мемуары начинают составляться разными представителями городского населения, и вплоть до XX в. поток мемуарной литературы постоянно нарастал. Во второй же половине прошлого века в дополнение к стихийному написанию мемуаров "снизу" возникла практика целенаправленного сбора индивидуальных воспоминаний профессиональными исследователями. Возникло даже такое направление историографии, как "устная история" новейшего времени, отчасти смыкающееся с социологией и обеспеченное новыми способами обработки информации (звукозапись, перевод в машиночитаемую, а затем и электронную форму и т.д.)⁶².

Тем не менее, с нашей точки зрения, большинство исследований в этой области пока напоминает любительскую стадию развития исторического знания — тогда коллекционировали древности (предметы материальной культуры), сегодня — воспоминания обычных людей о событиях, получивших статус "исторических". Дело в том, что, во-первых, этот источник охватывает представления лишь об относительно недавнем прошлом; во-вторых, он в большинстве случаев связан с ограниченным набором событий; в-третьих, он ориентирован прежде всего на *групповые* представления, которые могут существенно отличаться от массовых.

Второй источник сведений о массовом знании о прошлом — различного рода *контрольные тесты и опросы*

учащихся школ и высших учебных заведений, ориентированные на проверку степени усвоения ими программ по истории и имеющихся у них "остаточных знаний", пользуясь терминологией российского Министерства образования. Результаты этих проверок знаний широко обсуждаются в преподавательском сообществе и служат важной основой для корректировок и совершенствования учебных программ по истории⁶³.

⁶² См.: Томпсон П. Голос прошлого: Устная история: Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2003 [1978/2000].

" См., например: Knowing, teaching, and Learning History: National and International Perspective / P. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (eds.). N.Y.: New York University Press, 2000.

61

Феномен прошлого

В США исследования знаний учащихся по истории проводятся раз в несколько лет, начиная с 1987 г., в рамках программы NAEP (National Assessment of Education Progress — Национальная оценка прогресса в образовании), реализуемой Национальным центром образовательной статистики при Министерстве образования США и охватывающей все базовые учебные дисциплины⁶⁴. Во второй половине 1990-х гг. масштабная программа оценки знаний учащихся по истории начала реализовываться в Европе по инициативе Европейского союза. В настоящее время программа действует в 27 европейских странах⁶⁵. И американские, и европейские обследования охватывают около 30 тыс. учащихся.

Основным и наиболее распространенным источником сведений о социальных представлениях являются опросы *общественного мнения*. К сожалению, концептуальное качество большинства опросов на интересующую нас тему не очень высоко и получаемые в результате данные оказываются не слишком информативными с точки зрения целей нашего исследования. Это, впрочем, неудивительно, поскольку опросы общественного мнения ориентированы на другие (прежде всего идейно-политические) задачи, что отражается и в подходе к изучению массовых исторических представлений.

Тем не менее опросы позволяют выявить некоторые важные параметры обыденного знания о прошлом в современном обществе. Некоторые из них имеют относительно универсальный характер, другие отличаются значительной страновой спецификой. Примером национальных различий может служить распределение интереса и соответственно качества исторических знаний по "уровням", от семейного прошлого до всемирного. Так, для американцев основным объектом интереса является семейное прошлое (2/3 опрошенных), на втором месте с большим отрывом идет национальное прошлое (22% опрошенных), а все остальное "прошлое" фактически не существует: сво-

⁶⁴ О программе NAEP в целом и ее историческом компоненте см.: <http://nces.ed.gov/nationsreportcard/>.

" Описание программы и анализ ее результатов см., например: Borries V. von. Methods and Aims of Teaching History in Europe: A Report on Youth and History // Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspective. P. 246—261.

62

Типы знания о прошлом

ей этнической историей интересуется 8%, а локальной — лишь 4% опрошенных⁶⁶.

В российском обыденном знании о прошлом, судя по имеющимся косвенным свидетельствам, интерес к семейному прошлому и соответственно уровень знаний о нем необычайно низок. Согласно данным опросов, только в 7% семей составляется родословная⁶⁷ и лишь 24% опрошенных знают имя и отчество своих прадедов⁶⁸. Значительно более важную роль, чем семейная история, играет на массовом уровне локальная, региональная и этническая история. По каждому из этих уровней от 14 до 17% респондентов оценивают свои знания как хорошие и от 50 до 55% — как посредственные. Наиболее значима для россиян роль национально-государственного прошлого — 21% опрошенных считает свои знания в этой области хорошими и 65% — посредственными. Что касается всемирной истории, то здесь лишь 3% респондентов определяют свои знания как хорошие и еще 38% — как посредственные⁶⁹.

Согласно данным опросов, одним из главных мотивов к получению знания о прошлом является национально-государственная идентификация, но получается, что россияне для этого совершенно не нуждаются в знании всемирной истории, а вполне удовлетворяются историей национальной. Впрочем, точно такая же ситуация наблюдается, например, и в США.

В хронологической перспективе обыденные знания о прошлом в основном связаны с новейшей историей.

Например, согласно российским опросам, при выборе выдающихся исторических личностей более половины всех называемых имен приходится на XX в. По мере удаления в прошлое объем знаний начинает быстро убывать, но эта тенденция не линейна. Так, у россиян практически отсутствуют знания о периоде I—X вв. н.э., и примерно равный небольшой объем знаний

⁶⁶ См.: США, телефонный опрос, 1997 г. N = 800; Rozenzweig R., Thelen D. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life. N.Y.: Columbia University Press, 1998. Table 1.4.

⁶⁷ См.: опрос Социологического центра АОН/РАГС. РФ, 1990 г. N = 2200. ⁶⁸ См.: опрос Социологического центра РАГС. РФ, 2001 г. N = 2400.

" См.: опросы Социологического центра АОН/РАГС. РФ, 1990 г. N = 2200; 2003 г. N = 1950.

63

Феномен прошлого

имеется по периодам XI—XV вв. н.э. и I—VI вв. до н.э. (о более раннем периоде знания практически отсутствуют)⁷⁰.

Помимо общего смещения знаний о прошлом в пользу новейшей истории, которое обусловлено

прагматическими когнитивными интересами, распределение знаний о прошлом по периодам определяется и рядом более сложных обстоятельств — прежде всего длительностью национальной истории, а также сферой или объектом знаний (в частности, знания по политической истории и истории культуры распределяются во времени по-разному). Наконец, хронологическое распределение знаний зависит от содержательных характеристик самих исторических периодов, среди которых естественным образом выделяются более и менее значимые (важные) с точки зрения массовых представлений.

Анализ результатов различных социологических опросов позволяет сделать вывод о том, что представления о прошлом политической и социально-экономической подсистем структурируются на трех уровнях: значимых исторических периодов, исторических событий и исторических личностей. При этом на всех трех уровнях присутствуют позитивные и негативные оценки, связанные с ценностно-эмоциональным подходом. Эти три уровня структуризации тесно взаимосвязаны, хотя и не всегда однозначно. Но, как правило, исходным пунктом являются важные события, которые придают значимость тому временному периоду, когда эти события происходили, и тем личностям, которые активно участвовали в данном событии. Как показывают опросы общественного мнения, к числу таких событий относятся прежде всего военные конфликты (как внешние, так и внутренние); события, связанные со становлением национальной государственности или изменениями государственного устройства (революции, смены политических режимов), а также смена правителей (особенно в результате насильственных действий); экономические потрясения (кризисы, голод и т.д.). При этом почти все события мировой истории на уровне массового сознания рассматриваются через призму национальной истории, сама по себе "всемирная история" в обыденном знании практически не отражена.

В отличие от политической, военной и социально-экономической истории, где на уровне обыденного знания выделяются значимые со-

⁷⁰ См.: опросы ВЦИОМ/Левада-Центр. СССР, 1989 г. N = 2700, всего названо 115 имен; РФ, 1994 г. N = 3000, всего названо 168 имен.

64

Типы знания о прошлом

бытия, периоды и соответствующие исторические личности, представления о прошлом в области культуры в опросах общественного мнения, к сожалению, определяются только на уровне достаточно стандартного списка имен выдающихся личностей (хотя, может быть, это и соответствует обыденным представлениям) и лишь отчасти — соглашаясь с плодами их деятельности.

В целом уровень интереса и соответственно объем знаний политической истории выше, чем истории культуры, причем в России этот разрыв в течение последних 15 лет увеличивается (значимость "политики" возрастает, а "культуры" — уменьшается). При этом в сфере "политики" доминирующими являются собственно военно-политические компоненты, в то время как социально-экономические явления находятся на периферии обыденного интереса к прошлому.

К сожалению, имеющиеся эмпирические данные не позволяют пока судить об обыденном знании о прошлом в сколько-нибудь полном объеме. Речь может идти лишь о выявлении неких наиболее явных "опорных точек", образующих, условно говоря, некие видимые "надводные вершины" социальных (массовых) представлений о прошлом, основная часть которых пока остается скрытой от глаз исследователей.

Результаты тестов, проводимых среди школьников и студентов, как и опросов населения в целом, во всех странах свидетельствуют о формально очень низком уровне массовых исторических знаний⁷¹. Однако нам кажется, что эти результаты следует интерпретировать с большой осторожностью. Действительно, если речь идет о конкретных датах, событиях и личностях, то соответствующие знания выглядят крайне скудными и примитивными, а их объем — весьма ограничен-

⁷¹ Уже первое обследование исторических знаний школьников, проведенное в США в 1987 г., выявило некоторые удручающие факты. Например, в выпускных классах американских школ (12-й год обучения), один из пяти учащихся считал, что Уотергейт произошел до 1900 г. и лишь 1/3 учащихся смогла правильно датировать Гражданскую войну в США хотя бы с точностью до половины столетия! (См.: Ra-vitch D., Finn C., Jr. What Do Our 17-Year-Olds Know? A Report on the First National Assessment of History and Literature. N.Y.: Harper & Row, 1987). Согласно результатам тестов, проводившихся в 1994 и 2001 гг., 57% учащихся выпускного класса американской школы знают историю на "тройку" и на "двойку" (по российской системе оценок) (см.: National Center for Education Statistics, National Assessment of Education Progress, <http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2001/2002482.pdf>).

65

Феномен прошлого

ным. Но незнание исторической конкретики само по себе не может рассматриваться как свидетельство неинструментальности обыденных знаний о прошлом в целом.

Тесты и опросы выявляют "конечные результаты" только одного типа: они дают информацию о систематизированных знаниях или знании фактов, но не позволяют судить, в какой мере усвоенные знания выполняют главную функцию: дают возможность ориентироваться во времени и в социальном пространстве. Поясним свою мысль на примере естествознания. Подавляющая часть взрослого населения любой страны вряд ли сможет воспроизвести законы Ньютона, но при этом все понимают, почему брошенный камень падает на землю, а Земля не улетает от Солнца. Точно так же наличие общих представлений об электричестве и работе бытовых электроприборов не связано с точным знанием закона Ома. Это же относится и к знаниям в области химии, биологии, медицины и т.д.

Иными словами, хотя после окончания школы большинство людей в современных обществах быстро забывает конкретные формулы, законы и т.д., полученные естественнонаучные знания позволяют в течение всей оставшейся жизни ориентироваться в физической реальности и понимать базовые принципы ее устройства в соответствии с относительно современными научными представлениями (хотя бы на уровне естествознания XIX — начала XX в.). Благодаря усвоенным знаниям значительная часть населения может воспринимать и некоторые новейшие научные теории, популярные печатными изданиями (вплоть до женских журналов), а также телевидением и радио.

Гипотетически можно предположить, что такая же ситуация существует и в области массовых представлений о социальной реальности, в том числе и о прошлом. Незнание дат и конкретных исторических фактов вполне может сосуществовать с наличием функциональных знаний об устройстве социального мира, его историческом развитии и соответственно — о "времетоположении настоящего". Если эта гипотеза верна, то отсюда следует гораздо большая, чем принято считать, познавательная значимость школьного общественнонаучного образования в целом, и исторического — в частности.

ПОЭТИКА ПРОШЛОГО

МЛ. Андреев

1

Литературные роды и виды, вполне определившиеся в период греческой классики, зафиксированные в этой своей определенности Аристотелем и с тех пор остающиеся базовыми категориями всякой теоретической поэтики, разграничены не только в отношении предмета, средства и способа подражания, но и в отношении времени. Эпос и трагедия, как правило, изображают прошлое, лирика и комедия, тоже как правило, — настоящее. Вслед за Аристотелем можно было бы сказать, что в данном отношении Софокл подобен Гомеру и оба они решительно отличаются от Аристофана.

Прошлое, составляющее предмет эпоса и трагедии и вообще подлежащее литературному изображению, очевидным образом разделяется на три вида — мифологическое, сказочное и историческое. Очевидно это деление не только для современного взгляда. Сказку и миф умели различать и в древности: сказка не скрывает своей вымышленности и не требует веры в истинность того, о чем рассказывает; миф опирается на авторитетное предание и имеет дело с сакральными сюжетами. Сложнее дело обстоит с мифом и историей, здесь демаркация не такая четкая, если она есть вообще: гомеровский эпос понимался, в числе прочего, и как источник исторических сведений, а история, по крайней мере в своем начале, соприкасается с мифом, выходит из него и прямо его продолжает — не только у Геродота, но и у Тита Ливия (а у Диодора миф составляет чуть ли не главный предмет исторического повествования).

Основной водораздел проходил между тем, что было, и тем, чего не было: миф мог размещаться как на территории истинного, так и на территории ложного. Отсюда две интерпретаторские крайности в отно-

67

Феномен прошлого

шении мифа как предмета поэзии: Евгемер и крайность доверия (чтобы добраться до исторической истины, надо лишь убрать из рассказа того же Гомера мифологическую гиперболизацию)¹, Зоил и крайность недоверия (все, что рассказывает Гомер, невероятно и неправдоподобно)². Под другими именами эти крайности возродились в XIX в.: историческая школа искала за каждым эпическим или легендарным персонажем историческое лицо (былинный Вольга — это князь Олег, Соловей Бу-димирович — конунг Гаральд) и за каждым эпическим сюжетом — историческое событие (змеборство Добрыни — это крещение Новгорода); мифологическая школа видела в тех же персонажах и событиях образы древних божеств (тот же Вольга как индоевропейское божество охоты) и в своем логическом пределе подводила к мифологизации истории (Н.А. Морозов и его современные последователи).

Разграничение между тем, что было, и тем, чего не было, восходит к самой глубокой архаике и лежит в основе первоначальных жанровых демаркаций³. Оно было теоретически осмыслено в эллинистических поэтиках, и тогда же утвердилось в правах тройственное деление поэтической материи — на миф, вымысел и историю⁴. По Цицерону (О нахождении, I, 27), история — это правда, в мифе нет ни правды, ни правдоподобия, в вымысле есть правдоподобие, но нет правды⁵.

¹ Ср.: "Чтобы очистить миф и сделать из него только историческое предание, достаточно устранить все то, чему нет эквивалента, констатируемого в нашу историческую эпоху" (Вен П. Греки и мифология. Опыт о конституирующем воображении. М.: Искусство, 2003. С. 92).

² Шталь И.В. Логический предел софистического метода литературной критики (Зоил из Амфиполя) // Древнегреческая литературная критика. М.: Наука, 1975.

³ "При магистральном делении на строго достоверное и не строго достоверное повествование былинки и исторические предания оказываются в той же большой группе, что и миф, а сказки... попадают во вторую категорию, допускающую элементы художественного вымысла" (Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М.: Наука, 1986. С. 45—46).

⁴ "Истина — случившееся на самом деле, ко лжи относятся вымыслы и мифы, а каково подобие правды, можно увидеть в комедиях и мимах", — александрийский грамматик Асклепиад из Мирлеи (ок. 100 г. до н.э.), по Сексту Эмпирику (Против ученых, I, 252) (см.: Гринцер Н.П., Гринцер П.А. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М.: РГГУ, 2000. С. 362, 369).

⁵ Гаспаров МЛ. Избранные труды. Т. I. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 550.

К Цицерону или к "Риторике к Гереннию" восходят жанровые классификации средневековых поэтик (скажем, у Иоанна Гарландского, XIII в.)⁶, от них не отказываются и первые гуманисты (Боккаччо в "Генеалогии языческих богов" насчитывает четыре вида "фабул", разграничивая их по степени правдоподобия), и теряют они силу только со вторым рождением аристотелевской "Поэтики" и с началом усвоения того ее положения, которое при всей своей внешней простоте оказалось самым трудным, которое забыла античность и которое даже ренессансная мысль приняла и адаптировала не сразу, — о том, что у поэзии иной предмет, чем у истории⁷. "Ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей" (Поэтика, 1451Б).

Если рассматривать эволюцию эпоса с точки зрения исторической поэтики (т.е. отвлекаясь от реальной хронологии), то она идет в направлении все более существенного овладения историей. В ранних формах эпоса какие-либо следы исторического предания отсутствуют, зато явно проявляется связь с богатырской сказкой и архаическим мифом: герои эпоса (африканского, тюрко-монгольского, карело-финского, из письменных — "Гильгамеш", "Эдда", ирландский) обороняют мир от хтонических чудовищ, воинские доблести в них сочетаются со способностями шаманов и колдунов, они находят или изготавливают первые орудия труда и базовые культурные объекты (т.е. сохраняют некоторые реликты образов первопредков и культурных героев), подвиги их носят отчетливо сказочный характер.

Переход к классической форме эпоса предполагает постепенное оттеснение на задний план мифологической сюжетности и историзацию эпического фона. Типичный пример переходной формы дан "Одиссеей": хитроумный герой сохранил черты, роднящие его с трикстером мифологического эпоса, его приключения

богаты как сказочными, так и мифологическими мотивами, но все это обрамлено обширным ква-

⁶ Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. I. О поэтах. С. 643.

⁷ Андреев М.Л. Итальянское Возрождение: от стиля к жанру // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.

69

Феномен прошлого

зиисторическим фоном Троянской войны. В средневековой Европе типологически близкая форма представлена англосаксонским и древ-негерманским эпосом: в "Беовульфе" типичный сказочный богатырь, чьим главным подвигом является победа над драконом, введен в рамки исторического предания о датском королевском роде; Сигурд — Зигфрид с его воспитанием на стороне, мстью за отца, героическим сватовством, змеборством — в рамки предания о гибели бургундского королевства.

Следующей ступенью в оформлении классической формы до-авторского эпоса является "Илиада". Мифологические и сказочные мотивы, обильно представленные в самом сказании о Троянской войне (Ахилл и мотив героического детства, Елена и мотив похищения жены), в поэме оказались вытеснены на периферию, а в центр выдвинулась сама война как главное событие эпического времени. В средневековой Европе этой стадии соответствует романский эпос, где каких-либо мифологических элементов нет вообще, элементы богатырской сказки представлены очень скудно и полностью доминирует эпический историзм: как испанский, так и французский эпос вырастает на почве исторического предания, большинство его персонажей и некоторое число сюжетов имеют реальные исторические прототипы.

Вообще говоря, герой эпоса может вести свое происхождение как от сказочно-мифологического богатыря, так и от персонажа исторического предания: в первом случае вокруг него выстраивается квазиисторический повествовательный контекст (Одиссей, Беовульф, Зигфрид), во втором — вокруг него группируются типичные мотивы богатырской сказки (постепенное формирование эпической биографии у Роланда и Сиды). Историческое предание может давать имена, может создавать фон и в отдельных случаях выступать как источник общего эпического сюжета (битва при Ронсевале, например, или сказания о битвах микенских ахейцев, легшие в основу троянского цикла)⁸.

Послегомеровский греческий героический эпос строго придерживается мифологической тематики.

Киклические поэмы разрабатывали материал двух мифологических циклов: фиванского (три поэмы, посвященные соответственно трем поколениям героев — история Эдипа, борьба его сыновей за власть над Фивами и поход на Фивы эпигонов)

⁸ Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. С. 62—108. 70

Поэтика прошлого

и троянского ("Киприи" со всей предысторией войны вплоть до первых сражений под Троей; "Эфиопида" с рассказом о двух прибывающих к троянцам подкреплениях и о гибели Ахилла; "Малая Илиада" — от смерти Ахилла до падения Трои, которому специально была посвящена также "Гибель Илиона"; "Возвращения" — о судьбе главных греческих героев, Нептолема, Нестора, Менелая, Агамемнона, по завершении Троянской войны; "Тёлегония" — о приключениях Одиссея, предсказанных ему Тиресием, и его гибели от руки сына). Особой отраслью эпической поэзии были генеалогические поэмы, которые охотно использовал в качестве источника Павсаний. Рядом с гомеровской героической традицией шли гесиодовская, дидактическая и философская — через поэмы Ксенофана, Парменида и Эмпедокла они выходят к астрономическому эпосу Арата и Эратосфена, к медицинскому эпосу Никандра и уже в Риме к философии Лукреция, агрикультуре Вергилия и любовной дидактике Овидия.

Гомеровская традиция на подходе к V в. до н.э. уже прочно вливается в русло авторской поэзии (первым эпическим поэтом не с легендарной биографией можно считать Пиниасиса из Галикарнаса, дядю Геродота, автора "Гераклеи" и поэтического повествования об основании ионических колоний), окончательно канонизируется и переживает несколько моментов частичного обновления: сознательную стилизацию Гомера дает в IV в. до н.э. Антимак Колофонский, противопоставляя свою "Фиваиду" гомеровским эпигонам, и в III в. до н.э. — Аполлоний Родосский, противопоставляя свою "Аргонавтику" моде на малые формы эпоса. У Аполлония было немало подражателей, чьи произведения известны в лучшем случае по названиям; в последний раз большой мифологический эпос на греческом языке дает о себе знать лишь на крайнем рубеже античности — в "Деяниях Диониса" Нонна Панополитанского.

Даже при крайней степени недоверия к мифу никто в эпоху античности не сомневался в исторической реальности его героев из мира людей — таких, как Геракл, Тёсей, Ахилл, Ромул⁹. Из эпоса, поэтому, можно было добывать исторические сведения; надо было лишь провести разделение между тем, что правдоподобно и сообразно с природой, тем, что вообще возможно, но маловероятно (вроде непосредственного вмешательства богов в жизнь людей), и тем, что

⁹ Вен П. Греки и мифология. Опыт о конституирующем воображении. С. 57.

71

Феномен прошлого

представляет собой полный вздор (вроде гигантомахии). Тем более показательно, что условная граница, разделявшая мифологическую и человеческую историю и проходившая где-то рядом с окончанием Троянской войны, сохраняла, по крайней мере, для эпических поэтов, существенное значение. Для историков ее нет вообще: они без всякого затруднения переходят от мифических генеалогий к легендарным и собственно историческим. Поэты явно отдают предпочтение мифу и на почву истории вступать опасаются. Херил Самосский, живший в конце Пелопонесской войны и воспевший в своей "Персеиде" победу греков над Ксерксом, т.е. события чуть более чем полувековой давности, составляет очевидное исключение.

При этом никакого принципиального запрета на сочинение поэм с историческим и даже современным сюжетом не было. Плутарх, к примеру, рассказывает (Лисандр, 18) о двух увивавшихся вокруг спартанского полководца поэтах, каждый из которых сочинил поэму о его подвигах (правда, эти "Лисандрии" могли быть чем-то вроде эпиграмм). Запрета не было, но не было и поэм (а ведь "Персеида" Херила исполнялась публично по решению афинского народного собрания). Мало было и поэм не с таким откровенно современным сюжетом, как "Персеида", но все же переступавших границу мифологического времени — наподобие поэмы Риона Критского (III в. до н.э.), описавшего легендарные войны Мессении против Спарты в VII в. до н.э.

Она до нас не дошла, но Павсаний приводит ее довольно подробный пересказ, причем, что характерно, выбирая наиболее достоверный источник, отдает предпочтение поэме Риона перед прозаическим сочинением (т.е. во всяком случае не поэмой) Милона Приенского (Описание Эллады, IV, 6). По этому пересказу довольно трудно судить, сколь велики были поэтические вольности, которые позволял себе Рион, обрабатывая материал исторического предания, и главная из них — чудесное, та вольность, которую с некоторыми оговорками дозволил поэту, и эпическому поэту в особенности, Аристотель (Поэтика, 1460a10—20), но за которую его особенно рьяно бранили гиперкритики. В тексте Павсания, опирающегося на Риона, есть лишь одно чудо: Аристомена, главного героя второй мессенской войны и поэмы Риона, спасает орел, когда спартанцы сбрасывают его в пропасть (причем, рассказывая об этом, Павсаний прямо ссылается на "прославляющих его деяния" — Описание Эллады, IV, 18). Может быть, конечно, Павсаний все "немыслимое" попросту устранил (критикует Риона он лишь однажды, за

72

Поэтика прошлого

путаницу в генеалогии — IV, 15, 2), но странно в таком случае, что в рассказе о первых годах войны, до битвы у "Великого рва", с которой начинается поэма Риона, чудесного много больше (рождение Аристомена от дракона, подвиги, превосходящие силы обычного человека, потеря и обретение щита, призрак Елены и Диоскуров).

О том, как дело обстояло с чудесным в "Персеиде" Херила, сказать вообще ничего нельзя: единственное, что от нее сохранилось, — это отрывок из вступления, в котором поэт оправдывает выбор предмета тем, что все остальные уже разобраны. Но вряд ли трудности с введением "божественного аппарата" в исторический сюжет порождали трудности с использованием самих исторических сюжетов; во всяком случае, никаких затруднений в этом не будут испытывать ни Эний, ни Силий Италик. Видимо, главной причиной предпочтения, отдаваемого мифологическим сюжетам, надо считать традицию: новое искали не в новых темах, а в темах редких и трудных и в особой их обработке (кстати, именно в таком смысле допустимо толковать вступление к "Персеиде")¹⁰.

Что касается трагедии, то в этом жанре возможен был даже вымышленный сюжет (правда, нам известен лишь один такого рода пример — "Цветок" или "Анфей" Агафона), а взятых из современной истории было несколько больше, чем в эпосе. Еще до "Персов" Эсхила Фриних поставил "Взятие Милета" и "Финикиянок". "Взятие Милета" с рассказом о судьбе союзного Афинам города, всех жителей которого персы обратили в рабство, так потрясло зрителей, что на Фриниха наложили крупный штраф, а дальнейшие

постановки его трагедии запретили (Геродот, VI, 21). Вряд ли, однако, именно опасения вызвать такой сильный катарсис (по словам Геродота, все зрители в театре залились слезами) определяли сюжетные предпочтения трагедографов (хотя в "Финикиянах" Фриних предпочел изобразить скорбь персов после поражения при Саламине, и в этом, т.е. в переносе страдательной роли на сторону военного противника, за ним последовал Эсхил). Скорее всего, для трагедии были действительны те же причины, что и для эпоса: высшее искусство трагического поэта видели не в способности возвести к поэзии новый сюжет, а в умении по-новому обработать традиционное, и к тому же многократно использованное

¹⁰ Гринцер Н.П., Гринцер П.А. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. С. 246.

73

Феномен прошлого

предшественниками, сказание. Хотя Аристотель в принципе допускает использование новых и даже вымышленных сюжетов, но вынужден признать, что на деле этого не происходит: "лучшие трагедии держатся в кругу немногочисленных родов — например, об Алкмеоне, Эдипе, Оресте, Мелеагре, Фиесте, Телефе" (Поэтика, 1453a15).

После "Персов" современная история из трагедии уходит, у Софокла и Еврипида нет ни одной трагедии на современную тему. В постклассический период сюжетная изобретательность трагедографов проявлялась в игре с мифологическим сюжетом или в использовании редкого варианта мифа (Антигона, к примеру, не погибает, а Медея не убивает своих детей) — обычай, решительно осужденный тем же Аристотелем ("нельзя разрушать сказания, сохраненные преданием, такие, как смерть Клитемнестры от руки Ореста или Эрифилы от руки Алкмеона" — Поэтика, 1453b20). Исторические сюжеты возвращаются в эллинистической трагедии, отчасти, возможно, как дань архаи-зиторским вкусам эпохи: трагедия на тему геродотовского рассказа об убийстве лидийского царя Кандала его телохранителем Гигесом (события VII в. до н.э.), "Фемистокл" и "Ферейцы" (о событиях V—IV вв. до н.э.), "Кассандреида" (о недавних событиях).

В Риме собственная традиция словесности, в том числе эпическая и драматическая, только начинала складываться, когда была оборвана или оттеснена на периферию импортом греческих литературных форм. Эпос и трагедия перенесены в Рим из Греции, и эллинский образец определяет в них многое, тематику в том числе. Римская трагедия в основной массе остается мифологической, и поскольку своей сюжетно разнообразной мифологии Рим не имел, то и трагедия обращалась за сюжетами к Греции (явно предпочитая троянский цикл и сказания, с ним связанные, — в память о легендарных греческих корнях Рима). Среди римских трагедий есть и посвященные римской истории, так называемые претексты — истории как легендарной ("Ромул" Невия, "Сабинянки" Энния, "Брут" Акция), так и едва ли не вчерашнего дня ("Кластидий" Невия — о победе Марцелла над галлами в 222 г. до н.э.; "Амбракия" Энния — о взятии Марком Фульвием Нобилиором в 189 г. до н.э. города Амбракия, входившего в Этолийский союз, Энний был личным участником осады; "Павел" Пакувия — о победе

74

Поэтика прошлого

Эмилия Павла при Пидне в 168 г. до н.э., "Октавия", долгое время приписывавшаяся Сенеке, — о Нероне). Лишь одна из нам известных претекст берет в качестве сюжета событие, среднеудаленное во времени (пьеса Акция, жившего во II—I вв. до н.э., о подвиге Деция Муса, датирующемся 295 г. до н.э.). Претекст определенно меньше, чем трагедий на сюжеты из греческой мифологии, но у римлян в отличие от греков историческая тема в трагедии выступает при всей ее относительной маргинальностиTM не как исключение, а как правило".

В эпосе тенденция к освоению национальной тематической предметности выражена еще более определенно. Первым памятником римского эпоса стал перевод "Одиссеи", но уже второй римский поэт, Гней Невий, пишет "Пунийскую войну" — о противоборстве Рима и Карфагена, начиная с Дидоны и Энея и кончая победой Рима в Первой Пунической войне (в которой сам Невий принимал участие). "Анналы" Энния — это поэтическое изложение римской истории от Энея до современности (причем автор, уже завершив поэму в соответствии с первоначальным замыслом, прибавлял к ней все новые и новые книги по мере накопления материала, т.е. по ходу самой истории)¹². Эта эпическая тема найдет высшее художественное выражение в "Энеиде" Вергилия, в рассказе о судьбе легендарного родоначальника, взятой в перспективе исторической судьбы и исторической миссии римского народа (к такому повороту темы Вергилий, что показательно, пришел от первоначального замысла анналистической поэмы в духе Энния о войнах Октавиана Августа). Продолжают магистральную линию римского эпоса "Фарсалия" Лукана (о гражданской войне Цезаря и Помпея) и "Пуника" Си-лия Италика (о войне с Ганнибалом), рядом с ней идет восходящая к Гесиоду дидактика, которая на своем пике дает мирообъемлющий эпос Лукреция и три поэтико-дидактических экскурса в главные сферы жизни — природу ("Георгики" Вергилия), поэзию ("Послание к Пизонам" Горация) и любовь ("Наука любви" Овидия). Прямое обращение к греческой мифологической сюжетности ("Аргонавтика"

" Ни один из заметных римских трагиков мимо этого поджанра не прошел: из трагедий Гнея Невия известно по заглавиям около десяти, из них две претексты; двадцать два заглавия у Квинта Энния и также две претексты; одна из тринадцати у Марка Пакувия; две из более чем сорока у Луция Акция. До нас дошла только "Октавия".

¹² Тринадцатая и четырнадцатая книги посвящены войне с Антиохом, пятнадцатая — войне с Этолийским союзом, шестнадцатая — Цецилию Тевкру.

75

Валерия Флакка, "Фиваида" и "Ахиллеида" Стация) выглядит по отношению к этим линиям боковым ответвлением. Даже в чисто мифологическом эпосе Овидия присутствует идея преодоления природного хаоса и выявления провиденциальной миссии Рима и смысла мировой истории¹³. Завершает историю римского эпоса на рубеже IV—V вв. Клавдий Клавдиан: если его египетский земляк и современник Нонн Панополитанский в соответствии с греческой традицией создает мифологический эпос с мистическим сюжетом, то Клавдиан, отдав дань мифологии в незаконченном "Похищении Прозерпины", основные усилия направляет на риторическую обработку истории, причем истории современной — сопровождает панегириками чуть ли не каждый консульский год (например, "Панегирик на четвертое консульство Гонория Августа"), воспекает успехи римского оружия в борьбе против африканских мятежников ("О войне с Гильдоном") и вторгнувшегося в Италию Алариха ("О войне с готами"). Клавдиан найдет последнего продолжателя в лице Крескония Кориппа, автора "Иоаннеиды", поэмы о победе войск императора Юстиниана над берберами.

Если в Греции особый статус эпической темы обеспечивался временной и ценностной дистанцией, то в Риме ввиду отсутствия или необязательности таковой его приходилось поддерживать другими средствами. Одним из этих средств был сам жанровый канон, отступления от которого воспринимались как прямая измена поэзии. Лукан в "Фарсалии" отказался от мифологического арсенала ради исторической точности (известно, что он опирался на несохранившиеся книги Тита Ливия, его поэму даже сейчас используют как исторический источник). Эта его новация была встречена с недоумением, во всяком случае, и современники, и даже совсем отдаленные потомки сомневались в поэтической допустимости подобного отхода от традиции. Квинтилиан колебался, к какому лагерю — ораторов или поэтов — следует причислить Лукана (Воспитание оратора, X, 1, 90); комментатор Вергилия Сервий отказывался признавать Лукана поэтом, полагая, что он сочинил историю, а не поэму¹⁴.

"Кнабе ГС. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М: Индрик, 1993. С. 296.

"Петровский Ф.Ф. Марк Анней Лукан и его поэма // Лукан Марк Анней. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне. М.: Ладомир — Наука, 1993. С. 282. Еще в XVI в. Жак Пелетье требовал лишить автора "Фарсалии" звания поэта за то, что тот, в отличие от Гомера и Вергилия, не изменил естественный порядок событий. Отзвуки этой многовековой критики слышатся даже во "Взгляде

76

Один из персонажей "Сатирикона" Петрония, поэт Евмолп, критикует поэмы о гражданской войне, созданные "без достаточных литературных познаний". По общему мнению, объектом критики является именно "Фарсалия". "Ведь дело совсем не в том, чтобы в стихах изложить факты — это историки делают куда лучше; нет, свободный дух должен устремляться в потоке сказочных вымыслов по таинственным переходам, мимо святилищ богов, чтобы песнь казалась скорее вдохновенным пророчеством иступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями" (Сатирикон, СХVIII). Евмолп даже дает свой вариант поэмы на тот же, что и у Лукана, сюжет — как бы концепт эпоса всего в триста строк (видимо, пародийный), где есть и Дит, вещающий из усыпанного пеплом зева, и беспечная Фортуна, и источающий яд из пасти Раздор, где руку Цезаря держат Диона, Афина Паллада и Ромул, "бряцающий дротом огромным", а на помощь Помпею спешат Фебея, Феб и Меркурий. Все как в "Илиаде", только мифология окончательно превратилась из содержания поэзии в ее язык.

В Средние века, сразу по выходе из "темных" столетий, вместе с возрождением латинской поэтической традиции возродился и эпос — в панегирической редакции, приданной ему последним великим римским эпиком, Клавдианом. Как в Риме, он был в основном историческим; в отличие от древнеримской традиции (но в согласии с Клавдианом), брал в качестве материала в основном ближайшую или прямо современную историю. Начало положили поэты Каролингского возрождения, авторы нескольких поэм о походах и битвах Карла Великого. Ангильберту, самому известному из поэтов, входивших в палатинскую академию, принадлежат поэмы о разгроме аваров и о конкордате, заключенном Карлом и папой римским Львом III. В IX в. эту традицию продолжил "Прославлением Людовика" Эрмольд Нигелл и затем закрепили многочисленные "деяния" королей и императоров ("Деяния императора Беренгария", "Деяния Отгона" Хротсвиты Гандерсгейм-ской, "Деяния Фридриха" и пр.).

на эпические поэмы" Хераскова ("«Фарсалию» многие нарекают газетами, пышным слогом воспетыми").

77

Особого расцвета этот вид эпоса, располагающийся на стыке хроники и панегирика, достиг в Италии XII в., где наряду с поэмами, прославляющими великих мира сего ("Деяния Роберта Гискара" Вильгельма Апулийского, "Жизнь графини Матильды" Донизона Кану-зинского, "Книга о делах сицилийских" Петра Эболийского), впервые появляются стихотворные повествования, главным героем которых выступает герой коллективный, коммуна — "Песнь о победе пизанской" (победа, одержанная пизанцами и генуэзцами над африканскими пиратами в 1085 г.), "Книга Майоркская" (победа пизанцев над сарацинами на Майорке в 1114—1115 гг.), "О войне Милана с Комо" (война 1118—1127 гг., закончившаяся разрушением Комо), "О разрушении Милана" (осада Милана Фридрихом Барбароссой в 1162 г.).

Кроме истории политической материал средневековой латинской эпической поэзии поставляла история религиозная (стихотворные переложения агиографических сочинений и поэмы об основании монастырей —

можно вспомнить хотя бы поэму о Йоркском монастыре Алкуина или "Начала Гандерсгеймской обители" Хротсвиты). Что касается истории легендарной, то тут на первом месте была, разумеется, Библия и библейские апокрифы. Начало этой эпической традиции было положено еще в поздней античности (Ювенк в IV в., Целий Седулий в V в., Аратор в VI в.), и она продолжалась на всем протяжении Средневековья (в XII в. можно указать на поэму о Пилате, приписываемую Петру Пиктору, на поэму об Иуде, на "Аврору, или Писание в стихах", огромный свод стихотворных пересказов Библии, принадлежащий Петру Риге). В античной истории ряд тем был закрыт известными и почитаемыми в Средние века Вергилием, Луканом и Стацием — соперничать с ними средневековые поэты не помышляли. Но Гомера они не знали, поэтому Троянская война, о которой было известно по прозаическим повестям Диктиса и Дарета и по "Латинской Илиаде", дала материал для нескольких поэм (в том же XII в. — Иосиф Иксанский, Петр Санктонский и Симон по прозвищу "Золотая коза"). На стыке легенды и истории возникли в XI в. "Жизнь Магомета" Эмбрихо-на Майнцского (где заглавный персонаж рисуется самыми черными красками) и в XII в. "Александрейда" Вальтера Шатильонского (где автор не следует за популярной в Средние века романизированной версией биографии Александра Македонского, восходящей к Псевдо-Каллисфену, предпочитая опираться на более достоверные исто-

78

Поэтика прошлого

рические источники — в основном на Квинта Курция). Некоторые латинские поэмы берут свой материал из народных эпических сказаний; первым в этом ряду стоит "Вальтарий" (IX в.), где персонажи и сюжеты южнонемецкого эпического цикла, к которому восходят древнеанглийская поэма о Вальдере и исландская "Сага о Тидреке", обрабатываются в стиле вергилиевского эпоса. На фоне всеобщей популярности каролингского цикла возникла латинская "Песнь о предательстве Гвенона", в XIII в. Эгидий Парижский переложил в стихи хронику Псевдо-Турпина, а Одон Магдебургский — шпильманский эпос о герцоге Эрнсте.

Значительным авторитетом в эпоху, склонную к нравоучительству и морализации, пользовался дидактический эпос, в традиции которого Средние века произвели лишь одну значительную революцию — выдвинули на первый план аллегорическую поэму. Но еще больший инновационный потенциал заключала в себе поэма неизвестного автора, написанная (но недописанная до конца) в южногерманском монастыре в первой половине XI в. и не получившая никакого отклика в дальнейшей латинской традиции: "Руодлиб" представляет собой первое в европейской литературе стихотворное эпическое произведение с вымышленным сюжетом (комбинирующим дидактические, рыцарские и сказочные элементы), который не вписан ни в исторический, ни в псевдоисторический, ни в мифологический контекст. В сущности, это первый опыт рыцарского романа за век до его фактического возникновения.

Эволюция средневекового новоязычного эпоса (в первую очередь французского и немецкого), возникшего, как уже говорилось, на почве исторического предания, шла в направлении все большего отхода от исторической основы и все более активного сотрудничества с жанрами, ориентированными на художественный вымысел. Особенно показательна в этом отношении так называемая жеста Крестовых походов. Самые ранние ее памятники ("Песнь об Антиохии" и "Песнь об Иерусалиме" в версии Ришара Пилигрима) созданы в начале XII в., непосредственно по следам Первого Крестового похода, участником которого был их автор, и переработаны в конце века Грендором из Дуэ. Предположительно он же дополнил цикл поэмой "Пленники": ее сюжет, локализованный в интервале между осадой Антиохии и осадой Иерусалима и не имеющий никакой исторической основы, составляют типично сказочные приключения (битвы с великанами и чудовищами) пяти французских рыцарей. Затем, уже в XIII в., у героя

79

Феномен прошлого

Поэтика прошлого

Первого Крестового похода Готфрида Бульонского появилась эпическая биография (с ее главной фазой, героическим детством — "Отрочество Готфрида") и развернутая эпическая генеалогия (группа поэм о деде Готфрида, Элиасе, или Рыцаре с лебедем, где уже полностью доминируют сказочные мотивы и ходы — оставление детей в лесу, воспитание на стороне, зооморфные превращения, волшебные помощники, брачные запреты)¹⁵.

Ход и направление этой эволюции совершались под прямым влиянием вновь возникшего эпического жанра — рыцарского романа. В поисках своего жанрового лица роман прошел через стадию обработки исторических или псевдоисторических сюжетов. Многочисленные версии "Романа об Александре" (французские — фрагмент, сохранившийся от поэмы Альберика из Безансона, анонимная поэма середины XII в., созданная при дворе Альеноры Аквитанской, романы Александра де Берне, Ламберта-ле-Торта, Пьера де Сен-Клу; немецкие — "клирика Лампрехта", Рудольфа Эмского; испанские, английские) опираются, в отличие от "Александрейды" Вальтера Шатильонского, на традицию, восходящую к Псевдо-Каллисфену (Юлий Валерий, "История сражений" архипресвитера Льва). Из повестей Диктиса и Дарета исходит в своем "Романе о Трое" Бенуа де Сент-Мор. Новоязычные авторы, не в пример латинским, не считали непозволительным обрабатывать те же сюжеты, что Вергилий и Стаций (французские "Роман о Фивах" и "Эней", "Роман об Энее" Гён-риха фон Фельдеке). "Предроманная" специфика этих произведений заключается в резком увеличении удельного веса любовной тематики — первый шаг к открытию

"внутреннего человека", сделанного уже жанровой классикой. В "Романе о Трое" подробно разработаны коллизии, связанные с любовными треволнениями Медеи и Поликсены, а любовный треугольник Трои — Бризеида — Диомед, рожденный воображением Бенуа де Сент-Мора, дал начало популярному в дальнейшей эпической и драматической поэзии сюжету (Боккаччо, Чосер, Шекспир); в "Энее" центральное место занимает изображение любви заглавного героя и Лавинии (что не имеет никакой опоры в "Энеиде" Вергилия, где Эней и Лавиния даже ни разу не встречаются).

¹⁵ Михайлов А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики и стилистики. М.: Наследие, 1995. С. 86—89.

Рыцарский роман и в дальнейшем уделял некоторое, все более слабеющее внимание чисто декоративным греческим ("Атис и Про-филиас" Александра де Берне, где Афины, в которых правит Тесей, осаждают римское войско; "Ипомедон" и "Протесилай" Гуона де Ро-теланда) и византийским темам ("Ираклий" Готье из Арраса, "Кли-жес" Кретьена де Труа), но его главный сюжетный исток представлен кельтским эпосом, который сохранился в форме богатырской сказки, и именно так, как резервуар сказочных сюжетов, был воспринят французскими романистами. Еще один источник романов бретонского или артуровского цикла — "История бриттов" Гальфрида Монмутского, в которой валлийские легенды о племенном вожде были включены в полуфантастическую историю английского королевства. Дополнительный псевдоисторический ориентир был установлен Робертом де Вороном, который в своем "Романе о Граале" связал историю мистической чаши со страстными эпизодами евангелий, а житие ее первого хранителя Иосифа Аримафейского — со взятием Иерусалима войсками Вес-пасиана.

Эти слабые привязки к внелитературной реальности сохранялись и в дальнейшем, время от времени даже усиливаясь, но какой-либо конструктивной роли не играли никогда. Почти каждый автор романа считает необходимым соотнести действие своего произведения с некоторой легендарной хронологией или генеалогией (скажем, Гарей Родригес де Монтальво объявляет английского короля, при дворе которого размещает действие своего "Амадиса Гэльского", далеким предшественником короля Артура), но принципиальная вымышленность самого сюжета уже со времен Кретьена де Труа утверждается в качестве неписаного жанрового закона. К такому же итогу пришел эпический в своей основе каролингский цикл: в романических поэмах Боярдо и Ариосто самые фантастические моменты повествования сопровождаются бурлескными ссылками на исторический авторитет (в качестве такового выступает, как правило, архиепископ Турпин, один из персонажей "Песни о Роланде" и легендарный автор "Истории Карла Великого"). Из неразличения вымысла и реальности выводит основную коллизию своего романа Сервантес. Средневековая драма появилась на свет вне какой-либо связи с традицией драмы античной, но в ней тем не менее спонтанно выявились, по отношению к изображаемому времени, аналогичные жанровые дистрибуции. Литургическая драма, развившаяся из католическо-

80

81

Феномен прошлого

го богослужения, обрабатывала в основном библейские сюжеты: в первую очередь евангельские, приуроченные к Рождеству (о поклонении пастухов и волхвов, об избииении младенцев) и Пасхе (страстные, о посещении Гроба, о хождении в Эммаус), в меньшей степени — ветхозаветные (об Иакове, Иосифе, Данииле). Небольшая группа представлена действиями на житийные темы (о св. Николае). В дальнейшем из этих разделов литургической драмы выросла мистерия, охватывающая весь материал Священной истории, от Сотворения мира до Страшного суда, и миракль, бравший свои сюжеты преимущественно из агиографической традиции. По тематической избирательности средневековая религиозная драма вполне сопоставима с древнегреческой трагедией: и та, и другая имеют дело с прошлым, наделенным авторитетом одновременно истинности и сакральности и как таковое противопоставленным вымышленному настоящему аттической комедии или фарса. Единственный на всем протяжении Средних веков опыт драматической обработки актуального исторического сюжета представлен "Эцеринидой" (1315) Альбертино Муссато: несмотря на программную установку на подражание трагедиям Сенеки, в ней преобладают нарративные структуры¹⁶, тем самым она примыкает к той традиции исторического эпоса, которая была особенно популярна именно в Италии.

Начиная с Возрождения четыре века европейской литературной истории прошли под знаком абсолютного доминирования заданного античной словесностью образца, чей авторитет не могли существенно поколебать отдельные полемические выпады (наподобие совершенного французскими "новыми"). Это же время означено возникновением нормативной поэтики (в античности поэтика была описательной и оперировала не правилами, а корпусом образцовых текстов; в Средние века появилась нормативная поэтика, но она обслуживала почти исключительно школьную практику) — в рамках этой дисциплины было впервые после Аристотеля проблематизировано отношение между историей и поэзией.

* Андреев М. Л. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (X—XIII вв.). М.: Искусство, 1989. С. 37—38.

82

Поэтика прошлого

Для Аристотеля, чей трактат о поэтическом искусстве был в XVI в. возведен в ранг филологической Библии, история и поэзия различаются не только по форме, но и по сути: история — это рассказ о частном, поэзия —

об общем. С освоением этого аристотелевского положения поэзия была выведена из подчинения другим наукам: еще Петрарка и Боккаччо, даже присваивая поэзии наивысший иерархический статус, полагали, что она имеет дело с теми же истинами, что и философия, и отличается от нее лишь языком. Особый поэтический язык, который на всем протяжении античности и Средневековья считался главным дифференцирующим признаком поэзии, оказался отодвинут на второй план. На первый выдвинулось содержание поэзии, и в связи с этим потребовалось определить его отношение как к философским предметам (памятуя о том, что Аристотель отказал в звании поэта Эмпедоклу), так и к предметам историческим (памятуя о том, что Аристотель отказался считать поэтом Геродота, даже пишущего стихами). Лудовико Кастельветро, автор первого новоязычного комментария к "Поэтике" Аристотеля (1570), жестко развел по предмету поэзию и прочие науки, изгнав из поэтического сообщества не только Гесиода, Эмпедокла и Лукреция, но и Лукана с Сицием Италиком. Поэтическая материя, по его суждению, должна быть подобна исторической, но ни в коем случае не должна быть ей тождественна. Сфера истории — истинное, сфера поэзии — возможное. В то же время, если фабула комедии вся состоит из возможных событий, то фабулы трагедии и эпопеи включают наряду с возможными событиями также и те, что случились на самом деле. Недопустимо, к примеру, придумывать исторических персонажей, никогда не существовавших, или приписывать существовавшим деяния, ими не совершавшиеся. Недопустимо вообще делать предметом эпического или трагедийного повествования события, не имевшие места в истории — вымысел дозволен только при изображении особого порядка этих событий. Если из истории известно не только событие, но и то, как оно происходило во всех подробностях, то это событие поэзии уже не подходит¹⁷.

Аристотель, как уже говорилось, не считал необходимым в трагедии "во что бы то ни стало гнаться за традиционными сказаниями",

¹⁷ Кастельветро Л. "Поэтика" Аристотеля, изложенная на народном языке и истолкованная // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 82—84, 95—98.

83

Феномен прошлого

объясняя это тем, что "известное известно лишь немногим" (Поэтика, 1451B25). Кастельветро согласен, что с историей знакомы далеко не все зрители, но настаивает, что нет такого зрителя, который не был бы разочарован, узнав, что его обманули ("так человек, обладающий драгоценностью и считающий ее подлинной, радуется, а узнав, что она поддельна, огорчается"). Соответствие истине необходимым образом участвует в создании эстетического эффекта. У других авторов могли быть другие аргументы¹⁸, но так или иначе, начиная с XVI в. сложилось влиятельное поэтологическое направление, сторонники которого полагали, что эпос и трагедия должны в обязательном порядке опираться на исторические сюжеты.

Сторонники другого направления (Джиральди Чинцио и Джо-ванни Баггиста Пинья, участники спора об Ариосто и Тассо в Италии, Бальтасар Грасиан в Испании, Пьер Даниэль Юэ во Франции), ссылаясь на всеобщую популярность таких произведений, как "Влюбленный Орландо" Боярдо, "Неистовый Орландо" Ариосто, многочисленное семейство испанских романов, порожденных "Амадисом", отстаивали допустимость вымышленных сюжетов в эпическом повествовании. В теории постепенно складывалась, по отношению к эпосу, система двустороннего равновесия, подобная той, что давно сложилась в драме, но для того чтобы между эпосом и романом установилась столь же четкая бинарная оппозиция, как между трагедией и комедией, необходимо было противопоставление "истинность — вымысленность" дополнить противопоставлением "прошлое — настоящее". Но этот шаг сделала не теория.

Эпос на этом заключительном этапе эпохи так называемого риторического традиционализма держался в основном материала исторического или религиозного предания. Античная мифологическая тематика, как правило, удерживается в границах эпиллиев ("Геро и Леандр" Марло, "Венера и Адонис" Шекспира, "Андромеда", "Филомена", "Цирцея" Лопе де Вега) и если проникает в большую эпическую форму, то как дань барочной причудливости вкуса (самый яркий пример — Корнель, например, считал, что без исторического авторитета невозможно введение в трагедию неправдоподобного, которое, однако, необходимо для достижения трагического эффекта (неправдоподобно, но засвидетельствовано историей то, что Медея убивает своих детей, Клитемнестра — мужа, а Орест — мать) (см.: Корнель П. Рассуждения о полезности и частях драматического произведения // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. С. 361—362).

84

Поэтика прошлого

мер — "Адонис" Джамбаттисты Марино). Довольно значительно число эпосов на библейские темы, среди которых преобладают относящиеся к первотворению ("Бытие" Аретино, "Неделя" Дю Бартаса, "Сотворение мира" Тассо, "Потерянный рай" Мильтона) и к жизни Христа ("Девственное рождение" Саннадзаро, "Христиада" Марко Джироламо Види, "Человечность Христа" Аретино, "Избиение младенцев" Марино, "Иоанн Креститель" Вондела, "Возвращенный рай" Мильтона, "Мессиада" Клопштока). Другие библейские темы встречаются реже ("Иосиф" Джироламо Фракасторо, "Юдифь" Дю Бартаса, "Давидеида" Авраама Каули, "Спасенный Моисей" Сент-Амана, "Поэма о Ное"

Брейтингера).

В историческом разделе актуальную тематику разрабатывают продолжающие клавдиановскую традицию панегирические эпосы (начало которым кладут итальянские гуманисты своими "Сфорциадами" и "Борсиадами") — их полной трагестией являются своеобразные эпические треносы (Агриппа д'Обинье с его "Трагическими поэмами" — о религиозных войнах во Франции, Мартин Опиц с его "Словом утешения среди бедствий войны" — о Тридцатилетней войне, Вольтер с "Поэмой о разрушении Лиссабона"). Но явно лидируют поэмы, ориентированные на гомеровско-вергилиевскую модель и обращенные к наиболее значительным событиям национальной или общеевропейской истории: "Африка" Петрарки (о Второй Пунической войне), "Италия, освобожденная от готов" Джан Джордже Трессино (о войнах Юстиниана с остготами), "Лузиады" Камозенса (история Португалии, встроенная в рассказ о плавании Васко да Гамы), "Освобожденный Иерусалим" Тассо и "Завоеванный Иерусалим" Лопе де Вега (о Первом Крестовом походе), "Франсиада" Ронсара (о легендарных истоках французского королевства), "Бернардо, или Победа в Ронсевальском ущелье" Бернардо де Вальбуэна, "Трагический венец" Лопе де Вега (о Марии Стюарт), "Аларих" Жоржа Скюдери, "Девственница" Шаплена (о Жанне д'Арк), "Хлодвиг" Сен-Сорлена, "Генриада" Вольтера (о Генрихе IV), "Петриада" Кантемира, "Петр Великий" Ломоносова, "Россиада" Хераскова (о покорении Казанского царства). В трагедии этих трех веков изображаемое прошлое выступает во всех его известных эпосу видах (античный миф, античная, библейская, национальная история), к которым добавляются полувывымышленные восточные сюжеты и даже прямой вымысел. Частотность

85

Феномен прошлого

этих сюжетов в национальных драматических традициях сильно колеблется. В ренессансной Италии, вернувшей этот жанр к актуальному бытию, первое место принадлежит античности ("Софонисба" Трессино, "Орест" Джованни Ручеллаи, "Дидона в Карфагене" Алессандро Пацци, "Гуллия" Лудовико Мартелли, "Дидона" и "Клеопатра" Джиральди Чинцио, "Канака" Спероне Сперони, "Гораций" Аретино, "Дидона" и "Мариамна" Лудовико Дольче, "Меропа" и "Полидор" Помпонио Торелли, "Клеопатра" Джованни Дельфино). Единичными примерами представлены средневековая Италия ("Розамунда" Ручеллаи — на сюжет из хроники лангобардов Павла Диакона, "Виктория" Торелли — о Фридрихе II) и средневековая Европа ("Король Торрисмондо" Тассо с опорой на "Историю северных народов" Олауса Магнуса). Столь же немногочисленны трагедии на библейские темы ("Юдифь" и "Эсфирь" Федерико Делла Балле) и трагедии, использующие актуальный исторический материал (его же "Королева Шотландская" — первый литературный отклик на судьбу Марии Стюарт). Зато неожиданным образом в довольно солидный корпус складываются трагедии с вымышленным сюжетом (Джиральди Чинцио в пяти из семи своих трагедий инсценируют свои же новеллы, Помпонио Торелли в "Танкреде" — новеллу "Декамерона", Луиджи Грото в "Адри" дает первую драматическую версию сюжета Ромео и Джульетты, перенося его в древнюю Италию). Джиральди, одним из первых, если не прямо первым (за первенство он спорил со своим учеником Пиньей), выдвинувший тезис о жанровой самостоятельности романа, и для трагедии отстаивал право на совершенную новизну — предмета и персонажей¹⁹.

Похожую картину мы наблюдаем во Франции. Античность, как мифологическая, так и историческая, представлена очень широко: от Этьена Жоделя с его "Плененной Клеопатрой", Робера Гарнье с его "Порцией", "Корнелией", "Марком Антонием", "Троадой", "Антигоной", "Ипполитом" и Антуана Монкретьена с его "Софонисбой" и "Лакедемонянками" до Жана Ротру ("Умиравший Геракл", "Антигона"), Корнеля ("Медея", "Гораций", "Цинна", "Помпей", "Родо-

гуна, Андромеда, Никомед, с»дип, Л-ертории, Софонисба,

86

Поэтика прошлого

"Тит и Береника", "Сурена"), Расина ("Фиваида", "Александр Великий", "Андромаха", "Британик", "Береника", "Митридат", "Ифи-генция", "Федра") и Вольтера ("Эдип", "Семирамида", "Орест", "Олимпия", "Брут", "Смерть Цезаря", "Спасенный Рим, или Каталина"). Библейская и вообще религиозная тематика, хотя присутствует уже с первых шагов жанра ("Неистовый Саул" Жана де Ла Тая, "Еврейки" Гарнье), явно проигрывает: Корнель отдал ей дань лишь "Полиевтком-мучеником" и "Теодорой, девственницей и мученицей", Расин — лишь "Эсфирью" и "Гофолией" (Буало отчасти исходил из уже существующей традиции, отчасти определял ее законы, когда отдавал решительное предпочтение языческой тематике перед христианской). Скучно, как и в Италии, представлена постклассическая история ("Аттила" Корнеля) и легенда ("Брадаманта" Гарнье, "Роланд" Филиппа Кино). В качестве своего рода компенсации отсутствию вымышленных сюжетов французские трагедиографы вводили своих героев на эллинистический, византийский или мусульманский Восток, чья экзотика и отдаленность открывали простор для фантазии: у Корнеля действие "Полиевкта" происходит в Армении, "Родогуну" и "Сурены" — в Селевкии, "Ираклия" — в Византии VII в., "Нико-меда" — в Вифинии; у Расина есть "Баязет" (основанный на событиях всего лишь тридцатилетней давности), у Вольтера — "Заира", "Фанатизм, или Пророк Магомет", "Китайский сирота", "Скифы", "Гебры" (и есть даже "Альзира, или Американцы").

Совершенно иначе складывались отношения со временем в драматургии Испании и Англии. Даже учитывая грандиозный объем литературной, и в частности драматургической продукции Лопе де Вега, все равно поражает число его пьес, посвященных национальной испанской истории, — девяносто восемь, по подсчетам Менендеса Пе-лайо. Она охвачена чуть ли не вся, начиная с того времени, когда Испания была римской провинцией ("Оплаченная дружба" — о восстании кельтиберов). Не забыт и вестготский период ("Жизнь и смерть короля Вамбы", "Последний готский властитель Испании"), но на первом месте реконкиста ("Девы из Симанкас", "Славные астурий-ки", "Граф Фернан Гонсалес и освобождение Кастилии", "Доблестный кордовец Педро Карбонеро" и др.) с характерным вниманием к герою народных романсов и легендарному победителю Роланда при Ронсевале Бернардо дель Карпио ("Юность Бернардо дель Карпио",

87

Феномен прошлого

"Венчание после смерти")²⁰. Не обойдены вниманием и события ближайшей истории ("Саламейский алькальд" исходит из исторического факта, датирующегося походом Филиппа II на Португалию в 1581 г.). Рядом с Испанией другие страны: не только либо близкие, либо интересные испанскому зрителю Португалия ("Герцог де Висое", "Главная добродетель короля"), Южная Америка ("Возвращенная Бразилия", "Новый Свет, открытый Колумбом"), Канарские острова ("Гуанчи из Тенерифе и Завоевание Канарских островов"), Италия ("Великодушный генуэзец", "Королева Хуана Неаполитанская"), Франция ("Орлеанская девственница"), но и такая экзотика, как Албания ("Князь Скандербег"), Венгрия ("Король без королевства"), Чехия ("Императорский венец Оттокара") и даже Россия ("Великий князь Московский, или Преследуемый Император" — о Дмитрие Самозванце). Античность на фоне этой широчайшей исторической панорамы явно проигрывает — восемь пьес на темы античной мифологии и пять пьес на темы античной истории (надо заметить, что испанские драматурги, даже обращаясь к античности, нередко связывали ее с национальной историей — "Нумансия" Сервантеса). Для религиозной тематики был отведен особый драматический жанр — ауто. Помимо аллегорических сюжетов ауто инсценировали сюжеты агиографические и библейские (Священное Писание дало сюжеты двенадцати пьесам Лопе де Вега, жития святых — тридцати одной). Такие резкие диспропорции по отношению к сюжетным обыкновениям итальянской и французской трагедии хотя бы отчасти объясняются отсутствием в испанской драматургии жестких жанровых демаркаций. Здесь не было деления на трагедию и комедию, все типы драматических произведений, как бы далеко они друг от друга ни отстояли, покрывались общим родовым именем комедии — не было, следовательно, и давления жанровой традиции с ее сюжетными предпочтениями. В Англии, где сложилась очень похожая на испанскую ситуация, трагедия также не была отделена от комедии непреодолимой стеной; имелись промежуточные и пограничные формы, а под изображение национальной истории был выделен специальный жанр — хро-

²⁰ Лопе де Вега имел предшественника в лице Хуана де ла Куэва с его "Семью инфантами Лары" и "Бернардо дель Карпио". Тот же Куэва первым обратился к историческим событиям недавнего прошлого — в "Комедии о разграблении Рима, гибели Бурбона и коронации нашего непобедимого императора Карла V" (поставлена в 1579 г., рассказывает о событиях 1527 г.).

88

Поэтика прошлого

ника (history). Уже на раннем этапе становления английской драмы, до "университетских" умов, явственно обозначился ее интерес к национальной истории. "Горбодук", первая английская трагедия, черпает свой материал из хроники Гальфрида Монмутского, которая вновь как бы возвращает себе статус исторического источника — и в дальнейшем национальная легенда, соотнесенная с артуровскими и предарту-ровскими временами, будет исправно поставлять драме свои сюжеты (от "Несчастий Артура" Томаса Хьюза до шекспировского "Короля Лира"). На том же начальном этапе формируется и драматическая хроника, обращенная к более близкой истории — "Славные победы Генриха V" и "Смутное царствование короля Иоанна". Этому жанру отдадут дань и "университетские умы" ("Эдуард Г Джорджа Пила и "Эдуард II" Кристофера Марло), хотя для них он не был на первом месте. Зато Шекспир создал почти исчерпывающую драматическую панораму английской истории конца XIV — начала XV вв., основным содержанием которой были перипетии Столетней войны и войны Алой и Белой розы — в двух тетралогиях, из которых ранняя охватывает события от восшествия на престол последнего Ланкастера до гибели Йорков (три части "Генриха VI" и "Ричард III"), а поздняя — историю первых Ланкастеров ("Ричард III", две части "Генриха IV" и "Генрих V"). Свообразным обрамлением этих тетралогий являются "Король Иоанн" и "Генрих VIII".

Библейская тематика у "университетских умов" была мало популярна (только две пьесы — "Царь Давид и прекрасная Вирсавия" Пила и "Зерцало для Лондона" Роберта Грина). У Шекспира она не представлена совсем²¹. Возможно, это объясняется пуританской оппозицией театру, которая в итоге, после победы революции 1642 г., привела к его запрещению. Античные темы проникают в драму уже в 60—70 гг. XVI в. ("Дамон и Пифий" Ричарда Эдвардса, "Орест" Джона Пи-

²¹ Вообще, если в средневековой некомической драме Библия была единственным источником сюжетов, в литературе последующего периода, если не считать испанцев, она сохраняет заметную роль только у нидерландца Вондела, который

циклом своих трагедий на ветхозаветные темы ("Люцифер", "Адам в изгнании, или Трагедия всех трагедий", "Ной, или Гибель первого мира", "Братья", "Иосиф в Дофане", "Иосиф в Египте", "Иеффай, или Обет жертвоприношения", "Царь Давид в изгнании", "Царь Давид восстановленный", "Соломон", "Адония") может поспорить с масштабами мистерии.

89

Феномен прошлого

керинга, "Аппий и Вергиния" неизвестного автора, "Камбиз" Томаса Престона). Джон Лили в 80-е гг. XVI в. большинство своих комедий строит на античном материале: "Александр и Кампаспа" (источник сюжета — рассказ Плиния об Александре Македонском и Апеллесе), "Сафр и Фашл "Женщина на Луне" (история Пандоры), "Эндими-он", "Мидас", "Метаморфозы любви" (источник — рассказ Овидия об Эрисихтоне и его дочери). В том же жанре работал Джордж Пиль ("Жалоба на Париса", "Охота Купидона"). Античности отдали дань и Томас Лодж ("Раны гражданской войны" — о войнах Мария и Сул-лы) и Марло ("Дидона, царица карфагенская"), и Шекспир ("Юлий Цезарь", "Антоний и Клеопатра"), и Бен Джонсон ("Падение Сеяна", "Заговор Каталины"). После Шекспира эта тематика отходит на задний план и представлена лишь единичными примерами ("Помпеи и Цезарь" Чапмена, "Валентиниан" Флетчера); она начнет возвращаться лишь в конце XVII — начале XVIII в.: "Все за любовь" (об Антонии и Клеопатре) и "Клеомен" Джона Драйдена, "Нерон" и "Луций Юний Брут" Натаниэля Ли, "Аппий и Вергиния" и "Враг своей родины" (о Кориолане) Джона Денниса, "Катон" Джозефа Ад-дисона. Национальной истории составляет конкуренцию зарубежная; младший современник Шекспира Джордж Чапмен, имевший такого предшественника, как Марло с его "Парижской резней" (о Варфоломеевской ночи), создает целый цикл трагедий, посвященных французской истории самого недавнего прошлого — от убийства Бюсси д'Ам-буаза в 1579 г. ("Бюсси д'Амбуаз" и "Отмщение Бюсси д'Амбуаза") до заговора и казни Бирона в 1602 г. ("Заговор Шарля, герцога Бирона" и "Трагедия Шарля, герцога Бирона, маршала Франции") — в последнем случае временная дистанция от факта до его литературного воплощения сокращается до шести лет.

Характерной чертой английской драматургии является разработка таких сюжетов, которые открыто нарушают главное из условий трагедийного правдоподобия, сформулированных Кастельветро:

"недопустимо придумывать никогда не существовавших царей и приписывать им какие-либо деяния, так же как недопустимо приписывать царям существовавшим и прославленным деяния, ими не совершенные" ("Поэтика" Аристотеля, изложенная на народном языке и истолкованная, III, VII).

Начало этому положил своей "Испанской трагедией" Томас Кид. Затем Грин в "Иакове IV" ввел реально существовавшего шотландского короля в мелодраматическую историю, найденную им

90

Поэтика прошлого

среди новелл Джиральди Чинцио (и инсценированную тем же Джиральди в его "Антиваломенах"). Другая новелла Джиральди дала сюжет шекспировскому "Отелло", а новелла Банделло, обработанная в поэме Артура Брука — "Ромео и Джульетте". После Шекспира этот тип трагедии определенно берет верх: "Трагедия девушки" Джона Флетчера и Френсиса Бомонта, "Месть Антонио" и "Ненасытная графиня" Джона Марстона, "Трагедия мстителя" и "Трагедия атеиста" Сирила Тернера, "Белый дьявол" и "Герцогиня Мальфи" Джона Уэбстера. Исторические декорации меняются от пьесы к пьесе (чаще всего Италия, но и древняя Спарта в "Разбитом сердце" Джона Форда и древний Рим в "Римском актере" Филипа Мэссинджера) при том, что их декоративность и псевдоисторичность нимало не скрываются. В "Трагедии мстителя" место действия — дворец никак точнее не обозначенного итальянского герцога, а персонажи носят значащие имена, указывающие на основные черты их характера и одновременно подчеркивающие вымышленность самого сюжета. Драйден в своих "героических драмах" дополнит эту географию Мексикой ("Индийский император, или Завоевание Мексики"), мавританской Испанией ("Завоевание Гранады испанцами"), Индией ("Аурангзев"). В английской драме XVI—XVII вв. есть несколько пьес, которые нарушают еще одно предписание Кастельветро — оно, впрочем, восходит к давней, возникшей уже в античности традиции, согласно которой трагедия и комедия различаются, помимо прочего, и социальным рангом действующих лиц. Уровень трагедии — это те, кто стоят на вершинах власти. "Действующие лица трагедии занимают царственное положение, возвышенны духом, горды, желания их не знают меры, и если им нанесено оскорбление или они полагают, что оно им нанесено, то они не обращаются в суд с жалобой на оскорбителя и не терпят безропотно оскорбление, но сами выносят приговор... и убивают из места и дальних, и близких родичей оскорбителя, а отчаявшись, решаются и на самоубийство" ("Поэтика" Аристотеля, III, IX). В "Ардене из Фавершама" (изд. 1592) его неизвестный автор (которого отождествляли и с Томасом Кидом, и даже с самим Шекспиром), опираясь на исторический факт, почерпнутый из хроники Холлиншеда (и датированный 1551 г.), показывает, что и герои, не занимающие "царственное положение" (герои "Ардена" относятся к среде мелкого провинциального дворянства, а один из протагонистов — даже бывший портной),

91

Феномен прошлого

способны сами вершить приговор. Испанская драма также допускала подобный жанровый демократизм, но у Лопе де Вега арбитрами трагических коллизий, разворачивающихся даже не в дворянской, а в крестьянской среде, неизменно выступают лица, облеченные высшей властью (Фердинанд и Изабелла в "Фуэнте Овехуна", Энрике III в "Периваньесе и командоре Оканьи", Филипп II в "Саламейском алькальде"). Англичане готовы отказаться и от таких, уже чисто внешних, обязательств в отношении жанрового канона. Единственным алиби, оправдывающим погружение в бытовую тематику и в далекую от "царственности" социальную среду, у них остается привязка к историческим фактам (она служила алиби и для Лопе де Вега) или географическая удаленность: в "Сироте" Томаса Отвея (1680) типично английское поместье находится в Богемии.

Только в XVIII в. трагедия решилась на демонстративное, не смягчаемое никакими оговорками изменение своей сословной избирательности. Джордж Лилло в посвящении "Лондонского купца" (1731) открыто заявил о том, что трагедия не обязана заниматься одними монархами и что она нисколько не потеряет своего достоинства, взяв своим предметом обычных людей и условия их жизни. Если у Лилло действие отодвинуто в елизаветинскую Англию, то в "Игроке" (1753) Эдуарда Мура вместе с понижением социального ранга персонажей решительно меняется эпистемологический статус трагического сюжета — им становится вымышленная история из современной жизни. В Германии по пути, проложенному Лилло и Муром, пойдут Лессинг ("Мисс Сара Сампсон"), решительно объявивший, что цель трагедии состоит вовсе не в том, чтобы "хранить воспоминания о великих людях" (это задача истории), и Шиллер ("Коварство и любовь"). Параллельно происходит возвышение комедии, осваивающей идеологически маркированные темы и проблемы (Дидро, Бомарше, Лессинг). В итоге настоящее только теперь начинает освобождаться от своей роковой обреченности комическому регистру, хотя первая попытка была предпринята еще Фринихом, расплатившимся за нее тысячью драхм. Еще более отчетливо выражен этот процесс в истории романа. Традиция рыцарского романа находит прямых продолжателей и прямых оппонентов на исходе Возрождения. Ее продолжает галантно-героический роман, который, активно осваивая исторические или псевдоисторические сюжеты, как бы возвращается к начальной стадии в биографии средневекового рыцарского романа ("Астрея" д'Юрфе,

92

Поэтика прошлого

приуроченная ко времени Меровингов, "Артамен или Великий Кир" и "Клелия" — из древнеримской истории — Мадлены де Скюдери, "Африканская Софонисба" Цезена, "Октавия, римская история" Антона Ульриха Брауншвейгского, "Великодушный полководец Ар-миний" фон Лознштейна). При этом французский прециозный роман изобилует прямыми отсылками к современности, временами превращаясь в нечто вроде закодированной светской хроники. Мадам де Ла-файет, отказываясь в "Принцессе Клевской" от исторической экзотики (но не от самой исторической дистанции — она специально изучала мемуарную литературу, посвященную эпохе Генриха II), от ходоульной героики и от принципа "романа с ключом", развивает элементы психологического анализа, которые содержались в прециозном романе. В то же время, эпические претензии галантно-героического романа снимаются произведениями, имитирующими мемуарный стиль ("Мемуары д'Артаньяна" Куртиля де Сандра и "Мемуары графа де Грамона" Антуана Гамильтона) и акцентирующими скандальную, будуарную, анекдотическую сторону истории²². Испанский плутовской роман прямо оппонирует рыцарскому: вместо сказочного прошлого — бытовое настоящее, вместо королей и рыцарей — низы общества, вместо доблести и высоких чувств — эгоистические страсти и животные желания, вместо благородного героя — плут и мошенник. Галантно-героическому роману противостоит французский комический роман ("Франсион" Сореля, "Комический роман" Скаррона, "Буржуазный роман" Фюретьера) и также посредством перевода содержания романа из высокого регистра в низкий и из прошлого в настоящее — похожим образом (только без переключения временных регистров) в XVII—XVIII вв. высокой эпической поэме противостояла поэма ироикомическая и травестийная (от "Похищенного ведра" Тассони и "Перелицованного Вергилия" Скаррона до "Орлеанской девственницы" Вольтера и "Войны богов" Парни)²³. Но в комическом романе в отличие от комической поэмы, которая полностью исчерпана своими пародийными функциями, совершается постепенное преобразование сущностных жанро-вых характеристик — картина настоящего в его низменности (как

" Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690—1760-х годов. Днепропетровск: Пороги. 1996. С. 23—24.

²³ Ермоленко Г.Н. Французская комическая поэма XVII—XVIII вв.: литературный жанр как механизм и организм. Смоленск, 1998.

93

Феномен прошлого

характеристика содержания) уступает место обыденности (у Фюре-тьера), а маргинальность (как характеристика персонажа) — типу среднего человека, человека как такового (у Сореля и в особенности в "Жиль Блазе" Лесажа). Еще дальше продвигается этот процесс в Англии: у Дефо, Смоллета и Филдинга отмирают последние рецидивы пародийности, однако сохраняется представление о романе как о комической эпопее. Его удается преодолеть, лишь синтезировав психологизм "Принцессы Клевской" и нравоописательность "Буржуазного романа". Момент схождения двух традиций в предельно яркой форме представлен "Манон Леско" аббата Прево, где "в процессе

эволюции персонажей... де Грие... переходит из сферы психологического романа в плутовской и нравоописательный, а Манон, внутренне преображенная, как бы переходит из плутовского романа в психологический"²⁴. У Ричардсона роман окончательно освобождается от ограничений, накладываемых на него принадлежностью комическому регистру, а эпистолярная форма и полное устранение какой-либо бытовой и нравоописательной конкретики закрепляют за романом действующее место в настоящем"²⁵.

Эпос и трагедия, рассмотренные в диахроническом плане, демонстрируют точное соответствие синхроническому описанию содержания литературного произведения, данному еще в эллинистических поэтиках. Они проходят путь от мифа (то, чего не было) к истории (то, что было) и, наконец, к вымыслу (то, чего не было, но могло быть). В Древней Греции предметом изображения является почти исключительно миф, в Древнем Риме история проникает в трагедию и выходит на первый план в эпосе. В Средние века религиозная драма, как бы забыв о пути, проделанном ее античной предшественницей (и она

²⁴ Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. С. 269.

²⁵ Французские романисты словно по инерции, заданной псевдомемуарным романом, отодвигают свои сюжеты на одно-два поколения в прошлое: последние годы правления Людовика XIV или эпоха Регентства у Прево, Регентство в "Заблуждениях сердца и ума" Кребийона-сына, "сорок лет тому назад" в "Жизни Марианны" Мариво.

94

Поэтика прошлого

действительно о ней не помнит), возвращается к мифу, эпос остается преимущественно историческим, но рядом с ним возникает роман как новая эпическая форма, обращенная к сказочному, т.е. вымышленному, прошлому. В литературе Возрождения, классицизма, барокко и Просвещения эпос сохраняет верность историческим и мифологическим сюжетам, тогда как трагедия, не порывая связей с античным или христианским мифом, впервые с такой широтой открывается навстречу истории, впервые допускает использование вымышленных сюжетов и к концу этого периода подходит к изображению вымышленного настоящего.

Трагедия проделала весь путь от мифа к вымыслу и от прошлого к настоящему, имея на всем протяжении этого пути постоянный корректив в лице комедии с ее ориентацией на "то, чего не было, но могло быть" в настоящем. Эпос остановился на этапе исторического сюжета, но у него уже в античности появился незамечаемый или непризнаваемый оппонент или двойник, противопоставивший высокому прошлому мифа и истории свое сказочное прошлое (в рыцарском романе) или свое переведенное в модус комедии настоящее (начиная с пикарески, но и греческий роман при всей своей "некомичности" моделирует основную сюжетную коллизию новоаттической комедии). Роман отчасти повторил и отчасти завершил не пройденный до конца эпосом путь — от сказочности рыцарского романа (которая выступает как вымышленность по отношению к эпосу и как мифологичность по отношению к его собственным будущим формам) через историзм галанто-героического и псевдомемуарного романа к вымышленному настоящему "эпоса частной жизни".

Комедия почти за две тысячи лет не сдвинулась с той позиции в отношении к истине и времени, которую она заняла с Менандром; только в XVIII—XIX вв. она обращается к историческим сюжетам и декорациям (Гольдони в "Мольере" и "Теренции", Скриб в "Бертране и Ратоне, или Искусстве заговора" и в "Стакане воды", Островский в "Воеводе" и "Комике XVII столетия", Аверкиев в "Фроле Скабее-ве"). Эпос и трагедия шли ей навстречу: когда им удалось присвоить и освоить ее время и ее истину, не нуждающиеся для своего оправдания в санкции со стороны мифологического или исторического авторитета, это позволило окончательно снять дихотомию трагедийного и комедийного в предмете и формах литературной репрезентации.

95

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОШЛОГО В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

А.Ф. Филиппов

В социальных науках распространено воззрение на темпоральные структуры общества как на его собственные конструкции. Это означает, что прошлое является конструктором. В социальных науках также распространено воззрение на общество как на систему или сеть коммуникаций. Это значит, что социальные конструкторы возникают в коммуникации. Прошлое, таким образом, конструируется в

коммуникации. В прошлом имели место события и процессы, к прошлому отсылает нынешнее существование социальных систем, институтов и структур. В данной статье мы сосредоточиваем внимание на определении и анализе понятия "конструкция прошлого" в связи с понятием "событие", поскольку, с одной стороны, это последнее имеет широкое хождение в исторической науке, а с другой — рассматривается некоторыми видными социологами (прежде всего, Н. Луманом) как базовый элемент социальности. Говоря о событии как элементе социальности, мы без дальнейших обоснований выбираем основную интуицию наших описаний социальности: это интуиция социального как дискретного. Тем самым отнюдь не утверждается особого рода онтология социальности. Мы говорим лишь о том, как она может быть дана научному мышлению, оперирующему четкими и, по возможности, однозначными понятиями.

Событием будет называться смысловой комплекс, означающий соотношение акту наблюдения единство. В этот смысловой комплекс

96

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

входит *свершение в пространстве и времени*. Событие идентифицируется наблюдателем как нечто *совершающееся* (т.е. происходящее) и *свершившееся* (т.е. имеющее внятную для наблюдателя завершенность, позволяющую отделять его от прочих событий). Единству времени, в течение которого событие сохраняет свою тождественность (момент совершения события), соответствует единство пространства (место совершения события). Как время, так и пространство события идентифицируются в некоторой системе координат или в рамках взаимосвязанной совокупности однородных моментов и мест.

Временной характер события предполагает различие "прежде" и "после". Событие происходит, собственно, в интервале между "со-бытием-прежде" и "событием-после", которые не могут принадлежать длительности события, потому что оно, по определению, не включает иные события. Однако, будучи не мгновенным, но длительным, оно предполагает возможность различия "прежде" и "после" в нем самом. Это хорошо понимал Георг Зиммель. В докладе "Проблема исторического времени"¹ он говорил:

"То, что событие, значимое для нас как предельный познаваемый исторический элемент (т.е. части его не обнаруживают для нас содержательно детерминированного «прежде» и «после» и не заменяются в этом смысле переплетением с иными, чуждыми ему рядами), — что такое событие имеет временное протяжение, исторически совершено безразлично, ибо продолжительность, которая не важна, все равно, какой она величины, практически не есть продолжительность. Такое событие есть исторический атом, а значение именно исторического оно обретает исключительно в силу того, что ...является более поздним, чем другое, и более ранним, нежели третье"².

Поэтому не только краткие мгновения, но и сколь угодно продолжительные явления (вроде Семилетней войны), могут рассматриваться в качестве события. Смещение же интереса приводит к тому, что событие рассматривается уже не в качестве элементарного, а с точки зрения

¹ См.: Зиммель Г. Проблема исторического времени / Пер. А.М. Руткевича // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юристъ, 1996. С. 517—529. Далее цитируется по изданию: Simmel G. Das Problem der historischen Zeit // Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 15 / U. Kosser., H.-M. Kruckis, O. Rammstedt (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003. S. 287—304.

² Simmel G. Das Problem der historischen Zeit. S. 297.

97

Феномен прошлого

того, какие события его составили. Эти события, в свою очередь, могут быть также далее расчленены. До какого предела? Так или иначе,

"распадение явления на элементы, в качестве суммы которых оно должно затем пониматься, на определенной ступени измельчения снимает самое индивидуальность явления. ...Соответственно можно говорить о пороге измельчения"³.

Распространим рассуждения об *историческом* времени на общую проблематику события. Зиммель предполагает, что порог измельчения — не минимальная длительность, но минимальная историческая индивидуальность событий. Объективно (не заинтересованно) замеряемая длительность не значима. Поэтому "исторический атом" "практически" не имеет продолжительности. Заменим "исторический" на "социальный". Характеристика события как смыслового единства может быть конкретизирована, если определяющим для события считать его социальную индивидуальность, т.е. сразу акцентировать не однократность появления, но специфику его содержания. Однако тем самым проблема мгновения и интервала отнюдь не будет снята. Может ли событие, не будучи индивидуальным, быть элементарным? Иначе говоря, что именно является индивидуальностью как порогом измельчения? Если специфика любого события, как события, состоит в его однократности, то это можно назвать количественной характеристикой индивидуальности. Однако именно это количество, квант-событие, по соображениям логическим, могло бы члениться все дальше, если бы у события не было значимого для наблюдателя качества ("что" события). В свою очередь, именно *историческая* индивидуальность события связана с его *временной* определенностью. Событие произошло в такой-то момент времени, и это обстоятельство может быть значимо для наблюдателя. Момент фиксируется как время данного события: в *такой-то* момент времени произошло *именно это* событие. "То же самое" событие, совершившееся в иной момент, не является "тем же самым".

Оно — другое, потому что произошло в другое время. Другое время является "другим", потому что в другое время произошли другие события. Если мы рассматриваем событие в ретроспективе, последующие события частично (в той части, в какой они следуют за прошлыми

³ Simmel G. Das Problem der historischen Zeit. S. 302, 303. См. о "пороге измельчения" (со ссылкой на соответствующее место у Зиммеля): Koselleck R. Die vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979. S. 145.

98

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

событиями, но предшествуют наблюдению) теряют статус возможных. При этом "настоящее" в рамках наблюдения, в свою очередь, есть событие, до которого простираются прошлые будущие события того события, которое совершилось в *предпрошедшем* (plusquamperfectum), причем в этом модусе оно находится в совокупности с предшествующими ему событиями.

Разумеется, здесь Зиммель совершенно прав: такой исторический атом не имеет внутренней длительности. Она обнаруживается лишь при смене перспектив. Однако неправильно предполагать, что смена перспектив может быть только одного рода: либо в сторону последовательного измельчения, либо в сторону последовательного укрупнения. На самом же деле вопрос стоит иначе.

Наблюдаемое событие коррелятивно событию наблюдения. Событие наблюдения происходит во времени и пространстве. Это значит, что членение на плотно пригнанные друг к другу интервалы сопряжено с позицией наблюдателя во времени и пространстве. Наблюдатель занимает место в пространстве, и событие наблюдения следует за одним событием, предшествуя другому событию. Это значит, что другой наблюдатель событий может не только иметь иной интерес, заставляющий его по другому фиксировать "что" события, но и само событие его наблюдения может быть рассогласовано с тем событием наблюдения, из которого мы исходили.

Это будет лучше всего заметно не тогда, когда мы обратим внимание на два события наблюдения, но тогда, когда их будет, по меньшей мере, три, вменяемых трем различным наблюдателям. Итак, предположим, что мы имеем дело с тремя наблюдателями. Обозначим их X, Y и Z. Наблюдатель X фиксирует событие y_1 . Наблюдатель Y фиксирует событие x_1 . Наблюдатель Z фиксирует, что событие x_1 было наблюдением события y_1 , а событие y_1 было наблюдением события x_1 . Иначе говоря, X и Y взаимно наблюдали наблюдения друг друга, но только с точки зрения Z можно было установить, что они наблюдали в одно время или в разное время. На первый взгляд, это выглядит необоснованным утверждением. Действительно, наблюдатель фиксирует событие *сейчас*, в настоящем. Отсюда легко сделать популярный вывод о том, что прошлого уже нет, будущего еще нет, а реально есть лишь настоящее. Но это рассуждение уведет нас к вопросу о природе времени или, по меньшей мере, природе восприятия времени. Для нас же важен иной вопрос, а именно, вопрос о восприятии события как

99

Феномен прошлого

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

события во времени и его (восприятия) квалификации как настоящего. Смещая таким образом акценты, мы видим, что наблюдение события в настоящем может быть интерпретировано двумя способами. Либо мы акцентируем время совершения наблюдаемого события, либо — время совершения наблюдения. В первом случае легко напрашивается утверждение, что время наблюдения и время события никак не связаны: хотя наблюдение происходит в настоящем, наблюдаемое событие могло произойти в прошлом. "*К Вам письма в октябре придут, а он убит еще в июле*". На это можно возразить, что событие, которого нет в настоящем, не воспринимается. Если что-то воспринимается в настоящем, то оно и есть именно в настоящем. Следовательно, сейчас наблюдается некоторое теперешнее событие, причем наблюдение в настоящем позволяет лишь судить о том, чего нет в настоящем, но не воспринимать его. Можно сказать, что воспринимаемое *сейчас* событие не тождественно прошлому, к которому оно отсылает ("как *звезды умершей свет доходит*"). Но значит ли это, что событие, которое происходит, происходит именно в настоящем, т.е. в момент наблюдения? Это сомнительно. Ведь наблюдение фиксирует состоявшееся, завершённое событие. Должны ли мы сказать, что оно предшествует наблюдению? Но тогда его уже нет, и нечего воспринимать. Должны ли мы сказать, что оно одновременно наблюдению? Но тогда наблюдение начинается вместе с событием, завершается вместе с событием. Поскольку событие коррелятивно наблюдению, можно также сказать: событие начинается с наблюдением и завершается с наблюдением. Однако этому противоречит понятие элементарности события. Идентифицировать длящееся как элементарное можно только задним числом, рефлектируя длительность наблюдения и его коррелята как нечто обособленное и неделимое. Таким образом, событие снова оказывается в прошлом, а наблюдение настоящего — парадоксальным феноменом: наблюдение настоящего невозможно, ибо настоящее ненаблюдаемо; наблюдение же прошлого возможно лишь как наблюдение настоящего.

Особый вопрос — пространственная удаленность события. Конечно, то обстоятельство, что о совершении события мы можем лишь судить, наблюдая нечто иное, находящееся "вблизи", т.е. в зоне непосредственной достижимости для органов чувств, может показаться важным. Но эта важность релятивирована развитием средств коммуникации. Свет умершей звезды идет долгие годы, но телефонный раз-

100



говор собеседников, находящихся на двух разных континентах, мало чем будет отличаться, в смысле достижимости события, от телефонного разговора собеседников, находящихся в двух разных офисах одного здания. Проблема физической дистанции, как и социальной границы здесь может быть *проявлена*⁴, но это не та достижимость, о которой сейчас идет речь. Социальная конструкция смысла, в том числе и смысла дистанции, играет большую роль, но мы не можем говорить о ней на данном этапе изложения.

Во втором случае наблюдение события в настоящем значит прежде всего, что в настоящем есть наблюдение как событие. Именно наблюдение, будучи всякий раз в настоящем, собственно, подтверждает реальность настоящего. На это можно возразить, что настоящее есть настоящее лишь постольку, поскольку оно отличается от прошлого и будущего. Для того чтобы событие наблюдения было идентифицировано как настоящее, оно должно уже состояться и быть отличаемо от прошлого и будущего. Однако для такого различения нужна рефлексия: событие (в данном случае это событие наблюдения) должно уже свершиться, чтобы отличаться от прочих событий. Иначе говоря, оно парадоксально: оно должно быть в прошлом, чтобы быть в настоящем⁵.

Итак, мы обнаруживаем парадоксальность обоих членов корреляции: события и наблюдения. Можно, впрочем, сказать, что поскольку наблюдение мы также считаем событием, то обнаруживается парадоксальность события, взятого в двух аспектах: наблюдения и наблюдаемого. Роль парадокса, возникающего по ходу рассуждений, можно оценивать по-разному. Во всяком случае, мы вправе предположить некоторое неблагоприятное в исходной формулировке. Обратим внимание на то, что как наблюдаемое событие, так и событие наблюдения всякий раз отсылают нас к иным событиям. Мы видим, что, будучи элементарным, событие не может мыслиться в качестве сингулярного. Иначе размышление о нем приводит к противоречивым характеристикам и парадоксам. Следовательно, для непротиворечивого мышления о событиях необходимо, по меньшей мере, включение в рассмотрение с самого начала нескольких *событий*, включая событие наблюдения. Именно

⁴ См. об этом подробнее: Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи // Вопросы социологии. 1992. № 1.

⁵ Более сложное рассуждение должно было бы показать справедливость этой формулы и для будущих событий.

об этом мы говорили выше, утверждая, что лишь *третий* наблюдатель может установить одновременность (или неодновременность) событий наблюдения двух других. Разумеется, это заставляет, в свою очередь, поставить вопрос об этом третьем наблюдении и наблюдателе в той же

плоскости. Очевидно, что и оно не может мыслиться в качестве сингулярного. Следовательно, первоначальное предположение о том, что мы можем обойтись только тремя наблюдателями и тремя актами наблюдения, необходимо уточнить. На самом деле, либо в отношении количества наблюдателей, либо в отношении количества актов наблюдения это число должно быть умножено. Возможность умножения количества участников и количества актов наблюдения сама по себе предполагает известные ограничения. Мы не должны останавливаться на том, возможно ли для одного наблюдателя одновременно осуществлять несколько наблюдений. В любом случае множественные наблюдения являются делом нескольких наблюдателей, причем их наблюдения *одновременны*, а одновременность устанавливается лишь наблюдением, которое, в свою очередь, может быть фиксировано в своей одновременности с другими событиями (наблюдаемыми событиями и событиями наблюдения) только в акте наблюдения.

Таким образом, мы самой логикой рассуждения о наблюдениях событий вынуждены предполагать некоторую неопределимую множественность событий, которые отсылают одно к другому, причем не все могут быть связаны со всеми. Невозможность связи всего со всем вынуждает к избирательности: одни события связаны между собой, другие не связаны. Взаимосвязанность означает отграничение от прочих, понятие границы наводит на мысль о системе: внутреннее (система) и внешнее (окружающий мир) различаются как области связанного и несвязанного. Так и есть. Начиная с единичной операции наблюдения единичного события, мы пришли к понятию системы, которое разрабатывал Никлас Луман⁶. Однако понятие системы, которое мы находим у Н. Лумана, не может нас устроить. По Луману, социальные системы суть принципиально *непространственные* образования. Это связано с тем, что элементами системы являются именно *события*. У Лумана это "события коммуникации".

События не обладают собственной длительностью, они моментальны, но они также не обладают и про-

⁶ См., прежде всего: Luhmann N. Soziale Systeme. Grundrifi einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984.

102

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

странственной определенностью, точно так же, как наблюдатель, в его интерпретации, не телесен и не имеет места в пространстве. Это весьма существенно отличается от нашего определения события как пространственно-временного единства, а равным образом и от концептуализации наблюдателя, который занимает место в пространстве. Соответственно, из непространственных событий-коммуникаций могут состоять лишь не имеющие места системы. А что же образуется из тех связей между событиями, которые мы обнаружили выше в нашем изложении?

Имеется множество наблюдателей и наблюдений. Сами по себе наблюдения не просто элементарны (атомарны), они еще и не связаны между собой, в том числе и наблюдения одного и того же наблюдателя. Связь атомарных наблюдений возможна за счет идентификации объекта. Поскольку в число наблюдений попадают чужие наблюдения, то необходимо согласие наблюдателей относительно объекта (*тот же самый объект для разных наблюдателей*). Таким образом, речь идет о социальной (*согласие* есть социальный результат) конструкции тождества объекта *во времени (пребывание)*.

Это будет хорошо видно, если (следуя указаниям самого Лумана) встать на точку зрения Дж.Г. Мида. Мид, по его собственным словам, был намерен "взять из философии природы Уайтхеда ...концепцию природы как организации существующих в природе перспектив"⁷. Объективность перспектив связана с интерпретацией события. События совершаются в "четырехмерном мире Минковского" в порядке, который соотносителен некоторому "согласованному множеству" (consentient set).

"Согласованное множество определяется отношением к воспринимаемому событию, или организму. Воспринимающее событие конституирует (establishes) постоянный характер «здесь» и «там», «теперь» и «тогда», и само по себе есть длительный образец. Образец повторяется в ходе событий. Эти повторяющиеся образцы охватываются или схватываются в единство, которое должно иметь такую временную протяженность, которая требуется организму, чтобы быть тем, что он есть, будь то период обращения электронов в атоме железа или красота человека"⁸.

⁷ Mead G.H. The Philosophy of the Present / A.E. Murphy (ed.). La Salle, 111.: Open Court. 1932. P. 163.

⁸ Ibid. P. 162.

103

Феномен прошлого

Итак, здесь мы опять встречаемся с постоянством, сохранением во времени некоторой вещи, хотя эта вещь и называется "воспринимающим событием" и "образцом". Мы, так сказать, не видим событийности в этом событии. Тем не менее стоит проследовать за Мидом чуть дальше, чтобы обнаружить весьма плодотворные идеи.

Организация "воспринимающим событием" согласованного и длительного множества образцов или событий, так сказать, дифференцирует природу, конституирует ее "куски" (slabs), отделяет пространство от времени. Вот это и есть "перспектива организма", присутствующая в природе. И таких перспектив, способов организации событий соответственно длительным образцам, множество. Именно это представляет особый интерес для Миды: множество перспектив как раз составляет предмет любой социальной науки. Социальная наука имеет дело с человеческим *индивидуальным* опытом. Но для нее, продолжает Мид, важно не только то, как индивид действует "в своей собственной перспективе", но и то, как он действует в перспективе

другого или других, в "общей перспективе группы". Индивид способен принять установки других, встать на их точку зрения: "В поле любой социальной науки в качестве объективных данных выступает тот опыт индивидов, в котором они перенимают установку сообщества, т.е. входят в перспективы других членов сообщества"⁹.

Именно соотношение индивидуальной и общей перспектив имеет особую важность. В полной мере мы обнаруживаем это соотношение только в коммуникации. Коммуникация возникает во взаимодействии, в котором определенные фазы действий одного участника (Мид говорит "формы") являются стимулами для других совершить "свою часть" социальных действий. Коммуникация в полном смысле слова есть только там, где стимул ("значимый символ"), который Мид называет "жестом", пробуждает в самом производящем его индивиде ту же ответную реакцию, что и в других участниках.

"В процессе коммуникации индивид есть другой прежде, нежели он есть он сам. Его самость возникает в коммуникации именно постольку, поскольку он адресуется самому себе в роли другого. ...Затем он может стать обобщенным другим, адресуясь себе в установке группы или сообщества. В этой ситуации он стал определенной самостью по отношению к своему социальному целому. Это — общая перспектива. Она существует в организмах всех членов сообщества...

Механизм

'Mead G.H. The Philosophy of the Present. P. 166.

104

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

человеческого общества — это телесные самости, которые помогают или мешают друг другу в актах совместной деятельности по манипулированию физическими вещами"¹⁰.

Физическая вещь, продолжает Мид, есть вещь перцептуальная (т.е. данная в восприятии). В полной мере она "присутствует в области манипуляции, где она видима и чувствуема, где обнаруживается как обещание контакта, так и исполнение обещания, потому что для удаленного стимулирования и акта, который этим стимулом инициируется, характерно, что установки на манипуляцию — я их буду называть предельными установками перцептивного акта — уже появились: это та готовность схватить, войти в эффективный контакт, которая в некотором смысле контролирует доступ к удаленному стимулированию"¹¹.

Но человек способен заблуждаться относительно своих восприятий (например, в бреду); он может отбросить как ложные некоторые интерпретации своих восприятий (например, систему Птолемея), говорит Мид. Отказ от непосредственности восприятия и прежних интерпретаций восприятия возможен благодаря перспективе организации событий "воспринимающим событием" в "согласованном множестве", о чем и шла речь выше. А согласованное множество согласовано *сообществом*. У животного не только восприятия носили бы непосредственный характер, но и его "акты" носили бы исключительно, как называет это Мид, "консуматорный характер": человек, будь он всего лишь животным, стремился бы только "ухватить и употребить". Но человеческое действие опосредовано коммуникацией и значимыми символами, оно не обязательно завершается собственно потреблением вещи, на которую направлено: в частности, потому, что действие может быть символическим, указательным, т.е. коммуникативным жестом, направленным на "перцептуальные вещи". Именно это, а не "физиологическая дифференциация" организмов, говорит Мид, делает социальное взаимодействие таким сложным.

В социальном взаимодействии люди участвуют как разумные существа и как физические тела. Эти тела могут быть в непосредственной близости друг к другу, т.е. в "области манипуляции", или находиться на удаленной дистанции одно от другого. Что происходит при

¹⁰ Mead G.H. The Philosophy of the Present. P. 168,169.

¹¹ Ibid. P. 170.

105

Феномен прошлого

пространственном удалении? Тот, чье действие выходит *за пределы* области манипуляции, может только предполагать, что произойдет, когда его действие как стимул достигнет другого участника. То, что произойдет с другим участником, произойдет в будущем, этого *еще нет* в момент совершения действия. Того, что произойдет с первым участником в ответ на реакцию другого участника на его действие (реакция на реакцию), тем более еще нет. То, что произошло с тем, кто совершил действие, — это уже прошлое для того, кого достиг "удаленный стимул". Но есть здесь и другая сторона: действие представляет собой стимул не только для удаленного Другого, ибо тот "первый" участник коммуникации, как мы видели, есть Другой для самого себя прежде, чем он есть самость. Его действие, направленное на Другого, инициирует его самого как Другого непосредственно, моментально.

"Именно идентификация этих реакций с удаленными стимулами конституирует одновременность, придает внутреннее существование этим удаленным стимулам и дает самость организму. Без такого конституирования одновременности стимулы находятся на пространственно-временном удалении от организма, а их реальность — в будущем. Конституирование одновременности обращает эту будущую реальность в возможное настоящее, ибо все наше настоящее за пределами области манипуляций есть, что касается его перцептуальной реальности, только возможное. ...Реальность ждет результата акта. Реальность настоящего есть возможность"¹².

Эти рассуждения Мида мы можем продолжить также и несколько иным образом, чем, вероятно, сделал бы сам философ. Одновременность, говорит он, *конституируется*. Но если так, то конституируются и прошлое, и будущее. Точнее говоря, если следовать за аргументом Мида, прошлое и будущее

несомненны, и только настоящее нуждается в конституировании. Прошлое — это то, чем для участника коммуникации, на которого направлено действие и которого достиг стимул, являлся бы источник действия, если бы не было согласованной *синхронизации*. Будущее — это то, чем для источника действия, т.е. "первого" участника коммуникации, являются предполагаемые реакции Другого и его собственные реакции на свое собственное поведение, поскольку он смотрит на себя в перспективе Другого или обобщенного Другого, т.е. группы. Строго говоря, действие вполне свершилось

⁰ Mead G.H. The Philosophy of the Present. P. 172,173.

106

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

только тогда, когда оно достигло адресата: мы вправе говорить "я ему сказал", "я ее обидела", "я бросил в них камень", только если жест достиг адресата и вызвал реакцию, которая, в свою очередь, достигла нас и вызвала реакцию". Поэтому, говоря то же самое до того, как мы получили эту ответную реакцию, мы не судим о настоящем, но предвосхищаем будущее в модусе настоящего. Синхронизация и означает такое предвосхищение со смещенным модусом. Таким образом, то настоящее, которое непосредственно есть действие как событие, оказывается при ближайшем рассмотрении *прошлым* (поскольку оно *уже* совершилось), *будущим* (поскольку оно только *может* свершиться) и собственно *настоящим*, потому что собственно настоящее не непосредственно, а *синхронизировано* в согласованном множестве или сообществе.

Все это очевидно при внятном пространственном удалении участников друг от друга. Если участники взаимодействия находятся в зоне манипуляций друг друга, объективно существующие между ними дистанции, а равным образом и время их преодоления становятся не релевантными, стягиваются в моментальность события, и чтобы разложить его на последовательность более мелких событий, а тем более — чтобы признать за этими последними статус элемента, требуется решительная перемена модуса внимания. Однако пространственное удаление только делает очевидной, а отнюдь не впервые возможной ту организацию перспектив, о которой говорит Мид¹⁴. Выходящее за пределы зоны манипуляции взаимодействие позволяет привлечь внимание к тому, что каждое из трех возможных временных определений события (прошлое, настоящее или будущее) может иметь, по меньшей мере, два разных значения. Легче всего это увидеть в отношении прошлого. Когда мы говорим "я сейчас отправил Вам письмо", то сам язык выдает парадоксальность недавнего прошлого в коммуникации. С одной стороны, письмо уже отправлено, мы говорим о свершившемся событии

"Любопытно, что Мид находит зачатки этого уже в нашем действии на неживую природу: мы не знаем, с какой силой стукнули по камню, пока рука его не коснулась и не встретила отдачу.

¹⁴ Совершенно иначе смотрел на дело Никлас Луман. С точки зрения Лумана, соединять время и движение, время и пространство (что предполагает в качестве исходного различения различие "прежде" и "после") — это "традиционный", т.е., во всяком случае, не единственно возможный, а скорее всего устаревший подход. Возможна иная семантика темпоральноеTM.

107

Феномен прошлого

тии. С другой стороны, оно отправлено именно "сейчас", мы готовы говорить об этом как о едином событии: отправил письмо — и тут же сообщил — и как раз собирался сделать что-то еще. Иначе говоря, событие раскрывает свой сложный характер. Оно является смысловым единством, которое выступает пределом измелчения. Но вот, оказывается, что, не меняя модус внимания, мы не можем не различать "прежде" и "после", без которых не профилируется само смысловое единство¹⁵. Однако и в пределах самого события мы замечаем нечто сходное, что позволяет, не меняя модуса внимания и не сообщая качества события его "логически", как сказал бы Зиммель, необходимым моментам, рассматривать его как *внутренне неоднородное единство*. Внутренняя неоднородность связана, *на первый взгляд*, со спецификой временного совершения события. Ведь если мы согласились с тем, что оно не моментально, но занимает некий интервал времени, то, следовательно, даже признавая неделимость этого интервала, мы все равно предполагаем его асимметрию относительно "прежде" и "после". Так, в событии "написал и отправил письмо" мы можем и не вычленять два разных события. Но, подобно тому, как падающий с крыши камень сначала был на крыше, потом между крышей и почвой и лишь в конце оказался на земле, так и письмо не могло быть отправлено, не будучи написано. Это — не *временная* структура события, если только мы не членим его на более мелкие события. Это — *логика его смыслового устройства*, поскольку событие размещено в некотором временном интервале в рамках объемлющей хронологии, и, с точки зрения наблюдателя, для которого значима и эта хронология, и цельность события, оно предстает не как некое *заполнение однородного* однородным ("пустого" времени хронологии "стоячим" временем события), но как некое предельное смыкание неоднородного в нерасчленимой цельности.

Напомним, что выше мы указывали на сходство и различие в интуициях целого и элемента. Мы говорили, что элемент, как и целое, не членился на части, поскольку он релевантен для наблюдения безотносительно к существующим в нем внутренним связям (как и целое), но не безотносительно к внешним (в отличие от целого). Мы также констатировали, что внимание к элементарному характеру события означает, собственно, отказ видеть в нем *однородные* ему события как

¹⁵ См. у Козеллека: "Лишь минимум «прежде» и «после» конституирует смысловое единство, которое из обстоятельств делает событие" (Koselleck R. Op. cit. S. 147).

составные части. Но не можем ли мы тем не менее видеть в нем некую последовательность, члены которой не имеют внятных очертаний, четких пространственно-временных границ и обретают смысл лишь в контексте целого? Иначе говоря, не можем ли мы усмотреть в нем некие квазиэлементы, которые слишком размыты и несамостоятельны в рамках события, чтобы казаться его дискретными составляющими? Встать на такую позицию значило бы отказаться от понимания события как элемента и, следовательно, от всего представленного здесь подхода. Попробуем подойти по-другому.

Что означает определение одного и того же события как прошлого, настоящего и будущего? В сложной концепции Мида, как мы реконструировали ее выше, оно выступает как единство прошлого, настоящего и будущего в одном и том же наблюдении. Но ведь "прошлое / настоящее / будущее" — это различие! Сказать, что нечто имеет все три характеристики, — совсем не то же самое, что сказать про какую-то вещь, что она и тяжелая, и красная, и гладкая. "Быть прошлым" значит "не быть будущим" и т.д. Но логического противоречия здесь все-таки нет. Событие, которое идентифицировано как событие в настоящем, отличается от однородного ему события в прошлом. Но условия конституирования события как события в настоящем таковы, что оно, как мы видели, под определенным углом зрения предстает как событие в прошлом или событие в будущем. Событие в настоящем, представленное как событие в прошлом или событие в будущем, не становится тем самым ни прошлым, ни будущим событием, однородным событию в настоящем. Иначе говоря, различие события в рядах событий и различие аспектов события суть разные различия, пригодные для разных контекстов. Именно поэтому мы можем говорить о логическом устройстве события, о последовательностях, предполагаемых данным устройством, не впадая в риск смешения атомарности и делимости.

Что же такое "логическое устройство" события? Проще всего было бы говорить о том, что существует что-то вроде "идеи события", которая в этой логике представлена в многообразии своих компонентов. Однако аналитическое представление фундаментальных характеристик события как коррелята наблюдения позволяет нам уйти от этого традиционного и малопродуктивного взгляда. Зиммель, упоминая о *логической связи* моментов события, не раскрывает эту формулу подробно. Между тем есть разница в логической связи положений падающего камня и эпизодов военной кампании (если последняя, как

109

Феномен прошлого

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

предполагает Зиммель и как склонны утверждать вслед за ним и мы, тоже может трактоваться как единое событие).

Подойдем к вопросу иначе. Что позволило нам характеризовать одно и то же событие как настоящее и прошлое? То обстоятельство, что оно именно таково в разных аспектах взаимодействия. В контексте взаимодействия, с разных точек зрения, в разных смыслах идентичность события конституируется по-разному и всякий раз, будучи идентифицировано как прошлое, настоящее или будущее, оно открывает себя наблюдателю, находящемуся вне контекста взаимодействий, как многоаспектное смысловое единство. Зафиксируем этот момент и перейдем к следующему. Выше мы говорили о том, что для нас важна телесность наблюдателя, поскольку именно то, что у него "есть место", позволяет иначе конструировать наблюдение и единство событий. Наблюдатель — это не участник социального взаимодействия, он находится "вне". Он идентифицирует события во взаимодействии в пространстве и времени, причем сам в них не участвует. Но если наблюдение и наблюдатель — это характеристики логические, а не реальные, тогда наблюдатель, как "вот этот" живой человек, может участвовать в свершающемся наблюдаемом и при определенных условиях все-таки быть наблюдателем. При каких условиях? Если событие в настоящем может быть идентифицировано наблюдателем как таковое лишь постольку, поскольку оно уже свершилось, т.е. отошло в прошлое, то собственное участие есть для него также прошлое участие. Это именно та рефлексия свершившегося, о которой, опираясь на Бергсона и Гуссерля, говорит Шюц в "Смысловом строении социального мира"¹⁶. Для рефлексии никакого иного настоящего, кроме прошлого, не существует. Но почему в точном смысле слова прошлое, т.е. прошедшее, идентифицируется как настоящее? Прежде всего, потому, что это прошлое еще не атомарно, еще не *само по себе*. Это именно аспект того настоящего, которое еще не вполне рефлектируется участвующим наблюдателем именно в силу вовлеченности последнего в живой процесс взаимодействия (т.е. рефлектируется лишь постольку, поскольку его моменты отходят в прошлое). Это прошлое того настоящего, которое всякий раз вычленено из потока и идентифицировано как таковое при следующем акте рефлексивного внимания. Поэтому для наблюдате-

* См.: Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialcn Welt. Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1983. Kap. 1.

110

ля-участника такое прошлое-настоящее не является в полном смысле прошлым. Оно есть преддверие настоящего, то, что придает ему смысл и определенность. Чтобы стать полноценным прошлым для участвующего наблюдателя, событие должно утратить эту живую связь с его участием. У него должна быть та несомненность, какой не бывает у недосказанного предложения, незавершенного жеста, продолжающегося действия. У полноценного прошлого есть несомненность того, что состоялось и что связано

с проживаемым настоящим (если вообще связано с ним) только в целом, будучи как бы отделено от него барьером смысловой завершенности. Опирируя различиями и проясняя содержание актов рефлексивного внимания, наблюдатель использует или подразумевает использование определений "сначала" и "затем". "Сначала я принял душ, а затем принялся за работу" — это значит, что работа, быть может, еще продолжается, но душ уже принят, краны завернуты, полотенце сушится. То же самое относится к описаниям взаимодействий: "После семинара мы отправились на выставку" — подразумевается, что уж семинар-то во всяком случае уже завершен, причем завершен точно до похода на выставку. Напротив, "мы продолжаем заседание" означает, что настоящее отличается непосредственной вовлеченностью наблюдателя, и ситуация, схваченная в акте рефлексивного внимания, хотя и может быть представлена в чередовании последовательных эпизодов, как таковая еще не завершена, не стала в собственном смысле прошлым, как бы далеко ни отстоял от актуального наблюдения тот или иной ее эпизод.

Мы помним, однако, что представление одного и того же события как настоящего, прошлого и будущего было связано с множественностью наблюдений и наблюдателей — участников ситуации. Ведь (1) если наблюдатель отвлекается от взаимодействия и рефлексивно свое участие в продолжающемся взаимодействии, то в нем, очевидно, больше, чем один участник; (2) если мы говорим о непосредственной вовлеченности, прекращении вовлеченности и о том, что, как мы сейчас увидим, отстоит от наблюдателя чуть дальше, чем едва прекратившаяся вовлеченность во взаимодействие, то это наводит на мысль о разнокачественных временных характеристиках того, что обычно считается настоящим. Эти простые соображения могут стать более продуктивными, если рассмотреть в этой связи два вопроса.

Первый вопрос — об источнике и характере различий, которыми пользуется наблюдатель. Наблюдатель, говорим мы, поскольку

111

Феномен прошлого

он именно наблюдатель, а не участник, перестает быть вовлеченным в течение взаимодействий. Он не просто обращает внимание на свершившееся, но и отличает его от всего последующего хода переживаний и действий. Но ни эти различия не являются результатом его собственных измышлений, ни применение этих различий не является делом одного только произвола. Конечно, можно было бы сказать, что эти ограничения произвола присутствуют в реальной жизни и не имеют отношения к логической природе наблюдения. Но это заблуждение — и как раз потому, что именно исследование логических характеристик события привело нас к утверждению о множестве не только участников, но и наблюдателей. Можно сказать, что различия имеют хождения среди участников взаимодействия, причем их применение носит как теоретический, так и практический характер, поскольку явное или неявное единодушие относительно завершения некоего эпизода является важным аспектом продолжения или прекращения взаимодействий. Практика социального оперирования с синхронизацией, с определением и членением прошлого, настоящего и будущего — это тема весьма благодарная, но разработка ее опасна соскальзыванием к очень тривиальным, хотя и нуждающимся время от времени в дополнительной вербализации, ходам мысли. Несколько слов об этом мы еще скажем ниже.

Второй вопрос намного сложнее. В этой части нашего рассуждения мы говорим о прекращении вовлеченности, о завершении эпизода¹⁷. Слова "событие" мы старались избегать. Ведь событие имеет не только завершение, но, как мы видели, и начало! Собственно, именно проблема дистанции между началом и завершением события разрешается при исследовании его логического устройства. Но стоит нам обратиться к началу события, как весь аргумент от вовлеченности наблюдателя теряет свою силу. Прежде всего, если наблюдатель уже не вовлечен постольку, поскольку фиксирует завершение события, то тем менее он вовлечен, фиксируя начало! Следовательно, между началом и завершением события, с точки зрения вовлеченности наблю-

¹⁷ Понятие эпизода вводится и далее используется без каких-либо обоснований, поскольку оно берется только как технический термин, на нем не выстраиваются в данном контексте никакие аргументы. Но это — только в данном контексте. При более подробном исследовании темы понятие события и понятие эпизода должны быть поставлены в категориальную связь.

112

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

дателя, нет никакой разницы. Если же мы скажем, что между ними вообще нет никакой временной разницы, поскольку событие фиксируется именно как событие, а не как поддающийся дальнейшим членениям эпизод, то это не только не помешает, но, напротив, заставит нас снова отойти от идеи простой единой длительности и трактовать начало и конец единого события как характеристики его логического устройства. Если же мы будем утверждать, что у события нет никакого начала и конца, ни в смысле единой длительности, ни в смысле логического устройства, то это не поможет нам на следующем этапе рассуждений. Ведь не только *вслед* за завершившимся событием что-то произошло (например, длилось взаимодействие, в которое мог быть вовлечен наблюдатель), но ему также и *предшествовало* что-то, что также могло быть, но могло и не быть событием. Если нечто, предшествующее событию, было событием, то оно, разумеется, было прежде того события, о котором мы говорили как о ближайшем к (прекращению) вовлеченности наблюдателя. Это предшествующее событие завершилось, прежде чем состоялось следующее событие. Иначе говоря, если ближайшее событие трактуется как прошлое в силу его завершенности, ибо только прошлое обладает этим качеством завершенности, то предшествующее ему событие (*plusquamperfectum*, предпрошедшее время,

указывает Шюц) является *безусловно* прошлым. Но зафиксировать это безусловное прошлое можно только в том случае, если у нас есть ясность с завершением данного события, а равно и началом того ближайшего прошлого, которое может представлять как настоящее.

Нам всегда легче зафиксировать событие как нечто определенное, если его можно датировать между двумя другими. Но почему вообще должно быть какое-то членение на события? Оно оправдано в нашем изложении пока только одним, а именно обращенностью наблюдателя на собственный опыт, отличием непосредственной вовлеченности от того, что отрелективировано в качестве настоящего. Дополнительный аргумент мы находим у Мида, который говорил, что новое событие, разрыв непрерывности происходящего есть необходимое условие всякого опыта постижения событий.

"Без этого разрыва непрерывности невозможен опыт непрерывности. ...Непрерывность всегда имеет некое качество, но поскольку настоящее переходит в настоящее, имеется разрыв в непрерывности — [разрыв] внутри непрерывности, ИЗ

Феномен прошлого

а не самой непрерывности. Этот разрыв обнаруживает, что есть непрерывность, тогда как непрерывность есть фон для нового"¹⁸.

Иначе говоря, даже трактуя свой опыт как непрерывный и даже трактуя непрерывный опыт как опыт настоящего (якобы настоящего, *spacious present*, говорит Мид), мы самой возможностью опыта обязаны членениям на события. А поскольку с чем-то новым мы сталкиваемся постоянно, даже только что случившееся событие идентифицируется как "прошлое настоящее", потому что происходит уже следующее событие, которое в чем-то ново, а в чем-то нет. В настоящем есть не только новое, но и то, что связывает поток опыта, делает его не совершенно разорванным и дискретным, а именно единым опытом. Значит, то, что не является "самым новым" в актуальном опыте, хотя и есть в настоящем, но указывает на прошлое, которое не появляется, но и не исчезает совершенно, даясь в настоящем. Связность опыта обеспечивается именно тем, что наш опыт "переполнен настоящим", так что необходимо, если воспользоваться позднейшей терминологией Лумана, редуцировать этот избыток, относя часть настоящего к прошлому.

Всякое настоящее должно символизировать и реконструировать свое прошлое, поскольку прошлое появляется в перспективе каждого нового события в настоящем¹⁹. Но это, пожалуй, — самый простой и очевидный аспект концепции Мида. Как отмечают авторы цитированной нами статьи о его теории прошлого, есть еще три аспекта, которые заслуживают внимания. Во-первых, прошлое не только символизируется настоящим. Оно также *определяет* условия настоящего. События настоящего обусловлены событиями прошлого. Во-вторых, и это намного более существенно в контексте нашего изложения, прошлое выступает как "подразумеваемое объективное прошлое".

"Время от времени Мид говорит о том, «что, видимо, было» (*what must have been*). Так, например, он заявляет: «Прошлое есть то, что, видимо, было, прежде чем оно есть настоящее в опыте как прошлое»... Он говорит не о том значении, какое прошлое имеет для настоящего. Скорее, он говорит о существовании предшествующих событий, предлагая ситуационную онтологию, которая относится к

" Mead G.H. *The Nature of the Past // Essays in Honor of John Dewey* / J. Coss (ed.). N.Y.: Henry Holt. 1929. P. 239; цит. по: Maines D.R., Sugrue N.M., Kato-vich M.A. *The Sociological Import of G.H. Mead's Theory of the Past // American Sociological Review*. 1983. Vol. 48. N 2. P. 162.

" См.: Maines D.R. et al. *The Sociological Import...* P. 163.

114

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

согласию относительно фактов прошлого. Какое-то событие должно было состояться, чтобы существовать в настоящем опыте как прошлое событие"²⁰.

Наконец, последний аспект — это "мифическое прошлое", о котором, собственно, сам Мид не говорит, но которое предполагается его концепцией. Мифическое прошлое, говорят авторы, — это, скорее, *создание*, чем *воссоздание*, это прошлое, которое социально создается и которым социально манипулируют.

Этот последний аспект интерпретации Мида, конечно, напрашивается сам собой: прошлое является социальным конструктом, и это широко принятое представление мы *додумываем* за Мида, даже если оснований для этого его собственные тексты почти не дают. Между тем, куда важнее тот аспект, который авторы статьи о понятии прошлого у Мида характеризуют как "*what must have been*". Действительно, настоящее тройным образом свидетельствует о прошлом: (1) как следствие или результат — о причине или условии; (2) как означающее — об означаемом (социальная конструкция означающего есть лишь случай такого означивания); (3) как член логической конструкции, в которой другим членом является предполагаемое прошлое — *what must have been*. Случай (1) — это недвусмысленное каузальное отношение. Причина предшествует следствию, условия имеют место прежде, нежели наступает только в этих условиях возможный результат. Если бы предполагалось, что некие обстоятельства не предшествуют во времени другим, а сосуществуют с ними, это отношение, справедливо говорит Луман, не могло бы считаться каузальным. Но что значит "причина" или "условие" были в прошлом? Если их больше нет, т.е. они состоялись, но миновали, можно ли сказать, что это не случай (1), но случай (3)? Все зависит от характера отношения.

А. Данто показывает это на примере трех выражений. Если мы говорим "есть отец", то это, строго говоря, значит, что

"мужчина должен приблизительно за девять месяцев до рождения ребенка оплодотворить мать этого ребенка.

...Когда мы правильно называем кого-то отцом в первичном смысле, то это логически предполагает ссылку на более раннее событие, которое каузально связано, согласно известным принципам, с настоящим"²¹.

²⁰ Maines D.R. et al. *The Sociological Import...* P. 164. Цитата: Mead G.H. *The Nature of the Past*. P. 238.

²¹ Данто А.С. Аналитическая философия истории / Пер. А.Л. Никифорова, О.В. Гавришиной; под ред. Л.Б. Маковой. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 75—76.

115

Феномен прошлого

Когда мы говорим "есть шрам", то этот предикат "однозначно ссылается на время". Можно быть отцом в социологическом смысле и не быть в биологическом, равно как и наоборот. Но шрам всегда причинен ранением; если нечто только "похоже на шрам", то ни в каком смысле шрамом оно не является"²². Наконец, выражение "есть пушка, поставленная здесь Франциском I после битвы при Керизоле в 1544 г."²³ правильно только в том случае, если имело место именно это событие: не кто-то просто поставил здесь пушку, она не была, скажем, брошена, но именно водружена, именно тогда-то и т.д. Но это позволяет нам сделать следующий шаг. То, что мы зафиксировали в предыдущем рассуждении, — это логическое устройство последовательности событий. Можем ли мы точно так же аргументировать применительно к логическому устройству самого события? Все говорит в пользу этого утверждения. Ведь мы теперь утверждаем не то, что отдельные аспекты события при определенном повороте внимания сами могут рассматриваться как события. Это, конечно, так, но это было ясно уже Зиммелю, и мы отказались основываться на характеристиках внимания как основном идентификаторе события. Вопрос теперь состоит в том, можем ли мы говорить о начале и завершении события, не отказываясь от его атомарности, не ставя даже вопрос о желательном или допустимом "пороге измельчения" и не превращая аспекты события в некие подобия событий. Ответ: да, можем. Логическое устройство события и логическое устройство последовательности событий суть одно и то же. Иначе говоря, мы не аспекты события возводим в ранг квазисобытия, но отдельные события в последовательности событий "низводим" до значения все тех же "аспектов последовательности". Но здесь нужны существенные уточнения.

"Есть шрам" значит, что было событие ранения и было событие заживления раны, этот шрам оставившей. "Есть шрам" значит "есть причина и есть следствие". Но можно смотреть и по-другому: есть событие "оставившая шрам рана". И в том, и в другом случае, говоря о шраме, мы подразумеваем прошлое. Но в одном случае это прошлое есть отдельное событие, ставшее причиной шрама, а в другом — логическое развертывание выражения "есть шрам". В обоих случаях это

²² См.: Данто А.С. Аналитическая философия истории. С. 76. "Там же. С. 75.

116

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

прошлое того рода, который обозначается "what *must have been*", потому что прослеживание строгой каузальной связи предполагало бы совсем иные вопросы.

Логическое устройство события не является его онтологическим качеством. Оно коррелятивно наблюдению, причем не индивидуальному, но социальному практическому использованию различий, которое, однако, не может не быть до известной степени изоморфно самому устройству мира, поскольку он является постижимым для нас миром. Так, логическое устройство различия, выраженное в идентификации объекта "шрам", предполагает социальное согласие относительно того, что может называться шрамом и какие события или, при определенном повороте внимания, какие аспекты единого события должны предполагаться, если это выражение имеет смысл для множества наблюдателей. Однако это социальное согласие не затрагивает того обстоятельства, что некие объекты в настоящем *не могут не свидетельствовать о событиях прошлого*, а принятые квалификации этих объектов, будь то шрам или отцовство, не могут не предполагать определенный характер этих событий, хотя их точное обозначение может быть предметом разногласий. Вопросы "когда могла быть нанесена рана, после которой остался шрам?", "кто именно был отцом ребенка?" и т.п. суть те самые вопросы, которые ориентируют нас на поиск строгой каузальной связи. Но сам характер этих вопросов столь отчетливо социален, что любые дополнительные соображения о произвольно или произвольно сконцентрированном внимании наблюдателя приобретают не более чем побочный интерес.

Вовлеченность наблюдателя может сопровождаться квалификациями объектов без экспликации логического устройства этих квалификаций. Прекращение вовлеченности может сопровождаться экспликацией логического устройства предполагающих событие квалификаций объектов, т.е. либо вниманием к одному плохо очерченному, хотя и явно завершенному событию ("когда-то была нанесена рана, и остался видимый теперь шрам"), либо вниманием к последовательности событий ("в начале прошлого месяца была нанесена рана, перевязки продолжались три недели, последнюю повязку сняли неделю назад, но до сих пор виден шрам"). Переключение с логического устройства события (т.е., как мы видели, квалификации объекта, который имплицитно событие как what *must have been*) на последовательность событий может происходить, разумеется, и благодаря произвольному пере-

117

ключению внимания. Однако, повторим еще раз, это не представляет здесь никакого интереса. Совсем иное дело, когда такое переключение происходит в сообществе наблюдателей (которые, как мы видели, суть те же участники взаимодействия, поскольку они расстаются со своей вовлеченностью в ход дел и рефлектируют, со стороны событийной, логическое устройство релевантных объектов). Ведь событие, перед которым также было событие, т.е. событие, относительно которого есть уверенность не только по поводу его завершения, но и по поводу его начала, иначе говоря, полноценное, атомарное событие является для данного сообщества наблюдателей *событием абсолютным*. Абсолютное событие конституируется двояким образом: 1) в силу квалификации объекта, имплицитующей событие (поскольку иначе эти квалификации теряют смысл в данном коммуникативном сообществе); 2) в силу экспликации абсолютного события первого рода как события, предшествующего некоторому событию, если и только если оба эти события плотно прилегают друг к другу в пределах одного событийного ряда и общей хронологии.

Характеризуя множество участников взаимодействия как *сообщество*, мы совершаем важный теоретический выбор. Допустим, что сообщество мы понимаем как *Cemeinschaft*. Тогда это не просто группа или совокупность участников взаимодействия. *Cemeinschaft* отличается высокой степенью вовлеченности всех его членов, сравнительно малой готовностью каждого из них объективировать свои мотивы и действия, занимать позицию совершенно обособленного наблюдателя. Правда, такой *Cemeinschaft*, каким его описывает Фердинанд Теннис²⁴, вряд ли когда-либо существовал в действительности. Это идеальный тип наивысшей вовлеченности не только одного действующего, но именно совокупности действующих и взаимодействующих, причем не просто в течение дел, но именно в общие, коллективные дела. Следствием вовлеченности является проблематичность внятного вычленения событий. В идеальном *Cemeinschaft't* не может быть сконструировано представление о цепочке атомарных событий, однако здесь жива память об учредительных (сакральных) событиях, т.е. абсолютных событиях первого рода. Феномен *памяти*, во всяком слу-

²⁴ См.: Tonnies F *Gemeinschaft und Gesellschaft*. 8. Aufl. Leipzig, 1935. В рус. пер.: Теннис Ф. *Общность и общество*. СПб.: Владимир Даль, 2003.

118

Конструирование прошлого в процессе коммуникации

чае, с точки зрения социолога, как раз и означает "живую вовлеченность", которая противостоит отстраненной *репрезентации* отчетливо очерченных событий²⁵.

Прямо противоположным образом конституируется прошлое в ситуации, которая предполагает взаимное дистанцирование действующих, возможность постоянно становиться на позицию наблюдателя. Такое рефлексивное отношение к собственному поведению Э. Гидденс называет "reflexive monitoring of action": мы не просто вовлечены в процесс, мы оцениваем его результаты, сопоставляем со своими намерениями и модифицируем дальнейшие действия. Конечно, обособленность действующих-наблюдателей не стоит преувеличивать. Подобно тому как не существует идеальной ситуации, в которой действующие, будучи полностью вовлечены в процесс взаимодействия, передоверяют наблюдение и синхронизацию специальным наблюдателям, подобно тому, как не существует совершенных *Cemeinschaft'ов*, так не существует и такого полного обособления, при котором каждый участник взаимодействия может полностью отрешиться от происходящего и выступить исключительно в роли наблюдателя. Речь идет о сложном, изменчивом, меняющемся от одной социальной ситуации к другой соотношении вовлеченности и дистанцированности, которому на уровне базовых социологических категорий соответствует пара "действие (взаимодействие) / наблюдение". Иначе говоря, это тоже идеализация, причем столь же базовая, как идеализация *Cemeinschaft*. Но именно к ней в наибольшей мере применимы те характеристики, которые мы давали выше наблюдению элементарного события.

Чтобы *такого* рода наблюдение было возможно, необходимо преодолеть *Gemeinschaft* участников и сконструировать сообщество наблюдателей, которые имеют дело с собственными действиями. Здесь прошлое оказывается необходимым условием консистентности системы. Каждое событие может быть включено в несколько цепочек событий. Это повышает его независимость от различий индивидуального наблюдателя, но это же и расширяет тематическое поле *what must have been*. И уже в этом поле социально согласованным образом фиксиру-

²⁵ Этот социологический взгляд отстаивал, как известно, М. Хальбвакс. На русском языке подробный анализ его подхода в связи с разработкой более дифференцированной концепции памяти см. в работе: Хаттон П. *История как искусство памяти*. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 191—228.

119

Феномен прошлого

ются не просто действительно бывшие, но социально релевантные среди действительно бывших событий. Наконец, *практически* ни один из участников взаимодействия не может рассматриваться только как холодный наблюдатель. Релевантные события могут быть релевантны не только для холодного наблюдения. Событие отсылает к некоторому прошлому событию, выбранному из цепочек предшествующих событий как релевантное прошлое. Релевантное значит пригодное для включения в ту цепочку событий, в которой прошлое каузально связано с настоящим, а настоящее так же каузально связано с ожидаемым будущим. Логическая чистота событий остается делом логики. Комбинация вовлеченности и отстраненности, действия и наблюдения, знания и памяти может быть делом как историка, так и социолога.

П. DE MEMORIA

КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Л.П. Репина

Термин "культура"... не только обозначает объектную область науки — он в то же время обозначает понятие, при помощи которого наука осмысливает самое себя...

О. Эксле. Культурная память под воздействием историзма

На протяжении XX столетия мир изменялся с невиданной до этого времени стремительностью, и огромную роль в этих радикальных переменах сыграл научный прогресс. Но изменения затронули и статус самой науки как социального института: сначала сконцентрировав на ней все надежды человечества и возведя на высокий пьедестал в системе общественных ценностей, а к концу века — поставив под сомнение основополагающие критерии и ориентиры этого вида деятельности. Во многих науках на первый план вместо закономерностей и регулярностей вышло изучение индивидуального, уникального, случайного. Вновь изменилось соотношение между такими различными типами знания, как знание научное, религиозное, эстетическое, усилились движения антисциентистской направленности, ушли в прошлое классические идеалы науки. В начале третьего тысячелетия происходит смена мировоззренческих стратегий, формируется новая модель мира,

122

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

и все области современного социогуманитарного знания находятся в состоянии напряженного интеллектуального поиска.

На фоне кризиса новоевропейского рационализма, который проявляется прежде всего в отказе от притязаний на объективность и постижение истины, происходит разрушение границ между дисциплинами, обновление способов историзирования и историописания, и шире — исторической культуры. Акцентируя роль языка, нарративных структур и эстетическую функцию истории, отождествляя ее с литературой и искусством, указывая на фрагментарность и непознаваемость прошлого, отрицая различия между субъективным и объективным и попытки увязать историческое повествование в стройную единую концепцию, постмодернистское мышление поставило под сомнение само понятие исторической реальности или, по меньшей мере, возможность "прорыва" к ней сквозь толщу языковых и текстовых опосредований. И все же, обострив накопившиеся проблемы, постмодернистская программа расчистила новые пути исторического познания мира. Хотя процесс выработки новой парадигмы истории взамен рухнувшей ока* зался чрезвычайно сложным и противоречивым, остается несомненным одно: наиболее обнадеживающие перспективы открываются в тех направлениях, которые поставили во главу угла категорию культуры. А это приводит к новому пониманию задач и к качественным изменениям в предметном поле, концептуальном аппарате и методологической базе исторического исследования, т.е., по всем основным параметрам, идет становление новой исторической науки, которую называют по-разному: *новой культурной историей*¹ или исторической *культурологией*¹. С культурологическим пафосом историографии рубежа веков и тысячелетий связан и *культурный поворот* в том домене интеллектуальной истории, который прежде определялся исключительно как

¹ Подробнее об этом см.: Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей-1996. М., 1996. С. 25—38; Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию "стиля жизни" к "культурной истории повседневности" // Одиссей-2000. М., 2000. С. 96—124.

¹ См.: Эксле О.Г. Культурная память под воздействием историзма // Одиссей-2001. М., 2001. Впрочем, Эксле говорит не о возникновении, а о "возвращении концепта «культурология»" (с. 179), о "новой рецепции (курсив мой. —Л.П.) исторической культурологии" (с. 192—194), относя ее появление к началу XX столетия.

123

Феномен прошлого

история исторической науки. Под влиянием культурной антропологии и теоретического литературоведения сфера интересов интеллектуальной истории, изучавшей творческое мышление и новаторские идеи интеллектуалов, распространилась на проблематику культуры в ее антропологическом понимании, на категории сознания, на мифы, символы, языки, в которых люди осмысливают свою жизнь. Признание активной роли языка и дискурсивных стратегий в созидании и описании исторической реальности стало базовой характеристикой общих теоретико-методологических принципов, разделяемых новой культурной и интеллектуальной историей. Проект "новой культурно-интеллектуальной истории" включил в исследовательское поле интеллектуальной истории анализ мыслительного инструментария, конкретных способов концептуализации окружающей природы и социума, всех форм, средств, институтов интеллектуального общения, а также их взаимоотношений с "внешним" миром культуры.

Параллельно с указанными процессами происходят существенные изменения в понимании предмета истории духовной жизни общества (поворот от презентизма к антикваризму), а затем и так называемый *прагматический поворот* к изучению культурных практик индивидов и социальных групп. В презентизме, представляющем собой ретроспективный подход в истории идей, речь, по существу, идет об актуализации лишь тех сторон прошлой духовной жизни, которые имеют ценность в сегодняшней действительности. Однако современное переосмысление обязательно привносит в прошлый текст такое мыслительное содержание, которое прежде отсутствовало, т.е. модернизирует его. Совершенно иной вариант — анализ духовных явлений с точки зрения их роли в жизни прошлого, т.е. собственно *историческое* исследование, с помощью методов, которые позволяют охарактеризовать идеи и ценностные установки минувшего во взаимосвязи с обстоятельствами, их породившими, а в перспективе — понять конкретные действия, мотивированные этими культурными ориентирами. Именно такие приоритеты характерны для современной парадигмы культурно-интеллектуальной истории.

По существу, это — второй важнейший качественный сдвиг в мировой исторической науке второй половины XX в. после перехода от социально-структурной истории к истории ментальностей и расцвета исторической антропологии в западной историографии во второй половине 1970-х и в 1980-е гг. Новое качество исторической субъек-

124

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

тивности во многом связывается с подвижками в системе ценностей, в ценностных ориентирах, наиболее яркими выразителями которых становятся, как правило, крупные мыслители. Фактически в современной культурно-интеллектуальной истории реализуется комплексная программа обновленной методологии истории, которую наметил еще в 1991 г. выдающийся французский историк Жак Ле Гофф. Он видел ее в перспективах развития следующих трех направлений: *истории интеллектуальной жизни*, которая представляет собой изучение навыков мышления; *истории ментальностей*, т.е. культурных стереотипов, символов, мифов, коллективных автоматизмов обыденного сознания; и наконец, *истории ценностных ориентации*. "Понятие ценностных ориентации... позволяет учитывать при изучении истории динамику, изменение; оно восстанавливает феномен человеческих желаний и устремлений, оно восстанавливает этику..."³. Эта триада *идей, стереотипов и ценностей* позволяет охватить динамику исторического развития духовной сферы как на макросоциальном уровне, так и на уровне индивида (включая исторический анализ творческого наследия того или иного мыслителя, ученого, писателя, историка) или микрогруппы.

1

Современная историографическая ситуация создала огромное новое исследовательское поле, связанное с историей исторической культуры. Комплексное исследование целостного феномена исторической культуры (и исторической традиции) может опереться на новый подход, в основу которого положен синтез социокультурной и интеллектуальной истории, что предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и обыденное сознание. Именно в этом ракурсе следует рассматривать ментальные стереотипы, исторические мифы и разновременные процессы трансформации обыденного исторического сознания, механизмы формирования, преобразования и передачи исторической памяти поколений — совокупности привычных восприятий, представ-

³ Ле Гофф Ж. С небес на землю // Одиссей-1991. М., 1991. С. 26.

125

Феномен прошлого

лений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого, а также способов объяснения, рационализации и осмысления последнего.

Как известно, постмодернистская программа в значительной степени сосредоточила внимание на изменчивости представлений о прошлом, на роли исторической концепции, которая интерпретирует исторические тексты исходя из современных предпосылок и действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал. Несомненно, постоянный поиск новых путей в истории обусловлен столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из нашего настоящего. Но в результате крутого поворота в историографии последней трети XX в. появилось и новое отношение к документам, в том смысле, что последние не отражают, а интерпретируют прошлую реальность, и поскольку реконструкция прошлого в таких условиях — цель недостижимая, задача историографии —

конструируя искомое прошлое, 'помочь' индивидам и социальным группам (особенно маргинальным) в обретении ими собственной идентичности. И именно это время характеризуется активным обращением историков к проблемам памяти.

Как люди воспринимали события (не только их личной или групповой жизни, но и Большой истории), современниками или участниками которых они были, как они их оценивали, каким образом хранили информацию об этих событиях, так или иначе интерпретируя увиденное или пережитое, — все это представляет огромный интерес. Речь идет не о сознательных искажениях (хотя и о них тоже нельзя забывать), а о системе восприятия людьми того, что они наблюдают. Реальность преломляется их сознанием, и ее искаженный, односторонний или расплывчатый образ запечатлевается в их памяти как истинный рассказ о происшествии. И все же, с учетом механизма переработки первичной информации в сознании свидетеля, это не может быть непреодолимым препятствием для работы историка. В плоскости теории исторического познания рассматривал проблему памяти выдающийся историк, археолог и философ Р. Коллингвуд в своей "Идее истории". Утверждая несостоятельность теорий, основывающих историю на памяти, он подчеркивал независимость истории от памяти. В этом историку помогает воображение:

"...Прошлое не может стать объектом чьей бы то ни было перцепции, так как оно уже не существует в настоящем, но с помощью исторического воображения оно

126

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

становится объектом нашей мысли"⁴. "Безусловно, сознание, которое не могло бы помнить, не обладало бы и историческим знанием. Но память как таковая — всего лишь мысль, протекающая в настоящем, объектом которой является прошлый опыт как таковой, чем бы он ни был. Историческое знание — это тот особый случай памяти, когда объектом мысли настоящего является мысль прошлого, а пропасть между настоящим и прошедшим заполняется не только способностью мысли настоящего думать о прошлом, но и способностью мысли прошлого возрождаться в настоящем"⁵.

В последней фразе Коллингвуд в концентрированной форме выразил свою оригинальную концепцию истории, но это его рассуждение имеет более широкий смысл. Заметим, что определение памяти как "мысли, протекающей в настоящем", относится и к историческому знанию, как "особому случаю памяти", разница — по Коллингвуду — заключается в *объекте и предмете*: в историческом знании это не просто мысль, как некая форма опыта, а рефлексия, точнее — рефлексивная, целенаправленная деятельность, мысль и действие, слитые воедино⁶. Но откуда же происходит способность мысли прошлого "возрождаться в настоящем" и как она "воспроизводится в настоящем"?

Речь идет об идее "живого прошлого": "то прошлое, которое изучает историк, является не мертвым прошлым, а прошлым в некотором смысле все еще живущим в настоящем", "все еще живы способы мышления того времени"⁷, а остатки прошлого "становятся свидетельствами лишь постольку, поскольку историк может воспринять их как выражение какой-то цели, понять, для чего они были предназначены". "Исторически вы мыслите тогда... когда говорите о чем-нибудь: «Мне ясно, что думал человек, сделавший это (написавший, использовавший, сконструировавший и т.д.)»"⁸.

⁴ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 231.

⁵ Там же. С. 280. Там же. С. 294—297.

⁷ При этом "жизнь прошлого не обязательно должна быть непрерывной. Следы прошлого могут умирать, а затем воскресать из мертвых, как древние языки Месопотамии и Египта" (Коллингвуд Р. Дж. *Автобиография* // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. С. 378).

«Там же. С. 385.

127

Феномен прошлого

Различие же между мыслью прошлого и мыслью, воспроизводимой историком, заложено в контексте. История была и остается "дисциплиной контекста". Только знание контекста позволяет находить в свидетельствах прошлого ответы на вопросы, предъявленные этому прошлому историком.

При отсутствии прямого контакта с прошлой реальностью мы лишены возможности познать какой-то ситуативный опыт прошлого в отдельности, но его можно понять в более широком контексте, в комплексной картине исторического опыта, включающей самые разные его интерпретации. В субъективности источников, которые мы изучаем, отражены взгляды и предпочтения, система ценностей людей — авторов этих свидетельств или исторических памятников. Соответственно субъективность, через которую проходит и которой отягощается конкретная информация, отражая представления, в большей или меньшей степени характерные для некоей социальной группы или для общества в целом, проявляет культурно-историческую специфику своего времени. Таким образом, текст, который "искажает информацию о действительности", не перестает быть историческим источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как проблема интерпретации интерпретаций.

Обширный и разнородный материал исторической (памятники устной традиции, анналы, хроники, летописи, "церковные истории", "истории народов", "естественные истории"), публицистической и художественной литературы, а также документов частного и публичного характера, который так или иначе отражает социальное бытование представлений о прошлом в элитарной и народной культуре и их роль в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, является первоклассной

источниковой базой для изучения исторической культуры, включая динамику взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и исторической мысли той или иной эпохи — с другой, при том, что ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов. Пространство такого исследования может быть существенно расширено благодаря эффективному использованию сравнительно-исторического метода в анализе изучаемых процессов в странах и регионах с очень разным историческим опытом, политическими и культурными традициями, а

128

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

также выявлению аналоговых и контрастных характеристик "своего" и "чужого" прошлого.

Известный французский историк Бернар Гене впервые сформулировал проблему и наметил оригинальные пути исследования феномена средневековой исторической культуры. Гене писал:

"Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются прежде всего их памятью, т.е. их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки... Меня интересует историк, но еще больше его читатели; исторический труд, но еще больше его успех; история, но еще больше историческая культура"⁹.

Сотворенная историками и ставшая памятью история соединяется в понятии исторической культуры с воспринимающим ее историческим сознанием. Однако в настоящее время в мировой историографии речь идет преимущественно об изучении коллективной (в том числе и исторической) памяти, о теоретических аспектах устной истории, опирающейся на воспоминания о пережитом участниками и очевидцев минувших событий, а также о соотношении истории и памяти и о конкретных исследованиях главным образом по истории Нового и новейшего времени¹⁰. Таким образом, основные усилия ученых разных стран вплоть

⁹ Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2001. С. 19.

¹⁰ В том, что касается обыденных представлений о прошлом, бытовавших в переходный период от античности к Средневековью и в различных странах и регионах Европы до начала Нового времени, подобные исследования имеют фрагментарный характер. При этом вопросы о динамике взаимоотношений, факторах формирования и путях взаимопроникновения обыденных представлений о прошлом и ученого знания, представлений о прошлом в ученой и народной культуре античности, Средневековья и раннего Нового времени, о взаимодействии элитарного исторического сознания и коллективной памяти поколений, этнических, конфессиональных и локальных общностей, социальных классов и групп представляют в своей совокупности малоизученную область исследования. В отечественной историографии начало систематической работы в этом направлении было положено группой историков Института всеобщей истории РАН, работавших в 2001—2003 гг. над коллективным проектом. Авторы поставили перед собой задачу проанализировать представления о прошлом и исторические концепции как элементы социальной, политической, этнической и конфессиональной идентичности. Особое внимание обращалось на место исторических представлений и концепций в идейной полемике и политической практике, на взаимодействие социальной памяти и исторической мысли в переходные периоды: от антич-

129



Феномен прошлого

до сегодняшнего дня были сосредоточены не на изучении комплексного феномена исторической культуры, а на проблематике исторической памяти.

В зарубежной историографии (прежде всего во французской и немецкой) в конце XX в. сложились влиятельные школы исследователей исторической (культурной) памяти, и число публикаций, посвященных этим проблемам, неуклонно растет¹¹. Несмотря на заметные концептуальные и терминологические различия они имеют важную общую характеристику — главным предметом истории становится не событие прошлого, а *память о нем*, тот *образ*, который запечатлелся у переживших его участников и современников, транслировался непосредственным потомкам, реставрировался или реконструировался последующими поколениями, подвергался "проверке" и "фильтрации" с помощью методов исторической критики¹².

Историческая память чаще всего понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной (социальной) памяти — как память об историческом прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического прошлого. Историческая память — не только один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который

ности к Средневековью и позднее — к Новому времени. Результаты проведенных исследований опубликованы в кн.: *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени* / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2003. В настоящее время той же группой завершается подготовка коллективного труда "История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени".

¹¹ Это относится не только к конкретно-историческим исследованиям, но и к теоретическим разработкам, и к программно-дискуссионным выступлениям. См., в частности: *Les Lieux de Memoire* / Ed. P. Nora. T. 1—7. P. 1984—1992; *Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung* / J. Assmann, D. Harth (Hrsg.). Frankfurt a.M., 1991; Assmann J. *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in den frühen Hochkulturen*. München, 1992; Эксле О.Г. *Культурная память под воздействием историзма*. С. 176—198; и др.

¹² Речь идет о памяти, подлинность которой "заверена", о памяти, "преобразованной в историю". Концепцию "памяти-истории" комментирует, в частности, Франсуа Артог в статье "Время и история" ("Анналы" на рубеже веков: Антология. М., 2002. С. 147—168).

130

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

имеет особенное значение для конституирования социальных групп в настоящем. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях¹³. Историческая память рассматривается как сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением исторических событий и исторического опыта (реального и/или воображаемого) и одновременно — как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях. Историческая память не только социально дифференцирована, она изменчива. Эта постоянно обновляемая структура — идеальная реальность, которая является столь же подлинной и значимой, как реальность событийная.

Историки обратились к изучению механизмов формирования и функционирования исторической памяти, опираясь на теоретические положения, концептуальный аппарат и методологический инструментарий исследований социальной и культурной памяти, разработанные в смежных дисциплинах и широко представленные в новейшей социально-гуманитарной (социологической, психологической, философской, лингвистической) научной литературе в течение всего XX столетия.

Исходным пунктом стали работы Мориса Хальбвакса¹⁴, работавшего в традиции Э. Дюркгейма и делавшего упор на коллективное *сознание*. В его концепции память индивида существует постольку, поскольку этот индивид является уникальным продуктом специфического пересечения групп, т.е. его память, по сути, структурируется групповыми идентичностями. Подчеркивая социальную природу памяти, обусловленность того, что запоминается и забывается, "социальными рамками" настоящего, Хальбвакс ввел понятие "коллективной

¹³ Собственно, и историческое знание, и социальная память выполняют ориентирующую функцию (в том числе и морально-этическую), и при этом одной из функций исторического знания является организация социальной памяти, социального сознания и социальных практик.

¹⁴ Halbwachs M. La memoire collective. Paris, 1950; Halbwachs M. Les cadres soc-iaux de la memoire. Paris, 1952.

131

Феномен прошлого

памяти как социального конструкта: именно коллективы и группы, задавая и воспроизводя образцы толкования событий, выполняют, в его концепции, функцию поддержания конституирующей их коллективной памяти.

Уже в конце XX в. немецким египтологом Яном Ассманом была разработана теория культурной памяти и сформулированы задачи ее изучения в рамках того научного направления, которое он обозначил как "история памяти"¹⁵. Я. Ассман проводит принципиальное различие между коммуникативной и культурной памятью. Коммуникативная память мало формализована, она представляет собой устную традицию, возникающую в контексте межличностных взаимодействий в повседневной жизни. Это — "живая память" индивидов (непосредственных участников и очевидцев) и групп о непосредственно пережитом или возникающая в процессе межпоколенного общения в повседневной жизни. Она существует на протяжении жизни трех-четырех поколений. Культурная память понимается как особая символическая форма передачи и актуализации культурных смыслов, выходящая за рамки опыта отдельных людей или групп, сохраняемая традицией, формализованная и ритуализованная, она выражается в мемориальных знаках разного рода — в памятных местах, датах, церемониях, в письменных, изобразительных и монументальных памятниках. Передаваясь из поколения в поколение, культурная память удерживает лишь наиболее значимое прошлое — мифическую историю, которая имеет ориентирующую, нормативную и конституирующую функции¹⁶.

Понятие "историческая память", как и концепт "коллективная память", не только у разных авторов, но и у одного и того же автора в разновременных публикациях и иногда даже в одной и той же работе может употребляться в значении "общий опыт, пережитый людьми совместно" (речь может идти и о памяти поколений), и более широко — как групповая память. "Историческая память" понимается как коллективная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание *группы*) или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание *общества*), или в целом — как

¹⁵ Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identical in den friihen Hochkulturen.

¹⁶ Ibid. S. 21. О теории культурной памяти Я. Ассмана см. также: Эксле О.Г. Культурная память под воздействием историзма. С. 179—180.

132

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

совокупность донаучных, научных, квазинаучных и внеаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом.

Высокая востребованность понятия "историческая память" во многом объясняется как его собственной "нестрогостью" и наличием множества дефиниций, так и текучестью явления, концептуализированного в исходном понятии "память". Вся терминология памяти характеризуется многозначностью. Память может включать все что угодно — от какого-нибудь спонтанного ощущения до формализованной публичной

церемонии. Историки, вслед за антропологами, давно употребляют понятие коллективной памяти, обозначая им комплекс разделяемых данным сообществом мифов, традиций, верований, представлений о прошлом. Однако многие авторы, особенно в последнее время, предпочитают все же различать память коллективную (групповую), память социальную, память коммуникативную (живую) и память культурную. Не менее важно различие между памятью репродуктивной и памятью реконструктивной, а также памятью-действием, памятью-репрезентацией, и памятью, рассматриваемой как совокупность идей и образов.

Память бесконечна, все сознание опосредовано ею, даже сиюминутное ощущение настоящего получает осмысление посредством памяти. Именно исходя из памяти и заложенных в ней схем человек ориентируется, сталкиваясь с новыми явлениями, которые ему предстоит осознать. То, что происходит "здесь и сейчас", интерпретируется на основе ранее накопленных знаний и, таким образом, само настоящее, в котором мы живем, выстроено из прошлых событий.

В нормальных обстоятельствах наша память хорошо нам служит, прежде всего потому, что репрезентирует прошлое и настоящее как связанные друг с другом. Мы доверяем своей памяти, так как она проверяется повседневной жизнью, хотя та же проверка нередко обнаруживает несообразности. Однако, когда это случается, мы обычно не испытываем трудностей в том, чтобы найти причину. Конечно, память максимально надежна в континууме настоящего, где она постоянно воспроизводится и проверяется. Но новый опыт или новые идеи могут ей противоречить и поставить под сомнение доверие к знанию о прошлом (как и о настоящем), заключенному в памяти и построенному на идеях и воспоминаниях, существующих в настоящий момент.

Память всегда обусловлена заинтересованностью. Люди помнят то, что им нужно помнить, но нередко забывают даже события из

133

Феномен прошлого

собственной жизни, если не придают им значения. Изменения интереса и восприятия по отношению к историческому прошлому связаны с явлениями социальными. Меняющийся интерес к прошлому является частью коллективного, общественного сознания, а перемены в социальных условиях порождают изменение этого сознания. Различия между видами описания прошлого, сделанного разными людьми, можно соотнести с различными видами общества, к которому эти люди принадлежат. Но связь между обществом и историей не так проста: можно идентифицировать целый ряд значительных промежуточных звеньев между социальной практикой и описаниями прошлого. Прежде всего — это язык, который формирует и сохраняет наши концепции. Когда же мы стремимся передать наши воспоминания, первостепенное значение приобретают существующие формы или жанры повествования.

Первоначальная, наиболее примитивная форма осознания и репрезентации прошлого связана с мифом. Весь мир представляется индивиду как нечто единое с ним, человек не способен ни выделить себя из окружающей среды, ни осмыслить что-либо генетически. Миф почти лишен категории времени, прошлое и настоящее здесь слиты воедино. Христианская концепция истории представляет утопическую форму сознания. На смену мифу и утопии постепенно приходит наука, изучающая прошлое человеческого общества, но при этом историческая наука, являясь важным компонентом современного исторического сознания, отнюдь не вытесняет предшествовавшие формы: важную роль в формировании исторического сознания продолжают играть религия, литература, искусство.

Осознание прошлого у индивида или социальной группы может складываться на основе устной традиции, которую не следует путать с устной историей — с исторической дисциплиной, порожденной методикой изучения устных воспоминаний современной эпохи. Устную традицию можно определить как объем знаний, которые передавались из уст в уста на протяжении нескольких поколений, являясь коллективным достоянием членов данного общества.

Устная традиция жива там, где грамотность не пришла еще на смену традиционной устной культуре.

Именно из устных воспоминаний и устной традиции черпали большинство сведений те, кто сейчас считается первыми историками, — Геродот и Фукидид. Средневе-

134

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

ковые летописцы и историки также в большой степени зависели от устных свидетельств, но уже с эпохи Возрождения стало быстро возрастать значение письменных источников. В XIX в., с возникновением академической исторической науки в ее современном виде, использование устных источников было практически прекращено. В обществе всеобщей грамотности устная традиция утрачивается в течение жизни двух-трех поколений. В настоящее время устная традиция используется историками не в качестве носителя исторической информации, а как средство для раскрытия культурного контекста, в котором формируются образы прошлого в традиционных обществах.

Историческая память находит свое выражение в различных формах. Компаративный анализ традиционного историописания позволяет говорить о наличии двух моделей репрезентации исторического прошлого: эпос (первоначально звуковой способ передачи исторической памяти) и *хроника* (изначально письменный способ ее фиксации) с присущими им контрастными характеристиками:

а) в эпосе, функция которого состоит в прославлении или комме-морации героя, абсолютные даты отсутствуют, а в *хронике*, функция которой заключается в описании или регистрации события, они имеют

первостепенное значение;

б) в эпосе, который рассчитан на эмоциональное восприятие слушателями и перформативен (значима его форма) по самой своей сути, важную роль играют исполнитель и ситуация, в которой происходит исполнение, в *хронике* тот, кто передает сообщение, невидим, а передача письменного сообщения носит информативный характер (важно содержание послания) и рассчитана на понимание, которое зависит от позиции читателя и его интеллекта.

Многие исследования антропологов, изучавших устные предания, в которых хранилась память народа о жизни и деяниях предшествующих поколений, показали, что устное изложение прошедших событий нельзя отделить от взаимоотношений между рассказчиком и аудиторией, в которой оно имело место. Однако не только устные, но и письменные сообщения-интерпретации фактов прошлого не существуют как самостоятельные объекты, но являются продуктом дискурса. Как бы ни была скромна цель рассказчика, эти сообщения являются целенаправленными вербальными действиями и в свою очередь интер-

135

Феномен прошлого

претрируются слушателем или читателем как таковые с учетом жанра этого дискурса, который обеспечивает аудитории соответствующий "горизонт ожидания"¹⁷.

Чрезвычайно важна проблема соотношения индивидуальной (персональной) и коллективной, или социальной, памяти. Индивид имеет не только настоящее и будущее, но и собственное прошлое, более того — он сформирован этим прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и коллективной, социально-исторической памятью, запечатленной в культурной матрице. Этот образ, разумеется, должен быть динамически развернут. Индивидуальный опыт непрерывно прирастает, с каждым новым днем, новым контактом, новым поступком, и "шлейф" создающей нас памяти становится все длиннее. "Матрица" не застыла, она живет и изменяется во времени, и, если говорить о сознании и мышлении, то в них эта темпоральность не ограничивается биологической жизнью индивида, а выходит за пределы дат его рождения и смерти — она открыта в пространство социального. Эта открытость и дает возможность говорить об историчности индивидуального сознания.

Мартин Хайдеггер развивает эту мысль следующим образом:

"Люди — волей-неволей — вглядываются в прошлое, или точнее, в некий образ прошлого. Возможно, того и не осознавая, они делают это постоянно... Наше существование имеет темпоральный характер: мы не можем осмыслить его, если будем пытаться думать о нем как об обособленном от времени. Поскольку наше существование темпорально, оно имеет собственную историю. Отнюдь не тривиальная или незначительная, эта история образует то, что мы есть. Мы являемся тем, что мы есть в настоящий момент, в силу того, что мы постоянно стремимся к индивидуальному будущему и приходим из индивидуального прошлого; сама наша идентичность возникает из историчности (курсив ¹⁷ С большинством затронутых в этих общих положениях тем можно подробнее познакомиться в обширном введении в книге антрополога Элизабет Конкин: Tonkin E. *Narrating Our Past. The Social Construction of Oral History*. Cambridge, 1992. P. 1—17. Рус. пер.: Тонкий Э. Социальная конструкция устной истории // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 159—184.

136

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

мой.----Л.Р.)... Те, кто не может вспомнить прошлое, приговорены к тому, чтобы сперва его выдумать"¹⁸.

Конечно, для исследования индивидуальной памяти самым важным типом персональных текстов являются автобиографии. Здесь только не стоит ставить знак тождества между понятиями "автобиографическая память" и "индивидуальная память". Несовпадение их содержания обстоятельно продемонстрировано в ценном исследовании В. Нурковой с "говорящим" названием "Свершенное продолжается"¹⁹. В этой же книге всесторонне рассмотрены психологические аспекты автобиографической памяти, доскональное знание которых насущно необходимо историку, работающему со столь специфическими источниками. Выделим некоторые ключевые моменты характеристики автобиографической памяти, которые могут быть соотнесены с принципами ее исследования.

Во-первых, справедливо подчеркивается, что автобиографическая память, содержанием которой являются важные и яркие события индивидуальной биографии, а также представления о себе в разные периоды жизни, "собирает" из несвязных обрывков Скурсив мой. — Л.Р.) каждодневных впечатлений уникальную, укорененную в самостождественности человеческую личность. (Подобную же "собирательную" роль по отношению к хаосу фрагментов повседневности прошлого играет историография.). Во-вторых, "случайно или намеренно изменю свою историю, автобиографию, мы уже не можем оставаться прежними. Мы чувствуем, как меняется ход наших мыслей, наше восприятие окружающего мира". Чем это может быть полезно историку? Увы, нам не часто доводится иметь дело с последовательным рядом автобиографических текстов одного и того же индивида. Однако, быть может, этот угол зрения позволит высветить некоторые "автобиографические штрихи" в источниках другого рода. По крайней мере, целенаправленный поиск в этом направлении не лишен перспектив.

Не менее важным представляется напоминание о том, что в любом обществе или социальной группе существуют писанные и неписанные каноны, определяющие, что человек обязан рассказывать о своем прошлом и как он должен понимать свою судьбу. Это обстоятельство,

¹¹ Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 332.

о котором нельзя забывать при анализе автобиографических памятников, и оно, несомненно, служит основанием для скептического отношения к вопросу об их достоверности. Но, вместе с тем, так называемые модельные автобиографии могут иметь особую ценность для историка: ведь сам факт "модельности" делает их репрезентативными.

Автобиограф выстраивает свою автобиографию, пишет историю своей жизни, как это обычно делают историки, — ретроспективно, из настоящего времени, мысленно отвечая на вопрос "как я стал тем, что я есть". Категория "индивидуального прошлого", всего непосредственно пережитого индивидом и так или иначе отложившегося в его сознании, играет интегративную роль, компенсируя последствия аналитических процедур, разлагающих человеческую деятельность, а следовательно, и личность, на отдельные составляющие. Каждое состояние настоящего есть следствие множества прошлых событий и состояний, разнообразных по продолжительности и образующих разнородный сплав, уникальный для каждого индивида. Но это не только лично пережитое: так называемый индивидуальный жизненный опыт включает разные компоненты. Показать на конкретном материале, как, прирастая "новым прошлым", меняется вся структура индивидуального опыта, сознания и способа жизни исторического индивида — огромная и редчайшая удача для историка, реализация которой неизбежно требует исследования темпорального измерения личности. Благодаря наличию уникального по своему охвату и разнообразию комплекса исторических памятников, ближе всех к решению этой проблемы сумел подойти Жак Ае Гофф в своей грандиозной монографии о Людовике Святом²⁰. Сам объект исследования определяется в ней как "глобализирующий", концентрирующий вокруг себя всю совокупность сфер, включаемых в поле исторического знания. Созданная Ле Гоффом биография Людовика Святого оказывается необычайно *протяженной*: она выходит далеко за пределы, поставленные рождением и смертью его героя, включая, с одной стороны, унаследованную им память предшествовавшего поколения, зафиксировавшую опыт прошлого, а с другой — историю создания образа Святого Людовика в памяти переживших его современников и последующих поколений. Так история одной жизни перерастает в настоящую биографическую историю, в историю, показанную через личность.

²⁰ Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001 [1995].

Как строится персональная идентичность? Некоторые исследователи исходят из того, что "индивидуальная память нерепрезентативна". Эта оценка имеет свои границы достоверности, так как не учитывает сложного состава памяти индивида. Индивидуальная память много-планова: она включает персональный, социокультурный и исторический планы. Наряду с собственным жизненным опытом, она подразумевает приобщение к опыту социальному, превращение чужого опыта в собственный, причастность к весьма отдаленным событиям. Огромное значение имеют так называемые устные семейные хроники, рассказы старших о семейном прошлом ("до того, как ты родился"), которые в той же мере, что и непосредственно переживаемые события, формируют индивидуальную память, дополняя ее воспоминаниями второго порядка. Подобные домашние хроники обычно рассматривают как основу семейной идентичности, но на персональном уровне эти эпизодически или регулярно актуализируемые семейные воспоминания вербально переживаются, присваиваются и входят неотчуждаемым компонентом в индивидуальное сознание. Таким же образом строится и идентичность семьи — до рождения настоящего поколения и после его ухода.

Натали Земон Дэвис попыталась воссоздать этот процесс на конкретно-историческом материале истории Франции раннего Нового времени²¹. Ее источниковую базу составил представительный корпус семейных мемуаров, которые, разумеется, писались не только для себя, но и для потомков. Это, безусловно, наиболее важный источник, позволяющий понять истинный смысл семейной идентичности и семейной истории. В этих мемуарах фиксировались не только события, пережитые самими их авторами, но и воспоминания старших, передававшиеся из поколения в поколение в устной форме. Обычно они охватывали не более двух или трех поколений предков мемуариста.

Как пишет Н. Дэвис, рассказы отцов и матерей соединялись в единое целое вопросами детей и пополнялись подслушанными разговорами ("Что делал мой дедушка в Риме для кардинала де Бурбон?"; "За кого вышла замуж моя покойная тетя Габриелла?"; "Отец моего отца жил до 126 лет, и перед тем, как он умер, я сам с ним разговаривал..."; "Я слушал, как Жан де Лан в 85 лет рассказывал, что его отец в 1331 г., когда он был в этом же возрасте, сказал..."). Запись бе-

²¹ Дэвис Н. Души предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала Нового времени // THESIS. 1994. Вып. 6. С. 201—241.

женца-гугенота в XVI в. показывает, какой важной частью семейной жизни были эти разговоры: "Ужасные гражданские войны вынудили бесчисленное количество семей, бросив все, покинуть королевство... Многие умерли, не оставив воспоминаний родным о своей родине. Дети не узнают, кем были их родители или предки... Книги и бумаги моего покойного отца потеряны, и я должен восстановить то, что я слышал от него, моей покойной матери и других моих родственников, рассказывавших о происхождении наших предков"²².

В итальянских городах семейная история или домашние воспоминания оформляются в новый литературный жанр уже в XIV в., но в остальных странах Западной Европы в малограмотных семьях, особенно среди крестьян, такие истории на протяжении всего раннего Нового времени передавались устно, возможно, вместе с сундуком нота-риальных контрактов и других документов. Однако в XVI—XVII вв. множество таких рукописных мемуаров уже хранилось в семьях представителей средних и высших слоев общества. Домашние мемуары имели различные формы (дневника, записей отдельных событий или последовательного изложения семейной истории) и содержали разное количество информации о жизни мемуариста и его времени (мужья рассказывали больше о себе, чем о женах; жены же обычно повествовали по меньшей мере столько же о мужьях и детях, сколько о себе). Некоторые воспоминания создавались на протяжении ряда поколений — чаще всего сыновьями или наследниками по мужской линии, но иногда женами, вдовами, дочерьми и даже невестками, если мужская линия семьи прерывалась. Другие писались на протяжении жизни одного автора и просто сохранялись в семейном архиве для последующих поколений. Однако все стремились оставить детям какой-то рассказ о судьбе семьи.

Отвечая на вопрос о достоверности этих мемуаров, Дэвис привлекает внимание к тому, что недостатком этих произведений является не столько содержащийся в них вымысел, сколько неумышленные или сознательные умолчания. Люди, обладавшие чувством семейной солидарности, выбирали, что забыть, а что рассказать детям так, чтобы не повредить репутации семьи и ее интересам. Однако все стремились оставить детям какой-то рассказ о судьбе семьи, о жизненном пути

^a Цит. по: Дэвис Н. Духи предков, родственники и потомки... С. 216.

140

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

и достоинствах родителей, воспитании и браках детей, разорениях и утратах, и таким образом значительное количество фактов и признаний передавалось от одного поколения семьи к другому.

Проблема перехода от индивидуальной памяти к коллективной связана и с другой серьезной проблемой, которая не ограничивается рамками изучения механизмов трансляции семейного опыта. Это проблема перехода от биологического ритма человеческой жизни к ритму жизни социальной. Неразрывная последовательность смены поколений является неотъемлемой частью социальных связей. Существует и такое понятие, как память поколений. В современном обществознании понятие "поколение" обычно опирается на общность социальных переживаний и деятельности этой группы людей. Длительность поколения в этом культурно-историческом смысле зависит от скорости обновления общества: чем быстрее перемены, тем короче поколения, тем ярче выступают и осознаются поколенческие различия. Карл Мангейм, который первым заговорил о поколении в социологии, рассматривал смену поколений как основанный на ритме человеческой жизни универсальный процесс, в результате которого в историческом процессе появляются новые и постепенно исчезают старые действующие лица, причем члены любого данного поколения могут участвовать только в хронологически ограниченном временном отрезке исторического процесса. Наряду с необходимостью решения постоянно стоящей перед обществом задачи передавать накопленное культурное наследие, он отмечал и неразрывно связанную с ней проблему перемен²³.

Ключевое значение для жизнеспособности общества имеет открытость молодого поколения новому опыту, который противоречит старым стереотипам, привычным ценностям. При этом многое зависит от характера перемен: при резких качественных скачках межпоколенные различия становятся более явственными и субъективно ощущаются гораздо болезненнее. В результате смены поколений изменяется содержание коллективной памяти. Принципиально важное значение имеет сопоставление воспоминаний "первого поколения", пережившего события в сознательном возрасте, и "второго поколения" ("отцов" и "детей")²³. См.: Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

141

Феномен прошлого

в буквальном или фигуральном смысле), памяти смежных поколений, по-разному воспринимающих и оценивающих одни и те же события. Если для "второго поколения" эти события — еще живое прошлое, то для представителей "третьего поколения" их образы становятся достаточно абстрактными: это уже не часть собственной биографии, а часть истории. С окончательным уходом из жизни "первого поколения", т.е. тех, для кого события являлись фактом собственной биографии, субстанция коллективной памяти исчезает и замещается довольно приблизительными коллективными представлениями. Критически важно в работе с источниками личного происхождения четко представлять себе поколенную идентичность автора. Ведь при всей своей условности выражение "память поколения" имеет содержательную сторону, отражающую некую общность культурно-исторического опыта.

В последние десятилетия XX в. во многом был пересмотрен взгляд на отношение индивидуального опыта к историческому сознанию и коллективной памяти. Наиболее глубокая рефлексия по этим вопросам содержится в получившей широкую известность книге Джеймса Фентресса и Криса Уайкема "Социальная память"²⁴. Авторы поставили перед собой проблему выработки такой концепции памяти, которая, отдавая должное коллективной стороне сознательной жизни индивида, в то же время не изображала бы его как автомат, пассивно подчиняющийся коллективной воле, а оставляла для него пространство выбора. Именно поэтому они предпочли говорить не о социальном сознании, а о *социальной памяти*. Но как же все-таки

индивидуальная память превращается в коллективную и социальную? Это происходит в процессе коммуникации, рассказа о пережитом. Воспоминания, которые один индивид разделяет с другими, становятся для них релевантными. И Хальбвакс был, конечно, прав в том, что социальные группы конструируют свои образы мира, устанавливая некие согласованные версии прошлого, а также и в том, что эти версии устанавливаются посредством коммуникации.

Итак, память может быть коллективной или социальной, только если ее можно передать, а для этого она должна быть артикулирована посредством речи, ритуалов, изображений и т.д. Однако образы можно передать, только если они конвенциональны и упрощены; конвенциональны, потому что образ должен иметь смысл для всей группы, а

²⁴ Fentress J., Wickham C. *Social Memory*. Oxford, 1992.

142

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

упрощены, потому что для того, чтобы иметь общий смысл и возможность передачи, сложность образа должна быть сведена к возможному минимуму. Индивидуальные воспоминания включают личные переживания, многие из которых очень трудно артикулировать, и потому образы индивидуальной памяти всегда богаче, чем более схематичные коллективные образы. Образ того или иного события, занесенный в социальную память, — это некая условная схема, общая идея, понятие, которое взаимодействует с другими аналогичными понятиями.

Л.Н. Толстой в романе "Война и мир" дал исключительно точное описание психологического процесса трансформации индивидуальной памяти о событии в его стереотипную версию в эпизоде, когда юный Николай Ростов рассказывает о том, как и где он был ранен.

"Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, т.е. так, как *им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было* (курсив мой. — Л.Р.). Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, — или бы они не поверили ему, или что еще хуже, подумали бы, что Ростов сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак" (Т. I. Ч. III. Гл. VII).

Не менее важный момент состоит в том, что различие между персональной и социальной памятью на самом деле относительно. Даже индивидуальные воспоминания представляют собой смесь персонального и социального. Сама по себе память субъективна, но одновременно она структурирована языком, образованием, коллективно разделяемыми идеями и опытом, что делает индивидуальную память также социальной. Воспоминания социальны и потому, что они касаются социальных взаимоотношений и ситуаций, пережитых индивидом совместно

143

Феномен прошлого

с другими людьми. Эти воспоминания, в состав которых входят одновременно и персональная идентичность, и ткань окружающего общества, являются, по существу, средством воспроизводства социальных связей. В свете всего вышесказанного становится очевидным, что любая попытка использовать воспоминания как исторический источник с самого начала должна учитывать и субъективную (индивидуальную), и социальную природу памяти.

Социальная память является избирательной, а часто еще и искаженной или неточной. Тем не менее важно осознать, что она необязательно всегда такова. Она действительно может быть очень точной, когда люди считают социально значимым день ото дня вспоминать и пересказывать событие так, как оно было первоначально пережито. Таким образом, бесплодные споры о том, достоверна она или нет, будут продолжаться вечно, если рассматривать память как некую ментальную способность, которая может быть описана в изоляции от социального контекста. То, что искажает социальную память, представляет собой не какой-то дефект воспоминания, но скорее серию внешних ограничений, обычно накладываемых обществом и достойных стать предметом специального рассмотрения.

Но передача "правдивой" информации — это всего лишь одна из многих социальных функций, которые память может выполнять в разных обстоятельствах. Чтобы понять, каково значение прошлого для людей, относительно неважно, насколько достоверную информацию о нем они имеют, переживали ли они его непосредственно или о нем им рассказывали (речь может идти и о компенсации пробелов в индивидуальной памяти, как, например, в "детских воспоминаниях", сконструированных регулярными семейными пересказами), или же они прочитали об этом в книге. На социальное значение памяти, как и на ее внутреннюю структуру и способ передачи, мало воздействует ее соответствие реальности. Как правило, мы предполагаем, что наша память реальна, т.е. сохраняемые образы событий нашего прошлого как-то относятся или даже непосредственно восходят к реальному событию. Это предположение может быть в основном верным в отношении персональной памяти, ведь здесь мы обычно, хотя и не всегда, имеем средства проверить отдельное воспоминание в контексте других воспоминаний. Это, как правило, позволяет нам вернуться к обстоятельствам, с которыми связано воспоминание. Но в социальной памяти образы часто относятся к обстоятельствам, которым мы сами не

были свидетелями и, таким образом, у нас нет средств, вернувшись к ним, включить эти образы в контекст других воспоминаний.

Поскольку образы социальной памяти часто лишены контекста, то нет способа узнать, имеют ли они отношение к чему-то реальному или чему-то воображаемому. Конечно, нормальное предположение продолжает действовать: члены любой социальной группы считают, что если их традиция сохраняет память об определенном событии, то это событие должно было произойти. Иными словами, члены группы просто предполагают, что их традиции имеют отношение к чему-то реальному, но не имеют способа узнать, что это именно так.

В принципе, можно рассматривать социальную память как некое выражение коллективного опыта: социальная память идентифицирует группу, дает ей чувство прошлого и определяет ее устремления на будущее. Осуществляя это, социальная память часто опирается на какие-то события прошлого. История той или иной общности людей, как разделяемая ее членами версия коллективного прошлого, является основой групповой идентичности²⁵.

Иногда есть возможность проверить притязания коллективной памяти документальными источниками, иногда нет. Однако в обоих случаях вопрос о том, считать ли *нам* эту память исторически достоверной, оказывается менее важным, чем вопрос о том, считали ли они эту память верной. Историки обычно определяют нереалистичное отображение прошлого как "миф", но нельзя упускать из виду, что иногда мифические структуры в закодированной форме регистрируют реальные события или кардинальные перемены в жизни общности²⁶.

Факты обычно быстро утрачиваются на ранних стадиях социальной памяти. Во-первых, чтобы их запомнить и передать, они должны быть трансформированы в образы, и во-вторых, — организованы в рассказы — нарративы разных жанров, которые существуют как типовые модели, с помощью которых переживаются и интерпретируются все события. Фиксация запомнившихся фактов в соответствии с этими шаблонами может с самого начала сопровождаться радикальной перестройкой памяти. К этому моменту часть фактов уже оказывает-

²⁵ См.: Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 108—113.

²⁶ Не следует в этом отношении игнорировать даже народные сказки, которые также являются напоминанием о прошлом, хотя рассказчики часто и не претендуют на то, чтобы им верили.

ся утраченной, причем не просто в результате быстрого исчезновения фактического компонента памяти, но также из-за того, что факты, не гармонирующие с нашими установками, фильтруются при передаче. Концептуализация, которая происходит, когда память трансформируется в предназначенный для ее передачи рассказ, — это самостоятельный процесс. Дальше процесс изменения замедляется, возникает некоторая стабилизированная версия — *история*.

Итак, по существу, прошлое сохраняется ценой его изъятия из контекста, или деконтекстуализации. Передача социальной памяти — это процесс изменения, процесс последовательной "усушки и утруски" памяти, отбора фактов, их упорядочивания, а затем переупорядочивания. Подавление социальной памяти с тем, чтобы придать ей новое значение, само по себе является социальным процессом. Более того, историю этого процесса иногда можно приоткрыть. Дело в том, что социальная память оказывается подверженной закону спроса и предложения: чтобы сохраниться за пределами сиюминутного настоящего, и особенно, чтобы выжить в процессе передачи и обмена, память о событии должна быть востребована. Здесь вступают в силу социальные, культурные, идеологические или исторические факторы.

Системы социальной или коллективной памяти различаются не только своей интерпретацией данных исторических событий, но и тем, какие именно события, какой тип событий они рассматривают как исторически значимые. То, что люди помнят о прошлом, — а также то, что они о нем забывают, — является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии. Крис Уайкем в своем исследовании, посвященном проблеме соотношения истории и памяти в трудах итальянских юристов X—XI вв., изучает распад итальянского королевства в этот период в связи с анализом процессов исторической памяти²⁷. Как правило, средневековая литература, в том числе историческая, рассматривается сквозь призму осознанных взглядов авторов этих сочинений на то, что есть история, через их литературный жанр, представления о причинности, отношении к эсхатологии и т.д. Уайкем же сосредоточивает внимание на тех аспектах исторической памяти, которые определяют их неосознанные предпочтения и интерес к событиям определенного плана. Особенно ярко эти предпочтения проявляются

²⁷ Wickham C. Justice in the Kingdom of Italy in the Eleventh Century // *Settimane di studio del Centre italiano di studi sull'alto medioevo*. 1997. Т. 44. Р. 133—176.

в сравнительном анализе. Так, если интерес английской историографии XI в. сосредоточен на событиях в масштабе страны и на тех, что связаны с короной, то в Италии он, напротив, направлен на события, касающиеся различных группировок аристократических элит. Кроме того, здесь у авторов произведений обнаруживаются резкие расхождения во взглядах между аристократами и профессионалами — пред-

ставителями церкви и правоведами, и по вектору исторической памяти элиты распадаются на составные части, для которых референтными являются разные события. В другой своей работе Уайкем доказывает, что X—XI вв. в Северной Италии — это вообще время исключительно слабой исторической памяти, прежде всего на уровне государства²⁸. Только в конце XI в. начинается процесс реконструкции прошлого, причем в каждом случае — исключительно локального. Этот процесс продолжается в народной памяти довольно долго, и фиксируется в анналах и документах второй половины XII и первой половины XIII в.

Как хранились и передавались устной традицией легенды о деяниях предков, которые затем, спустя несколько поколений, находили отражение в исторических сочинениях? *Что* и как рассказывалось о событиях, как от эпохи к эпохе менялись акценты в повествованиях, какие новые смыслы вписывались в готовый сюжет?

Концепции средневековых историков были не менее глубоко укоренены в их настоящем, чем их собратьев по перу в любую другую эпоху. Средневековые хронисты особенно интересовались происхождением мира, народа, какого-нибудь знатного рода или церковного института и стремились проследить развитие своего предмета в непрерывном процессе от начала — предпочтительно отдаленного или даже мифического — до текущего времени. Однако их чувство прошлого было строго ориентировано на настоящее: историография выполняла практические функции, она не только описывала, но и использовала прошлое в насущных (главным образом политических) целях. Повествуя о достославных деяниях королей, епископов, пап или святых, она использовала прошлое как аргумент для решения текущих проблем — например, доказательства статуса или подтверждения притязаний. Тем не менее манипуляция историческими аргументами производилась в полном соответствии с искренней внутренней убежденностью хрониста в правоте защищаемого им дела.

"Wckham C. The Other Transition: From the Ancient World to Feudalism // Past and Present. 1984. N 103. P. 3—36.

147

Феномен прошлого

Одна из задач историографии — объяснить, почему определенные традиции соответствовали памяти определенных групп. Социальная память — это еще и источник знания, она не только обеспечивает набор категорий, посредством которых некая группа неосознанно ориентируется в своем окружении, она дает также этой группе материал для сознательной рефлексии. Это значит, что определить отношение групп к своим традициям можно, задавая вопросы: как они интерпретируют и используют их в качестве источника знания. И здесь мы вплотную подходим к проблеме соотношения истории и памяти. П. Нора говорил о том, что, как форма воспоминания о прошлом, история в виде упорядоченного исторического знания приходит на смену памяти, что "история убивает память" или "память убивает историю"²⁹. Между тем, здесь нет такого "убийственного" выбора, между историей и памятью нет даже никакого разрыва. Нельзя забывать о живучести не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов у самих историков и о социально-политических стимулах их деятельности в области "нового мифотворчества", с одной стороны, и о процессах интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были, — с другой. Ведь даже профессиональные историки, претендующие на строгую научность и объективность либо на роль "жреца в храме Мнемозины", хранящего "эталон исторической памяти"³⁰, сопричастны "повседневному знанию", они, каждый на свой лад, вовлечены в современную им культуру, а кроме них есть еще и другие "производители" знания о прошлом — писатели, деятели искусства, служители культа и др.

История историографии демонстрирует двойственную роль историков в формировании, трансляции и трансформации коллективной памяти о прошлом, которое постоянно

"интерпретируется, переосмысливается, усваивается, отторгается, отдалается, приближается, боготворится, предстает в черном свете, овеществляется, приходит в движение... представляется в настоящем — часто против нашей воли"³¹.

²⁸ Nora P. Entre Memoire et Histoire. La problematique des lieux / Les lieux de memoire. T. 1. Paris, 1984. P. XV—XLII; Nora P. Between History and Memory: Les Lieux de Memoire // Representations. 1989. Vol. 26. N 1. P. 7—25.

³⁰ Эжштут С.А. Битвы за храм Мнемозины // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 27—48.

³¹ Рюзен И. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 10. М., 2003. С. 48.

148

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

История неотделима от памяти. Деконструкция морально устаревших исторических мифов влечет за собой создание новых версий, предназначенных придти им на смену. Испанский историк Игнасио Олабарри, настаивая на том, что историк не может выполнять мифическую функцию памяти и отказаться от контроля за результатами своей профессиональной деятельности, писал:

"Перед историком стоит задача не изобретать традиции, а скорее изучать, как и почему они создаются. Мы должны сформулировать некую историческую антропологию нашего собственного племени. Но одно дело, когда антропологи просто симпатизируют тому племенному сообществу, которое они изучают, и совсем другое — когда они становятся его шаманами"³².

На самом же деле все мы в каком-то смысле шаманы своего племени. Пытаясь развенчать социальную память, отделив факты от мифа, мы просто вместо одной получаем другую историю, стремящуюся стать новым мифом. Это, конечно, не значит, что следует принимать память пассивно и некритично. Мы можем

вступить с ней в диалог, проверяя ее аргументы и притязания на соответствие фактам. Но было бы ошибкой представлять, что в результате этого расследования, выудив из исторической памяти "достоверные" факты, проверив ее аргументы и реконструировав закодированный в ней опыт, т.е. превратив ее в *историю*, мы покончили с памятью.

Важнейшее различие между историей и памятью в том, что мы можем открыть то, чего нет в сознании людей, то, что касалось "незапамятных времен", или просто забылось. Это — одна из главных функций исторического исследования.

"Историк может вновь открыть то, что было полностью забыто, забыто в том смысле, что никаких свидетельств о нем не дошло до нас от очевидцев. Он даже может открыть что-то, о чем до него никто не знал. Это он делает, частично обрабатывая свидетельства, содержащиеся в его источниках, частично используя так называемые неписьменные источники..."³³

³² Olabari I. History and Science / Memory and Myth: Towards New Relations between Historical Science and Literature // 18* International Congress of Historical Sciences. Proceedings. Montreal, 1995. P. 178.

³³ Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. С. 227.

149

Феномен прошлого

Наряду с другими вопросами, нельзя обойти еще три аспекта этой неисчерпаемой темы: а) образы прошлого и категории исторического сознания, б) проблема исторической памяти в историографическом исследовании; в) проблема соотношения коллективной памяти и исторического мифотворчества.

Попробуем рассмотреть интересующие нас проблемы в несколько ином ракурсе — в ракурсе исторического сознания.

Было бы неверно сводить историческое сознание к исторической памяти, столь же неправомерно без всяких оговорок ставить знак равенства между историческим и общественным сознанием, поскольку первое — лишь измерение, срез второго. Точно так же историческая память, в строгом смысле слова, есть измерение, срез социальной памяти. Как писал М.А. Барг в своей замечательной книге "Эпохи и идеи", общественное сознание является историческим не только в силу того, что его содержание с течением времени развивается и изменяется, но и потому, что определенной своей стороной оно "обращено" к прошлому, "погружено" в историю.

"Общественное сознание приобретает измерение сознания исторического (в собственном смысле слова) только при том условии, если в качестве познавательной призмы в мире истории ему служит «связка» время — пространство. Только сопряжение всех модальностей времени (что возможно лишь на почве настоящего) в состоянии перевести статику воспоминания и созерцания в динамику целополагания и предвидения"³⁴.

Историческое сознание непосредственно определяет не только способ фиксации исторической памяти (миф, эпос, хроника, история), но также ее объем и содержание.

"Из сказанного следует, что историографии и исторической науки можно изучать двояким образом. Во-первых, с внешней стороны, т.е. как эмпирически зримую цепь сменявшихся друг друга с течением времени историографических школ и направлений. Во-вторых, ту же историю можно изучать с ее «невидимой», внутренней стороны, т.е. как процесс, обусловленный системными связями историографии с данным типом культуры, в частности, ее мировоззренческой

³⁴ Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 6.

150

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

сутью. Последнюю же выражает в каждое данное время в наиболее доступной историографии форме именно историческое сознание"³⁵.

Чрезвычайно близко к представленной концепции исторического сознания подходит то определение коллективной и исторической памяти, которое предлагают некоторые участники современных дискуссий о различиях и относительной ценности исторической и коллективной памяти, в том числе американская исследовательница Сьюзен Крейн³⁶. Речь идет о понимании исторического сознания как наличествующего и в той, и в другой памяти и выступающего опосредующим звеном между ними (замечу в скобках, что другие исследователи практически отождествляют историческое сознание и историческую память). В качестве промежуточного термина историческое сознание указывает на стремление понимать опыт прошлого исторически.

Между тем пафос концепции Крейн состоит в протесте против навязывания индивиду, обладающему собственным историческим сознанием, той *истории*, которая создается историками. Модернистская форма исторической памяти, которую Крейн называет "культурой консервации прошлого", возлагая на практикующих историков роль профессиональных творцов и хранителей памяти, лишает "непосвященных" личной вовлеченности в производство исторических знаний, она подчиняет групповое сознание и одновременно сводит на нет роль индивида в создании коллективной памяти (в несколько отличающейся интерпретации речь идет о вытеснении исторической памятью памяти коллективной).

Большая часть так называемых теоретиков исторической памяти (включая Пьера Нора с его тезисом о том, что история "убивает память" и понятием сдвига от "среды памяти" к "местам памяти") упускает из виду стихийную деятельность памяти, которая происходит за пределами модернистской культуры, консервирующей прошлое в виде однозначно интерпретируемого исторического наследия. По мнению Крейн, ключевым параметром, который обеспечивает преимущество коллективной памяти над

исторической, является как раз множественность первой по сравнению с унитарным характером второй. В связи с этим обсуждаются также слова М. Хальбвакса о том, что "история

³⁵ Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. С. 6.

³⁶ Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory // *American Historical Review*. 1997. P. 1372—1385. 151

Феномен прошлого

действительно напоминает переполненное кладбище, на котором к тому же приходится постоянно искать места для новых могильных плит³⁷. Однако современные исследователи, работающие в постмодернистской парадигме, не разделяют этого пессимизма и напоминают о том, что коллективная память сама является выражением исторического сознания, которое производится индивидами, и что его возможности не исчерпываются той формой истории, которая господствовала последние два века. Коллективная память поддерживает живой опыт индивидов внутри групп, так как индивидуальное переживание нельзя вспомнить без отсылки к социальному контексту. Но поскольку реально функция памяти принадлежит индивиду, а все остальные ее приложения — это просто метафоры, ясно, что коллективная память заключена не в "местах", а в способных исторически мыслить индивидах, которые, разумеется, могут быть, но могут вовсе и не быть историками. С. Крейн, в частности, пишет: "Я полагаю, что историческое исследование является живым опытом, который историк сознательно интегрирует в коллективную память. Историческая репрезентация неадекватна живому опыту только до тех пор, пока автор остается отсутствующим, а его произведение выполняет только мемориальную функцию... Что, если представить, будто каждое самовыражение исторического сознания является выражением коллективной памяти не потому, что оно совершенно точно разделяется всеми другими членами коллектива, но потому, что именно этот коллектив делает его артикуляцию возможной, потому что историческое сознание само стало элементом исторической памяти?.. История может спасти то, что персонально утрачено, сохраняя коллективную репрезентацию памяти. Коллективная память может сохранить память пережитого в живом опыте и выдержать утрату других воспоминаний... Но с нравственной точки зрения... коллективная память не сможет вынести потери исторической памяти... Мы можем осмыслить коллективную память как нечто, выраженное исторически сознательными индивидами, претендующими на то, что их историческое знание является частью личного, живого опыта... Таким образом «место» коллективной памяти возвращается из внешней среды к индивиду, который вспоминает, но не... к профессиональному историку... Каждый индивид, как член многих групп, является носителем и выразителем персональной памяти исторического значения в виде живого опыта. Они могут создать исторические сочинения, предметом которых будет часть их собственных воспоминаний... Разве нельзя расширить исторический дискурс, чтобы

" Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago, 1992. P. 12.

152

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

включить концепцию любого из нас в качестве авторов исторических сочинений, которые пишут как исторические действующие лица... Нет необходимости жестко разделять жанры автобиографии и истории³⁸.

Одной из форм такого исторического сочинения нового типа (по образцу книги Луизы Пассерини "Автобиография одного поколения: Италия, 1968 год"³⁹) представляется некое соединение собственных мемуаров и дневников с записями устных воспоминаний участников тех же событий. Но Пассерини — профессионал, а круг потенциальных творцов исторической памяти, в концепции Крейн, неизмеримо шире:

"Вовсе не преувеличение говорить студентам (или любой другой аудитории), что они становятся историками в тот момент, когда начинают думать над историей, или что часть их учебного опыта составляет участие в передаче исторической памяти, которую они вводят в свой персональный опыт, как только начинают говорить или писать об этом. Возможно, *практика* истории, переопределенная как активное участие в запоминании и забывании в пространстве коллективной памяти каждым членом его, скорее, чем простая ссылка на историческое знание, станет характерной чертой исторического сознания"⁴⁰.

Что это, как не эго-история, или доведенный до абсолюта вариант истории снизу, логически последовательная модель реализации постмодернистской концепции множественности? Попытки преодоления отчужденности научно-исторического знания XX столетия на пути реализации тезиса "каждый сам себе историк" — одна из манифестаций так называемого постмодернистского вызова. Этот подход отчасти созвучен концепции "публичной истории", т.е. истории, обращенной к широкой публике и также акцентирующей социальную функцию историографии. Эго-история может быть продуктивна в качестве экспериментальной формы обучения. Следует, однако, подчеркнуть, что Крейн, по сути, оставляет за бортом познавательную функцию истории, полностью замещая ее политической стратегией коллективной памяти. Но кроме такой ярко выраженной постмодернистской программы существуют и другие. Попробую описать два разных подхода

³⁸ Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory. P. 1382—1383.

³⁹ Passerini L. *Autobiography of a Generation: Italy, 1968*. Hanover, NH, 1996.

« Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory. P. 1384—1385.

153

Феномен прошлого

к истории историографии и проблеме исторической памяти в их персонализированной форме: социально-исторический, или социально-сциентистский подход (в концепции известного британского историка Джона Тоша) и культурно-антропологический подход (в концепции не менее известного немецкого историка Йорна

Рюзена).

Джон Тош ставит в центр внимания вопрос: каковы различные измерения социальной памяти и в чем отличие деятельности историков от других размышлений о прошлом? Его исходная посылка состоит в том, что мало просто обращаться к прошлому; необходима убежденность в важности достоверного представления о нем⁴¹. История как наука стремится поддерживать максимально широкое определение памяти и придать ему максимальную точность с тем, чтобы наши знания о прошлом не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент. В то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие политические и социальные потребности, в исторической науке господствует подход, состоящий в том, что прошлое ценно само по себе, и ученому следует, насколько это возможно, быть выше соображений политической целесообразности. Только в XIX в. историзм — историческое сознание в строгом смысле слова — сделался определяющей чертой профессиональных историков, воплощенной в их научной практике, которая стала общепринятым *правильным* методом изучения прошлого.

Историческое сознание, как его понимают сторонники историзма, основывается на трех принципах.

Первый, и наиболее фундаментальный из них — это признание различий между современной эпохой и всеми предыдущими. Одним из величайших прегрешений является бездумная убежденность в том, что люди прошлого вели себя и мыслили так же, как и мы. Важнейший принцип историка: "прошлое — это *другая страна*": в любом научном исследовании на первый план выступают именно отличия прошлого от настоящего. Уже само выявление-

⁴¹ См.: Tosh J. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History*. 3rd ed. L.; N.Y., 2000. Рус. пер.: Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. Гл. 1.

Историческое сознание. С. 11—32.

154

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

ние этих различий способно существенно изменить наши сегодняшние представления, но историкам этого явно недостаточно. Их цель — не просто раскрыть подобные различия, но и объяснить их, а значит — погрузить в их историческую среду.

Таким образом, вторым компонентом исторического сознания является *контекст*. Предмет исследования нельзя вырывать из окружающей обстановки — таков основополагающий принцип работы историка. Это жесткий стандарт, требующий весьма широких знаний, и часто именно этим профессиональный историк отличается от любителя.

Третий фундаментальный аспект исторического сознания в виде историзма — это понимание *истории как процесса* — связи между событиями во времени, что позволяет ответить на общий вопрос — как мы попали из *тогда* в *теперь*. Этот путь формируется за счет процессов роста, упадка и перемен, и задачей историка является их раскрытие. Исторические процессы порой отмечаются быстрыми переменами, когда сам ход истории ускоряется, например, в период великих революций. Но есть и другая крайность: история как бы останавливается, и ее течение способен уловить лишь ретроспективный взгляд с высоты прошедших столетий. Если историческое сознание основано на понятии континуума, то эта основа имеет обоюдоострый характер: прошлое не сохранилось в неизменности, но и наш мир является продуктом истории. Все виды человеческой деятельности требуют исторической перспективы, раскрывающей динамику перемен во времени.

Результатом программы историзма стало углубление различий между элитарным и популярным взглядом на прошлое, существующих и по сей день. Профессиональные историки настаивают на необходимости длительного погружения в первоисточники, намеренного отказа от сегодняшних представлений и чрезвычайно высокого уровня сопереживания и воображения. В то же время популярное историческое знание характеризуется крайне избирательным интересом к дошедшим до нас элементам прошлого, отфильтровано сегодняшними представлениями и лишь попутно — стремлением понять прошлое *изнутри*. Тош выделяет три характерные черты социальной памяти, обладающие особенно серьезным искажающим эффектом.

Это, во-первых, *обращение к традициям*, когда то, что делалось в прошлом считается авторитетным руководством к действиям в настоящем. Уважение к традициям порой путают с *чувством истории*,

155

Феномен прошлого

поскольку оно предусматривает привязанность к прошлому (или его части) и стремление хранить ему верность. Но в обращении к традициям исторический подход занимает мало места. Следование по пути, намеченному предками, играет весьма положительную роль в обществах, не переживающих период перемен и не ожидающих ничего подобного; для них прошлое почти не отличается от настоящего. Поэтому уважение к традициям вносило столь большой вклад в сплочение общества, когда дело касалось малочисленных, не обладающих грамотностью народностей — не случайно антропологи порой определяют их как *традиционные общества*. Но в любом обществе, отличающемся динамичными социокультурными изменениями, некритическое отношение к традициям становится контрпродуктивным. Оно замалчивает и игнорирует перемены и ведет к продлению существования отживших внешних форм, а само понятие *традиции* отрицает точные исторические координаты явления. Обращения к "основам", существующим "с

незапамятных времен", порождают ощущение национальной исключительности, но они не имеют никакого отношения к исторической науке. И дело не только в замалчивании любых явлений прошлого, противоречащих искомому образу. Концепция неизменной идентичности, неподвластной историческим обстоятельствам, отрицает само наличие промежутка между *тогда* и *теперь*. Национализм такого рода основан на приверженности традициям, а не на историческом анализе. Он замалчивает различия и перемены ради укрепления национальной идентичности.

Традиционализм — это грубейшее искажение исторического сознания, поскольку он исключает важнейшее понятие развития во времени. Другие формы искажения носят более тонкий характер. Одна из них — *ностальгия*. Ностальгия также устремлена назад, но, не отрицая факта исторических перемен, толкует их лишь в одном направлении — перемен к худшему. С особой силой она проявляется в качестве реакции на чувство недавней утраты и потому чрезвычайно характерна для обществ, переживающих быстрые перемены. Надежды и оптимизм — не единственная, а порой и не главная социальная реакция на прогресс. Практически всегда существует также сожаление по уходящему образу жизни и по привычным ориентирам. Именно в ностальгическом ключе прошлое не просто консервируется, но и разыгрывается вновь (понятие *наследия*, в которое искусственно пытаются вдохнуть жизнь и тем самым еще более усилить ностальгический настрой), причем его, как правило (хотя и не всегда),

156

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

изображают в наиболее привлекательном свете. Чувство утраты является частью впечатлений от посещения мемориалов и празднеств, ассоциирующихся с наследием. Проблема с ностальгией, которая превращает прошлое в символическое убежище, отсекая все его негативные черты (только тогда оно становится проще и лучше, чем настоящее), заключается в том, что это крайне односторонний взгляд на историю. Такое прошлое играет роль не столько истории, сколько аллегории. Через процесс избирательной амнезии прошлое превращается в "золотой век", или, по выражению Р. Сэмюэла, "в исторический эквивалент зачарованного пространства, ассоциируемого в памяти с детством"⁴². Таким образом, ностальгия представляет прошлое как альтернативу настоящему, а не как прелюдию к нему. Если историческое сознание должно усиливать наше понимание настоящего, то ностальгия поощряет бегство от него. На другом конце шкалы искажений истории расположена *вера в прогресс*. Если ностальгия отражает пессимистический взгляд на мир, то прогресс — оптимистическое верование. Он подразумевает не только позитивный характер перемен в прошлом и превосходство настоящего над прошлым (не случайно сторонникам концепции "прогресса" никогда не удавалось понять эпохи, удаленные от их собственного времени), но и продолжение процесса совершенствования в будущем, перемены во времени всегда наделяются положительным знаком и моральным содержанием. Концепция прогресса в течение двухсот лет была основополагающим мифом Запада, источником чувства превосходства в его отношениях с остальным миром. Сейчас происходит некое странное совмещение: тоска по утраченному "золотому веку" в какой-то одной области часто уравновешивается сознательным акцентированием "мрачного прошлого" в другой. Приверженность идее прогресса или традиции, ностальгические настроения являются базовыми составляющими социальной памяти. Каждая из них по-своему откликается на глубокую психологическую потребность в защищенности — они, казалось бы, обещают либо перемены к лучшему, либо отсутствие перемен, либо душевно более близкое прошлое в качестве убежища. Таким образом, социальные потребности формируют искаженный образ прошлого.

⁴² Samuel R. Island Stories: Unravelling Britain. L., 1998. P. 338.

157

Феномен прошлого

Хотя на практике позиция профессионального историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна, профессионалы предпочитают подчеркивать, что для научного исследования истории характерны совершенно иные цели и подходы. Если отправной точкой для большинства массовых разновидностей знаний о прошлом выступают требования современности, то отправная точка историзма — стремление проникнуть в прошлое или воссоздать его. Из этого следует вывод: одной из важнейших задач историков является противостояние социально мотивированным ложным истолкованиям прошлого. Ни одна националистически или политически ангажированная версия истории не способна пройти проверку научным исследованием.

Тош все же оговаривается, что историю и социальную память не всегда можно полностью отделить друг от друга, поскольку историки выполняют некоторые задачи социальной памяти. И самое главное — социальная память сама по себе является важной темой для исторического исследования, и претендующая на полный охват социальная история не имеет права ее игнорировать. Во всех этих отношениях история и социальная память подпитывают друг друга. Но при всех точках соприкосновения различие, которое делают историки между своей профессией и социальной памятью, не теряет своего значения. Служит ли социальная память тоталитарному режиму или интересам различных групп демократического общества, ее ценность и перспективы выживания полностью зависят от ее функциональной эффективности: содержание этой памяти меняется в соответствии с контекстом и приоритетами. Историческая наука, конечно, тоже не обладает иммунитетом от соображений практической полезности, но в чем большинство историков действительно обычно расходятся с хранителями социальной памяти, так это в приверженности принципам историзма:

историческое сознание должно превалировать над социальной потребностью.

8

Наиболее интересные теоретические разработки с применением культурно-антропологического подхода были сделаны известным немецким историком Иорном Рюзенем, который рассматривает процесс изменения коллективного самосознания как результат "кризиса исторической памяти".

158

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

В отличие от социально-сциентистского, культурно-антропологический подход выводит историографическое исследование за рамки привычных представлений об историчности, как об отношении к прошлому, формируемому лишь профессиональными историками. При этом историчность понимается как антропологическая универсалия, регулирующая ментальные операции, связанные с ориентацией исторических субъектов разного уровня (индивидов, социальных групп, общества) и опирающаяся на историческую память. Таким образом, центральное место в изучении истории историографии занимает как раз понятие "историческая память".

Иорн Рюзен рассматривает проблему *кризиса исторической памяти*, который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений, что ставит под угрозу сложившиеся основания и принципы идентичности⁴³. В зависимости от глубины и тяжести кризисов и определяемых этим стратегий их преодоления, И. Рюзен предложил следующую типологию кризисов: нормальный, критический и катастрофический. *Нормальный кризис* может быть преодолен на основе внутреннего потенциала сложившегося исторического сознания с несущественными изменениями в способах смыслообразования, характерных для данного типа исторического сознания. *Критический* — ставит под сомнение возможности воспринимать и адекватно интерпретировать прошлый опыт, зафиксированный в исторической памяти, в соответствии с современными потребностями и задачами, которые ставят перед собой субъекты. В результате происходят коренные изменения в историческом сознании, по сути, формируется его новый тип. Следствием этого становится изменение исторической памяти в процессе не только формирования новых способов смыслообразования, но и изменения оснований и принципов идентификации, а также ментальных форм сохранения исторической памяти. И наконец, *катастрофический кризис*, который препятствует восстановлению идентичности, ставя под сомнение возможность исторического смыслообразования в целом. Такой кризис

⁴³ Rusen J. *Studies in Metahistory*. Pretoria, 1993. См. также: Рюзен И. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 8—26.

159

Феномен прошлого

выступает как психологическая травма для субъектов, которые его пережили. При таком кризисе пережитый опыт воспринимается как катастрофа, поскольку он не может быть, с точки зрения субъектов, наделен каким-либо смыслом. Отчуждение "катастрофического опыта" путем замалчивания или фальсификации не решает проблемы: он продолжает влиять на современную реальность, а отказ учитывать его сужает возможности адекватной постановки целей и выбора средств их достижения.

Итак, травма — это опыт, который разрушает возможность его интерпретации, используемой для ориентации человеческой деятельности. *Историзация* представляет собой культурную стратегию преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта. Путем придания событию "исторического" смысла и значения устраняется его травмирующий характер: "история" является порождающим смысл и значение взаимоотношением событий во времени, которое соединяет ситуацию сегодняшнего дня с опытом прошлого таким образом, что из хода изменений от прошлого к настоящему можно наметить будущую перспективу человеческой деятельности.

Этой детравматизации можно достичь в рамках историзации с помощью разных стратегий, помещающих травмирующие события в исторический контекст: *анонимизации* (вместо убийств, преступлений, злодеяний говорят о "темном периоде", "злом роке" или "вторжении демонических сил" в более или менее упорядоченный мир), *категоризации* (травму обозначают абстрактными понятиями, в результате чего она утрачивает свою уникальность, становясь частью истории-рассказа), *нормализации* (травмирующие события рассматриваются как нечто постоянно повторяющееся и объясняются неизменной человеческой природой), *морализации* (травмирующее событие приобретает характер случая-предостережения), *эстетизации* (предоставления травмирующего опыта чувствам, помещая его в схемы восприятия, которые делают мир понятным и упорядоченным), *телеологизации* (использования тягостного опыта прошлого, чтобы исторически оправдать порядок, который обещает предотвратить его повторение или предложить защиту от него), *метаисторической рефлексии* (преодоления разрыва времени, вызванного травмой, с помощью концепта исторического изменения, отвечая на критические вопросы, касающиеся истории в целом, ее принципов осмысления и видов репрезентации), наконец, *специализации* (разделяя проблему на различные аспекты, которые становятся сферой исследова-

160

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

ния для разных специалистов, в результате чего "беспокоящий диссонанс полной исторической картины

исчезает")⁴⁴.

Все эти историографические стратегии могут сопровождать ментальные процедуры преодоления разрушительных черт исторического опыта, которые хорошо известны в психоанализе. Психоанализ, считает Рюзен, может научить историков тому, что существует много возможностей преобразовать бессмысленность опыта прошлого в исторический смысл. Те, кто осознает свою вовлеченность и ответственность, снимают с себя это бремя, вынося прошлое за пределы своей собственной истории и проецируя его на других людей (в частности, переменной ролей мучителей и жертв). Это можно также сделать путем создания картины прошлого, в которой определенная личность исчезает из отобранных фактов, как если бы она никогда (объективно) не принадлежала событиям, составляющим ее идентичность. Подобные стратегии можно наблюдать, "если задаться поиском следов травмы в историографии и других формах исторической культуры, в рамках которой люди находят жизненную ориентацию в ходе времени. Эти следы скрыты памятью и историей, и иногда трудно обнаружить вызывающую тревогу реальность под этой сглаженной поверхностью коллективной памяти и интерпретации"⁴⁵.

В этом плане историческое исследование обладает критической функцией, необходимой для того, чтобы прояснять факты. Но интерпретируя их, историк не может использовать только повествовательные модели, которые придают травмирующим фактам исторический смысл. "В этом отношении *историческое исследование по своей логике является культурной практикой детравматизации*. Оно преобразует травму в историю"⁴⁶.

Итак, основным способом преодоления кризисов исторического сознания является нарратив (повествование), посредством которого прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, оформляется в определенную целостность, в рамках которой эти события приобретают смысл.

⁴⁴ Лучший пример такой стратегии специализации — выделение исследований Холокоста в самостоятельную область изучения, где "ужас, становясь исключительной темой для профессионально подготовленного специалиста, может постепенно утратить свой статус общей угрозы историческому мышлению".

⁴⁵ Рюзен И. Кризис, травма и идентичность // "Цепь времен": Проблемы исторического сознания / Ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 59—60.

⁴⁶ Там же. С. 60.

161

Феномен прошлого

Рюзен выделяет основные функции исторического повествования. Во-первых, исторический нарратив мобилизует опыт прошлого, запечатленный в архивах памяти, с тем чтобы настоящий опыт стал понятным, а ожидание будущего — возможным. Во-вторых, организуя внутреннее единство трех модальностей времени (прошлое — настоящее — будущее) идеей непрерывности и целостности, исторический нарратив позволяет соотнести восприятие времени с человеческими целями и ожиданиями, что актуализирует опыт прошлого, делает его значимым в настоящем и влияющим на образ будущего. Наконец, в-третьих, он служит для того, чтобы установить идентичность его авторов и слушателей, убеждая читателей в стабильности их собственного мира и их самих во временном измерении. Сознательный или неосознанный выбор той или иной стратегии преодоления кризиса выражается в соответствующем типе исторического повествования, а эвристическим средством изучения принципов такого выбора может стать типология исторических нарративов. При этом как повествование могут интерпретироваться не только письменные тексты историков, но и другие формы исторической памяти: устные предания, обычаи, ритуалы, памятники и мемориалы⁴⁷.

⁴⁷ Выделяются четыре основных типа нарратива, выражающих последовательное развитие исторического сознания: 1) *исторический нарратив традиционного типа*, который утверждает значимость прошлых образцов поведения, воспринимаемых в настоящем и являющихся основой для будущей деятельности (при этом идентификация достигается принятием заданных культурных образцов, а время воспринимается как вечность); 2) *исторический нарратив назидательного типа*, который утверждает правило, являющееся обобщением конкретных событий-случаев (здесь идентификация предполагает применение обобщенного до правил поведения конкретного опыта прошлого к современной ситуации, что делает человеческую деятельность рационально обоснованной); 3) *исторический нарратив критического типа*, отрицающий значимость прошлого опыта для современности путем создания альтернативных нарративов (критика позволяет освободиться от влияния прошлого и самоопределиваться независимо от заданных ролей и предустановленных образцов, именно данный тип повествования служит средством перехода от одного типа исторического сознания к другому, поскольку критика создает возможность для развития исторического познания); 4) наконец, *исторический нарратив генетического типа* представляет осмысление сущности истории как изменения (прошлые образцы деятельности трансформируются, чтобы быть включенными в современные условия, признание изменчивости форм жизни и моральных ценностей ведет к пониманию других, а значит, и более глубокому пониманию себя).

162

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

Память о центральных событиях прошлого (в модели "катастрофы" или "триумфа") формирует идентичность, во многом детерминируя жизненную ситуацию настоящего. Изучение памяти о конфликтах и катастрофах XX в. (мировые войны, Холокост, массовые репрессии и т.п.) вызывает все больший интерес у историков, и именно в связи с ролью памяти в историческом конструировании социальной (коллективной) идентичности. Проблема соотношения времени, памяти, исторического сознания и коллективной идентичности со всей определенностью становится фокусом современной историографии, а Холокост и дебаты немецких историков⁴⁸ — ее своеобразным оселком. В обсуждении обеих тем обнаруживаются две характерные черты: во-первых, наличие непримиримых противоречий между живым опытом и

исторической памятью и, во-вторых, существенные межпоколенные различия в восприятиях и представлениях.

И. Рюзен, в частности, предложил следующую типологию восприятия Холокоста в сознании трех поколений немцев в соответствии с качественными различиями по основному критерию — стратегии строительства идентичности. В первом, самом старшем поколении, которое является носителем живой памяти, с немецкой идентичностью "все в порядке": происходит экстернализация нацистов как небольшой группы политических гангстеров. В среднем, втором поколении, которое вступает в конфликт со своими родителями, возникает стремление придать Холокосту историческое значение, рассмотреть его в исторической перспективе, осмыслить весь период нацизма в целом как контрсобытие, которое конституировало сознание западных немцев негативным способом ("от противного"). На основе моральных принципов и моральной критики ("они — преступники, мы — другие") происходит самоидентификация с жертвами нацизма, а национальная историческая традиция замещается универсальными (общечеловеческими) нормами. Так создается новый, очень напряженный

** Анализ последних содержится в работах известного российского историка А.И. Борозняка: Борозняк А.И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого. М., 1999; Борозняк А.И. Против забвения: "Черная серия" немецкого издательства "Фишер" // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 1. М., 1999. С. 170—183; Борозняк А.И. Реалии "обыкновенного фашизма" в зеркале локальных исследований школьников ФРГ // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 2. М., 2000. С. 209—224.

163

Феномен прошлого

тип коллективной идентичности. В третьем поколении (в последние годы) возникает определяющий новый элемент — "генеалогическое отношение к преступникам": "это наши деды, да, они были другими, но в то же время они — немцы, а значит «мы»". Так осуществляется реконцептуализация немецкой идентичности, и шокирующий исторический опыт "возвращается" в национальную историю.

Второе и третье поколения по-разному дистанцированы от ключевых событий Холокоста или Третьего рейха, но и те, и другие события, бесспорно, составляют ядро коллективной памяти этих поколений, поскольку последние все еще имеют доступ к жизненному опыту старших. Однако все быстрее приближается время, когда эта связь разорвется, и потребность понять, как коллективная память продолжает функционировать на уровне индивидуального опыта и соперничать с предлагаемой исторической интерпретацией, станет как никогда актуальной⁴⁹.

Несколько в ином аспекте рассматривает проблему памяти поколений С.А. Экштут:

"В наше время резко сократился *временной лаг* между моментом совершения какого-либо события и началом его изучения учеными, он вполне сопоставим с периодом активной жизнедеятельности одного человеческого поколения. Историк знакомится с рассекреченными документами, в которых идет речь о событиях новейшей истории и их, скрытых от взглядов современников, механизмах, что побуждает его решать непростые этические проблемы: еще живы непосредственные свидетели недавнего прошлого, болезненно переживающие сам факт происходящей на их глазах переоценки бывших абсолютных ценностей. Смерть еще не собрала свою жатву, а специалист по новейшей истории уже начинает и завершает свой труд — и ему предстоит не только встреча с читателями, но и общение с ветеранами..."⁵⁰.

Историческая память мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или создается реальная⁴⁹ См.: Репина Л.П. Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИИ) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 3. М., 2000. С. 5—14.

⁵⁰ Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. С. 33.

164

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

угроза самому их существованию. Такие ситуации неоднократно возникали в истории каждой страны, этнической или социальной группы. И хотя эта проблематика стала выходить на авансцену исторических исследований лишь в последнее десятилетие, здесь, как и в каждой области знаний, были свои пионеры-первопроходцы. В 1944 г. вышла первым изданием очень небольшая по объему, но совершенно замечательная по содержанию и богатству идей книга выдающегося британского историка и философа Герберта Баттерфилда, которую он назвал "Англичанин и его история". Вот лишь некоторые высказанные в ней мысли, над которыми стоит задуматься:

"Во время кризиса 1940 года наши лидеры постоянно напоминали нам о тех ресурсах прошлого, которые могут быть привлечены, чтобы сплотить нацию в военное время. Всегда, даже погружаясь в море перемен и нововведений, Англия не прерывала связи со своими традициями и перебрасывала мостки к предшествовавшим поколениям, как в морском конвое, где хорошо бы не отрываться от идущих впереди кораблей. Может показаться странным, что хотя прошлое уже завершено, оно одновременно присутствует здесь с нами — что-то от него еще остается, живое и очень важное для нас. Но прошлое, действительно, как прокрученная часть киноплёнки, свернулось кольцом внутри настоящего. Оно составляет часть самой структуры современного мира. У одних народов было изломанное и трагическое прошлое. Другие нации молоды или лишь недавно поднялись на поверхность истории. Некоторые изувечены страшным разрывом между прошлым и настоящим, разрывом, который, хотя и случился давно, они не смогли залечить и преодолеть. Нам в Англии повезло, и мы должны помнить нашу счастливую судьбу, потому что мы действительно черпаем силу из непрерывной преемственности нашей истории. Мы были благоразумны, ибо были внимательны ко всему, что связывает прошлое и настоящее воедино, и когда случались великие переломы — например, во время Реформации или гражданских войн — последующее поколение делало все возможное, чтобы устранить дыры и прорехи, сделанные ими в ткани нашей истории. Англичане, жившие сразу же после этого, как бы возвращались с иголкой назад и тысячу

мелких стежков вновь пришивали настоящее к прошлому. Вот почему мы стали страной традиций и живая преемственность постоянно сохраняется в нашей истории"⁵¹.

⁵¹ Butterfield H. *Englishman and his History*. L., 1944. P. 5. Эту мысль развивает С.А. Экштут: "У истории есть свои точки разрыва, точки забвения, точки вытеснения исторической памяти. На ее страницах наряду с неизученным и таинственным

165

Феномен прошлого

Крупные социальные сдвиги, политические катаклизмы дают мощный импульс изменениям в восприятии образов и оценке значимости исторических лиц и исторических событий (включая целенаправленную интеллектуальную деятельность): идет процесс трансформации коллективной памяти, который захватывает не только "живую" социальную память, память о пережитом современников и участников событий, но и глубинные пласты культурной памяти общества, сохраняемой традицией и обращенной к отдаленному прошлому. И естественно, профессиональная историография, выполняя свою социальную функцию, не остается в стороне от этого процесса, создавая новые интерпретации — потенциальные элементы будущей национальной мифологии. Вполне закономерно, что в современной историографии особое внимание обращается на роль представлений о прошлом и исторических мифов, как элементов политической, этноконфессиональной и национальной идентичности.

Злоупотребления историей не ограничиваются авторитарными и деспотическими режимами. Они происходят и в обществах, которые не практикуют репрессий в отношении инакомыслия в сфере знания о прошлом и вообще допускают широкую свободу мнений, но располагают особой системой регламентации, включающей скрытые механизмы ограничений и поощрений вполне определенных концепций. В целом политическое манипулирование исторической памятью является мощным средством управления сознанием человека и общества.

Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться. Иной подход характерен для некоторых современных интеллектуалов левого толка. Например, Ричард Рорти в своей книге "Обретая нашу страну" утверждает, что "тем, кто надеется убедить нацию напрячь силы, необходимо напомнить своей стране не только то, чем она может гордиться, но и то, чего ей следует стыдиться-

так много невысказанного и недоговоренного. Белые пятна чередуются с фигурами умолчания. Те и другие свидетельствуют о разрыве памяти. И далеко не всегда профессиональный историк способен сшить этот разрыв. Более того, иногда именно он — сознательно или бессознательно прибегая ко лжи и извращая исторические события, — усиливает этот разрыв и способствует окончательному вытеснению из мира нежелательных остатков недавнего прошлого" (Экштут С.А. *Битвы за храм Мнемозины*. С. 34).

166

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

ся"⁵². Конструированием приемлемых версий исторической памяти заняты не только официальные власти, но и оппозиционные силы и различные общественные движения.

В связи с этим привлекает внимание проблема формирования исторических мифов и предрассудков, а также их укоренения в массовом сознании. Видный французский историк Марк Ферро убедительно показал, что учебные тексты, которые используются в разных странах для обучения молодежи, нередко трактуют одни и те же исторические факты весьма по-разному, в зависимости от национальных интересов⁵³. Еще более бредовые версии исторических мифов рождает современная националистическая идеология. Эта проблема подробно рассмотрена в исследованиях отечественного этнолога В.А. Шнирельмана⁵⁴. Анализируя крайне этноцентристские современные версии далекого прошлого, В.А. Шнирельман показывает роль псевдонаучных представлений в сложении новых мифов.

Современный исторический миф имеет важную социальную функцию. Апелляция к отдаленному прошлому, самобытному историческому пути и к тесно связанной с этим концепции национального характера позволяет действующим политикам и чиновникам отвести от себя обвинения в неумении исправить современное положение дел и даже в злоупотреблениях властью: ведь легче сослаться на особенности "национального духа", чем признаться в собственных промахах. Шнирельман подчеркивает, что, изучая идеологию современного национализма, нельзя забывать о том, что дело не в пресловутой "генетической памяти", что мы имеем дело с обществом грамотных людей, которые черпают свои знания об истории из школьных учебников, художественной литературы, средств массовой информации, а вся такого рода продукция создается профессионалами. Конечно же, историкам непросто абстрагироваться от идеологии, или групповых интересов. Так было и тогда, когда историческая наука только еще

⁵² Рорти Р. *Обретая нашу страну: политика левых в Америке XX века*. М., 1999.

⁵³ Ферро М. *Как рассказывают историю детям в разных странах мира*: Пер. с фр. М.: Высшая школа, 1992 [1986].

⁵⁴ См., в частности: Шнирельман В.А. *Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика* // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М., 1999.

167

Феномен прошлого

формировалась, так происходит и в наше время. В итоге научные, по видимости, произведения по ряду параметров оказываются весьма близки мифологии, оперируя образами прошлого, почерпнутыми из массового сознания или созданными на его потребу⁵⁵.

При том, что одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, сама историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений: во многих отношениях история и память постоянно подпитывают друг друга. "История разрывается между логикой памяти и императивами научного знания" (И. Вайт-Браузе).

Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: для многих групп, как малых, так и больших, переупорядочение или изменение коллективной памяти в процессе трансмиссии означает постоянное изобретение прошлого, которое бы подходило для настоящего, или, равным образом, изобретение настоящего, которое бы соответствовало прошлому. Стоит привести необыкновенно точное и емкое высказывание на этот счет выдающегося современного британского историка Кри-

⁵⁵ В.А. Шнирельман, в частности, предлагает следующие критерии различения этнополитического мифа. Во-первых, мифотворец манипулирует историческими данными для достижения целей, связанных с современной этнополитикой. Во-вторых, если историческое произведение открыто для дискурса и допускает внесение корректив и изменений в соответствии с новой исторической информацией, то миф выстраивает жесткую конструкцию, нетерпимую к критике и требующую слепой веры. Наконец, в-третьих, мифотворец, как правило, полностью игнорирует принятые в науке методы. Он опирается на подходы, которые вообще характерны для псевдонауки: крайний партикуляризм и нежелание рассматривать сравнительные материалы; приверженность одной узкой теме и игнорирование более широкого контекста или родственных фактов; упрощенный подход к историографии и замалчивание или необоснованная дискредитация своих оппонентов; полный отказ считаться с мнениями авторитетных ученых и возведение на пьедестал лишь тех, чьи взгляды соответствуют настроениям мифотворца; убежденность в своем умении лучше разобраться в фактах древности, чем это могут сделать специалисты; повышенная эмоциональность; проявление псевдоэрудиции и нагромождение лавины фактов, сочетающиеся с пренебрежением к их глубокому анализу; выборочное цитирование с указанием всех степеней и регалии понравившихся авторов, хотя заслуги последних, как правило, связаны с совершенно иными областями знаний; игнорирование предшественников и отсутствие даже попыток научной критики источников и т.п.

168

Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии

стофера Хилла: "Мы сформированы нашим прошлым, но с нашей выгодной позиции в настоящем мы постоянно придаем новую форму тому прошлому, которое формирует нас"⁵⁶. И Йорн Рюзен как бы продолжает, одновременно развивая эту мысль: "Прошлое... проникает в нас, в глубины нашей субъективности и одновременно через нас и из нас — в будущее..."⁵⁷.

Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего в историческом сознании имеет последствия не только для образа нашего непредсказуемого *вчера*, но и — через отношение к прошлому — для самоопределения и практической деятельности *сегодня* по "обустройству" национального и глобального *завтра*. Публичная сторона деятельности историка налагает на него особенно тяжкий груз ответственности в современном информационном обществе, актуализируя вечный и самый общий постулат профессиональной этики — не навреди!

* Hill C. History and the Present. L., 1989. P. 29.

⁵⁷ Рюзен И. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории. С. 61. "...Прошлоеросло во внешние и внутренние предпосылки и условия современной жизни без спросу, а иногда даже вопреки воле тех, кто вынужден принять их. В таком виде историческое сознание зависит от прошлого, которое должно быть преобразовано историческим сознанием в придающую ему смысл и значение историю". (Рюзен И. Кризис, травма и идентичность. С. 47).

169

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ПОНЯТИЯ*

И.М. Савельева, А.В. Полетаев

В 1980-е гг. в рамках очередной ревизии эпистемологических оснований исторической науки в западной историографии было пробле-матизировано понятие "историческая память". Этот конструкт продемонстрировал необыкновенную способность к экспансии, и к концу 1990-х гг. "список" исследований по "исторической памяти" выглядел уже достаточно разнообразно. Он обычно начинается с работ М. Хальбвакса, который исследовал влияние социальных факторов на индивидуальную память и использовал понятие "коллективная память" задолго до того, как эта тема привлекла внимание историков ("Социальные рамки памяти", 1925 г. и "Коллективная память", изданная посмертно в 1950 г.)¹, а далее следовали работы последних десятилетий XX в. как общего, так и специального характера.

Спектр работ по "исторической памяти" сегодня очень широк: от мифотворческих опусов и разнообразных вариантов идеологизированной истории до научно-теоретических трактатов. Среди авторов этих сочинений есть как профессиональные историки, так и немало энтузиастов от политики, журналистики, музееведения и т.д. Тематически это направление охватывает разные сюжеты.

Наверное, самый массовый срез представляют работы, анализирующие память о "травмах" XX в.: о войнах, Холокосте, ГУЛАГе и т.п.; в то же время написано немало исследований по "памяти" о революциях и других сохраняющих актуальность событиях прошлого.

* Статья подготовлена в рамках работы над проектом "Формы знания о прошлом" Международной программы Дома наук о человеке (Париж) и Института для исследователей Колумбийского университета (Рейд Холл, Париж).

¹ Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire. Paris: Librairie Felix Alcan, 1925; Halbwachs M. La memoire collective. Paris: P.U.F.. 1950.

170

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Наряду с непосредственным конструированием идеологизированных представлений о прошлом в штудиях по "исторической памяти" важную роль играют теоретические поиски, процесс, который в западной историографии сегодня принято именовать словом поворот, а в нашей милитаризованной традиции — "переворужением" исторической науки. Причем теорией занимаются известные историки: Я. Асс-ман, П. Нора, Л. Репина, И. Рюзен, П. Хатгон, О. Эксле. Кроме того, появляется все больше исследований, сосредоточенных на изучении массовых обыденных представлений о прошлом ("коллективной памяти") в разных исторических сообществах: знания о прошлом простых людей Средневековья, "культурной памяти" древности и т. д. Как заметил французский историк П. Нора, один из первооткрывателей в этой области, проблема памяти поднимает сегодня перед историографией вопросы, которые прошлое поколение связывало с ментальностью².

И все же, хотя работы по "исторической памяти" обнаруживают весомый пласт аналитических и даже непосредственно теоретических подходов, прагматическая составляющая этого направления настолько весома и многозначна, что мы считаем правильным отнести его к разряду идеологизированной истории. Свое дальнейшее рассуждение на эту тему мы хотим предварить следующими соображениями, обосновывающими нашу позицию.

Во-первых, дискурс, связанный с введением термина "историческая память", обычно подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно трудиться над производством не просто научного знания, но и массовых социальных представлений о прошлом. Историк тем самым оказывается включенным в создание альянсов "власти и памяти", "власти и забвения" и подвергается очередному соблазну "историзировать" современную ему политическую реальность, т.е. уже сегодня придать ей форму исторического знания, не передоверяя эту задачу следующим поколениям. При этом старая функция истории, известная как увековечивание настоящего, приобретает иное качество и несравненно больший масштаб.

Во-вторых, в более общем смысле, ориентация на конструирование настоящего как прошлого трактуется как "историческая задача" пост-модерного общества, вынужденного обречь на невостребованность/

¹ Nora P. Memoire collective // La Nouvelle Histoire / J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel (eds.). Paris: Retz-CEPL, 1978. P. 398.

171

Феномен прошлого

забвение свое настоящее. Историк в результате наделяется своеобразной социальной миссией и ответственностью за отбор, сортировку и "упаковку" подлежащего сохранению/запоминанию материала.

В-третьих, именно в связи с возможной при такой постановке вопроса "монополизацией исторической памяти" возникло стремление "непосвященных" к стиранию граней между производством профессионального и массового исторического знания, что, по существу, "уравнивает в правах" на создание прошлого профессиональных историков, дилетантов, и даже широкие массы (трудящихся), наделяя их правом на производство исторических знаний. В связи со столь явной демократизацией многие темы "исторической памяти" становятся полем проявления сопротивления, борьбы, "движения за память" или "освобождения через память о прошлом".

Все эти проблемы историк может, конечно, беспристрастно изучать, но адепты "исторической памяти" чаще вовлечены именно в процесс *производства* самой "памяти". На важность этого аспекта обратил внимание еще П. Нора, подчеркнув, что создатели и властители "коллективной памяти", т.е. "государства, социальная и политическая среда, сообщества с определенным историческим или поколенческим опытом стремятся организовать свои архивы в соответствии с пользой, которую они извлекают из памяти"*.

Несколько десятилетий развития нового направления оказались достаточным сроком для саморефлексии и выработки довольно согласованных представлений о причинах "повального увлечения" (выражение Я. Ассмана)⁴ темой памяти. Если говорить о внешних (не эпистемологических) причинах популярности и востребованности этой тематики, то анализ соответствующей литературы позволяет утверждать, что они в целом сводятся к трем приметам нашего времени.

Во-первых, процесс формирования социальных групп по принципу участия в каком-либо событии совпал с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации. Так называемая третья (после появления пись-

¹ Цит. по: Le Goff J. History and Memory. N.Y.: Columbia University Press, 1992 [1981/1988]. P. 95.

⁴ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности: Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. И.

172

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

менности и книгопечатания) коммуникативная революция вновь поднимает фундаментальные вопросы о связи между способами коммуникации, методами мышления и формами представлений о прошлом.

Раньше люди, пережившие эпидемию чумы, или участники, например, одного из Крестовых походов, или выжившие жертвы очередной резни вроде Варфоломеевской ночи, впоследствии не образовывали никакой социальной группы и не имели возможности выразить свои воспоминания. В лучшем случае оставались письменные мемуары одного-двух грамотных участников этих событий — Жоффруа де Виллардуэна или Жана де Жуанвиля, Анны Комниной или Никиты Хониата, Маргариты Наваррской или Теодора Агриппы д'Обинье (который, кстати, вообще не был в Париже 24 августа 1572 г.), или краткие записи в хрониках какого-нибудь монаха. Теперь же фиксация, хранение и воспроизведение большого числа индивидуальных воспоминаний стали обычной практикой.

Во-вторых, это взгляд на культурную традицию модерна как на что-то завершившееся или завершающееся на наших глазах. Истори-зация как бы компенсирует утрату значимости того или иного явления, происходящую в настоящем. Например, замечает Р. Сэмюэл, "рабочая история процветает, когда рабочий класс перестал играть активную политическую роль, история семьи процветает, когда распадаются семейные связи"⁵.

Осмысление феномена постмодерного отношения к настоящему мы находим и у французского историка Ф. Артога⁶, рассуждающего о трех последовательно сменявших друг друга типах исторических рефлексий: до второй половины XVIII в. "история — учитель жизни", настоящее определяется прошлым; с начала XIX в. до 1980-х гг. прошлое определяется будущим, что связано с идеей прогресса; а ныне — прошлое определяется настоящим, которое, как никогда ранее, способно воспринимать себя в качестве "будущего прошлого", целенаправленно обеспечивая материалами грядущие исторические исследования.

⁵ Samuel R. Continuous National History // Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity. 2 vols. / R. Samuel (ed.). L.; N.Y.: Routledge, 1989. Vol. 1. P. 9.

⁶ Артог Ф. Время и история: "Как писать историю Франции?" [1995] // "Анналы" на рубеже веков: Антология / Сост. А.Я. Гуревич, С.И. Лучицкая; пер. с фр. М.: "XXI век — согласие", 2002. С. 155.

173

Феномен прошлого

Третья, и, как считает Я. Ассман, может быть, решающая причина обращения к теме "коллективной памяти" заключена в том, что "поколение очевидцев тяжелейших в анналах человеческой истории преступлений сейчас постепенно уходит из жизни"⁷. Фиксация этих свидетельств становится поэтому особенно актуальной для историков.

Помимо всего этого существует и много конъюнктурных причин. Например, по мнению Ф. Артога, "вся шумиха вокруг памяти происходила в то время, когда приближалась важнейшая дата — двухсотлетие Революции, властно выносившее на повестку дня и на общее обсуждение юбилейное воспоминание как таковое"⁸.

Что такое "историческая память": следы, фрагменты, остатки, неполнота прошлого, зафиксированные в обыденных представлениях? Или динамичный процесс постоянной организации этих фрагментов, предполагающий воспроизводство и трансформацию знаний о прошлом? Вопрос, который волновал психологов и философов в последние десятилетия XIX в., столетие спустя воспроизведен в исторической литературе и, конечно, влечет за собой другой кардинальный вопрос: какова роль исторической науки в формировании социальных представлений о прошлом, или "исторической памяти"?

В связи с прагматическим содержанием доктрины "исторической памяти" нас особенно интересуют специфические для ее адептов принципы конструирования прошлого и соотношения между настоящим и прошлым. А в познавательном плане мы намерены поставить и обсудить вопрос об эвристической ценности этого концепта.

Интеллектуальные истоки "мемориальной революции"

Понятие "историческая память" возникло в контексте исследования массовых представлений о прошлом, которые стали привлекать внимание исследователей лишь в последние десятилетия. Интерес к этому феномену проявляют представители разных дисциплин: социологии,

⁷ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 11.

⁸ Артог Ф. Время и история: "Как писать историю Франции?" С. 157.

174

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

социальной психологии, культурной и социальной антропологии, равно как и истории. Сегодня им занимаются также специалисты в области политических технологий, массовых коммуникаций и т.д. Иногда эти штудии влияют друг на друга (хотя при этом, к сожалению, междисциплинарные заимствования осуществляются не всегда достаточно профессионально), иногда ведутся независимо и изолированно, что тоже не способствует быстрому освоению новой области знания. Одним из важных показателей фазы "разброда и шатаний" является, в частности, неотработанность понятий и терминологии. Поэтому вначале совершим небольшой экскурс в историю понятий.

Проблема представлений (мыслей, настроений) больших социальных групп стала объектом внимания исследователей на рубеже XIX—XX вв., начиная с первых работ Г. Ле Бона и Ж.-Г. де Тар-да о психологии масс ("толп"). Интерес к этой теме усиливался на протяжении первой половины прошлого столетия вместе с осознанием возрастающей роли масс в современном обществе — недаром уже в 1930 г. Х. Ортега-и-Гассет писал о "Восстании масс". Но в первой половине века интеллектуалы еще воспринимали массы и их

нарастающую активность скорее со страхом, как иррациональную и опасную силу. Только после Второй мировой войны анализ этого социального объекта приобретает ценностно-нейтральный характер. Важной областью исследования становится массовое политическое сознание, что объясняется значением масс в политическом процессе, в том числе и учетом опыта выборов 1930-х гг. Все больший интерес специалистов с середины XX в. привлекает и феномен массовой культуры.

Превращение масс в важный политический фактор, в частности, выражалось в процессе активного развития гражданского общества, что обусловило формирование большого числа различных общественных групп и организаций, не привязанных жестко к политическим партиям и гораздо более массовых, чем элитарные "общества" и "кружки", создававшиеся европейскими интеллектуалами в XVIII—XIX вв. Но главное — эти многочисленные новые "группы интересов" получили возможность не только для организации, но и для расширения сферы своих социальных действий, в том числе для самовыражения благодаря развитию системы коммуникации и средств массовой информации.

Иными словами, в прошлом веке развиваются как социальная структура общества (она становится более дифференцированной), так и средства коммуникации в широком смысле (включая возможности

175

Феномен прошлого

фиксации и распространения мнений отдельных людей и социальных групп). По вполне понятным причинам растет интерес к мнению масс и к их обыденным представлениям со стороны элиты — политической и интеллектуальной. Кроме того, и широким слоям населения интересны сведения о собственных взглядах и позициях. Отсюда, в частности, колоссальное распространение с 1930-х гг. опросов общественного мнения, которые были неведомы предшествующим эпохам.

Уже во второй половине XIX — начале XX в. для обозначения массовых психических феноменов начинают использоваться разные термины: "формы общественного сознания" (К. Маркс), "психология народов" (Г. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Вайц, В. Вундт, А. Фуйе), "психология масс" и "психология толп" (Г. Тард, С. Сигеле, Г. Ле Бон), "коллективные представления" (Э. Дюркгейм, М. Мосс, А. Юбер), а в первой трети XX в. к ним добавляется "ментальность" (Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель), "общественное мнение" (Г. Тард, У. Липпман, Ф. Теннис), "групповое сознание" (У. МакДугалл), "коллективное бессознательное" (К. Юнг) и т.д.

Некоторые из этих понятий несли на себе явный отпечаток представлений о неких надындивидуальных психических феноменах, типа "духа" или "души" народа, "коллективного разума" и пр. Следы таких воззрений можно обнаружить например, в понятии "коллективные представления", введенном Э.

Дюркгеймом⁹. По этому поводу еще Б. Малиновский в 1916 г. писал:

"Я намеренно не использую выражение «коллективные представления», которое было введено проф. Э. Дюркгеймом и его школой... Мне кажется, что эта философия содержит метафизический постулат «коллективной души», который я не могу принять... В полевых исследованиях, анализируя туземное или цивилизованное общество, мы имеем дело со множеством индивидуальных душ, и все методы и теоретические понятия должны рассматриваться только в соответствии с этим сложным материалом. Постулат коллективного сознания бессодержателен и совершенно бесполезен для этнографа-наблюдателя"¹⁰.

⁹ См., например: Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные [1898] // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с фр. М.: Канон, 1995. С. 208—243.

¹⁰ Малиновский Б. Балама: духи мертвых на Тробрианских островах [1916] // Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры: Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 436.

176

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Спустя 70 лет эту же мысль высказал С. Московичи: "Понятие коллективных представлений, равно как... групповой разум, массовая душа, Volkseele, харизма и т.п., на самом деле относятся к коллективному индивиду или сущности"¹¹. Кроме того, как подчеркивает Московичи, эти термины отражают представления о существовании стабильных гомогенных групп и стабильных представлений в этих группах.

В свою очередь и Б. Малиновский, и С. Московичи предложили использовать вместо "коллективных представлений" термин "социальные представления", хотя и по разным основаниям. По определению Б. Малиновского,

"социальными представлениями сообщества, в отличие от индивидуальных идей, <можно назвать> все верования, содержащиеся в обычаях и традициях туземцев... Этот класс верований вполне стандартизован, благодаря своим социальным формам... В дополнение к этому утверждению нужно сказать следующее: из всех элементов верований могут быть признаны «социальными идеями» только те, которые фигурируют не только в социальных обычаях, но и в сознании аборигенов — т.е. если сами туземцы их четко формулируют и сознают их существование"¹.

В 1980-е гг. С. Московичи также предложил заменить термин "коллективные представления" на "социальные представления", объясняя свое терминологическое нововведение "необходимостью наведения мостов между индивидуальным и социальным миром и осмысления последнего как находящегося в состоянии перманентных изменений".

"Под социальными представлениями мы понимаем ряд понятий, высказываний и объяснений, возникающих в повседневной жизни в процессе межличностного общения. В нашем обществе они эквивалентны мифам и системам религиозных убеждений в традиционных обществах: их можно было бы даже назвать современными".
"Moscovici S. Answers and Questions // Journal for the Theory of Social Behaviour, 1987. Vol. 17. N 4. P. 516.

¹² Малиновский Б. Балом: духи мертвых на Тробрианских островах. С. 417.

"Moscovici S. Notes Towards a Description of Social Representations // European Journal of Social Psychology. 1988. Vol. 18. N 3. P. 219; см. также: Московичи С. От коллективных представлений — к социальным [1989] // Вопросы социологии. 1992. № 2. С. 89—96.

177

Феномен прошлого

менным вариантом здравого смысла"*⁴. "То, что позволяет называть представления социальными, связано не столько с тем, что они обретают своих носителей в индивидах или группах, сколько с фактом их выработки в процессе обмена и взаимодействия"¹⁵.

Термин "социальные представления" в трактовке Московичи и его последователей представляется нам вполне приемлемым. В частности, этот термин, с одной стороны, акцентирует то обстоятельство, что речь идет о социально формируемых представлениях, с другой — подразумевает прежде всего представления о социальных явлениях, т.е. общественно (а не только индивидуально) значимых событиях, процессах, отношениях и т.д.

Кроме того, как легко заметить, Московичи связывает этот термин с понятием "повседневное взаимодействие" и возникающими в этом контексте "обыденном знании", "здравом смысле" (англ. common-sense knowledge), которые вошли в научный оборот прежде всего благодаря А. Шюцу". Поэтому в контексте нашего исследования мы используем этот термин в качестве синонима "обыденного знания", по крайней мере в применении к современному обществу.

В связи с этим следует подчеркнуть различие между социальными и групповыми представлениями.

Групповые представления (групповое знание) — феномен, хорошо исследованный в социальной психологии, как на уровне механизма формирования, так и с точки зрения содержания. Учитывая многообразие социальных групп, общее понятие групповых представлений оказывается весьма расплыватым, в частности, в силу наличия профессиональных экспертных групп, ответственных за производство и поддержание тех или иных сегментов социального запаса знания. В свою очередь представления в группах, не связанных профессионально с производством знания, также в значительной мере формируются своего рода "экспертами", условно говоря "идеологами" группы, а лишь затем в той или иной степени усваиваются остальными

¹⁴ Moscovici S. On Social Representation // Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding / J. Forgas (ed.). L.: Academic Press, 1981. P. 181.

¹⁵ Московичи С. От коллективных представлений — к социальным [1989] // Вопросы социологии. 1992. № 2. С. 91. "См., например: Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия [1953] // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом: Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7—50.

178

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

ее членами. Нас же в данном случае интересует лишь эта последняя составляющая, а именно — обыденные групповые представления, а этот феномен обычно именуется массовыми представлениями.

Вообще, степень однородности групповых представлений не следует преувеличивать. Еще Л. Выготский отмечал:

"Все в нас социально, но это отнюдь не означает, что решительно все свойства психики отдельного человека присущи и другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология, исследуя психологию войска, церкви и т.п."¹⁷.

Еще одна терминологическая проблема связана с термином "представления" (фр. representations, англ. representations). В психологии и логике "представления" традиционно обозначают звено в переходе от восприятия к мышлению либо от образа к понятию. Являются ли социальные представления знанием с позиций социологии знания, т.е. рассматриваются ли они членами коллектива как знание? В отношении групповых представлений ответ, видимо, скорее должен быть утвердительным. Что же касается массовых представлений, то здесь ответ не столь однозначен, и эта проблема нуждается в дальнейшем изучении. Тем не менее в контексте нашего исследования мы будем использовать термин "социальные представления" (который распространен только во французской литературе, но почти не используется в англосаксонской и немецкой профессиональной лексике) в качестве синонима "знания", т.е. социально объективированных "мнений".

В целом проблема формирования социальных (групповых, коллективных, массовых и т.д.) представлений детально изучалась в разных дисциплинах, прежде всего в психологии, социальной и культурной антропологии и в социологии. Эти исследования шли на разных уровнях и в рамках различных подходов, укажем лишь несколько результатов, важных для нашего анализа.

Во-первых, были изучены механизмы выработки общих значений и смыслов в процессе межличностной коммуникации. Эти исследования велись, с одной стороны, социологами (Ч. Кули, Дж. Мид, А. Шюц,

¹⁷ Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987 [1965]. С. 20.

179

Феномен прошлого

Г. Гарфинкель, И. Гоффман), с другой — психологами, в частности, в рамках различных теорий общения¹⁸. Другим важным направлением психологических исследований стала разработка так называемых теорий когнитивного соответствия (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Ч. Осгуд и П. Танненбаум, Р. Абельсон и М. Розенберг,

и др.)¹⁹. Все они были ориентированы на выявление механизма "притирки" представлений взаимодействующих субъектов, прежде всего в рамках устойчивого группового общения²⁰. Г. Андреева отмечает:

"Общим для всех них было с самого начала признание того факта, что человек ведет себя таким образом, чтобы максимизировать внутреннее соответствие его когнитивной системы, и более того, группы ведут себя таким образом, чтобы максимизировать внутреннее соответствие из межличностных отношений. Ощущение же несоответствия вызывает психологический дискомфорт, что и порождает реорганизацию когнитивной структуры с целью восстановления соответствия"²¹.

Во-вторых, большая группа работ посвящена проблеме формирования представлений индивида в рамках собственно группового общения, прежде всего в малых группах. Речь идет о различных теориях групповой динамики (термин К. Левина), в том числе теориях социального поля (К. Левин), социального обмена (Дж. Хоманс) и т.д. Здесь были предложены разнообразные модели группового влияния и конформности, в которых анализируется механизм воздействия группы (ее лидеров или группового большинства) на представления всех членов²². Особую известность получила, в частности, информационная модель конформности М. Дойча и Г. Джерарда, в которой выделяются два типа влияния: нормативное ("давление") и информационное ("убеждение"). Первое характерно для влияния, оказываемого

* Обзор см. в работе: Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Наука, 1994. С. 59—118.

" Обзор см. в работе: Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 54—63.

Подробнее см.: Theories of Cognitive Consistency: A Sourcebook / R.P. Abelson et al. (eds.). Chicago: Rand McNally, 1968.

²⁰ Поэтому из этого ряда выделяется известная теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, которая имеет дело с когнитивной структурой одного индивида.

²¹ Андреева Г.М. Психология социального познания. С. 54.

²² См.: Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект, 1999. С. 136—157.

180

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

большинством группы или ее признанными лидерами, второе — для влияния, оказываемого меньшинством группы²³. Другая популярная концепция — теория референтной власти Д. Коллинза и Б. Рэвена, в которой представлено действие разнообразных форм группового влияния на индивида²⁴.

В-третьих, большое количество исследований посвящено социальной обусловленности индивидуального мышления, влиянию социальных факторов на формирование человека и его когнитивные процессы. У истоков этого направления стояли, в частности, работы Ж. Пиаже, Л. Выготского и др. о развитии мышления у детей. Большое число работ посвящено влиянию на когнитивные процессы социальных установок, норм и ценностей²⁵.

Еще одно направление связано с изучением влияния когнитивных схем, принятых в данном обществе и воспринимаемых и усваиваемых человеком в процессе общения как само собой разумеющихся. У истоков этого подхода стояли в 1920-е гг. представители гештальт-психологии (М. Вертгеймер и др.). Тогда же У. Липпман в работе "Общественное мнение" (1922) ввел понятие "социального стереотипа", под которым понимается упрощенный, схематизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью; в более широком смысле — традиционный, привычный канон мысли, восприятия и поведения²⁶. В настоящее время выделяются два базово-

²³ Deutch M., Gerard H.B. A Study of Normative and Informational Influence upon Individual Judgements // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1955. Vol. 51. P. 629—636; схему этой модели см.: Андреева Г.М. Психология социального познания. С. 141—142.

²⁴ Collins D.E., Raven B.H. Group Structure: Attraction, Coalitions, Communication and Power // The Handbook of Social Psychology / G. Linzey, E. Aronson (eds.). 2* ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968. Vol. 4. P. 102—204; схему этой модели см.: Шихарев П.Н. Современная социальная психология. С. 151—153.

²⁵ Понятие социальной установки (англ. attitude) ввели У. Томас и Ф. Знанецки в работе "Польский крестьянин в Европе и Америке" (2 т., 1918—1920) (Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. 2 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1918—1921). Под социальной установкой они понимали психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта, состояние сознания индивида относительно некоторой ценности.

" Липпман У. Общественное мнение: Пер. с англ. М.: Фонд "Общественное мнение", 2002 [1922]. С. 93—162. В настоящее время понятие "стереотип" часто

181

Феномен прошлого

вых элемента когнитивного процесса: категоризация (Дж. Брунер) и схематизация (У. Найссер)²⁷. Эти базовые элементы влияют на все стадии когнитивного процесса — восприятие, переработку, хранение и воспроизведение информации. Поскольку категории и схемы являются социально обусловленными, то чем большим количеством категорий и схем владеет человек, тем сложнее и насыщеннее является его когнитивный процесс.

В-четвертых, значительное число исследований было посвящено проблеме культурной обусловленности индивидуальных представлений. Первыми исследования такого рода начали

проводить антропологи, в частности, в США — Ф. Боас и его ученики (А. Крёбер, Р. Бенедикт, М. Мид, Л. Уайт). Важное значение для этого направления исследований имели и результаты, полученные представителями американской этнолингвистической школы (Э. Сепир, Б. Уорф), выдвинувшими так называемую гипотезу лингвистической относительности²⁸. В Германии проблема культурной обусловленности социальных представлений осмысливалась в контексте диффузионистского подхода на основе концепции "культурных кругов" (Л. Фробениус, Э. Бернгейм, Б. Анкерманн, Ф. Гребнер, В. Шмидт)²⁹. Наконец, во Франции особую роль сыграли работы Л. Леви-Брюля, предложившего для характеристики взаимосвязи индивидуального мышления и социальных представлений понятие используется в более узком смысле, как устоявшееся представление о личностных чертах и особенностях поведения членов определенной группы.

²⁷ Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. Сборник статей: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977; Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии: Пер. с англ. Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртене, 1998 [1976]. О категориях и схемах см., например: Перспективы социальной психологии / Ред. М. Хьюстон, В. Штребе, Дж. Стефенсон. 2-е изд.; пер. с англ. М.: ЭКСМО, 2001 [1988/1996]. С. 132—136. Различие между ними можно проиллюстрировать следующим образом: например, диван относится человеком к категории "мебель", но является частью схемы "комната" или "дом".

²⁵ Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку [1939] // Зарубежная лингвистика. Вып. I. М.: Прогресс, 1999. С. 58—92.

²⁹ См. например, работу Ф. Гребнера "Картина мира примитивных народов" (Das Weltbild der Primitives, 1924).

182

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

"ментальность"³⁰. В Советском Союзе исследования в области этнокультурной психологии проводил А. Лурия³¹.

Материалы, полученные в результате полевых этнологических исследований примитивных культур, использовались не только для собственно этнологических выводов, но и для осмысления современного общества. Речь при этом шла как о выявлении его отличий от "до-современных", так и о выделении "реликтовых" социокультурных характеристик в современном обществе. Этот подход активно развивался, в частности, в исследованиях Э. Эванс-Притчарда, Р. Бенедикт, М. Мид, М. Дуглас и многих других этнологов, которые убедительно продемонстрировали влияние социокультурных факторов на когнитивные процессы в современных обществах. Особенно популярным исследование роли культурных факторов в социальной психологии становится после Второй мировой войны³². В-пятых, большой интерес представляют исследования формирования массовых представлений в современном обществе в рамках уже упоминавшейся выше теории социальных представлений, предложенной С. Московичи³³. Еще в своей докторской диссертации "Психоанализ: его образ и его публика" (1961) Московичи проанализировал формирование социальных (массовых) представлений о психоанализе

³⁰ См.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление [1922] // Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении: Пер. с фр. М.: Педагогика-Пресс, 1999; Леви-Брюль Л. Сверхъестественное [и естественное] в первобытном мышлении [1931] // Там же.

³¹ Лурия А.Р. Кросскультурные исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971; Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. Заметим, что А. Лурия проводил свои полевые исследования в Средней Азии еще в 1930-е гг., но смог опубликовать их результаты только в 1970-е гг.

³² См. обзорные работы: Triandis H.C. Cultural Influences upon Cognitive Processes // Advances in Experimental Psychology / L. Berkowitz (ed.). N.Y.: Academic Press, 1964. P. 1—49; Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление: Психологический очерк: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977 [1974].

³³ О теории социальных представлений см.: Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987; Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80—90-х гг. М.: ИНИОН РАН, 1996; Шиха-рев П.Н. Современная социальная психология. С. 273—282.

183

Феномен прошлого

во французском обществе, т.е. процесс трансформации научного знания в обыденное сознание³⁴. В своем исследовании он опирался на результаты интервью с представителями разных слоев французского общества и на данные контент-анализа национальной прессы различной политической ориентации.

За пределами Франции теория социальных представлений стала относительно известна в Европе только в 1980-е гг.³⁵, а в США вообще не получила признания. Тем не менее последователи Москови-чи во Франции и некоторых других странах (Д. Жоделе, К. Каёз, М.-Ж. Шомбар де Лёв, В. Дуаз, Дж. Ди Джакомо, А. Эчебаррия и Д. Паэз, Дж. Филоджин и др.) провели интересный и содержательный анализ самых разных социальных представлений: о культуре, болезнях и здоровье, СПИДе, о теле, городе, женщинах, детях, афроамериканцах и т.д.³⁶ Этот подход, учитывающий влияние на современное массовое сознание научных теорий (в опосредованной форме), идеологических концепций и роль средств массовой информации, представляется нам весьма плодотворным.

К сожалению, все это многообразие подходов, концепций, моделей и результатов, полученных в рамках социологии, культурной антропологии и психологии, пока, насколько нам известно, практически не нашло

применения в изучении социальных (обыденных) представлений о прошлом. Подавляющее большинство авторов, пишущих об "исторической памяти", оперирует, как правило, лишь некоторыми ранними идеями Фрейда и (или) понятием "коллективная память", предложенным в 1930-е гг. М. Хальбваксом, т.е. давно устаревшими и радикально пересмотренными современной психологией концепциями. Научный анализ некритичного заимствования апологетами "исторической памяти" ранних психоаналитических подходов дан в работе А. Руткевича, публикуемой в данном сборнике. Мы, в свою очередь, коротко остановимся на идеях Хальбвакса.

¹ Moscovici S. La psychanalyse: son image et son public. Paris: P.U.F., 1961.

³⁵ См.: Moscovici S. On Social Representations // Social Cognition: Perspectives on Everyday Understanding. P. 181—209; Social Representations / R. Farr, S. Moscovici (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

³⁴ Обзор и библиографию этих работ см.: Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80—90-х гг. С. 7—8, 83—107; Перспективы социальной психологии. С. 140—141.

184

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Научные интересы Хальбвакса во многом были обусловлены его биографией. В лицее он учился у А. Бергсона, в Высшей нормальной школе — у Ф. Симиана, после окончания университета — у Э. Дюркгейма. Затем он преподавал социологию в Страсбурге, был близок с Л. Февром и М. Блоком и входил в первую редакцию "Анналов", представляя в этом междисциплинарном издании социологию³⁷.

Интерес Хальбвакса к проблемам памяти объясняется, в частности, влиянием Бергсона и его работы "Материя и память". В уже упоминавшемся выше исследовании "Социальные рамки памяти" (1925)

Хальбвакс показал, что социальная среда ограничивает и упорядочивает воспоминания в пространстве и во времени, служит источником как самих воспоминаний, так и понятий, в которых они фиксируются. Даже личные воспоминания имеют социальное измерение, поскольку в действительности являются сложными образами, возникающими только через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп.

Личный опыт интегрирован в понимание прошлого, приобретенное обществом.

Другой тезис Хальбвакса заключался в том, что лишь потому, что память опирается на социальный контекст, она способна выдержать испытание временем. Более того, он считал, что без систематической поддержки группы индивидуальные воспоминания исчезают³⁸. Тем самым Хальбвакс оспаривал учение тогдашней школы психоанализа, в том числе и позицию, согласно которой воспоминания полностью сохраняются в бессознательной психике индивида. Он исходил из того, что образы прошлого, запечатленные в индивидуальной памяти, запоминаются и вспоминаются лишь потому, что изначально могут быть размещены в концептуальных структурах, определенных тем или иным сообществом.

Еще один тезис Хальбвакса состоит в том, что память постоянно актуализируется, ориентируясь на социальные интересы соответствующих социальных групп, а значит, состав воспоминаний о прошлом "Однако, как пишет П. Хатгон, восприятие Хальбваксом исторического метода оставалось основанным на устаревшей теории О. Копта, и в "Анналах" он выглядел посторонним (см.: Хатгон П. История как искусство памяти: Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993]. С. 196).

³⁸ Halbwachs M. Les cadres sociaux de la memoire. Paris: Librairie Felix Alcan, 1925. P. 143—145.

185

Феномен прошлого

пересматривается, поэтому они крайне ненадежны для описания того, что реально произошло.

Наконец, поскольку воспоминания постоянно подвергаются ревизии, то при повторении они просто сливаются в единое целое — стереотипный образ или, используя термин Хальбвакса, "имаго". Такие сложные воспоминания образуют концептуальные схемы, или, опять же по его терминологии, "социальные рамки" (*cadres sociaux*)³⁹, в которых индивидуальные воспоминания вынуждены размещаться и которым они должны соответствовать.

Эти идеи Хальбвакса вполне укладывались в рамки передовой психологической науки 1920-х гг. Именно в этот период происходит становление социальной психологии, и исследователи начинают обращать пристальное внимание на влияние социальных факторов на различные виды психической деятельности, в том числе и на память (достаточно упомянуть широко известную среди психологов работу Ф. Бартлетта)⁴⁰. Однако, как с сожалением замечает Я. Ассман, Хальбвакс не ограничился анализом социальных рамок памяти, а "пошел еще дальше, объявив коллектив субъектом памяти и воспоминания, создав понятия «групповая память» и «память нации», в которых понятие «память» оборачивается метафорой"⁴¹.

Практика антропоморфизации социальных общностей, наделяния социальных коллективов и групп чертами индивидуальной личности существовала со времен архаики и была активно выражена еще в XVIII—XIX вв. В частности, от Монтескье и Вольтера до Штейн-ля и Вундта по страницам сочинений кочевали понятия "дух народа",

³⁹ Как отмечает Ассман, понятие "социальные рамки" (*cadres sociaux*), введенное Хальбваксом, поразительно близко развитой И. Гофманом "теории фреймов", исследующей социально заданную структуру организации повседневного опыта (Гофман -И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта: Пер. с англ. М.: Фонд "Общественное мнение", 2004 [1974]). *Cadres* (фр.), организующие воспоминания, соответствуют *frames* (англ.), организующим повседневный опыт (Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 37).

⁴⁰ Bartlett F.C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.

⁴¹ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

"душа народа", "характер народа" и т.д. Отчасти подобные архаичные представления сохранялись и в первой половине XX в. — например, М. Шелер для характеристики социальных групп использовал выражения "групповая душа" и "групповой дух", а Э. Фромм в "Бегстве от свободы" (1941) писал о "социальном характере".

В полной мере эти архаичные представления "о коллективной психике" еще присутствовали и в работах Хальбвакса, который воспринял их от Дюркгейма (см. выше). Более того, Хальбвакс делил "коллективную психику" на отдельные части — разум, рассудок, эмоции, память и т.д., восходящие едва ли не к Аристотелю. Об этом наглядно свидетельствуют названия некоторых из его статей: "Коллективная психология рассудочной деятельности" (1938), "Индивидуальное сознание и коллективный разум" (1939) "Выражение эмоций и общество" (1947 поем.)⁴². Из этого же разряда — посмертно изданная "Коллективная память" (1950).

Антропоморфизация коллективного субъекта постоянно воспроизводится при использовании понятия "коллективная память" и в современной литературе, в том числе путем переноса на массовое сознание ряда понятий из психоанализа ("травма" и др.), а также различных психических расстройств, выражающихся в нарушении памяти — амнезия, гипермнезия и т.д. (см. ниже)⁴³.

Со своей стороны заметим, что такие социальные факторы, как актуальность или интересы, существенно влияют на индивидуальное запоминание. Как показывают многочисленные эксперименты в области психологии, память не остается неизменной. В воспоминании мы не восстанавливаем образы прошлого в том виде, в каком они первоначально воспринимались, но скорее приспособляем их к нашим сегодняшним представлениям, сформированным в результате воздействия на нас определенных социальных факторов.

⁴² См.: Хальбвакс М. Социальные классы и морфология (избр. статьи) / Сост. В. Каради; пер. с фр. СПб.: Алетей, 2000 [1972 поем.], раздел "Коллективная психология".

⁴³ Амнезия — потеря памяти, гипермнезия — навязчивая память. В этом смысле психические заболевания, связанные с нарушением памяти, — настоящая находка для любителей метафор. Помимо амнезии, которую широко используют в литературе по исторической памяти, мы можем предложить их вниманию следующие недуги: гипомнезия — сокращение памяти; старческий маразм; охранительное вытеснение; криптомнезия — ложные воспоминания, вымысел, перемещение в другое время.

Феномен прошлого

И конечно, общество (властные структуры) обладает большой свободой в манипулировании как содержанием, так и самими этими техниками. Сведения об определенных событиях и идеях прошлого тиражируются многократно и на самых разных уровнях, и каждый раз индивид вынужден и повторить, и вспомнить что-то из того, что С. Московичи назвал "всеобщим достоянием большинства": "Даже если оно не осознается, даже если от него отказываются, оно остается основой, созданной историей... и каким-то невидимым образом влияет на наши мнения и действия"⁴⁴.

В 1976 г. Д. Робинсон ввел понятие автобиографической памяти⁴⁵, которая представляет собой ментальные репрезентации сцен, категорий и пр., имеющих личное отношение к индивиду. Проблема автобиографической (эпизодической) памяти также привлекает в последнее время внимание специалистов в области социальной психологии.

Речь идет, в частности, о таком феномене, как "историзация", или социализация, автобиографической памяти. "Историзация" индивидуальной памяти (воспоминаний) наблюдается в двух формах: во-первых, придание индивидуальной значимости автобиографическим событиям своей жизни; во-вторых, увязывание индивидуальной автобиографии с социально значимыми ("историческими") событиями, вплоть до придумывания своего участия в них (например, участие в переноске бревна вместе с Лениным на субботнике или в защите Белого дома в августе 1991 г.).

В результате по отношению к социально значимому ("историческому") событию субъект начинает выступать как Участник, Свидетель, Современник и Наследник (именно так, с прописной буквы)⁴⁶, а его автобиографическая память превращается в "историческую память".

Отсюда возникают распространенные в последние десятилетия претензии отдельных групп участников (реальных или мнимых) тех

⁴⁴ Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс: Пер. с фр. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998 [1981]. С. 137.

⁴⁵ Ранее, в 1972 г., сходное понятие "эпизодическая память" ввел Э. Тульвинг. "Нуркова В.В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // Воображаемое прошлое Америки. История как культурный конструкт. М.: МАКС-Пресс, 2001. С. 22—23; подробнее об автобиографической памяти в целом см.: Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. М.: УРАО, 2000.

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

или иных исторических событий на то, что именно их воспоминания дают "правильную" картину этих

событий, вплоть до активных протестов и попыток запрета иных, в том числе научных и художественных, описаний и трактовок происшедшего.

В работах социальных психологов показано, что индивидуальная память подвержена влиянию социокультурных факторов, а социальные представления больших групп о своем прошлом — это сложный социально-психологический конструкт, являющийся частью групповых когнитивных процессов. Однако концептуализация "исторической памяти" пока плохо соотносится как с результатами психологических исследований в области индивидуальной психологии памяти, так и с социальной психологией в целом. Соответствующие подходы до сих пор не вышли за пределы той фазы, на которой формулируются вопросы, основные из которых звучат следующим образом.

- Как определяется знание о прошлом, которое в идеале должно быть "памятью" каждого индивида, как это знание формирует определенные социально-политические характеристики личности в обществе, и соответственно как на такой базе складывается коллективная идентичность?
- Что вообще происходит: различные варианты индивидуальных знаний объединяются в стереотипные образы, которые и сообщают форму "коллективной памяти", или априорная "коллективная память", которой уже обладает общество, определяет содержание и модификацию индивидуальной памяти о прошлом?
- Правомерно ли экстраполировать механизмы индивидуальной памяти на социальную или, наоборот, представлять индивидуальную память о социальном прошлом как производную от коллективной?

Определение "исторической памяти"

До поры до времени историки вполне обходились без концепта "историческая память", хотя активно пользовались такими метафорами, как, например, "память нации", "память французов" и др. Базовым понятием для историков с XIX в. было "историческое сознание", которое рассматривалось как важнейшая характеристика мировоззрения Нового времени. Но историческое сознание тоже не очень четко дефинировалось, и на протяжении XX в. в социологии разрабатываются

189

Г

Феномен прошлого

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

и затем заимствуются историками концепты представления о прошлом" и "знания о прошлом". Наконец, на исходе XX в. наряду с понятиями *историческое сознание, историческое знание и представления о прошлом*, в исторические работы внедряется *"историческая память"*.

Проблематизации "исторической памяти" в историографии весьма способствовало вовлечение в оборот нетрадиционных источников, интерес к личным воспоминаниям, семейной истории, краеведению, многократно усиленный становлением устной истории и обеспеченный новыми способами обработки информации (звукозапись, перевод в машиночитаемую форму и т. д.). Развитие истории повседневности и микроистории создало новые возможности исторической репрезентации в рамках этих достаточно традиционных подходов.

В то же время комплексный анализ генезиса, структуры, социального функционирования и механизмов замещения социальных представлений, концептуальных систем и идеологических мифов, определяющих знание общества о прошлом в разные исторические эпохи и времена, остается пока еще исследовательской перспективой. Теоретические аспекты проблемы привлекают внимание историков, известных своими трудами по конкретным проблемам и периодам (Ассман, Ле Гофф, Нора, Рюзен, Эксле и др.). А если говорить о таком термине, как "историческая память", то несмотря на значительные интеллектуальные усилия, предпринятые в этой области, речь о строгом понятии, как нам кажется, по-прежнему не идет.

В процессе внедрения этого понятия в исторические исследования, наряду со старой терминологией (воспоминание, предание, историческое сознание, идентичность, традиция, рецепция), вводятся новые специфические термины: "социальные рамки памяти", "коннективная структура культуры", "фигуры воспоминания", "горячая и холодная память" (от горячих и холодных обществ Леви-Строса), "политика памяти", "места памяти". Заметим попутно, что последнее понятие — особенно популярное благодаря гигантскому труду П. Нора с аналогичным названием, на самом деле очень старый термин, заимствованный из индивидуальной мнемотехники ("поля памяти", "дворцы памяти") и, в контексте "коллективной памяти", наделенный смыслом "пространство как образ события" (об его истории см. ниже).

В определенной степени новый конструкт "историческая память" в наши дни даже начинает подменять понятие "историческое сознание",

190

столь привычное для рефлексий по поводу ментальности современного человека. В тех же случаях, когда от "сознания" не отказываются, возникают большие трудности с разведением этих категорий. Впрочем, с концептуализацией самой "исторической памяти" тоже не все так просто. "Историческая память" по-разному интерпретируется отдельными авторами⁴⁷: как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции (отсюда — изобретение традиций и установление "мест памяти" в современном обществе), как индивидуальная память о прошлом, как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах, как коллективная память о прошлом, если речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет об обществе, как идеологизированная история, более всего связанная с возникновением государства-нации⁴⁸, наконец, просто как синоним исторического сознания. Разноголосица свидетельствует о том, что строгое понятие на самом деле еще не выработано, а значит, *границы понятия не установлены*, и термин используется в разных смыслах, включая метафорические.

Немецкий историк И. Рюзен, известный своими исследованиями в области "исторической памяти", полагает, что

"историческая память выступает, с одной стороны, как ментальная способность субъектов сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является необходимой основой для выработки исторического сознания... С другой, — как результат определенных смыслообразующих операций по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания путем осмысления пережитого опыта..."⁴⁹.

Есть и другие варианты ответа. "Историческая память" трактуется как совокупность представлений о социальном прошлом, которые

⁴⁷ О спектре подходов к понятию "историческая память" см. статью Л. Репиной в данном сборнике.

** Идеологизированием промышляют и антропологи, специалисты по примитивным обществам. Так, Ж. Ле Гофф ссылается на Дж. Надея, который делит историю нигерийского племени Мире на "объективную" и "идеологическую", "которая описывает и организует факты в соответствии с определенными установленными традициями" (Le Goff J. History and Memory. P. 55—56).

⁴⁹ Рюзен И. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма и дискуссии о памяти) [1999] // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 9.

191

Феномен прошлого

существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты. В этом случае массовое знание о прошлой социальной реальности и есть *содержание* "исторической памяти". Или: "историческая память" представляет собой опорные пункты массового знания о прошлом, минимальный набор ключевых образов, событий и личностей прошлого в устной, визуальной или текстуальной форме, которые присутствуют в активной памяти (не требуется усилий, чтобы их вспомнить).

Таким образом, появление темы "историческая память" в историографии, стимулировав структурирование разных уровней в формировании представлений о прошлом, одновременно усугубило понятийный беспорядок. Здесь вполне уместна аналогия с "клубком", который, как известно, в русском языке имеет противоречивые значения: аккуратно смотанные нитки (порядок) и "клубок противоречий" (беспорядок)⁵⁰. Впрочем, если вернуться к ситуации с "исторической памятью", может быть, то, что нам видится как беспорядок, другим представляется порядком.

На самом деле наша неудовлетворенность связана не просто с нечеткой концептуализацией понятия "историческая память", неоправданным увлечением новым термином, противоречивостью формулировок и недодуманностью трактовок. Из теоретически непроработанного материала следуют интерпретации, которые либо не вполне корректно используют потенциал нового концепта, либо вообще кажутся нам непродуктивными или избыточными.

"Политика памяти"

Связь исторического знания с политической властью — старая топка, актуальная уже в древности.

Тематизация этой проблемы, равно как и эмпирические формы реализации указанной связи, менялись во

⁵⁰ Интересно, что китайский иероглиф luan, изначально изображавший две руки, которые держат клубок шелковых нитей, в древности имел значение 'упорядочивать' или 'порядок', а в современном понимании означает 'беспорядок' (см.: Тань Аошун. Загадка иероглифа luan — беспорядок или порядок? // Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка / Ред. Н.Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2003. С. 499—503).

192

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

времени, хотя некоторые базовые принципы оставались неизменными. В древности одной из политических задач, которые ставились перед историками, было прославление нынешней власти, увековечивание памяти о ней. Не случайно в Древней Греции Клио первоначально была музой гимнической (прославляющей) поэзии и лишь затем превратилась в музу истории. Точно так же власти всегда были заинтересованы в создании "правильного" образа прошлого, будь то уничтожение сведений ("памяти") о каких-то людях или событиях прошлого, или их актуализация и героизация.

Общество Нового времени, осознавшее собственную новизну и становление как модус своего бытия, особенно нуждалось в опоре на общие правила и ценности и на общее прошлое. Конструирование этого прошлого заключалось в разных практиках: в организации документальной базы, в актуализации античного

и средневекового наследия, в "изобретении традиций" (термин Э. Хобсбоума), в историософских конструкциях развития человечества, в возникающих партийно-политических интерпретациях истории, в организации массового исторического образования, монументальной пропаганде и т.д.

На концептуальном уровне связь истории с политикой стала активно обсуждаться в XIX в., с акцентом на прагматическую сторону этих отношений. Например, в заключительном разделе "Очерка историки" И.

Дройзен писал:

"Практическое значение исторических исследований заключается в том, что они — и только они — дают государству, народу, армии и т.д. *образ самого себя*. Изучение истории есть основа политического воспитания и образования. Государственный деятель есть историк-практик"⁵¹.

Таким образом, за историей (а тем самым и историками) признавалось право (обязанность?) давать уроки, а за политиками — обязанность (право?) их брать.

В XX в. связь между историей и политикой не только не ослабла, но еще больше усилилась. А в последние десятилетия прошлого столетия возникли новые формы "политизации истории", в которых активно участвуют самые разные социальные группы. Одним из главных символов этой политизации стало выражение "историческая память"

⁵¹ Дройзен И.Г. Очерк историки [1858] // Дройзен И.Г. Историка: Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 499.

193

Феномен прошлого

и тесно связанная с ним "политика (исторической) памяти". Заметим, что в российское общество тема "исторической памяти", в отличие от многих других, пришла с Запада с очень небольшим запозданием, что неудивительно. Наше общество в очередной раз в поисках идентичности стоит перед выбором, что *помнить* и что *вспомнить о* своем прошлом (а также, что *забыть*). И как это сделать.

Еще раз подчеркнем, что термин "историческая память" является скорее своеобразным клише, а по сути речь идет о социальных (групповых и массовых) представлениях о прошлом. В последние десятилетия "историческая память" стала рассматриваться, наряду с традицией и политизированными версиями истории, в качестве фактора, обеспечивающего идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и статусных групп, формирующегося у них чувства общности и достоинства. Иногда можно встретить допущение, что "историческая память" в какой-то мере восстанавливает необходимую для социума связь с прошлым, которую обеспечивала традиция, потому что в сегодняшнем динамичном обществе даже "изобретенная", т.е. определяемая нуждами настоящего, традиция перестает работать, ей на смену приходит социально детерминированная "историческая память", аисторичная в еще большей степени, чем традиция.

Для формирования "исторической памяти" (социальных представлений) существенной является задача научиться у прошлого, опереться на прошлое, оправдаться или самоутвердиться с помощью прошлого.

Рассматривая образы ключевых для общества событий и исторических личностей как "места памяти", которые, с одной стороны, локализируются на хронологической оси, а с другой — в пространственных объектах и общественных действиях (коммеморациях), историки могут в совершенно новом ракурсе репрезентировать структуру социальных представлений о прошлом в разных сообществах.

Один из подходов к использованию концепта "историческая память", безусловно правомерный, но требующий уточнения, связан с понятием "политика памяти". Само слово "политика" указывает на то, что речь идет либо об изучении способов идеологизации прошлого, либо о самом процессе идеологизации знания о прошлом. Не случайно во многих сочинениях о "политике памяти" мы обнаруживаем манифесты очередных "движений", на этот раз "движений за память" (жертв Холокоста, депортаций, ГУЛАГа), что уж точно выводит со-

194

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

ответствующие тексты за пределы научно-исторического дискурса. В репрезентации этих сюжетов неизбежны (и оправданы) моральные оценки, такие собирательные и понятные сегодня каждому интеллектуалу метафоры, как "травма", "вина", "покаяние" и т.д.

Часто дискуссии имеют откровенно политический характер, причем порой очень ожесточенный, с приклеиванием всех полагающихся ярлыков. Следует заметить, что в работах о "политике памяти" активнее всего обсуждаются события XX в., и непреходящей актуальностью этих событий объясняется отчетливо выраженный политический (идеологический) способ аргументации. Напротив, работы, в которых анализируются социальные представления более отдаленных исторических периодов, как правило, характеризуются соблюдением нормы исследовательской дистанции.

Тема "политика памяти" успешно утвердилась в исторических сочинениях в связи функцией идентификации — как партийно-идеологической, так и национально-политической. Власть всегда нуждалась в ретроспективной легитимации и проспективном увековечивании, а общество — в собственном образе, знании о самом себе. Функция идентификации, которую издавна выполняла история, теперь во многом реализуется путем сознательного формирования массовых представлений о прошлой социальной реальности, т.е. "социальной памяти" общества. Конструирование социальной реальности включает в качестве необходимой составляющей установление отношений с определенными событиями прошлого, которые намеренно "не запоминаются" или, наоборот, "запоминаются" и фиксируются в коллективном

знании. Тем самым "политика памяти" распадается на два взаимосвязанных блока: политика запоминания и политика забвения.

"Политика памяти" оказалась самой привлекательной, самой доступной, изобилующей материалами (как текстами, так и образами) и самой разработанной в исторических исследованиях, ориентированных на проблематику "памяти". Она связана с анализом роли политического проекта и соответственно заказа в формировании и закреплении достаточно конкретных знаний о прошлом, обеспечивающих определенные социально-политические цели, задачи и ценности общества.

Память, формируемая властью, "альянс власти и памяти" — только одна сторона медали. Борьба с властью выражается и в борьбе безвластных за память о собственном прошлом. В определенной мере это тоже "политика памяти", создающая контристорию, в первую очередь,

195

Феномен прошлого

прошлое угнетенных классов, национальных меньшинств, не имеющих своей государственности, а также притесняемых конфессиональных групп и разнообразных маргинальных слоев.

"История дискурса описывает образы, в которых репрезентируются идеи, поскольку каждая эпоха перестраивает дискурс в соответствии с новыми основаниями. В рамках такого исторического анализа традиция, с ее претензией поддерживать непрерывную связь с доступным памяти прошлым, оказывается фальсификацией. Под воспоминаниями, канонизированными в официально одобренной традиции, скрывается множество воспоминаний противоположного содержания⁵².

О формировании памяти угнетенных всегда заботились профессиональные историки, разделяющие их интересы (ту или иную идеологию). Например, Ж. Лефевр в своих многочисленных трудах по Французской революции ставил перед собой задачу создания истории "революции снизу", память о которой была утрачена в академической историографии XIX в. Память, которую Лефевр стремился восстановить, была памятью о *народной* революции, проявившей себя в восстаниях 1789 г.⁵³

В свою очередь, в английской историографии

"соединение непреходящей популярности истории семьи, родной деревни, прихода, города у многочисленных энтузиастов-непрофессионалов — с развернутым историками-социалистами широким движением за включение любительского краеведения в контекст большой «народной истории» сделало «социальную историю снизу» важным элементом массового исторического сознания"⁵⁴.

Изучение "политики памяти", помимо бесконечных возможностей для анализа конкретных сюжетов, создает предпосылки и для ответа на более общий теоретический вопрос: как создаются социальные воспоминания (представления о прошлом) и формируются национальные символы?

Содержание исторического сознания в огромной степени определяется конкретным национальным опытом.

Так, в исторической литературе

⁵² Хаттон П. История как искусство памяти. С. 41—42.

⁵³ Там же. С. 332—333.

⁵⁴ Репина Л.П. Парадигмы истории в исторической науке XX столетия // XX век: Методологические проблемы исторического познания: В 2 ч. / Ред. А.Л. Ястребицкая. М.: ИНИОН РАН, 2001. Ч. 1. С. 83.

196

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

ратуре можно найти немало размышлений, основанных на сопоставлении отношения к прошлому европейцев и североамериканцев. Как отмечает Р. Хайлбронер, американцы в этом вопросе не демонстрировали характерной для европейской мысли склонности к трагическому восприятию, потому что "они никогда не разделяли с Европой знания трагедии как аспекта, неотделимого от истории"⁵⁵. В том же духе пишет Л. Харц: "Прошлое было для американцев благоприятным, и они это знали"⁵⁶.

Однако прошлое может быть не просто трагичным, но и "тяготеть как кошмар над умами живых", причем не в Марковом, а в самом прямом смысле. В связи с политикой забвения (амнезии) в литературе об "исторической памяти" появился и термин "гипермнезия" (см. выше). Это было обусловлено старением и уходом из жизни людей, переживших опыт Холокоста. Жертвам Освенцима кажется, что в отношении Холокоста с течением времени возникла угроза забвения, если не сознательного, то связанного со сменой поколений и ослаблением усилий по сохранению этого травматического знания. По этой причине резко возросла активность носителей памяти (воспоминания и др.) и интенсивность действий по запечатлению их опыта.

Центральной вопрос помнящей культуры, как его формулирует Я. Ассман, — "Чего нам нельзя забыть?"⁵⁷

Но ему вполне может сопутствовать и другая установка: что нам необходимо забыть? Власть, направленная на уничтожение памяти, может быть столь же продуктивной, как и власть, направленная на создание памяти. Конфискация "коллективной памяти" — принцип, известный еще со времен Древнего Рима. Способ, изобретенный сенатом Рима в борьбе с тиранией императоров (*Damnatio memoriae*) — изъятие имени негодного императора из архивных документов и с надписей на памятниках.

Сознательное уничтожение памятников, надписей, религиозных реликвий, литературы и т.д. проходит через всю историю. Но были в истории периоды, когда способы уничтожения памяти о прошлом отличались особой изощренностью. Один из самых показательных

⁵⁵ Heilbroner R. L. *The Future as History*. N.Y.: Grove Press Inc., 1961. P. 51.

" Харц Л. Либеральная традиция в Америке: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993 [1955]. С. 53.

⁵⁷ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 30.

197

Феномен прошлого

этом смысле примеров (впрочем, как и в смысле заботы об историзации настоящего — запоминании нововведений) — Великая французская революция.

Из чувства революционного долга, повелевающего искоренить феодальные следы во всей республике и, наверно, из страха перед революционерами было совершено много "славных дел" по уничтожению всего, что напоминало о Старом режиме. В конечном счете дела эти тоже стали достоянием "коллективной памяти":

"...Ничто, напоминающее феодализм, не должно было существовать; от него не должно было остаться в настоящем ни малейшего следа. Все, что вызывало воспоминания о прошлом, даже на табакерках, бонбоньерках, медалях, пуговицах и т.д. — было обречено на уничтожение... Знаменитый ученый, член упраздненной революцией Французской академии, потребовал уничтожения королевских гербов на переплетах Национальной библиотеки. И когда ему заметили, что подобная операция обойдется не менее 4-х миллионов, то Лагарп, — так как это был именно он, — с легким сердцем отвечал: «Можно ли говорить о каких-то 4-х миллионах, когда речь идет об истинно республиканском деле?» Когда феодальный строй был разрушен в его эмблемах и изображениях, тогда понадобилось изгнать его и из географических названий... Парижские секции начинают чуть не каждый день обращаться к Генеральному совету с просьбами о переименовании их улиц... В 1793 и 1794 гг. Конвент дал также некоторым городам в наказание за недостаточно современный образ мыслей позорящие наименования. В числе их Тулон и Лион лишились своих старинных, освященных веками названий.

...Некоторые муниципалитеты издали следующее постановление: «Всякий носящий имя, заимствованное от тирании или феодализма, например: Леруа (Le Roi — король), Ламперёр (L'Empereur — император), Леконт (Le Com-te — граф), Шевалье (Chevalie — рыцарь) и т.п. ...должен немедленно оставить таковое, если он не желает прослыть за 'подозрительного'»... Падение монархического режима должно было, при тогдашнем настроении, необходимо повлечь за собою изменения даже в фигурах игральных карт, так как короли, дамы или королевы и валеты, казалось, слишком напоминали тот былой строй, который было необходимо искоренить до последней черты. Сообразно этому было решено заменить: королей — мудрецами, дам — добродетелями и валетов — героями...

«Может ли быть дозволено французам играть впредь в шахматы»? Такой вопрос пресерьезно в течение нескольких заседаний обсуждался на специальном митин-

198

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

ге — сходке «добрых республиканцев» и, «как следовало ожидать, — пишет современник, — был разрешен в совершенно отрицательном смысле»... Но затем выступил, однако, другой вопрос: «Нельзя ли демократизировать эту единственную, действительно изошряющую мозг игру? Нельзя ли, исключив из нее названия и формы, в вечной ненависти коим мы все клялись, сохранить лишь остроумные и образцовые комбинации, ей одной присущие...?»⁵⁸.

В литературе по истории Октябрьской революции и послереволюционному периоду можно было бы насобирать не менее курьезные случаи "отмены" прошлого, хотя кажется, что в России все же не было проявлено такого рвения к тотальному уничтожению памяти о прошлом (за исключением переименования улиц и частично — городов, а также сноса некоторых памятников). В целом же можно предположить, что осуществление сознательной политики забвения особенно характерно для революционеров. Это вполне согласуется с особенностями их темпоральных представлений.

Существует мнение, что понятие "историческая память" стало активно обсуждаться в связи с укоренением постмодернистского тезиса о власти историографических дискурсов, которые утверждают "нужные" традиции в качестве официальной памяти общества. Действительно, в ряде постмодернистских исследований французской семиотической школы (Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида и др.) навязывание обществу "буржуазной картины мира" путем создания соответствующей текстовой реальности рассматривалось как основная прагматическая функция исторических сочинений. Эта концепция, распространявшаяся не только на тексты, но и на другие знаковые системы, сыграла важную переориентирующую роль в подходе к формированию социального запаса знания о прошлом.

Однако надо заметить, что тенденция мыслить социальное как результат действий, основанных на определенных идеях, проявлялась задолго до постмодернистов практически во всех идеологических направлениях. Все идеологические системы основаны на презумпции, что обстоятельства, которые конституируют социальную реальность, могут быть изменены, если сознательно воздействовать на содержание сознания, в том числе и *исторического*. Востребованность такого по-

⁵⁸ Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз [1905] // Революционный невроз: Пер. с фр. М.: Институт психологии РАН: Изд-во КСП+, 1998. С. 394. 388, 406, 413.434,416,418.

199

Феномен прошлого

нятия, как "память", в исторической литературе отражает не столько влияние постмодернизма, сколько смену интересов в предметной области, в результате чего целый ряд историков переключился с идеологически насыщенных *текстов* на пропагандистские *образы, и символы, с политической истории — на культурную политику.*

Сегодня звучат призывы к тому, чтобы сделать радикальный шаг к "демократизации" или, точнее, "обобществлению" процессов производства исторического знания. Например, пафос концепции аме-

риканской исследовательницы С. Крейн⁵⁹ состоит в протесте против модернистской формы "исторической памяти", которую она называет "культурой консервации прошлого". Эта форма, по ее мнению, заключается в навязывании индивиду, обладающему собственным историческим сознанием, той истории, которая создается историками.

"Функционалы памяти"

Перейдем теперь к рассмотрению конкретной практики "политики памяти". В этой связи уместно напомнить классификацию "мест памяти", предложенную П. Нора. "Местами памяти" он называет: "топографические места, такие, как архивы, библиотеки и музеи; монументальные места, такие, как кладбища и архитектурные сооружения; символические места, такие, как коммеморативные церемонии, паломничества, юбилеи и эмблемы; функциональные места, такие, как учебники, автобиографии или мемуары"⁶⁰.

Все эти находящиеся в коллективном использовании функционалы (у нас язык не поворачивается называть учебники и пр. "местами", тем более "общего пользования") — образование (особенно школьное); праздники и коммеморации; традиции и мемориалы — являются главными объектами "политики памяти".

Историческое знание и образование

Важным каналом государственного влияния на облик исторического знания была причастность власти к самому процессу историописания.

"Crane S.A. Writing the Individual Back into Collective Memory. P. 1372—1385. ^м Цит. по: Le Goff J. History and Memory. P. 95—96.

200

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Иногда оно принимало форму прямого вмешательства в содержание исторического знания (официальной историографии). Во Франции при Наполеоне I исторические сочинения курировало Министерство внутренних дел и полиции! Историки рассматривались как государственные служащие. Наполеон, в частности, настаивал на том, что работа по созданию истории Франции должна быть поручена не просто талантливым людям, но людям, которым можно *доверять*, подразумевая под этим, что они *в верном свете* покажут события вплоть до восьмого года⁶¹.

Такая практика в еще более жестких формах была воспроизведена в тоталитарных государствах XX в., где исторические исследования оказались под жестким государственным/партийным контролем. Власти не церемонились ни с прошлым, ни с теми, кто его изучал. Так, в России "после Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего — память, история"⁶². В результате в СССР исторические дискуссии, будь то обсуждение роли норманнов в образовании Руси или вопрос о степени прогрессивности Ивана Грозного или Петра I, носили государственный характер и оценивались по шкале соответствия идеалам социалистического патриотизма. Важнейшей областью приложения усилий по формированию государственной "политики памяти" в связи с утверждением системы массового, а затем и обязательного образования, становится школа. Познавательная функция — лишь одна из культурно-политических функций истории, которые активизируются в школе. В процессе обучения познавательные аспекты тесно переплетаются с другими функциями истории: воспитания (например, патриотизма) и идентификации (например, национальной). Рискнем утверждать, что познавательные цели даже подчинены гражданственным (в широком смысле), ибо в новоевропейском проекте народного образования на первом плане стоит формирование национальной общности и привязанности к своему прошлому. Для решения этой задачи в XIX в. в развитых странах формируются институты, регламентирующие и контролирующие содержание учебников по истории и практику преподавания этого предмета.

"Gooch G.P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N.Y.; Toronto: Longmans, Green and Co., 1928 [1913]. P. 159.

⁶² Геллер М., Некрич А. История Советского Союза с 1917 г. до наших дней: В 3 т. М.: МИК, 1995. Т. 1. С. 7.

201

Феномен прошлого

Исторические факты в школьном образовании используют как материал для воспитательных и нравственных уроков. В разработанной в конце XVIII в. Б. Франклином школьной программе говорилось:

"Давая пояснения по истории, учитель имеет замечательную возможность исподволь делать всякого рода наставления и совершенствовать как нравственность, так и разум молодежи"⁶³.

Учебники пишутся, как правило, историками на основе данных исторической науки, но в них конструкция прошлого с неизбежностью редуцируется до определенного объема и начинает непосредственно выполнять "функции истории". История, почерпнутая из учебника, в современном обществе, видимо, составляет основу (индивидуальной) исторической памяти. Вопрос о том, в какой степени школьное историческое образование играет роль каркаса, в который встраиваются впоследствии знания, почерпнутые из других областей, нуждается в дальнейшем изучении. Для ответа на него требуются специальные исследования, и они довольно активно ведутся в разных странах, включая Россию (анализ репрезентации прошлого в учебниках по истории и др.).

В значительной мере школьные программы истории остаются событийными, а не "процессуальными".

Пропуски, наличествующие в учебниках, — это прежде всего пропуски определенных событий. Конечно, умолчания и пропуски объясняются и методическими соображениями, но чаще — целевыми установками

формирования национальной идентичности, в той ее части, которая опирается на знание о прошлом (память о прошлом).

Школьное историческое образование неизбежно представляет собой "краткий курс", вопрос в том, за счет чего достигается эта краткость. В упомянутой выше школьной программе Б. Франклина он советовал от Древней истории сразу переходить к "истории нашей нации"⁶⁴. Еще более выразительный пример — параграф из инструкции Совета по образованию в Великобритании о преподавании истории в средней школе (1909):

⁶³ Франклин Б. Очерк об английской школе [6. г.] // Франклин Б. Избранные произведения: Пер. с англ. М.: Госполитиздат, 1956. С. 575—576. "Там же. С. 575.

202

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

"Желательно очень сжато освещать те периоды, история которых отмечена плохим правлением, например, правление Эдуарда II, или те, которые заполнены сложными и неблагоприятными политическими интригами, которые интересны и поучительны для зрелых студентов, но мало полезны для более молодых учащихся... Поэтому, как правило, желательно пропускать почти без упоминания большую часть отечественной истории XVIII в. (борьбу внутри партии вигов...), многое из политической истории правления Карла II, историю периода Ланкастеров, гражданскую войну периода правления Стефана... для того чтобы освободить больше времени для изучения таких событий, как Крестовые походы, Гражданская война, правление Елизаветы и великие войны за колониальное превосходство"⁶⁵.

Формирование современного исторического сознания анализируется в превосходной работе М. Ферро. На материалах школьных учебников начальных классов он исследует, как в раннем возрасте закладываются стереотипы обыденных исторических представлений⁶⁶. Ферро удалось очень убедительно показать, что в разных странах базовое историческое образование формируется на основе разных и, главное, противоречащих друг другу исторических знаний. И цель, которая преследуется при этом, носит не познавательный, а идеологический характер: обучение истории, воспитывающей чувство гордости за национальное прошлое.

В современной России существует устойчивая традиция непосредственного вмешательства первых лиц государства в содержание учебников истории. Создание учебников по истории СССР и всеобщей истории находилось под прямым контролем И. Сталина (см. "Учебник по истории СССР", утвержденный в 1936 г.)⁶⁷. Партийный контроль над содержанием учебников по истории сохранялся и все последующие годы советской власти. После XX съезда КПСС, в свя-

⁶⁵ Цит. по: Samuel R. Continuous National History. P. 13.

⁶⁶ Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира.

⁶⁷ Советские учебники истории опирались на традицию, основы которой были заложены в документах второй половины 1930-х гг., известных как "Постановления партии и правительства о школьном историческом образовании". В 1937 г. эти документы были собраны вместе в сборнике "К изучению истории" и им было предпослано известное письмо И. Сталина 1931 г. в редакцию "Пролетарской революции". (Подробнее см.: Бухараев В. Что такое наш учебник истории. Идеология и назидание в языке и образе учебных текстов // Историки читают учебники истории / Ред. К. Аймермахер, Г. Боодюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 13—46).

203

Феномен прошлого

зи с необходимостью внести изменения в учебники истории, в 1959 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О некоторых изменениях преподавания истории в школе". Как пишет В. Есаков, подготовка учебника "История СССР", который вышел в 1962 г., "велась под неусыпным контролем Отдела школ ЦК КПСС"⁶⁸. Практически каждое его переиздание сопровождалось необходимой доработкой и совершенствованием в связи с политическими метаморфозами. На подготовку следующего учебника, начатую в 1975 г., со всеми полагавшимися обсуждениями и согласованиями, ушло 10 лет. Его третье издание пришлось на разгар перестройки и в итоге так и не увидело света. Далее мы были свидетелями десятилетнего периода отсутствия действенного контроля над содержанием учебников истории и крайнего идеологического разнообразия в этой области. Однако традиция восстановлена. В России начала нового века школьные учебники по истории обсуждаются на заседаниях правительства и являются предметом пристального внимания со стороны президента и его администрации.

Традиции и ритуалы

К проблематике политики памяти примыкает и тема традиции в *современном* обществе.

"Традиции — социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Традиции включают в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности); процессы социокультурного наследования; способы этого наследования. В качестве традиции выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т.д."⁶⁹

В дописьменных обществах память прежде всего связывается с традицией; ее власть берет свое начало в чувстве необходимости повторения знания, унаследованного из прошлого. В устной традиции

⁶⁸ Есаков В. Между социальным заказом и профессиональной историографией // Историки читают учебники истории / Ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. С. 49.

"Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2 т. / Сост. С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С.

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

складывается практика организации памяти как повторения архетипических событий. Традиция свидетельствует о прочной власти прошлого, и хотя прошлое постоянно обновляется, инновации совершаются достаточно медленно. Они включаются в традицию постепенно и потому незаметно.

"Печатная культура текстуализировала прошлое. Перемещая идеи, персоналии и события из среды устной традиции и сообщая им специфическое время и место в коллективной памяти, тексты позволяли читателям постичь историчность прошлого более глубоким образом. Текстуализация коллективной памяти углубляла темпоральность сознания читателя, а это, в свою очередь, вело к перестройке мнемонических схем, прежде воспринимаемых пространственно, в хронологические линии, исторические события на которых служили мнемоническими местами"⁷⁰.

Традиция означает многое. В исходном смысле — это просто *tradi-tum*, то, что передается от прошлого к настоящему. *Traditio* в римском праве назывался способ передачи прав владения частной собственностью⁷¹.

Идея традиции в сегодняшнем значении этого слова — порождение Нового времени. Рационализм Просвещения отождествлял традицию с невежеством и догмами. Характерное для идеологии Просвещения стремление покончить со старым обществом в ходе Французской революции привело к сознательным усилиям по истреблению старых традиций, но тогда же с не меньшим рвением стали насаждаться новые. XIX в., не в пример предшествовавшему ему столетию, характеризовался огромным интересом к традиции, роль которой была переосмыслена в связи с задачами формирования национального самосознания. В XIX в. сторонники восстановления традиций поддерживали и даже возрождали образы, создающие иллюзию исторической преемственности, тогда как на самом деле связи с прошлым исчезали. Большая часть работ XIX в. по литературе, праву и истории касалась воспроизведения (и тем самым возвращения в настоящее) отдельных традиций, особенно тех, что были связаны с истоками и становлением современного государства-нации. Интеллектуальная и политическая практика XIX в., ориентированная на изучение и поддержание традиции, ограничивалась ее определенными формами. Это, в основном —

⁷⁰ Хаттон П. История как искусство памяти. С. 67.

⁷¹ Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981. P. 16.

Феномен прошлого

фольклор, сказки, мифы и легенды, устное творчество, обычное право, религиозные и светские церемонии и ритуалы. При этом традиция рассматривалась прежде всего как культура малообразованных страт.

Однако уже в первой половине XX в. традиция начинает интерпретироваться как интегральная часть социального порядка, который придает смысл человеческому существованию (Ф. Теннис, Г. Зиммель, О. Шпенглер, М. Шелер, А. Бергсон, Т. Элиот, Г. Адаме, Л. Мамфорд)⁷².

Хальбвакс различал память и традицию как переход живого воспоминания (*memoire vecue*) в две различные формы письменной фиксации, которые он называл "история" и "традиция". В современной традиции он видел интенцию восстановить неразрывную связь с прошлым, соединенное с пониманием нужд настоящего времени, и очевидный социальный контекст, в котором политика памяти насаждает или разрушает традицию.

Видимо, благодаря Э. Хобсбоуму в современных исследованиях утверждается тезис об "изобретении" древних традиций с конца XVIII в. Суть его сводится к тому, что для формирования национальной идентичности потребовалось знание о прошлом, а внедрить такое знание в "коллективную память" народа и тем самым установить связь с прошлым помогали активно возрождавшиеся к жизни или даже изобретаемые традиции. Курьезные случаи массового производства традиций в Европе представлены в хорошо известном исследовании 1983 г. "Изобретение традиции" (под редакцией Э. Хобсбоума и Т. Рэнджера).

В статьях, собранных в этой книге, показано, что очень многие национальные символы, которые считаются древними, на самом деле возникли в Новое время. Например, клетчатая юбка-кильт, которую сегодня в Шотландии мужчины надевают по национальным праздникам, была, по-видимому, "изобретена" в начале XVIII в. Т. Роулинсоном, английским промышленником из Ланкашира. Он решил сделать традиционную одежду шотландских горцев — хайлендеров — удобной для фабричного труда и тем самым привлечь их на фабрики. Подавляющее большинство населения Шотландии того времени, жившее

⁷² Shils E. Tradition. P. 18—19.

⁷³ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 68.

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

на равнинах, считали эту одежду варварской. А узоры, по которым якобы определялась клановая принадлежность, и вовсе были разработаны портными викторианской эпохи. Эта юбка — плод промышленной революции, а не многовековой старины!

Даже действительно древние традиции Европы, воскрешенные в XIX в., были новыми в том смысле, что они использовались для решения задач формирования нации. Например, в Швейцарии, где отсутствовали такие "объективные" основания для создания национального единства, как язык и религия, акцент был сделан на свободолюбии и демократичности древних "швейцарцев" (гельветов). Соответственно были оформлены и

ритуализированы традиционные практики, состязания в стрельбе из лука и народное пение⁷⁴.

По определению Э. Хобсбоума,

"«изобретенная традиция» означает совокупность практик, как правило, ограниченных открыто или молчаливо признанными правилами ритуального и символического характера, направленных на привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает преемственность с прошлым"⁷⁵.

События прошлого посредством поддержания традиции включаются в обстановку настоящего, и тем самым для традиции существенной признается актуальность, связь с настоящим. При таком "затмении" чувства времени возникает скорее эмоциональная связь с прошлым, чем критический взгляд на него. Даже если традиции постоянно подвергаются ревизии в интересах настоящего, они, как заметил Хальбвакс, создают иллюзию вневременноеTM. В этом смысле традиция аисторична. В ней стирается прошлое как Другое время. Очевидно, что даже радикальное отрицание прошлого нуждается в традиции. Например, большевизм апеллировал к революционной и даже к демократической традиции, нацизм — к национально-романтической традиции, и т.д. Прошлое ценится как конституирующее начало, необходимое для легитимации социального порядка, социальной мобилизации и других функций социальной интеграции. В принципе, это может касаться любой группы, этноса и, куда денешься, тендера.

⁷⁴ Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 6-7.

⁷⁵ Ibid. P. 1—2.

207

Феномен прошлого

В связи с изучением традиций и ритуалов исследователи обратили внимание на организацию определенных символических действий, с помощью которых постигается национальное прошлое. Современные специалисты по "политике памяти" реанимировали античные и средневековые идеи мнемотехники (см. ниже), настаивая, что история оперирует событиями, а "историческая память" — образами. Историки начали изучение памятников, военных мемориалов, национальных праздников, церемоний патриотических фестивалей, торжественных похоронных процессий, годовщин выдающихся событий или юбилеев политических вождей и деятелей культуры. В итоге во второй половине прошлого века сформировался особый жанр исторического исследования: история коммемораций.

Работы последних десятилетий предлагают интерпретацию целого ряда социально-культурных явлений и событий — праздников, коммемораций, перфомансов — в ракурсе проблематики памяти о прошлом.

Направление это развивается тем более бурно, что предмет его неисчерпаем и в пространстве, и во времени.

Коммемораций, т.е. празднование *исторических* событий, известны издавна. В частности, у иудеев одним из главных инструментов формирования национального сознания в условиях отсутствия государственности, наряду с Танахом, были исторические праздники. Античные государства отличались высокоразвитой культурой праздников, в их числе были и коммемораций (например, дни основания города). Средневековые праздники были преимущественно религиозными (или народными, связанными с языческими ритуалами), профанные исторические события не "вспоминались". Однако в Новое время, параллельно с формированием государств-наций, складывается целая система государственных праздников-коммемораций, которые во многом и формируют компендиум важнейших событий и пантеон великих деятелей национальных историй.

В XIX в. в связи со становлением национальных государств начинается бурный процесс изобретения государственных праздников, череда коммемораций, вводится система увековечивания исторических событий и деятелей в названиях улиц и городов, установление мемориальных досок и т.д. Публичные коммемораций использовались национальными движениями как особая форма открытых выступлений, объединяющих население вокруг идеи национального единения. В конце 1830-х гг. в

208

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Германии началась череда открытия памятников в связи с культурно-историческими юбилеями; в организацию таких торжеств их организаторы умело вкладывали национально-политический смысл, и именно так эти праздники воспринимались подданными.

"Проходившее в 1837 г. в Майнце празднование в честь Гутенберга собрало около 30 000 участников, и такое же количество народа присутствовало... в 1839 г. на открытии памятника Шиллеру в Штутгарте... Теперь гражданские слои населения пользовались каждым удобным поводом, чтобы устроить такую сходку и продемонстрировать свою принадлежность к национальному сообществу"⁷⁶.

М. Ферро в качестве примера "вечного праздника" приводит Испанию, где существует огромное количество исторических праздников — от "Moros y Christianos" (истории борьбы с маврами) до

"праздника кельтиберов в Сан-Педро... праздника в честь римских солдат в Ко-голос-Веге, битвы Клавиго, победы Сида, коронации католических королей, открытия Америки, победы при Лепанто, борьбы за независимость против Наполеона... и кончая повторением церемонии, которая в 1852 г. положила конец выплате Галисией дани Кастилии"⁷⁷.

Ритуал американских праздников подробно описан социологом У.Л. Уорнером⁷⁸. Несмотря на то что национальная история США очень короткая и не слишком богатая событиями, по сравнению с европейскими странами, исторические праздники играют важную роль. Не считая Пасхи, Рождества и Нового года, в настоящее время в США существует восемь общенациональных официальных праздников, когда закрываются государственные учреждения: День благодарения, День независимости, День Мартина

Лютера Кинга, День президентов (ранее — День рождения Дж. Вашингтона), День поминовения (ранее — День поминовения погибших в Гражданской войне), День труда, День Колумба, День ветеранов [войн] (ранее — День перемирия, в честь окончания Первой мировой войны). Все эти праздники, за исключением Дня труда, по

⁷⁶ Дани О. Нации и национализм в Германии, 1770—1990: Пер. с нем. СПб.: Наука, 2003 [1996]. С. 113.

⁷⁷ Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. С. 134. ⁷⁸ Уорнер У.Л. Живые и мертвые: Пер. с англ. М.; СПб.: Университетская книга, 2000 [1959]. С. 113—254.

209

Феномен прошлого

крайней мере исходно являются историческими и в качестве таковых изучаются историками⁷⁹.

Не только становление национальных государств, но и радикальная смена политических режимов сопровождалась -введением новых и ликвидацией старых праздников. С необычайным рвением политику памяти насаждали деятели Французской революции. Увековечивание было важной частью их революционной программы. Статья 1 Конституции 1791 г. провозглашала: "Для сохранения памяти о Французской революции будут установлены национальные праздники". О праздниках революционной Франции писали многие историки, начиная с Мишле. М. Озуф посвятила их анализу и интерпретации большое монографическое исследование, которое так и называется: "Революционный праздник: 1789—1799"⁸⁰.

О значении исторических праздников в формировании исторического сознания свидетельствует то, что они являются ареной острой идеологической борьбы — напомним хотя бы о происходившем в 1990-е гг. в России сражении между исполнительной и законодательной властью относительно того, являются ли праздниками годовщины Октябрьской революции 1917 г. (7 ноября) и принятия последней Конституции (12 декабря).

Ревани краеведов

В описании исторической памяти используется много пространственных метафор: "места", "рамки", "пространства" — и это не случайно. Пространство играет организующую роль и в индивидуальной, и в социальной памяти.

С размещением объектов в пространстве со времен глубокой древности связано искусство запоминания — мнемотехника, возникшая в связи с необходимостью сохранять информацию (в памяти). Известный список кораблей из второй книги Илиады, который Осип Манделштам "прочел до середины", исследователи относят как раз к разряду мнемотехнических упражнений эпохи Гомера; так же трактуются

" См. например: Бурстин Д. Американцы: В 3 т. Т. 1: Колониальный опыт [1958]. Т. 2: Национальный опыт [1972]. Т. 3: Демократический опыт [1973]; Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. Т. 2. С. 475—476.

⁸⁰ Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799: Пер. с фр. М.: Языки славянской культуры, 2003 [1976].

210

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

и другие присутствующие там списки: великих воинов, лучших ахейских коней и т.д. В европейской традиции изобретателем мнемотехники считается греческий поэт Симонид Кеосский (556—468 до н.э.).

Именно он ввел два принципа запоминания, которые одновременно характеризуют и память: создание символических образов и установление порядка (организации) в пространстве. По легенде, излагаемой Цицероном, Симонид смог опознать под развалинами рухнувшего здания остатки тех, с кем он пировал, "потому что он помнил, кто на каком месте возлежал. Это вот и навело его на мысль, что для ясности памяти важнее всего распорядок. Поэтому тем, кто развивает свои способности в этом направлении, следует держать в уме картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать воображаемые образы запоминаемых предметов. Таким образом, порядок сохранит порядок предметов, а образ предметов означает самые предметы, и мы будем пользоваться местами, как воском, а изображениями, как надписями"⁸¹.

У римлян искусство памяти стало одной из пяти частей риторики, и вместе с риторикой оно было унаследовано средневековой мыслью и системой образования⁸².

Несмотря на то что в эпоху Ренессанса печатный станок, казалось бы, уменьшил потребность в системах индивидуальной памяти, именно в это время интерес к мнемотехнике резко возрастает. Дело в том, что для мыслителей той эпохи мнемонические схемы были важны не как риторические техники; они видели в них зашифрованные парадигмы системы космических сил, отражение образов трансцендентального мира. Техническое мастерство запоминания, созданное древними, мыслители Ренессанса использовали как магический метод раскрытия тайной гармонии земной и трансцендентальной сфер. В воображаемых "дворцах" и "театрах" памяти они хранили свои замысловатые космологические концепции⁸³.

⁸¹ Цицерон. Об ораторе. II, 86.

⁸² Августин писал о "равнинах и обширных дворцах памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято" (Августин. Исповедь. X, 8,12).

⁸³ Подробнее см.: Йейтс Ф. Искусство памяти: Пер. с англ. СПб.: Университетская книга, 1997 [1966].

211

Феномен прошлого

Пространство, игравшее столь важную роль в организации индивидуальной памяти, оказалось весьма востребованным и для формирования памяти социальной. Однако если "искусство запоминания работает с

воображаемым пространством", то "помнящая культура — с расстановкой знаков в естественном пространстве"⁸⁴. Исторические объекты, размещенные в пространстве (памятники, здания, улицы и площади, целые городские кварталы), а зачастую и само пространство, наделяются специфическими культурными смыслами, семиотицируются. В таких случаях пространственные объекты и пространство в целом в самом прямом смысле представляют собой "места памяти": они музеефицируются, там происходят разнообразные ритуалы ком-меморации.

"Места памяти" — это места национальной гордости (или унижения), и вокруг них может вестись борьба.

Когда не так давно Европейский парламент предложил переименовать вокзал Ватерлоо, "потому что тот звучит постоянным напоминанием о злосчастных наполеоновских войнах", британцы возражали:

"«французам только на пользу пойдет постоянное напоминание о великой победе Веллингтона» и выразили беспокойство, не собираются ли Британию лишить также колонны Нельсона, Трафальгарской площади и Бленхеймского дворца"⁸⁵.

В наши дни, как считает Г. Люббе, необыкновенное внимание к артефактам прошлого и активное участие в ритуалах, организуемых вокруг них, объясняется тем, что

усилиями исторического сознания *компенсируется* утрата чувства знакомого в культуре, утрата, обусловленная темпом изменений. Необходимость таких усилий увеличивается прямо пропорционально процессу модернизации. Охрана памятников — вот особенно наглядный пример, на котором мы можем видеть взаимосвязь модернизации и историзирующего консервирования. Чем быстрее городская и сельская архитектурная среда, под воздействием экономически и технически обусловленной динамики строительства, на наших глазах становится

⁵⁴ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 63.

⁵⁵ Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая страна: Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2004 [1985]. С. 12.

212

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

чужой, тем сильнее мы стремимся сохранить самое близкое нам — опыт самотождественности во времени"⁸⁶.

Даже целые местности могут служить средством культурной памяти. Они могут размечаться памятниками, а могут сами возводиться в ранг знака, семиотизироваться. Пример первого случая — Бородинское поле, место конкретного исторического события, с памятниками, часовней, восстановленными редутами и траншеями. Это — историческая площадка, на которой регулярно могут воспроизводиться определенные исторические действия, театрализованные представления. Еще любопытнее, что Бородинское поле предстает и как зримое воплощение другой Отечественной войны — 1941—1945 гг. Памятники героям обеих войн находятся рядом: около Бородинского музея, открытого в XIX в., стоит музей, посвященный Отечественной войне XX в.

Пример второго типа, когда пространство не размечено и воспринимается как "место памяти" само по себе — Беловежская пуца, одно из символических пространств, проанализированных в известной работе С.

Шамы "Пейзаж и память" (1995), объединившее тему влияния ландшафта, модную проблематику "исторической памяти" и традиций, запечатленных в существующих ныне институтах. Причем Шама показывает, что пространство Беловежской пуцы осмысливалось по-разному разными этносами, жившими в его пределах: литовцами, немцами, евреями, белорусами.

Интерес к артефактам прошлого имеет еще один важный аспект. Семиотизированное историческое пространство влияет на формирование эмоциональной связи с "малой родиной" и этнической идентичности.

Как писал Б. Кроче,

"каждому итальянцу известно, какое действие оказывали в эпоху Рисорджи-менто истории Колетты, Бальбо и им подобные; каждый читал книги, которые «вдохновляли» его и «прививали» ему любовь к родине, к своему городу и своей

КОЛОКОЛЬНЕ

⁸⁷

Теперь перейдем к "колокольне". Массовые представления о прошлом, содержанием которых является знание истории своего места

"Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем [1992] // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 98.

"Кроче Б. Теория и история историографии: Пер. с ит. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 28.

213

Феномен прошлого

обитания (области, города или деревни), представляет собой, по нашему мнению, один из самых плодотворных подходов в проблематике, связанной с "исторической памятью". У истории "малой родины" очень выраженная прагматическая составляющая, она обеспечивает фундамент для идентификации жителей соответствующей местности и в то же время связывает их с государством.

Это интересно продемонстрировать на примере России, где заново пишется в том числе и история провинции. Обратимся к истории музея города Можайска, описанной Н. Шляйфман. Еще в 1990 г. инструкция по организации исторической экспозиции музея предписывала:

"1. На материалах историко-краеведческого музея г. Можайска показать историю Можайского края как часть истории страны.

2. Раскрыть бессмертный подвиг русского народа — война и созидателя на протяжении XIII—XX веков. *Б.* Подчеркнуть преемственную связь русского и советского народов.

4. Показать, что партия и государство проявляют неустанную заботу о сохранении памятников героического прошлого нашей Родины.

5. Воспитывать у экскурсантов чувства национальной гордости, патриотизма, ответственности перед памятью прошлого"⁸⁸. После развала СССР экспозиция закрылась, а в 1993 г., в новом здании музея, в церкви Петра и Павла, открылась новая. Естественно, не обошлось и без новой методички, предлагающей: "знакомить посетителей с памятниками культуры земли Можайской; привить интерес к изучению прошлого своего края, научить бережному отношению к памятникам истории и культуры". Последняя цель, сформулированная достаточно скромно, "была, очевидно, причиной того, что экскурсоводам рекомендовалось уже при входе объяснять, насколько подходит для музея это здание, ...а потом перейти к описанию жизни и смерти Иисуса Назаря, царя Иудейского, у большого, написанного маслом на дереве, Распятия XIX в.". Развалины церкви и монастырей, которых в Можайске предостаточно, "превратились как в свидетельство преступлений советского режима, так и в эмоциональный фокус общероссийской солидарности"⁸⁹.

⁸⁸ Цит. по: Шляйфман Н. История и память: проблема соотношения прошлого и настоящего на примере Можайска. С. 175—176. "Там же. С. 178, 180.

214

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Данный пример конструирования локальной истории указывает на ее значение для формирования национально-государственной идентификации, причем и в советское, и в постсоветское время. Но в то же время локальная история может, в отличие от национальной, питать привязанность человека к месту проживания⁹⁰, связывать его с конкретным прошлым, в том числе с историей материальной культуры, представлять примеры героической или просто достойной жизни предков. Эта, известная уже древности, функция локальной истории сохраняется и поныне, о чем свидетельствуют массовое увлечение местной историей, поддержание и развитие архивной и музейной деятельности.

Несмотря на то что локальная история — самый устойчивый жанр с непрерывной традицией со времен античности, до недавнего времени он считался достаточно маргинальным, примыкал к краеведению или вообще включался в него. Однако с появлением концепта "историческая память" у краеведов появилась, наконец, твердая почва для реванша, ибо местная история достаточно компактна, понятна, наглядна, укоренена в семейном прошлом, и ее можно "вспоминать" и репрезентировать в интерьерах повседневного существования. Она в определенном смысле лучше совместима со структурами индивидуальной и социальной памяти, чем национальная история и, тем более, — знание о прошлом человечества.

Историческая антропология

Еще одной областью активного применения концепта "историческая память" стала историческая антропология. Однако здесь нередко обнаруживаются признаки "анахронизмов с обратным знаком", когда современному обществу приписываются формы представлений, характерные для предшествующих эпох. Обратим внимание читателя на бум вокруг книги Я. Ассмана, которая посвящена, во-первых, древним культурам, а во-вторых, не исторической, а "культурной памяти". Тем не менее на нее ссылается почти любой автор, чьи интересы обращены

⁹⁰ Д. Бурстин пишет, что выражение "моя страна" (my country) долго означало в Америке "мою колонию" или "мой штат", пока не приобрело иное значение. Даже в начале XIX в. для Джона Адамса оно все еще означало Массачусетс, а для Джеф-ферсона — Виргинию (Бурстин Д. Американцы. Т. 2. С. 458).

215

Феномен прошлого

к проблеме представлений о прошлом, видимо, предполагая, что результаты этого действительно новаторского и профессионального исследования о *высоких культурах древности* будут работать на труды по массовой (исторической) культуре современности.

На самом деле вряд ли можно согласиться с попытками экстраполяции культурно-антропологического подхода к массовым представлениям о прошлом, правомерного по отношению к обществам с устной культурой, на современное общество, в котором действует гораздо более сложная система передачи и аккумуляции знания, включая структуры массового общего и специального образования или Интернет. Тема "образов прошлого" привлекает и историков, далеких от проблем современности. Правда, надо сразу оговорить, что в этой области историки работают в основном с понятием "обыденные представления". Возник интерес и, по существу, начинает складываться особое направление исследований — изучение представлений о прошлом на нетрадиционном материале, выходящем за рамки собственно исторических сочинений и хроник. Для этого активно используются эпика и различного рода источники, характеризующие представления о прошлом "простых людей".

Заметим, что все это, конечно, очень условно. "Простые люди" Средневековья и раннего Нового времени, о взглядах которых мы можем судить по оставленным ими текстам, были не очень "простыми", поскольку они умели писать. Весьма дискуссионным является и вопрос о том, насколько, скажем, исландские саги, записанные в XIII в., отражают "массовые представления" скандинавов первого тысячелетия нашей эры. Экстраполяция содержания эпосов на обыденные представления в целом вызывает и другие содержательные вопросы. Исследования социальных антропологов свидетельствуют, что представления о прошлом членов даже примитивного племени, жившего на каком-нибудь тихоокеанском острове в первой половине XX в., имели достаточно сложную структуру, не сводимую к одному мифу или легенде. Сами эти мифы и легенды воспринимаются членами племени с большой условностью, да и легенды тоже могут довольно быстро видоизменяться, как показал еще Б. Малиновский.

Еще больший скептицизм в отношении возможностей реконструкции массовых представлений о прошлом дают исследования современного состояния дел в этой области. Массовые представления о

216

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

прошлом, во-первых, необычайно сильно дифференцированы по различным социальным стратам (даже простейшим — по полу, возрасту, уровню образования, месту поселения). Но главное — они очень быстро меняются во времени. Конечно, в прошлом общества были менее дифференцированными и скорость социальных изменений, в том числе подвижек в "общественном сознании" (приносим извинение за анахронизм) была существенно ниже. Тем не менее пренебрежение социальной стратификацией и изменчивостью социальных настроений применительно к обществам прошлого, особенно обладавшим письменностью, с неизбежностью дает сглаженную картину.

Показательно также, что даже современные обыденные представления, в том числе и о прошлом, являются объектом разногласий и ожесточенных научных (не говоря уже о политических) дискуссий; разные центры изучения общественного мнения получают порой весьма несходные результаты по одним и тем же вопросам.

Конечно, и в современном обществе можно обнаружить следы архаичных способов сохранения и воспроизводства общественно значимого знания о прошлом, к которым относятся многие праздники, ритуалы, символика. В связи с такой постановкой вопроса задача историков, специализирующихся в области "исторической памяти", заключается не в том, чтобы реконструировать идеи, а в том, чтобы описывать образы, в которых когда-то жила "коллективная память" и в которых она существует в наши дни. В этом случае применение понятия "историческая память" именно к этой, четко очерченной, области представляется вполне оправданным. Более того, как это и бывает при появлении нового ракурса, в поле зрения историков оказываются интереснейшие сюжеты и композиции: "изобретение традиций", "места памяти", "образы прошлого".

"Историческая память" и историческое знание

Рассмотренные нами подходы к прошлому с позиций "исторической памяти" (назовем их политический и историко-антропологический) правомерны при условии уточнения спектра возможностей и более строгой рефлексии по поводу памяти. Однако часто дело не ограничи-

217

Феномен прошлого

вается работой с образами социально значимых событий и фигур или способами политизации прошлого. И тогда мы сталкиваемся с предельно широким подходом к использованию понятия "историческая память", которое включает либо все знание о прошлом, признанное в данном обществе, либо все массовые представления о прошлом, отграниченные от научного (исторического) знания. В этом случае происходит умножение сущностей, ибо для того чтобы анализировать представления о прошлом или знания о прошлом и способы их выработки, признания, хранения и передачи, нет нужды, как нам кажется, вводить новое понятие, во всяком случае нет нужды в подмене терминов "социальные представления" или "знание" термином "память". В результате подмены точно возникает клубок в значении "беспорядок", и приходится заниматься его распутыванием.

Один из болезненных для историков вопросов — как соотносится научное историческое знание и массовые представления о прошлом/ "историческая память". "Историческая наука XIX столетия начала с того, что провела отчетливый водораздел между прошлым и настоящим... Истории следовало начинаться там, где останавливалась память: в архивах"⁹¹. Какова сегодня роль исторической науки в содержании (запасе) "исторической памяти"? Как пишет И. Рюзен, "осмысление исторической репрезентации через категорию памяти может заставить историков почувствовать себя неуютно, поскольку оно очень легко выходит за рамки или даже отрицает те стратегии обращения к прошлому, которые конституируют исторические исследования как дисциплину или как «науку» и как профессиональное занятие историков"⁹².

Еще более категорично высказывается по этому поводу Я. Ассман, и мы полностью разделяем его точку зрения: "Память о прошлом не имеет ничего общего с научной историей"⁹³. Но гораздо более болезненным открытием для многих историков стало обнаружение того факта, что *массовые представления* о прошлом тоже не имеют ничего общего с научной историей.

⁹¹ Артог Ф. Время и история: "Как писать историю Франции?" С. 158.

⁹² Рюзен И. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма и дискуссии о памяти) [1999] // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2001. Вып. 7. С. 9.

⁹³ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 81.

218

"Историческая память": к вопросу о границах понятия

Теоретически в современных обществах, в отличие от традиционных, одна из функций истории как научного знания состоит в том, что она должна выполнять роль каркаса исторического сознания или

массовых представлений о прошлом. Однако трансформация научного знания в быденное — это сложный и часто даже крайне сложный процесс. Результаты проводившихся в последние десятилетия опросов общественного мнения, ориентированных на выявление массовых представлений о прошлом, стали для многих профессиональных историков неприятным сюрпризом. Выяснилось, что несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая по идее должна служить инструментом трансляции научных знаний в общество, массовые знания истории сильно отличаются от профессиональных (не только по объему, что понятно, но и по содержанию).

Весьма характерен в этом отношении пример Германии. В 1950-е гг. официальная "политика памяти" состояла в замалчивании недавней истории, и актуальной темой в ФРГ было *немецкое страдание*. А в роли жертв выступали "изгнанники", немцы, переселенные с территорий их прежнего проживания в Польшу, Богемии, Восточной Пруссии. Но уже в 1960-е гг. ситуация начала меняться. Появились исследования о преступлениях нацизма, а тема немецкого страдания становится табуированной (по принципу иерархии страданий, которые причинили немцы другим народам)⁹⁴.

Тем не менее мыльная опера о Холокосте, показанная в январе 1979 г. в Западной Германии с телефонными звонками и вопросами зрителей после каждой части и публичными обсуждениями, на которые приглашались специалисты (в том числе и очень известные историки — М. Брошат, А. Хильгрубер), показывает, что это "историческое знание" прошло мимо обывателя. Как пишет А. Людтке: "Один вопрос повисал в воздухе: почему люди игнорировали это знание? Почему они не вычитали его в книгах?"⁹⁵ Эти звонки и ответы на них убеждали, что вне академий и школ существовала другая, "молчаливая" история нацистского прошлого.

⁹⁴ Марголина С. Конец прекрасной эпохи. О немецком опыте осмысления национал-социалистической истории и его пределах // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2002. № 2 (22). С. 39—40.

⁹⁵ Liidke A. "Coming to Terms with the Past": Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany // The Journal of Modern History. 1993. Vol. 65. N3. P. 546.

219

Феномен прошлого

Столь же яркую картину разрыва между исторической наукой и массовым историческим сознанием дают результаты опросов, проводимых в постсоветской России⁹⁶.

В результате многие исследователи обратили более пристальное внимание на давно известный историкам факт, что прошлое постоянно меняет свою форму в дискурсах, предлагаемых настоящим. И если то, что помнят о прошлом, зависит от способа его репрезентации, то образ прошлого в массовом сознании должен соответствовать скорее социальному заказу, чем задачам исторического познания.

* См., например: Дубин Б. Национализированная память (О социальной травматике массового исторического сознания) // Человек. 1991. № 5. С. 5—13; Дубин Б. Прошлое в сегодняшних оценках россиян // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 5. С. 28—34; Дубин Б. Конец века // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4. С. 13—18; Дубин Б. Сталин и другие: фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 2003. № 1, 2.

220

ПСИХОАНАЛИЗ, ИСТОРИЯ, ТРАВМИРОВАННАЯ "ПАМЯТЬ"*

А.М. Рупсевич

Историк и врач очевидным образом заняты совершенно различными родами деятельности: один лечит своих современников, другой обращается к тем, кто уже покинул сей мир. Медик стремится облегчить реальные страдания, он ставит диагноз, предлагает средства лечения, тогда как историк изучает документы, сидит в архивах, пишет тексты по поводу прочитанного — непосредственного опыта общения с людьми прошлого у него нет, он имеет дело лишь с косвенными свидетельствами физического существования людей иных эпох. Но если в сфере практической деятельности точек пересечения не обнаруживается, то в области научных изысканий таких точек немало: врачебная практика и медицинская теория имеют довольно долгую историю, люди прошлого болели и лечились, эпидемии — вроде чумы XIV в. — меняли ход истории и т.д.

Медика и историка роднит не только то, что предметом интереса для обоих являются люди. Некое сходство можно найти даже в стиле мышления: оба эмпирики, не склонные доверять дедукции и общим теориям вообще. Разумеется, и медик, и историк не могут обойтись без предпосылок естествознания, научной картины мира в целом. То или иное представление о человеческой природе они разделяют со своими современниками (не обязательно членами научного сообщества). Однако обе науки возникли не из "чистого созерцания" — если математика, физика, биология, психология появились в пределах философии, то Гиппократ и Геродот создавали медицину и историю, практически не ссылаясь на "любомудрие", но опираясь на опытные данные. Хороший врач и ныне может пренебречь всеми советами монографий и

* Статья подготовлена в рамках работы над проектом "Формы знания о прошлом" Международной программы Дома наук о человеке (Париж) и Института для исследователей Колумбийского университета (Рейд Холл, Париж).

учебников и следовать собственной интуиции, а историк слишком часто обнаруживает несводимость индивидов, верований, поселений и культур к утверждениям экономической или социологической доктрины. Такой эмпиризм обусловлен прежде всего многообразием опыта, поскольку сам предмет наблюдений — человек — редко вмещается в удобные математические формулы. Область измеряемого, квантифицируемого, а потому излагаемого на формализованном языке, в обоих случаях сравнительно невелика. Сходными оказываются и некоторые онтологические предпосылки. Вслед за Аристотелем и его античными последователями Вильгельм фон Гумбольдт относил "причины истории" к трем категориям: природе вещей, человеческой свободе и случаю. "Причины болезни" оказываются точно такими же, хотя о "природе вещей" медики говорят чаще, чем о свободе. Если сравнить разные спекулятивные построения античности, то ни мир идей Платона, ни атомизм Демокрита не годятся (по крайней мере, непосредственно) для описания того мира, с которым имеют дело историк и врач. Можно согласиться с П. Вейном, который писал: "история расположена в том мире, лучшим описанием которого по-прежнему является аристотелизм: это — конкретный реальный мир, населенный вещами, животными и людьми, где люди чего-то хотят и что-то делают, но делают далеко не все, чего хотят..."¹.

Историк и врач применяют законы (суждения с квантором всеобщности) к конкретному случаю, общее и индивидуальное встречаются в особенном, которое не сводится к общему без остатка. Разумеется, речь идет не о неповторимой индивидуальности явлений — если бы реальность состояла из такого рода монад, то невозможно было бы не только научное исследование, но и повествование.

Слово "психоанализ" зачастую употребляется сегодня для обозначения самых различных практик психотерапии и соответствующих им теорий. В современной России им пользуются люди, которые на Западе немедленно столкнулись бы с судебными исками, поскольку медицинская корпорация там достаточно влиятельна и сильна, а потому воспрещает лечить шарлатанам и всякого рода "целителям". В области врачебной практики психоанализ не равнозначен психотерапии вообще, поскольку в последней сегодня ведут спор и конкурируют

¹ Veyn P. Comment on écrit l'histoire. Paris: Seuil, 1978. P. 147.

десятки учений: поведенческая терапия, гештальт-терапия или нейро-лингвистическое программирование (НЛП) опираются на иные, чем психоанализ, теории (скажем, бихевиоризм есть основа поведенческой терапии). Несмотря на появление такого рода конкурентов, психоаналитики остаются своего рода элитой среди психотерапевтов (и врачей вообще), но высокие гонорары предполагают длительную и дорогостоящую подготовку: после окончания медицинского факультета (7 лет) нужно 4—5 лет учиться в психоаналитическом институте; необходимо также пройти курс дидактического психоанализа (Lehranalyse). Психоанализ передается от учителя к ученику, чтобы успешно лечить, врач должен "исцелиться" сам, обнаружить у себя все те "комплексы", которые он в дальнейшем будет находить у пациентов. В отличие от многих других направлений в психотерапии, психоанализ претендует не только на то, что он эффективно избавляет от страданий, но и на то, что он открывает индивиду тайны его души. Поэтому психоанализ нередко называли "глубинной психологией".

Отделив психотерапевтов других конфессий и самозванцев, мы ограничили объем понятия "психоаналитик", но понятие "психоанализ" относится не столько к лицам, сколько к идеям. Даже в области психотерапии имеется значительное число людей, которые не получали подготовки в соответствующих институтах, но используют методы психоанализа ("психоаналитически ориентированные" психотерапевты и консультанты). Следует иметь в виду и то, что наряду с фрейдистской Международной психоаналитической ассоциацией (ИПА) существуют ассоциации сторонников К. Юнга, К. Хорни, Ж. Лакана и других "схизматиков", идеи которых также могут относиться к психоанализу — при всех доктринальных отличиях, они сходным образом лечат пациентов и получают примерно такую же подготовку в своих институтах. Однако в узком смысле слова "психоанализ" распространяется только на тех, кто принимает теории З. Фрейда и опирается на его идеи.

Психоанализ представляет собой не только разновидность медицинской практики (свободные ассоциации, толкование сновидений, перенос, знаменитая кушетка и т.д.), но также разработанную теорию, которая направляет практику. Наряду с теоретическими обобщениями медицинского опыта эта теория включает в себя общую психопатологию и общую психологию, тогда как вершиной теории является метапсихология, т.е. ряд идей, дающих общую картину человеческой природы, разновидность философской антропологии.

Применение



этих идей за пределами медицины (так называемый прикладной психоанализ) предполагает принятие метаспсихологии в качестве такого рода антропологии. Особенностью психоанализа в сравнении с другими направлениями психологии является интерес к прошлому индивида: сегодняшние невротические симптомы вызваны давним и вытесненным в бессознательное опытом. Интерес историков к психоанализу определяется уже тем, что он также обращен к прошлому и не случайно получил название "генетическая психология": чтобы исцелить пациента, необходимо найти истоки невротических симптомов.

Конечно, даже далекий от психоанализа ученый может признавать эвристическую ценность тех или иных гипотез Фрейда, не принимая его учение в целом. Но в таком случае он должен четко представлять себе, что, употребляя понятие "бессознательное", он делает это в том или ином значении — это понятие появилось задолго до психоанализа и нередко смешивается с "подсознательным", "инстинктивным", "интуитивным" и т.п. Тому, кто ссылается на Фрейда в связи с теорией памяти, следует иметь в виду, что тогда он должен принять не только идею "вытеснения", но и еще ряд тезисов, например, то, что мы помним все с нами происходившее с раннего детства (а причиной забвения является почти исключительно вытеснение), что наша память хранит наследие далеких предков, начиная с убийства вожака первобытной орды, и т.п. не слишком популярные в научном сообществе гипотезы. К тому же теория вытеснения в психоанализе тесно связана с концепцией детской сексуальности, теорией символизма и т.п. теоретическими построениями. Историки чаще всего знакомы с психоанализом понаслышке, удовлетворяются тем, что написано в популярной брошюре или в учебнике. Уже поэтому необходимо отдавать себе отчет в том, какую именно трактовку психоанализа дают те историки, которые ссылаются на Фрейда, говоря о "памяти", "вытеснении", "возвращении вытесненного" и т.д.

В психоанализе мы имеем дело с историей не только в том смысле, в каком любой врач говорит об "истории болезни". В последней врачи фиксируют нечто доступное наблюдению, включая такие данные, как графики ЭКГ, температуру, анализ крови и т.п. факты. Различия сразу становятся понятными, если учесть, что психоаналитик вообще знает о пациенте лишь то, что говорит он сам. Конечно, психоаналитики получают медицинскую подготовку и включают в свои "истории болезни" и некоторые объективные данные (псевдопаралич, вызванный истерическим неврозом), но большую часть их наблюдений никак

224

Психоанализ, история, травмированная "память"

нельзя отнести по ведомству соматической медицины. Да и "болезнь", о которой они говорят, отлична от любого соматического заболевания. Пациент приходит с жалобами на трудности во взаимоотношениях с другими людьми, иррациональные конфликты, навязчивые мысли и т.п. Даже если речь идет о тяжелых неврозах, граничащих с психозами, сопровождающихся галлюцинациями, бредом, психопатической агрессивностью, психоаналитик знает об этом со слов пациента. Он не имеет ни права, ни возможности следить за поступками анализируемого за пределами своего кабинета. Небольшое число психоаналитиков работает в психиатрических клиниках, где ситуация несколько иная, но и там он лишен тех "объективных данных", которыми располагают терапевт или хирург. В случае невроза проблематично уже само словосочетание "психическая болезнь": больным себя должен назвать и считать сам пациент, тогда как в случае ангины или холеры, порока сердца или закупорки вен имеются объективные критерии.

История болезни значима не только в области психотерапии. После недолгого господства физикализма в медицине конца XIX в. многие врачи пришли к той мысли, что лечат они не болезнь, а больного, что все симптомы нужно соотносить с целостностью его организма, а тем самым и учитывать его прошлое. Хотя дальнейшая специализация ведет к тому, что медики часто лишь декларируют подобный холизм, в теории он остается краеугольным камнем современной медицины. Психоанализ возник в то время, когда в Германии и в Австро-Венгрии активно работали ученые, развивавшие "биографический подход" в медицине (Л. Крель, О. Шварц, В. фон Вайцзеккер и др.). Так называемая психосоматическая медицина родилась не из одного психоанализа, а в области психопатологии о движении мысли в этом направлении свидетельствует хотя бы знаменитый труд К. Ясперса (первое издание 1913 г.)². В самом психоанализе происходил постепенный поворот от механицизма и физикализма первоначальных схем Фрейда к биографическому подходу, ныне в нем безусловно доминирующему.

¹ Об этом практически никогда не пишут историки психоанализа, подчеркивающие роль Фрейда в становлении психотерапии. Но достаточно посмотреть на курс лекций У. Джемса 1900 г., изданный под названием "Многообразие религиозного опыта", чтобы понять, насколько развивавшиеся Фрейдом идеи были характерны для всей той эпохи. О биографическом подходе в медицине не раз писал один из лучших историков медицины, П. Лайн Энтральго (см., например: Lain Entralgo P. Enfermedad y biografía// Lain Entralgo P. La empresa de ser hombre. Madrid: Taurus, 1963).

225

Феномен прошлого

Получив серьезную научную подготовку как физиолог, Фрейд еще до создания психоанализа выпустил несколько монографий по анатомии и физиологии головного мозга. Он мыслил как типичный естествоиспытатель того времени, сам себя характеризовал как "механициста", который неизбежно является сторонником жесткого детерминизма. Применительно к психическим заболеваниям этот подход означал поиск причин, к которым Фрейд отнес поначалу травматическое воздействие на психику в период раннего детства. В дальнейшем он отказался от перенятого у Шарко и Жане учения о травматической природе неврозов. Внешнее травмирующее воздействие может быть "спусковым крючком" для невроза, но его причины находятся в далеком прошлом, в раннем детстве индивида (стадии развития либидо, Эдипов

комплекс). Чтобы понять нынешние трудности и симптомы, нужно обратиться к отношениям младенца с родителями. Фрейд оставался жестким детерминистом: прошлое причинно обуславливает настоящее и будущее. Только интересует психоаналитика не внешняя канва жизни индивида, но происходящее в глубинах бессознательного. Никакая интроспекция не откроет человеку те силы, которые направляют его жизнь. Сознание ("Я") зависит от могущественных "судеб влечений", от бессознательного ("Оно"). В психоанализе целью является исцеление пациента, а не написание связной истории — истории болезни пишутся в научных и педагогических целях, в них повествуется о ходе лечения, об изменениях по ходу терапии. Эта история интересна для сообщества психотерапевтов как типичная или, наоборот, как способствующая пересмотру тех или иных теоретических постулатов. Практика лечения лежит в основании теории, истории болезни представляют собой своего рода "протоколы", "базисные суждения" для построения теорий. Психоаналитики оправданно отвергают упреки позитивистски настроенных психологов: в психоанализе возможна и верификация теорий, и их фальсификация — многие положения Фрейда были пересмотрены психоаналитиками последующих поколений (а некоторые его идеи вообще не были приняты учениками — учение об особом агрессивном влечении не получило широкого распространения, несмотря на весь авторитет Фрейда). Правда, интерес субъективности опыта в психоанализе недостижима: пациенты не лечатся одновременно у нескольких аналитиков, да и "опыт" в психоанализе отличается от опыта естественных наук. Это — опыт коммуникации врача и пациента, причем врач имеет

226

Психоанализ, история, травмированная "память"

дело почти исключительно со свободными ассоциациями, рассказом пациента о своих сновидениях, мечтах и т.п.

Прошлое пациента знакомо аналитику только со слов самого пациента (то, что он может узнать от родственников или коллег последнего, для него не так уж существенно). Он соприкасается с несколькими "прошлыми" анализируемого³. Помимо доступных сознанию пациента воспоминаний о своей жизни (прошлое, которое предшествует неврозу) и недавнего прошлого (скажем, предшествующих сеансов анализа), он обращается к тому прошлому, которое скрыто от анализируемого, — к вытесненным в бессознательное воспоминаниям раннего детства. Именно они играют решающую роль в процессе лечения. Но помимо всего этого Фрейд постулировал передаваемую по наследству "память рода". Хотя он не создал систему "архетипов коллективного бессознательного", как это сделал Юнг, Эдипов комплекс у Фрейда соотносится с тем, что происходило в древней орде — убийство вожака племени, описанное в "Тотеме и табу". Весь прикладной психоанализ Фрейда строится на аналогиях между невротическими симптомами, опытом раннего детства и филогенезом ("детством человечества", которое повторяется в жизни каждого индивида). Иногда это наследие выступает для Фрейда как руководящий принцип для объяснения давних исторических событий. Древние евреи никогда не пришли бы к столь строгому монотеизму, если бы предполагалось Фрейдом убийство Моисея не вернуло их к ситуации раскаяния сыновей первобытного вождя орды. Иначе говоря, сегодняшние переживания индивида могут восходить не только к его собственному раннему детству, но также к событиям на заре человеческой истории.

Я не стану перечислять все фантастические гипотезы Фрейда в области прикладного психоанализа. Написанное Фрейдом по проблемам искусства и литературы сегодня способны всерьез принимать только те, кто выдает каждое его слово за истину — таковых становится все меньше даже среди психоаналитиков. Однако следует иметь в виду то обстоятельство, что суждения психоаналитиков о культуре и обществе и ныне отсылают к "памяти рода", поскольку иначе так назы-

³ Я отвлекаюсь здесь от важного вопроса о прошлом самого психоаналитика, который включает не только его теоретическую подготовку, практический опыт лечения предыдущих пациентов, но также и его собственный опыт раннего детства или даже архаических слоев сознания.

227

Феномен прошлого

ваемый прикладной психоанализ лишается основания. Психоаналитик открывает за явным смыслом вытесненный из сознания, принадлежащий "архаичному наследию", которое "охватывает не только предрасположенности, но также и содержания, следы памяти о переживаниях прежних поколений"⁴. Это наследие соответствует инстинктам животных как коллективная память, сохранившая древние прасимволы некоего палеоязыка, предшествующего словесной коммуникации. Онтогенез повторяет филогенез, причем Фрейд признавал, что психоанализ в своих прикладных исследованиях не может обойтись без учения о биологическом наследовании благоприобретенных признаков — иначе рушатся все аналогии между индивидуальным развитием и эволюцией человеческого общества.

Психоаналитик занят расшифровкой не просто сложного "текста", где имеются пропуски и искажения; эти пропуски имеют собственную логику, связаны с "работой" той инстанции, которая систематически искажает "текст" мыслей и переживаний человека, в чем сам он не отдает себе отчета, не замечает искажений. Более того, явный смысл часто является результатом рационализации, т.е. идеализированных мотивов, скрывающих подлинную мотивацию. Желаемое принимается за действительное (*wishful thinking*), но иллюзии имеют значение как замещения подлинных устремлений. Само наше "Я" возникло в результате истории конфликтов и расколов, вытеснения одних элементов и замещения их другими. Кажущиеся несомненными ценности являются таковыми лишь потому, что они были впитаны в раннем детстве, т.е. не в

результате рационального мышления или выбора, но в силу идентификации с одним из родителей (либо появились как замещение вытесненных влечений).

Именно эти идеи Фрейда представляют собой сущность психоаналитического подхода, а потому можно отказаться от фрейдовского пансексуализма и натурализма, даже от специфической для Фрейда трактовки влечений (по схеме возбуждение — удовлетворение) — главное, что сохраняется, это динамическая картина взаимодействия различных инстанций психики, вытеснение одних содержаний другими и символизация одних другими. Симптомы или сновидения входят в целостность биографии пациента. То, что внешне кажется лишенным смысла, на самом деле им надделено, только это смещенный и дефор-

⁴ Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 223.

228

Психоанализ, история, травмированная "память"

мированный смысл. Сознание, вопреки всей философии *ego cogito*, недостоверно, оно не может служить основанием себе самому и всему другому. Психоанализ является "археологией субъекта", и метод истолкования, наиболее характерный для Фрейда, — это генетическое истолкование, роднящее психоанализ не с естествознанием, а с герменевтикой. Чтобы истолковать "текст" конкретного симптома, аналитик переходит ко все более общим контекстам, которые также оказываются "текстами": Эдипов комплекс у нашего современника отсылает к первобытной орде, к "архаичному наследию" коллективной памяти. Метафорическое теоретизирование по поводу культуры дает расшифровку конкретному случаю, который, в свою очередь, делается небольшим отрывком универсальной книги человеческого бытия.

По следам, оставленным каким-то психическим процессом, нужно определить сам этот процесс, подобно тому, как археолог восстанавливает образ древней колонны по одной оставшейся ее части, либо подобно детективу, находящему преступника по оставленным им следам и приметам. З. Бернфельд, кажется, первым определил психоанализ как "науку о следах", "следопытство" (*Spurenwissenschaft*). "Преступление" здесь совершено тем процессом, который вызвал нарушения. Конечно, предпосылкой генетического толкования является некая общая модель психики, в которой утверждается, во-первых, что психические процессы оставляют следы, а во-вторых, между этими следами и процессами должна существовать такая содержательная связь, что следы символизируют процессы, замещают их. Наконец, требуется знание механизма преобразования прошлого явления в символ. Конечно, след мог остаться и от совсем другого процесса, нам неизвестного (либо вообще не осталось никакого следа). Как это нередко случалось с Фрейдом, он облегчил себе и своим последователям жизнь, приняв в качестве постулата⁵, что все события психической жизни сохраняются в памяти; более того, они передаются по наследству. Это допущение сделало возможным сомнительные аналогии между явлениями индивидуальной жизни и социальными феноменами. Однако реконструкция прошлого по оставленным следам совсем не обязательно требует столь широких обобщений. Достаточным условием генетического

⁵ С известными оговорками: "нам следует держаться того, что сохранение прошлого в душевной жизни есть, скорее, правило, нежели исключение" (Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. С. 73).

229

Феномен прошлого

толкования является тезис, согласно которому отдельные психические процессы поддаются реконструкции по их замещениям.

Таким методом реконструкции пользуются многие гуманитарные науки. "Науки о духе" постигают конкретное явление на базе общих знаний, имеющегося опыта, но здесь интерес представляет само индивидуальное, не сводимое к общему закону. Генетическое толкование, "реконструкция" каждого явления в контексте истории жизни сближает психоанализ с герменевтикой. К. Гинзбург назвал такой подход "уликовой парадигмой", которая характерна и для исторического познания — историк также идет по следам и ищет приметы. Того же мнения держится и К. Гирц: науки о культуре сравнимы с психоанализом и в том смысле, что они не дают предсказаний в строгом смысле слова, но "ставят диагноз"; они не утверждают, что "болезнь" появится неизбежно, но если уж она присутствует, то они могут предсказать ее течение⁶.

Психоаналитика интересует далеко не все в прошлом пациента, но то, что вызвало невротические симптомы, причем не сами события, но их образы в сознании пациента, его фантазии, те смыслы, которые он придает прошлому сегодня. События вообще могут оказаться вымышленными, но этот вымысел приковывает внимание пациента, вызывает сильнейшие эмоции, навязчивые представления. Иной раз Фрейд достаточно наивно предполагал, будто по ходу анализа пациенты вспоминают "как это действительно было" в раннем детстве, вплоть до первых месяцев жизни (некоторые его ученики стали писать о "травме рождения", предполагая, что и о нем сохранилась память, равно как и об утробном периоде). Будучи ламаркистом, Фрейд считал несомненной передачу благоприобретенных признаков, а тем самым и родовую память о важнейших событиях в памяти человеческого рода, народов и племен. Это позволяло ему сравнивать детское мышление с мышлением первобытных племен, сопоставлять стадии развития либидо у индивида с этапами развития человечества. Онтогенез повторяет филогенез, а потому появление Эдипова комплекса увязывалось с драматическими событиями в первобытной орде.

В некоторых версиях психоанализа (в сочинениях О. Ранка, у К.-Г. Юнга и его последователей) этому прошлому уделяется зна-

⁶ Geertz C. Dichte Beschreibung. Beitrage zum verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 1994. S. 37.

читательное внимание. Хотя в современном психоанализе это родовое наследие чаще всего не принимается во внимание при лечении пациента, в так называемом прикладном психоанализе (т.е. в трудах психоаналитиков по поводу религии, искусства, литературы) по-прежнему нередко встречаются ссылки на отцеубийство, с которого началась человеческая история ("черный роман", как назвал такую историю М. Элиаде). Но если брать практику лечения, то все чаще происходит отказ от фрейдовского поиска причин невроза в давнем прошлом или даже в реальных событиях детского возраста. Многие психотерапевты психоаналитической ориентации фактически вообще отказались от поиска причин неврозов. Произошло смещение от установления "почему" тот или иной аффект возникает у пациента, к тому "что" и "как" он переживает. Лечебное действие вызывает не установление причин: "интерпретация отныне — это встреча пациента со своим опытом"⁷. Исторические реконструкции раннего детства уступают место анализу актуальных переживаний. Пациент сам придет к тому или иному "почему" после того, как сумеет овладеть "что" — содержанием своих переживаний и конфликтов.

Психоанализ оказал огромное воздействие на многие науки о человеке, на всю интеллектуальную атмосферу XX столетия. Возникнув в области медицинской практики, психоанализ оказал заметное влияние на социологию, этнографию, литературоведение и ряд других дисциплин, а через них и на исторические науки. Однако следует различать историографию как таковую и творчество тех историков, которые приняли психоанализ как род философской антропологии, как набор аксиом для эмпирических исследований. Если средний западный историк просто принимает к сведению то, что у человека могут быть неосознаваемые мотивы поведения, в какой-то степени связанные с его детством, то тем самым он еще не становится сторонником Фрейда, подобно тому, как признание фонетических оппозиций еще не делает лингвиста представителем структурализма, а учет классово-борьбы не делает марксистом. Если же он видит в историческом исследовании разновидность прикладного психоанализа (так же как тот, кто сводит множество самых разнообразных взаимодействий к классово-борьбе, считает исторический материализм универсальной отмычкой), то его нужно характеризовать не просто как историка, но как представителя

⁷ Singer E. Key Concepts in Psychotherapy. N.Y.: Random, 1965. P. 203.

"психоистории", не просто как биографа, но как пишущего биографию психоаналитика.

Разумеется, получившие психоаналитическую подготовку историки редки, причем среди них встречаются как настоящие профессионалы, так и догматики, шарлатаны, идеологи. Прошедший психоаналитическую подготовку П. Гэй, написавший в том числе и прекрасную биографию З. Фрейда, остается профессиональным историком, а не догматиком: в работе о Веймарской республике он вообще не прибегает к методам психоанализа, поскольку этого не требует предмет исследования. И наоборот, целый ряд биографий, исследований национального характера и т.п. литературы имеют отдаленное отношение к истории, поскольку догматическая зашоренность авторов иной раз просто поражает. В психоаналитических биографиях сохраняются все недостатки истории, понятой через жизнь "великих личностей", с добавлением разве что "игры на понижение". Это хорошо видно уже по биографии американского президента Вильсона, написанной Фрейдом совместно с У.С. Буллитом — о ней стараются не вспоминать даже самые ортодоксальные последователи Фрейда, поскольку личная неприязнь Фрейда и его соавтора к персонажу непосредственно сказалась на этом жизнеописании, смысл которого сводился к тому, что президенту США следовало бы сначала основательно подлечиться, а уж потом лезть со своими прожектами в решение европейских дел. Наклеивание психиатрических ярлыков ощутимо и во множестве других "психобиографий". Как оценить историку эссе Э. Фромма о Гитлере (в "Анатомии человеческой деструктивности"), если он игнорирует подавляющее большинство свидетельств, а из используемых им (скажем, из воспоминаний А. Шпеера) заимствует лишь то, что отвечает его характерологии?

Мне доводилось читать статьи и книги, в которых к вытесненным переживаниям детства сводились то философские воззрения Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера, то произведения литературы и искусства, то творчество самого Фрейда (вплоть до сведения его теории к обрезанию или к мастурбации в юношестве). В подобных биографиях сохраняются допущения Фрейда, согласно которым психика младенца и психика взрослого тождественны, созданный психологами для описания взрослого опыта язык применим к психике младенца; и наоборот, психика младенца, которая описывается в терминах не только влечений ("оральная" или "анальная" стадия развития либидо и т.п.), но и психологии "Я", продолжает существовать в психике взросло-

го, сохранившего память (пусть бессознательную) об опыте раннего детства. Это ведет к бесконечным аналогиям между невротическими симптомами взрослого, его переживаниями на кушетке у аналитика, и переживаниями младенца по поводу материнской груди. В области прикладного психоанализа это не раз приводило к самым курьезным спекуляциям, вроде того, что русский национальный характер определяется тугим пленением в младенческом возрасте — термин "пеленочный детерминизм" уже в 1950-е гг.

характеризовал такого сорта обобщения. Отсылки к раннему детству, опыт которого скрыт и от пациента, и, тем более, от врача, должны были объяснять непонятное в поведении взрослого неизвестным⁸.

Уже поэтому отношение многих серьезных историков к психоанализу является критическим — модные идеи хороши для бульварных газет (или даже для раздела Feuilleton в газетах получше), но никак не для исторических исследований. Связано это критическое отношение не только с культурным, а иной раз и политическим, консерватизмом многих историков. В качестве примера такого недоверия я возьму статью несомненно "левого" историка Х.-У. Велера — социал-демократа, основоположника "социальной истории" в ФРГ. Об его интересе к психоанализу говорит уже то, что он был составителем тома работ американских и французских "психоисториков". Однако в своей вступительной статье "Отношение исторических наук и психоанализа" он не слишком доброжелательно высказывается о попытках применения психоаналитической техники в исторических исследованиях. Велер обращает внимание на то, что по своей методологии психоанализ во многом сходен с историцизмом. Унаследованная от романтизма теория "индивидуальной тотальности" близка фрейдовской метапсихологии своим атомизмом, вниманием к внутренним переживаниям и конфликтам "великой личности". Он замечает, что "именно этот индивидуализм отделяет ныне психоанализ от исторической науки"⁹, поскольку

' Как отмечал известный британский психоаналитик М. Балинт: "В психоаналитической теории вообще довольно распространена тенденция относить все непонятное к прошлому"; столкнувшись с тем, что гипотеза не получает подтверждения, психоаналитики от нее не отказываются, но ссылаются на ранние фазы развития, находящиеся за пределами возможного клинического опыта (Балинт М. Базисный дефект. М., 2002. С. 83—84).

' Wehler H.-U. Zum Verhaeltnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse // Geschichte und Psychoanalyse / H.-U. Wehler von (Hrsg.). Köln: Ullstein, 1971. S. 20.

233

Феномен прошлого

историки все больше интересуются институтами и структурами, проявляют интерес к хозяйственной и повседневной жизни, тогда как психоанализ, если отчасти и пересматривает персонализм XIX в., то в основном остается на уровне внутриспсихических конфликтов индивида. Историка лишь в малой степени интересует раннее детство Гитлера и его (предполагаемые) отклонения от психической нормы — интересно то, что такого рода личность могла добраться до вершин власти и оставаться на них вплоть до мая 1945 г., а связано это не с индивидуальной психологией немцев, но с состоянием общества, политическими и культурными конфликтами Веймарской республики, идеологическими предпочтениями элит и т.п. От биографического "понимания", будь оно в духе дильтеевской герменевтики или фрейдовского психоанализа, историк переходит к "объяснению" поведения групп, а не взятых в своей обособленности индивидов. Знакомство с психоанализом полезно для историка: как и ряд других мыслителей (Маркс, Ницше, Парето), Фрейд ставит под сомнение те интерпретации, которые люди дают собственному поведению, все формы Wunsdenken, иллюзорные картины собственного благородства или рациональности. Но для выработки такого скептического взгляда на человеческую гордыню историка не нужна психоаналитическая техника, поскольку "ярмарка тщеславия" и описанные еще Ф. Бэконом "идолы" совсем не обязательно связаны с ранним детством.

Влияние психоанализа на историографию совпадает по времени с растущим воздействием его на социологию и культурную антропологию. Как в рамках неофрейдизма, так и в ортодоксальном психоанализе в 1930—1940-е гг. происходил переход от той модели, которая господствовала в науках о человеке в XIX в. (и которая была связана не только с наукой, но и с идеологией — индивидуализм, либерализм), т.е. от социального атомизма, к иной, куда более ориентированной на социальные связи, коммуникации. Если Фрейд подверг критике иллюзорное "Я" картезианства, то отгадки он искал в глубинах психики индивида. Для современной психологии, социальной психологии, социологии субъект существует лишь в социальном поле, а сама идея атомистичного, обособленного "Я" считается изначально ложной. "Я" (self) выступает как символически организованное, но все символы социальные; наше "Я" существует лишь в связях с другими, принимая социальные роли, перспективы. Это в большей или меньшей степени

234

Психоанализ, история, травмированная "память"

учитывали сторонники "эго-психологии" и британской школы "объектных отношений". В выросшей из "эго-психологии" концепции Э. Эриксона основное внимание уделялось не раннему детству, но более или менее верифицируемому "юношескому кризису". Психоанализ оказал определенное влияние именно на биографический жанр, и если брать лишенные спекуляций по поводу первобытной орды "психоистории" Эриксона¹⁰, это влияние было позитивным — люди прошлого, как и мы, сначала были детьми и подростками, проходившими через "кризисы идентичности", а уж потом становились великими художниками или полководцами.

Несмотря на всю критику "биографической иллюзии" со стороны социологов (от Ф. Симнана до П. Бурдьё), биографический жанр неотделим от исторической науки. Даже представители школы "Анналов" успешно обращались к этому жанру. Достаточно вспомнить о том, что основатель этой школы, Л. Февр, написал исследования о Лютере, Рабле и Маргарите Наваррской, а недавно вышедшая биография Людовика Святого принадлежит перу Ж. Ле Гоффа. Однако эти биографии отличаются от жизнеописаний, в которых главной целью является постижение индивидуальной судьбы; как отметил Ж. Ревель, "гораздо важнее выяснить, что сделало возможной и мыслимой такую судьбу, такой жизненный путь в том контексте, который подлежит

воссозданию"¹¹. К "неписаным правилам" прежних биографий Ж. Ревель отнес две предпосылки: 1) жизнь есть непрерывная линия между рождением и смертью; 2) жизненный опыт индивида нанизывается на эту траекторию. Биограф "великого человека" желает показать, какой урок его жизнь представляет потомкам, каково его место в Истории. Для того, кто видит в индивиде не реализацию неких врожденных или приобретенных свойств ума и характера, такой непрерывной линии не существует. Имеются точки разрыва, случайности встреч и находок, принятые на себя роли, одним словом, непрерывное взаимодействие. Поэтому историки чаще всего подразумевают под психоанализом именно "психоисторию" Эриксона. "Когда историк задумывается об исторической психологии, то он имеет в виду психоисторию и большинство споров, которые вышли из этих раздумий, вращаются вокруг применимости психоисторического метода" (Mutton P.M. Die Psychohistorie Erik Eriksons aus der Sicht der Mentalitätsgeschichte // Mentalitäten-Geschichte / U. Raulf von (Hrsg.). Berlin: K. Wagvenbuch Verlag, 1987. S. 146). "Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М.: РГГУ, 2002. С. 20.

235

Феномен прошлого

действие индивида с другими людьми, с тем социальным полем, которое он застал при рождении и которое менялось на протяжении его жизни. Следует учитывать и этап формирования этого поля в раннем детстве, и бессознательные мотивы человеческих поступков. Занятие "историей ментальностей" предполагает знакомство с медицинскими case-studies психотерапевтов уже по той простой причине, что и в прошлом хватало индивидов с теми или иными психическими расстройствами. Но спекулятивные "психо-биографии", вроде эссе Фрейда о Леонардо да Винчи¹², рассуждения об Эдиповом комплексе Шекспира (много ли мы о нем знаем?) ему вряд ли понадобятся.

Если в 1950—1960-е гг. психоанализ проникал в исторические исследования через такие дисциплины, как социология или этнография (культурная антропология), то в последние два десятилетия это влияние связано не с наукой как таковой, а с околонучными доктринами. Западное научное сообщество терпимо относится к маргиналам, пишущим с заглавной буквы слова "Текст" и "Тело", изредка раздраженно откликается на идеологические писания тех, кто сочиняет социологию или литературоведение, выражающие чаяния того или иного сексуального меньшинства. В России в силу целого ряда причин эти писания заняли значительно большее место в научных дебатах: в гуманитарных дисциплинах отсутствует та "нормальная наука", которая отторгает идеологов и дилетантов, а в условиях социального хаоса и крушения прежней идеологизированной науки писания так называемых постмодернистов обрели респектабельность "последнего слова". Так называемых, поскольку слово "постмодерн" обладает массой значений, а между Фуко, Деррида, Лиотаром или Бодрийаром никогда не было полного согласия. Вряд ли есть смысл проводить здесь какой бы то ни было анализ этих доктрин — они не имеют прямого отношения к воздействию психоанализа на историографию. Критическое отношение Фуко или Делеза к психоанализу хорошо известно, равно как и к той версии герменевтики, которая испытала влияние Фрейда и его последователей. Тем, кто причисляет тексты по поводу "исторической

¹² Востороженно ссылающимся на это эссе историкам, вроде П. Хаттона, следовало бы иметь в виду, что почти всю информацию о жизни Леонардо Фрейд почерпнул из романа Мережковского.

236

Психоанализ, история, травмированная "память"

памяти" к постмодерну, следовало бы хоть немного знать западную интеллектуальную сцену. То, что статьи и книги И. Рюзена написаны под прямым влиянием ранних работ Ю. Хабермаса (очевидного оппонента постмодерна), не вызывает никаких сомнений у всякого знакомого с немецкой мыслью читателя. Французские историки, начавшие изучение "мест памяти", также не принадлежат к постмодернизму и практически не ссылаются на Фрейда.

Исследование массовых представлений об истории, "устная история", "история настоящего" — все эти важные для историков темы можно обсуждать совершенно независимо от психоанализа. К нему не имеет отношения и предложенная Я. Ассманом теория "культурной памяти", поскольку предметом его исследования было древнеегипетское общество с присущими ему историческими представлениями. Ни о вытеснении в бессознательное, ни о возвращении вытесненного ради его преодоления специалист по традиционным обществам, естественно, не говорит ни единого слова. С психоанализом связана исключительно та концепция "исторической памяти", которая получила распространение даже не столько усилиями Рюзена, сколько текстами тех, кто пишет о Холокосте и ГУЛАГе. Именно в этих текстах чаще всего встречаются термины "травма", "подавление", "возвращение вытесненного" и т.п.

Сбор свидетельств участников событий со времен Фукидида был основанием историографии. Тому, кто исследует XX столетие, не обойтись без огромного числа свидетельств жертв концлагерей, войн, депортаций, геноцида. Вопрос заключается в том, что делать с этими данными. Историку они нужны для выяснения того, что на самом деле происходило в прошлом, тогда как собирают эти данные зачастую совсем с иными целями. То, что получило название "политика памяти", имеет весьма отдаленное отношение к науке.

Политическая ангажированность ведет не только к некритичному использованию свидетельств, но даже к откровенной их фальсификации. То, что значительное число историков принимает участие в пропагандистских акциях, отстаивая интересы государств и различных групп, не ново — немецкие или французские историки конца XIX в. делали то же самое. Изменилась только степень манипуляции, по-

сколько телевидение и Интернет предоставляют невиданные ранее возможности. Представления масс об истории в огромной степени зависят от воли журналистов, направляемых интересами владельцев

237

Феномен прошлого

СМИ¹³. Современное общество является массовым, состоит из миллионов людей, получивших как минимум среднее образование, более или менее интересующихся историей. Скажем, во Франции за эту аудиторию ведут борьбу три исторических телеканала и два популярных журнала, любая серьезная газета публикует популярные статьи об истории. Растет число компьютерных игр "в историю" — визуализация ведет к виртуализации. Теоретики постмодернизма могут ссылаться на этот опыт миллионов полуобразованных подростков: весь мир настоящего и прошлого представляет собой поле виртуальных игр словами и образами. Коммерциализация исторических знаний сочетается с доведенным до крайности "презентизмом" — популярные статьи и фильмы почти всегда указывают нам на связь прошлого и настоящего. Житель мегаполиса должен знать, что его сегодняшнее благосостояние было целью всей предшествующей истории. Концепция "исторической памяти" возникла как отклик на эту "демократизацию" исторических знаний. Историю пишут не столько для коллег по научному цеху, сколько для жаждущих просвещения масс, а потому историк становится хранителем коллективной памяти. Он ведет борьбу с забвением, он вспоминает о том, что забыто массами. Есть те вещи, о которых не следует забывать, дабы они не повторялись. Именно здесь следуют ссылки на психоанализ: массы не просто забывают, они вытесняют из памяти неприятное, а власть предрасполагающая этому способствует — практически все сторонники "исторической памяти" относятся к "левым" и любят изображать из себя наследников Вольте-

° Я не касаюсь здесь того, как те или иные исторические события недавнего прошлого приобретают характер мифов. Приведу слова немецкого публициста, сказанные в связи с выходом на экран фильма о Гитлере: "Так Гитлер постепенно становится персонажем романа, наподобие Наполеона или Александра Великого. Превращение в фикцию неудержимо уже по той причине, что вымирают очевидцы «Третьего рейха». Действительно происходившее — с его сочетанием нормального и brutального — сдвигается к историческому мифу, не знающему никаких противоречий. С этим не справится историческая наука. Напротив, полученные в школе и в массмедиа популяризации создают пространство для любых ассоциаций. Образы, лозунги, даже преступления гитлеровского Рейха сделались набором цитат на всякий случай. Достаточно произнести «шесть миллионов», чтобы вызвать в памяти истребление евреев. Однако сильнейшие эмоции при минимальном количестве знаков ожидают нас в поп-культуре. Гитлер сделался иконой в индустрии развлечений" (Jessen J. Was macht Hitler so unwiderstehlich? // Die Zeit. 2004. N 40).

238

Психоанализ, история, травмированная "память"

ра и Золя. Вытеснение связывается с травмой, нанесенной коллективному опыту. "Те, кто пережил ужасы массовых убийств, репрессий и насильственных депортаций, страдают от коллективной травмы"¹⁴. Выше уже было указано на то, что выдвинувший идею "исторической памяти" И. Рюзен просто применяет к исторической науке учение Хабермаса о "познавательных интересах". Строго говоря, учение это было создано М. Шелером, развито Э. Ротакером (учителем Хабермаса и К.-О. Апеля, на которого они предпочитали не ссылаться из-за его нацистского прошлого). Для Шелера знание есть отношение части к целому, причем результат познания зависит от поставленной задачи, от перспективы, в которой мы видим действительность. Если познание нацелено на получение материальных результатов, на власть над миром, то оно будет явно отличаться от познания, нацеленного на самосовершенствование. Тем более оно отлично от знания, которое должно принести спасение. Общество, в котором доминирует Leistungswissen, пришло сравнительно недавно, сменив те общества, в которых преобладало "знание-спасение" (Heilswissen). Хабермас и Апель просто заменили познавательный интерес, направленный на спасение, "эмансипативным интересом", нацеленным на освобождение человечества от пут прошлого. Выдвинутая Хабермасом в полемике сначала с Х. Альбертом (учеником К. Поппера), а затем с Х.-Г. Гадамером классификация наук соответствует трем познавательным интересам. Естественные науки имеют целью покорение природы, тогда как "позитивистские" социальные науки служат не столько познанию, сколько управлению и манипуляции. Классическая герменевтика гуманитарных наук имеет своей целью "понимание", т.е. диалог с людьми прошлого и настоящего. Но в коммуникации всегда имеются разрывы, связанные не только с недостатком информации, но также с насилием, вытеснением из памяти того, что мешает нынешним правящим классам и группам ("систематически искажаемая коммуникация"). "Эмансипативный интерес" направляет познание, которое освобождает от такого рода насилия.

Так как Хабермас и Апель писали все это во время студенческих бунтов конца 1960-х — начала 1970-х гг., то марксизм у них в духе тогдашней идеологии вольно сочетался с психоанализом. Фрейд,

¹⁴ Тою Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Весь Мир, 2000. С. 39.

239

Феномен прошлого

впрочем, укоряли за "сциентистское самонепонимание" — биологи-зиторство Фрейда и его социальный пессимизм явно не годились для синтеза с "самым прогрессивным учением". Предложенную в то время А. Лоренцером концепцию "глубинной герменевтики" приспособили к неомарксизму Франкфуртской школы. Человечество нужно рассматривать как целое в его развитии "все дальше и дальше"; этому развитию препятствуют привилегированные классы и группы, которые необходимо свергнуть, а внутреннюю свободу участник этой всемирно-исторической драмы может получить с помощью психоанализа. Прошлое владеет нами из-за того, что мы несвободны, и наоборот, мы несвободны из-за господства предрассудков, клише,

иллюзий. Слова Фрейда: "Где было Оно, там должно стать Я" вполне правомерно сопоставлять с воззрениями просветителей — познание истины освобождает. Но для неомарксистов Просвещение всегда было чем-то по меньшей мере подозрительным (вспомним "Диалектику Просвещения" основателей Франкфуртской школы) — Тот, кто совершил внутреннюю революцию и отрекся от всех несущих угнетение традиций, способен довести до конца и политико-культурную революцию. Применительно к историческим исследованиям это означало решительный разрыв с любым прошлым, кроме одной его части — у революций также имеются предшественники.

Я не стану приводить здесь аргументы Гадамера и других оппонентов этой доктрины. Ясно то, что применительно к истории она означает уничтожение любой научности во имя "эмансипации" тех групп, которые чем-то недовольны в нынешнем мире. Прошлое в таком случае ставится в зависимость от чаемого будущего. Представлять интересы человеческого рода и прогресса — политически удобная позиция (по крайней мере, для ни за что не отвечающих интеллектуалов), но она вряд ли пригодна для ученого. В лучшем случае, история тогда возвращается к роли "учительницы жизни", читающей мораль подрастающему поколению, в худшем — служит орудием пропаганды. "Левые" занимаются этим ничуть не меньше "правых", но чаще последних желают представлять себя носителями универсальной этики, разума и человечности¹³.

¹³ Правда, именно здесь их подводит риторика постмодерна, ликвидирующая и универсальную этику, и научную рациональность. Кстати, добившись хоть какой-то политической власти, леволиберальные гуманитарии вводят нешуточную цензуру. Множество примеров того, как это делается в США, приводится в книге П.Дж. Бьюкенена "Смерть Запада" (М.; СПб., 2003).

240

Психоанализ, история, травмированная "память"

Необходимо учитывать тот контекст, в котором возникла концепция "исторической памяти" — он является типичным продуктом немецкой политической и интеллектуальной жизни. В Германии времен Аденауэра многие страницы истории замалчивались, можно даже сказать, "вытеснялись" из сознания немцев. Бунт детей против отцов включал в себя и разоблачение официальной историографии, "возвращение вытесненного". В условиях, когда часть "правых" историков перешла в стан "ревизионистов", прямо отвергающих существование газовых камер, а другие, вслед за Э. Нольте, призвали историков заниматься своим делом, а не служить медиумами "живой памяти", их левые оппоненты стали пересматривать сами задачи исторической науки. В результате возникла поразительно эклектичная доктрина, включающая в себя обрывки социальной философии Франкфуртской школы, работ французских историков, пишущих о "местах памяти", психоанализа, американского "нового историцизма" and what not.

Вряд ли есть необходимость повторять уже сказанное другими критиками этого концепта (в частности, И. Савельевой), что все содержание его исчерпывается привычным выражением "исторические представления". То, что в обыденном сознании имеются такого рода представления о прошлом, что они передаются из поколения в поколение помимо учебников и монографий, что в дописьменных культурах эти представления иначе структурированы, чем сегодня, что историческая наука с момента своего возникновения связана с интересами правящих групп и классов и подобные этим тезисы просто банальны. Не банальной в этой концепции можно считать только теорию "травмированной коллективной памяти", но именно она является, на мой взгляд, явно ложной.

Прежде всего, следует задать вопрос о том, что вообще считать "коллективной памятью". Мы вольны рассуждать о "памяти народов", но вряд ли кто-либо из историков станет всерьез обсуждать ламаркистскую гипотезу о наследовании благоприобретенных признаков и связанные с нею психоаналитические доктрины Фрейда или Юнга. Еще меньшей популярностью пользуются романтические теории Volks-geist — тогда возможны и спекуляции по поводу "расовой души". Существует множество психологических теорий памяти с запутанными классификациями: эпизодическая память отличается от семантической, аффективная от моторной, образная от вербальной, событийная от фактологической, долговременная от оперативной, кинестетическая от

241

Феномен прошлого

рефлекторной и т.д. Все эти классификации более или менее осмысленны, но ни одна из теорий ничего не говорит о "коллективной памяти" немцев, евреев или американцев/Чтобы имелся коллективный травматический опыт, требуется коллективная психика (чтобы получить рагу из зайца, нужен заяц), а это вступает в противоречие со всем тем, что говорят сегодняшние науки о человеке.

Разумеется, сходный опыт множества людей оставляет примерно одинаковый "след" (в том числе и условно именуемый нами травматическим — скажем, опыт войны 1914—1918 гг. у фронтовиков, часть которых стала называть себя "потерянным поколением"), но речь идет не о коллективной душе. Опыт может быть тем же самым, но осмысление этого опыта, интеграция его в те или иные объяснительные схемы может происходить по-разному. Бывшие "товарищи по оружию" в Веймарской Германии входили в вооруженные формирования различных партий — от коммунистов до нацистов, они были схожи лишь в том отношении, что военный опыт оказался применимым в условиях гражданской войны (которая de facto шла в Германии в 1919—1923 гг.). Вряд ли можно считать травмированными войной тех, кто зачитывался "Стальными грозами" Э. Юнгера, но и те, кто предпочитал читать "На западном фронте без перемен", не относятся к "травмированным" — радикальный пацифизм является осмысленной позицией, а не разновидностью

заболевания. То же самое можно сказать об опыте гитлеровских и сталинских лагерей, коллективизации, колониализма и т.п. Можно говорить о психических травмах индивидов, тех людей, которые были сломлены, которые вытесняли болезненный для них опыт. Когда эти человеческие страдания используются в политических целях (или для получения гранта), встает вопрос даже не о научной квалификации, а о совести историка.

Со времен младшего современника Фрейда, английского психолога Ф.Ч. Бартлетта, существует понятие "социальная память", которое, однако, не имеет ничего общего с сегодняшними изысканиями на тему "исторической памяти". Связано это с тем, что любой академический психолог занят научным трудом, а не сочинением модных доктрин. Естественно, он признает влияние общества на формирование памяти индивида — в случае вербальной памяти это очевидно. Но и зрительная, и даже моторная память зависят от социализации в том или ином обществе. Так, в первобытном обществе зрительная память развита значительно сильнее, чем в обществе со всеобщим средним

242

Психоанализ, история, травмированная "память"

образованием, в котором сильнее развитой оказывается вербальная и абстрактная память. В разных группах имеются свои шаблоны мышления и переживания, а тем самым и манеры воспоминания. Не только материал воспоминаний, но и их форма зависят от групповых интересов, ценностей, от социального контроля группы над индивидом. Если не темперамент, то характер человека также социально обусловлен, а потому индивидуальная манера вспоминать имеет сходство с тем, как это делают представители того же общества (класса, группы), но отличаться от других обществ и групп. Если группа обладает высокой степенью сплоченности, четкой идентичностью, то структурирование воспоминаний у представителя группы будет отличаться от воспоминания аутсайдера или маргинала. Но из этого совсем не следует наличие некоего "объективного духа", "наследственной памяти", которая отличала бы немца от француза (или осетина от чеченца), джентльмена от ремесленника и т.д. У группы могут быть свои "места памяти" — монументы, гимны, памятные даты, юбилеи основоположников и т.п., но всякий раз речь должна идти не о "коллективной памяти", а о средствах воздействия одних людей на других, о традиции в своем первоначальном значении передачи опыта, знаний и навыков. Память же в любом случае имеется только у индивидов. Изобретенные его предками знаковые системы (прежде всего письменность, но также самые разнообразные "языки" — живописи, музыки, танца) формируют память индивида и заполняют ее образами и смыслами¹⁶. Индивид взаимодействует с другими и вне такого взаимодействия просто не "Человек является "общественным животным", и память всегда связана с целями, интересами, табу, привычками и т.п. Мы вспоминаем о прошлом под влиянием окружающей нас действительности, укладываем наши воспоминания в схемы, пользуемся стереотипами, смешиваем наши собственные впечатления с тем, что мы слышали или читали. Любопытное исследование было проведено в 1980-е гг. немецким историком Л. Нитхаммером: опросы бывших солдат и офицеров времен Второй мировой войны из ФРГ и ГДР, которые сражались на Восточном фронте или побывали в советском плену, показали, что сходный опыт увязывался с различными рационализациями, возникшими в результате послевоенной жизни, пропаганды времен "холодной войны" и т.п. (см.: Niethammer L. Juden und Russen im Gedächtnis der Deutschen // Der historische Ort des Nationalsozialismus. Frankfurt a.M.: Fischer, 1990). Если сегодня провести опрос российских граждан о прошлом 20-летней давности, то обнаружится, что воспоминания в огромной степени зависят от сегодняшнего положения в обществе.

243

Феномен прошлого

существует как человек. Но помнит он и только он, а "коллективная память" есть совокупность воспоминаний у индивидов.

Если уж сопоставлять исторический рассказ с памятью, то следовало бы ставить на первое место не спонтанную репродукцию, но усилие припоминания, когда субъект активно пытается вспомнить им забытое, восстановить во всей полноте то, что осталось лишь в виде слабого следа. Фрейд писал о "сопротивлении" бессознательного такого рода припоминанию, которое, действительно, иногда встречается и по ходу психотерапии, и в повседневной жизни. Но сегодняшние теории памяти связывают забывание не столько с вытеснением, сколько с "затуханием" (спонтанное угасание следа) и "интерференцией" (вмешательство других следов, их "конкуренция", утрата "ключа" к кодированной информации). Совершенно непонятно, как можно травмировать "коллективную память", если употреблять термины "память" и "травма" не в качестве ни к чему не обязывающих метафор. Термин "травма" обладает точным значением в той области медицины, которая имеет дело с переломами, ранениями и другими механическими повреждениями организма. Когда мы говорим о психической травме, то подобная точность уже исчезает. Разумеется, сотрясение мозга или болевой шок вызывают душевные страдания и могут сказываться на высших психических функциях; многие ветераны войны, бывшие узники лагерей или заложники террористов, жертвы сексуального насилия испытывают в дальнейшем разного рода страдания и трудности. Но уже здесь мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о причинах и следствиях: среди ветеранов войны или переживших опыт концлагеря людей не так уж много тех, у кого возникли невротические симптомы. В то же время есть индивиды, психика которых не выдерживает при столкновении даже с незначительным конфликтом в семье или на работе. Именно поэтому Фрейд отказался от травматической теории неврозов, вернее, стал придавать основное значение не недавнему болезненному событию, а тем конфликтам, которые происходили в раннем детстве.

Конечно, именно Фрейд, начиная с написанных вместе с Брейе-ром "Исследований истерии", не раз

повторял: "истерические пациенты страдают в основном от воспоминаний", утверждал, что невротические симптомы являются остатками и мнемическими символами травматического опыта (как он говорил в лекциях, прочитанных в США в 1909 г.). Фрейд писал о том, что истерия и меланхолия часто

244

Психоанализ, история, травмированная "память"

выступают как следствия патологического траура, вызванного недавней тяжелой утратой. Этот тезис понятен каждому человеку, терявшему близких людей. Вопрос заключается лишь в том, что у подавляющего большинства из них траур не вызывает невротических симптомов, хотя травмирует он всех. "Окопный невроз" развивался далеко не у всех фронтовиков Первой мировой войны; ни сексуальная неудовлетворенность, ни конфликты на работе не служат "спусковым крючком" к неврозу у подавляющего большинства людей — попытки иных последователей сводить все неврозы к сексуальной неудовлетворенности Фрейд называл "диким психоанализом". Иными словами, он не придерживался той точки зрения, что причиной невроза выступает травма от внешнего воздействия. Даже в начальный период психоанализа он указывал на то, что такое воздействие на взрослого вызывает невроз потому, что ущербной является психическая конституция многих людей, а она связана с опытом раннего детства. От примитивной теории "травмы" в раннем детстве (сексуальное насилие над малолетними) он довольно быстро избавился еще в 90-е гг. XIX в., хотя яростно отстаивал эту гипотезу в начальный период своей психотерапевтической деятельности.

Фрейд принадлежал своему времени, когда к образу "травмы", которая может передаваться по наследству, прибегали уважаемые представители научного сообщества, включая и выдающихся историков: кто станет сегодня упрекать Э. Ренана за пассажи о "расовой душе", если о "расах" любили рассуждать и создатель социальной психологии Г. Ле Бон, и демократ Ж. Мишле, и социалист Ж. Жорес? Кстати, Ренан за столетие до сегодняшних историков объяснял многие исторические события "травматическим опытом", включая и возникновение христианской церкви¹⁷. В письмах Фрейда мы найдем спекуляции о "расовой душе" евреев, в отличие от "арийцев"; русский

¹⁷ "Всякое впечатление, заходящее за известный предел интенсивности, оставляет в чувствительности субъекта след, который равносильно повреждению, и надолго, если не навсегда, подчиняет его влиянию галлюцинации или навязчивой идее fixe. Кровавый эпизод августа 64 года по ужасу своему можно уподобить самым страшным грезам, которые только могут создаваться в сознании большого мозга. В течение многих лет им будет как бы одержимо христианское сознание" (Ренан Э. Антихрист. Л.: Советский писатель, 1991. С. 90).

245

Феномен прошлого

национальный характер он характеризовал как "детский", с недоразвитым "Сверх-Я" ("Достоевский и отцеубийство"). Следует ли нам заимствовать у Фрейда и такого рода идеи?

Позаимствованное у Шарко и Жане понятие "травма" часто употреблялось Фрейдом только в первых его работах — в дальнейшем он прибегал к нему сравнительно редко. Но и в случае с более поздними идеями Фрейда некоторые историки берут у него то, что не следовало бы заимствовать, скажем, изложенную в книге "Моисей и единобожие" гипотезу о происхождении монотеизма, предполагающую, что недовольные скрижалями евреи убили пророка¹⁸.

Еще меньше оснований ссылаться на Фрейда в связи с тем, как понимается роль историка в "возвращении вытесненного". Для психотерапевта речь идет о чрезвычайно важном для формирования индивида опыте раннего детства, тогда как вытеснение во взрослой жизни не играет для него столь значительной роли. Психоаналитик возвращает индивида к детским переживаниям, чтобы был испытан катарсис — избавление от невротических симптомов происходит вместе с такого рода воспоминанием. Рассказ историка о прошлом в лучшем случае может нас просветить, в худшем он служит индоктринации, но ждать от него радикального изменения человека, чуть ли не преобразования в свете исторической истины, могут либо наивные, либо небескорыстные лица. Тот, кто всерьез утверждает, что "коллективная психика" того или иного народа может быть "травмирована" неким опытом, а историк выступает как своего рода психотерапевт, позволяющий вытесненному содержанию вернуться в сознание, а тем самым и преодолеть "болезнь", может быть охарактеризован или как впавший в мегаломанию, или просто как шарлатан.

"Я вторично упоминаю згу "гипотезу", поскольку большинство публикаций сторонников "исторической памяти" включает почтительную ссылку на эту последнюю книгу Фрейда, но без изложения сути дела, поскольку ни вменяемым историкам, ни верующим иудеям эта версия не кажется заслуживающей доверия. Если любое слово Фрейда по поводу истории ценно, то почему бы не вспомнить его замечательную трактовку того, как первобытный человек осуществлял "покорение огня", или генетическое выведение ткачества из женской мастурбации? Должны ли мы вслед за Фрейдом считать, что все пьесы Шекспира написаны Ф. Бэконом?"

246

Психоанализ, история, травмированная "память"

Уже во времена Первой мировой войны психоаналитики столкнулись с "окопным неврозом", который никак не вмещался в схему "вытеснения — возвращения вытесненного". Травматический опыт как раз не забывался, к нему индивид навязчиво возвращался в условиях мирной жизни, он мешал жить. От того, что бывший узник лагеря или заложник начнет давать интервью корреспондентам, он не избавится от пережитого. Но еще хуже то, что психиатрический ярлык наклеивается на всех тех, кто прошел через опыт войн, лагерей, бомбежек и депортаций в XX столетии (теперь к ним добавляются жертвы "гуманитарных

интервенций"). Тогда старшее поколение европейцев состоит в основном из невротиков — гипотеза оригинальная, но маловероятная. Тогда и большинство сидевших в тюрьме по уголовным статьям нужно "лечить" и "возвращать вытесненное", а каждого отслужившего в армии с ее "дедовщиной" считать потенциальным пациентом. Все человечество с его не внушающей оптимизма историей войн, пыток и казней в таком случае "больно" и требует "целителей", убежденных в том, что сентиментальные речи по поводу прошлого наделены чудодейственной терапевтической силой.

Доктрина "исторической памяти" оказалась чрезвычайно удобной для целого ряда меньшинств, которые добиваются компенсаций за то, что страдали их прадеды. Если негры были рабами, а ирландцы бежали в США от голода, то их потомки "страдают" от переданной по наследству "травмы". Публично напомнить о своих страданиях — хороший способ получить те или иные привилегии или даже добиться вы плат, а потому между американскими этническими общинами ведется оживленный диалог на тему: "Кто более пострадал по ходу совместной истории?" На пространствах бывшего СССР также нашлись историки, активно участвующие в пропагандистских акциях своих парламентов и правительств.

Подозреваю, что у доктрины "исторической памяти" на этих пространствах большое будущее — она чрезвычайно удобна для националистических политиков. Она сподручна и тем заполнившим книжные развалы авторам, которые выводят "антов" от "атлантов", а "русских" от "этрусков", ищут Шамбалу и занимаются столь же перспективными направлениями исторических изысканий — ведь в "коллективной памяти" очень легко отыскать любые "вытесненные в бессознательное" следы прошлого. Проще всего объяснять все проблемы того или

247

Феномен прошлого

иного народа "веками угнетения", оставившими неизгладимую "травму", преодолением которой занимаются историки, сменившие научный коммунизм на наукообразный национализм.

Все речи о "коллективной травме", "коллективном вытеснении" и т.п. просто никак не связаны с психологией и психиатрией — на Фрейда ссылаются как на авторитетную в другой области знаний фигуру, чтобы подкрепить дилетантские рассуждения¹⁹. Подавление любого свободомыслия, конечно, можно назвать "вытеснением", а политическую цензуру сравнивать с суровостью одной из психических инстанций ("Сверх-Я"), но все это — просто удобные метафоры. Вряд ли отечественные гуманитарии, пережившие "травматический" опыт цензуры и партийных проработок, считают себя "больными", которым следует обратиться к психотерапевту. Психоаналитический жаргон употребляется там, где следовало бы говорить о властных отношениях, об идеологии, индоктринации и манипуляции. Понятно, что в СССР мало говорилось о чудовищном опыте коллективизации, "чисток", лагерей и т.п. Но и в странах, где не было цензуры и политической полиции, ряд тем находился под фактическим запретом.

Пока жили и занимали свои посты лица, входившие в администрацию Виши во Франции, трудно было ожидать того, что историки начнут копаться в деталях происходившего во времена оккупации; в США темы вроде бессудного интернирования всех лиц японского происхождения долгое время не считались уместными для публичного обсуждения; в ФРГ после войны 2/3 правящей партии составляли бывшие члены НСДАП, включая и тех, кто разрабатывал и осуществлял "новый порядок". Известно, что из тех лиц, которые принимали участие в разработке и осуществлении плана "окончательного решения еврейского вопроса" (равно как и "плана Ост") после войны были осуждены лишь единицы, принадлежавшие верхушке СС и НСДАП, тогда как участвовавшие в этих мероприятиях представители индустрии, транспорта, дипломатии и прочих немецких элит сделали в ФРГ

¹⁹ Ссылки эти свидетельствуют и о крайне ограниченных знаниях в области психологии. В самом начале недавно переведенной у нас книги П. Хаттона можно прочесть такой перл: "Как заметил Зигмунд Фрейд, память становится менее эффективной с возрастом" (Хаттон П. История как искусство памяти. С. 6). Неужели Фрейд был первым, кто заметил такую зависимость?

248

Психоанализ, история, травмированная "память"

времен Аденауэра блестящую карьеру. У элит быстро выработалась способность произносить выученные у американцев слова о демократии, почитать моральные заповеди христианства. К концу 1940-х гг. относится характерная шутка: "Когда я слышу человека, проникновенно произносящего: «Я почитаю Альберта Швейцера», ясно, что перед вами субъект, занимавший серьезный пост в партии или групп-пенфюрер СС". Поэтому ныне уважение вызывают не те, кто пишет о "возвращении вытесненного" или "коллективной вине", а историки, занимающиеся изучением того, как сказывался на исторической науке политический "казак" в недавнем прошлом (не забывая и о том, каков он сегодня).

Ответственность историка связана с ясным пониманием того, что при современных средствах манипуляции общественным мнением память любой группы можно изменить за одно поколение. Нам это хорошо знакомо и по недавнему прошлому, и по настоящему. Концепция "исторической памяти" была выдвинута теми, кто 30 лет назад пытался преодолеть завесу молчания относительно происходившего во времена гитлеризма — это чуть ли не единственное ее достоинство. Однако она может послужить (вернее, уже служит) идеологическому переписыванию истории.

Психоанализ весь XX в. был и остается одной из наиболее плодотворных психологических теорий. Он сильно изменился со времен Фрейда: ученики давно избавились от поспешных обобщений учителя, от тех

идей, которые принадлежали совсем другой эпохе (вроде ламаркизма или гидравлической модели психики). К сожалению, историки часто берут из психоанализа не представляющие ни малейшей ценности гипотезы, не сопоставляя их с тем, что пишут психологи других школ. Психоаналитики лечат людей, историки пишут тексты. Любой психотерапевт скажет, что больному ничуть не поможет правдивый рассказ его биографа (он может даже повредить пациенту), рационально мыслящий историк не изображает из себя пророка, не готовит "эмансипацию" человечества и не считает свои писания чем-то большим, чем они есть. Занятый исключительно прошлым "как оно действительно было" историк, конечно, сталкивается с вопросом: "Зачем тогда вообще нужна история в столь несовершенном мире, полном человеческой нужды?" Но тот же самый вопрос можно задать ученым, занимающимся космо-

249

Феномен прошлого

логией или поведением какого-нибудь несъедобного животного. Знания о пирах Лукулла никого не насытят, сведения о греческих тиранах или византийских императорах не помогут сегодняшнему властолюбцу. Вопреки тем, кто увязывает познавательный интерес то с властью, то с эмансипацией, наука начинается с удивления. Вероятно, существуют индивиды, которых чтение трудов Тита Ливия или Карамзина исцелит от невроза, равно как и те, кто сделается невротиком от прохождения курса истории. Но все же не следует путать два ремесла.

III. ZUR KRITIK

СОВЕТСКИЙ

И ПОСТСОВЕТСКИЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН:

ГЕРОИ, ПОЭТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Б.В. Дубин

За 1990-е гг. исторические романы русских (российских) авторов, написанные на отечественном материале, заняли одно из самых видных мест на книжных прилавках магазинов, в киосках и на лотках больших городов России, в кругу массового чтения россиян. Определенная часть этого литературного массива сложилась из дореволюционной исторической романистики и эмигрантской словесности прошлых лет, переизданной, а чаще впервые изданной в СССР за период "гласности" и позже (кроме не раз издававшихся в советское время М. Загоскина, И. Лажечникова, Г. Данилевского, это дореволюционные романы Даниила Мордовцева, Николая Гейнце, эмигрантская проза Марка Алданова, Петра Краснова, Ивана Лукаша и др., — они, как и исторические сочинения на русскую тему зарубежных авторов вроде Г. Самарова, Т. Мундта или К. Валишевского, здесь рассматриваться не будут). Другую часть образовали достаточно постоянные в тот же период переиздания уже собственно советской исторической прозы 1920—1970-х гг., о которых будет речь ниже. Но преобладающую часть этой книжной Атлантиды, которая на глазах прежних читателей поднялась из небытия за последнее десятилетие и предстает сейчас читателю-прохожему, "человеку с улицы", на любом городском углу, составляют *новые* исторические сочинения *сегодняшних* авторов. Именно они, причем лишь одной идейно-тематической разновидности — державно-патриотической — составляют главный предмет настоящей работы.

252

Советский и постсоветский исторический роман

В 1990-х гг. серия "Тайны истории в романах" открылась в одном из наиболее мощных частных издательств России "Терра". Библиотечки "Россия. История в романах", "Государи Руси Великой", "Романовы. Династия в романах", "Сподвижники и фавориты", "История отечества в событиях и судьбах", "Вера", "Вожди", "Великие", "Россия. Исторические расследования", "Душа России" и множество им подобных начали печататься, опять-таки, в столичных частных издательствах "Армада", "Лексика", "Центрполиграф", "Астрель", "Русскш миръ" и многих других. В результате исторические романы российских авторов вышли на одно из первых мест по популярности у широкого читателя. Согласно данным репрезентативного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ, ныне Аналитический центр Юрия Левады) в 2000 г., 29% опрошенных взрослых россиян обычно предпочитали читать и чаще книг других жанров читали "детективы", 24% — "любовные романы" и столько же — "исторические романы, книги по истории". При этом доли почитателей "детективов" и "любовных романов", в сравнении с 1997 г., когда наблюдался самый высокий взлет читательского интереса к этим жанрам, на нынешний день несколько сократились (с 32

до 29% и с 27 до 24% соответственно), тогда как средний показатель значимости исторической прозы для массового читателя остается стабильным¹. Среди городского населения те, кто, по их словам, предпочитают читать современные отечественные романы об истории России, составляют на конец 2002 г. самую большую в количественном отношении группу — 30,5% от 1998 опрошенных респондентов; чаще это россияне более старших возрастных категорий (40—54 лет) с высшим образованием, живущие не в столице.

Похожие всплески писательского и читательского интереса к фикциональному представлению истории по правилам романного повествования в отечественной культуре уже бывали, хотя их масштаб и характер были совершенно иными. Скажем, русская словесность переживала бурный взлет исторического романа в 1820—1930-х и 1860—1970-х гг. — на ключевых точках формирования национальной литературы как важнейшей части культурного достояния страны (условно говоря, в "пушкинский" и "толстовский" период литератур-

¹ См.: Левина М. Читатели массовой литературы в 1994—2000 гг. — от патернализма к индивидуализму? // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 4. С. 30-31.

253

Феномен прошлого

ного развития²). Если говорить в более общем социологическом плане, то в подобных обстоятельствах, в период запоздалой, но именно поэтому ускоренной модернизации общества, соответствующей радикальной перестройки его смысловых ориентиров ведущие группы общества или группы, претендующие на лидерскую роль, нередко переносят свои представления о лучшем и истинном, об идеальном обществе и полноте культуры, о себе и своей миссии — в условно конструируемое "прошлое", равно как другие — в столь же условное "будущее". Карл Манхейм называл конструкции первого типа идеологическими, а второго — утопическими. Конкурентная "борьба за историю", за свою легенду о ней — обязательный аспект такого рода процессов, когда силами, прежде всего, сообщества публичных интеллектуалов выстраивается новый, общий для данного социума символический порядок, выдвигаются символы коллективной идентичности нации, закладываются основания такой идентификационной конструкции, как "национальный характер". Жизненная важность подобных проблем для наиболее квалифицированных и активных групп общества такова, что, например, при разработке формул исторического повествования в оба из указанных периодов в России XIX в. тон задавали крупные литературные фигуры эпохи.

Однако меня прежде всего интересуют сейчас проблемы и процессы нынешнего российского общества, сегодняшней культуры — материалом работы выступает преимущественно историко-патриотическая романная продукция последнего времени³. Вместе с тем эта словесность как феномен *эпигонства*⁴ в своих идейных, образных, стилевых

² Как указывает Дамиано Ребеккини, в 1830-х гг. исторические романы составили по названиям больше половины всей отечественной романной продукции этого периода (см.: Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х гг. XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 419).

³ В дальнейшем будет цитироваться в основном продукция издательства "Армада", серия "Россия. История в романах". Тиражи анализируемых изданий соответствуют средним тиражам художественной литературы 1990-х гг. — от 10 до 20 тыс.

Упомянутый среди них роман Э. Зорина вышел в издательстве "Лексика" тиражом 50 тыс. экз.

⁴ Об этом важном культурном феномене см.: Asbeck H. Das Problem der literarischen Abhängigkeit und der Begriff des Epigonalen. Bonn, 1978; Дубин Б. Слово — письмо — литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 267—270.

254

Советский и постсоветский исторический роман

характеристиках подытоживает основные проблемные и тематические линии советской исторической прозы 1920—1930-х и 1970-х гг. Больше того, сегодняшний историко-патриотический роман как явление идеологически-реставраторское принципиально связан с советской эпохой и не понятен вне ее. Поэтому для более объемного уяснения и его самого, и более широкого процесса идейной реставрации в современной общественной жизни России, в российской культуре необходим хотя бы короткий экскурс в прошлое, в том числе — прошлое исторического романа⁵.

Исторический роман в различных национальных литературах мира — это роман о Новом времени: о процессах социальной и культурной модернизации Запада, причем именно и прежде всего Европы. Характерно, что в наиболее полный из доступных мне аннотированных указателей избранной исторической романистики оказалось включено: романов об античной эпохе — 337, о Средних веках и периоде Возрождения — 540, о Западе Нового времени, после 1500 г., — 4015 (из них о Европе — 2052, о США — 1579)⁶. Исторический роман в условной, фикциональной, нередко даже притчевой форме представляет конфликты перехода от родового, статусно-иерархического, феодального общества с его традиционными формами отношений (прежде всего — отношений господства и авторитета), от жестко предписанных сословных, клановых, межпоколенческих, половых и семейных связей к современному ("модерному"), буржуазному миропорядку. А это

⁵ Представления россиян о прошлом, их динамика на протяжении 1990-х гг. прослеживались автором на данных эмпирических опросов в статьях: Дубин Б. Национализированная память (О социальной травматике массового исторического сознания) // Человек. 1991. № 5. С. 5—13; Дубин Б. Прошлое в сегодняшних оценках россиян // Экономические и социальные перемены. 1996. № 5. С. 28—34; Дубин Б. Конец века // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4. С. 13—18. См. также: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 167—197. 283—284. 293; Левинсон А. Массовые

представления об "исторических личностях" // *Одиссей*. 1996. С. 252—267.

⁶ Рассчитано автором по изданию: McGarry D.D., White S.H. *Historical Fiction Guide*. N.Y.. 1963.

255

Феномен прошлого

значит — к индивидуалистическому этосу личного самоопределения, конкурентным стратегиям самореализации, установке на персональные достижения, их накопление и учет, более того — постоянное повышение ориентиров и критериев успеха, к разным видам общественного договора и представительным формам выборной власти.

В отличие от прежних (летописно-хроникальных, назидательно-аллегорических) форм представления прошлого, исторический роман, жанр и сам по себе новый, не кодифицированный и не удостоверенный эстетическим каноном, возникает в рамках идейного, идеологического противопоставления "истории" и "традиции", как разных типов регуляции жизни людей и сообществ — феномена тоже сравнительно позднего и основополагающего для современной эпохи. Наделяясь значением истории, те или иные элементы прежних традиций теряют жесткую однозначность безальтернативного образца и выступают в модусе "обычаев" или "нравов" прошлого, которые надлежит отвергнуть и преодолеть либо, напротив, переосмыслить и сохранить. В любом случае, они отчлняются от предписанной связи с высоким социальным статусом или мифологическим рангом, универсализируются до героических символов, моральных примеров, назидательных аллегорий, а в конечном счете выступают в обобщенных значениях правильного и достойного. В историческом романе для публики, конечно же, важно то, что он по материалу, обстановке, коллизиям, персонажам *исторический*. Но не менее существенно, что перед читателем — *роман*, т.е. современный (понимай: поздне- и постромантический) повествовательный жанр с его современными представлениями о герое, человеческих отношениях, проблемах и обстоятельствах, с его современным взглядом на жизнь и современными же средствами ее жизнеподобного словесного представления. Иными словами, история здесь, строго говоря, не противопоставляется современности ("модерности"), а выступает одним из смысловых планов в проблематичной, многомерной и многоуровневой конструкции этой последней — планом наиболее значимых ценностей и предельных санкций поведения индивида, группы.

Смысловой, модальный барьер между настоящим и прошлым фиксируется при этом уже собственно романскими — сюжетными, стилистическими — средствами. Он разворачивается как динамическая и неустранимая, более того — постоянно поддерживаемая, проблематизируемая и воспроизводимая в повествовании дистанция между вымышленным "маленьким" персонажем и высокими "подлинными"

256

Советский и постсоветский исторический роман

историческими героями, между обобщенным, универсальным и частным, локальным значением героев, эпизодов и ситуаций⁷. Эту дистанцию можно обнаружить в средствах обрисовки тех и других действующих лиц (мера "реалистичности" их изображения, "психологичности", обращения к "внутренней" мотивации и пр.), в их прямой речи (степень ее условности, стилиевой окрашенности и т.п.). Допустимо сказать и иначе: описываемая проблематичная дистанция, барьер или конфликт между разными уровнями, пластами значений актуального времени разворачиваются и представляются в форме со- и противопоставления истории как нормативной фактичности и самодостаточности однократно случившегося, с одной стороны, и истории как условности, точнее — набора различных условностей повествования (а значит — его обратимости, соотносительности и пр.), с другой⁸.

Значения "прошлого" могут быть словесно представлены по-разному, в разной повествовательной или драматической (жанровой) форме; различным будет и их значение (функция). Вовсе не каждое из подобных представлений наделяется в новейшее время (ограничиваясь здесь только им) статусом "истории", "исторического". Так античные, библейские или средневековые отсылки в галантном романе либо в классицистской трагедии указывают на предельно высокий ценностный статус действующих лиц, которые и могут быть героями лишь потому, что по предписанной жанровой традиции принадлежат к эпохе мифического "начала", к экстраординарным временам богов, титанов, тиранических правителей. Индивидуальной проблемы соединения героического и повседневного в собственном поведении персонажа, как и в средствах повествования о нем, здесь просто нет: ценностный конфликт, скажем, чувства и долга может мучить царицу, но не ее служанку.

⁷ О проблеме соединения фактов с вымыслом, местного колорита с универсальными характерами у В. Скотта и во французском историческом романе вальтерскот-товского типа см.: Реизов Б.Г. *Французский исторический роман в эпоху романтизма*. Л.. 1958. С. 78-87.

* Можно выделить еще более "рабочий" план анализа двух данных уровней исторического повествования в форме "реалистического" ("психологического") романа, прослеживая соотношение между описанием от третьего лица или от условного повествователя, с одной стороны, и прямой речью ("драматическими сценами"), с другой; между слоем "основного действия" персонажей и авторскими "историческими" (фактографическими) примечаниями к нему.

257

Феномен прошлого

В центре же собственно исторического романа — в чем и состоит его культурная значимость как универсальной формы обобщения и представления человеческого опыта — человеческая цена крупномасштабного перехода от традиции к истории для людей власти, высшей аристократии, военной и

церковной элит (по преимуществу — представителей традиционной элиты), с одной стороны, и для "нового" героя, обедневшего дворянина, представителя третьего сословия, "маленького человека", часто — женщины или юноши, которые первыми в роду, в своей семье получают собственную индивидуальную биографию, сами делают ее и оказываются при этом в средоточии сословных, династических, конфессиональных, межгосударственных конфликтов и авантур эпохи — с другой. В этом смысле, обычный человек "как все" (обязательный персонаж исторического романа, будь то один из основных героев или точка зрения, ценностный масштаб), вступая, вписываясь в общую историю, создает историю собственную — создает себя как историческую личность. На пересечении силовых линий "история и традиция", "история и современность", "история/традиция и утопия" в сфере воздействия идей и принципов романтизма складывается смысловое поле культуры как антропологической программы формирования активного, самостоятельного и зрелого индивида среди подобных ему полноценных социальных существ. Исторический роман, как и социально-критический роман вообще, — феномен буржуазного общества и модерной эпохи (каждый кризис, или "конец", романа, включая исторический роман, — симптом кризиса идеи современности и программы культуры, всякий раз нового уровня их проблематичности и проблематизации). Складываясь в рамках и на исходе романтической эпохи, он вбирает и перерабатывает элементы рыцарского, плутовского, галантно-авантюрного и галантно-эротического, назидательно-аллегорического романа, романа воспитания и других предшествующих повествовательных формул. Важный и популярный у читателей вариант более позднего, хотя и питающегося романтической идеологией массового исторического романа, — это *biographic romance* (художественная биография) политического лидера, гения литературы и искусства, а еще позднее — "людей успеха" вообще (среди широко признанных как литературной критикой, так и читателями мастеров подобного жанра — Андре Моруа, Стефан Цвейг, Эмиль Людвиг).

258

Советский и постсоветский исторический роман

Стратегические различия в трактовке подобных тектонических процессов представителями разных общественных групп, которые вступают в эти процессы раньше или позже, а потому оказываются в разных социальных ситуациях и исторических обстоятельствах, ориентируются на разных потенциальных партнеров и "адресатов", — дают, начиная с произведений Мэри Эджуорт (1800), Джейн Портер (1803), Вальтера Скотта (1814 и далее), Алессандро Мандзони (1821—1823), Фенимора Купера (1821 и далее), Альфреда де Виньи (1826), Оноре де Бальзака (1826), Проспера Мериме (1829), Виктора Гюго (1831) практически все многообразие национальных разновидностей исторического романа в странах Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки⁹. Явные "пики" в количественном производстве исторических романов и в широком интересе читателей к ним приходится в новейшее время на эпохи общественного подъема, начальные, наиболее социально динамичные периоды строительства надсословного, уже собственно буржуазного, национального государства¹⁰. Именно тогда в исторический роман приходят лучшие литературные силы эпохи, и жанр становится доминантным для художественной словесности

⁹ Из обзорных работ по основным регионам укажу лишь несколько: Nelod G. Panorama du roman historique. Bruxelles, 1969; Fleishman A. The English Historical Novel. Baltimore; L., 1971; Dickinson A.T. The American Historical Fiction. Metuchen, 1971; Menton S. Latin America's New Historical Novel. Austin, 1993; Elmore P. La fabrica de la memoria. La crisis de la representation en la novela historica hispanoamericana. Mexico, 1997; Muelberger G., Habitzel K. The German Historical Novel (1780—1945) // *Reisende durch Zeit und Raum/Travellers in Time and Space. Der deutschsprachige his-torische Roman*. Amsterdam, 1999. Первые из известных мне русских исторических романов принадлежат Ивану Гурьянову ("Битва Задонская, или Поражение Мамая на полях Куликовских", 1825) и Ивану Телепнёву (роман о запорожских казаках "Госницкий", 1827). Указатель ранней русской исторической прозы см.: Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х гг. XIX века // *Новое литературное обозрение*. 1998. № 34. С. 416—433.

¹⁰ Испанский социолог культуры Хуан Феррерас прямо связывает возникновение героико-романтической и авантюрно-приключенческой разновидности исторического романа в Испании с краткой победой либеральных сил в социально-политической жизни страны (см.: Ferreras J.I. El triunfo del liberalismo y de la novela historica, 1830—1870. Madrid, 1976. С национально-освободительным, антиимперским движением связан польский исторический роман 1880—1900-х гг. (Б. Прус, Г. Сенкевич, С. Жеромский), хорошо известный и в России, и в Советском Союзе, в последнем случае — еще и по многочисленным киноэкранизациям 1960—1970-х гг. В том же русле и тех же временных рамках в Чехии возникают исторические романы А. Ирасека и др.

259

Феномен прошлого

той или иной страны, приобретает высокие литературные амбиции, наделяется культурной авторитетностью".

Другая композиция социально-исторических обстоятельств и факторов — здесь речь идет, напротив, о периодах социальных кризисов, крупномасштабных испытаний для обществ либерально-буржуазного типа, для порожденного ими человеческого склада — вызывает к жизни и другие жанровые разновидности исторического романа (социально-критический роман с элементами сатиры, аллегии, притчи — такой, например, была ситуация в Германии 1930—1940-х гг., давшая, в противоборстве с историческим романом "почвы и крови", исторические романы Л. Фейхтвангера, Генриха и Томаса Манна¹²). Наконец, на рубеже XIX—XX вв., в период расцвета декадентского и символистского исторического романа, ключевой проблемой, ведущим мотивом выступает собственно *культурный* слом времен, а материалом

аллегорического повествования на материале поздней античности или средних веков становится гибель всего символического космоса, "конец веры", пришествие эпохи ересей и смут (пионерным образом, своего рода прообразом жанра здесь является, видимо, христианская эпопея Шатобриана "Мученики", 1809)¹³. В России XVIII—XIX вв. инициатива политической и социальной модернизации принадлежит, по известной формулировке А.С. Пушкина, правительству, а группировки элиты (в частности, интеллектуальные слои с их просветительской журналистикой) складываются в процессах конкуренции за право истолковывать модернизационные представления верховной власти. Характерно, что 30-е гг. XIX в., эпоха утверждения исторической романистики в России (романы М. Загоскина, И. Глухарева, И. Лажечникова, А. Москвичина, К. Масаль-

¹¹ Характерно, что для Германии в качестве периода расцвета исторического романа специалисты указывают 1850—1870 гг. (см.: Muelberger G., Habitzel K. *The German Historical Novel (1780—1945)*). В этот же период в общенациональном масштабе формируется и идеология немецкой литературной классики (см.: *Die Klassik Legende* / R. Grimm von, J. Hermand (Hrsg.). Frankfurt a.M., 1971; *Begriffsbestimmung der Klassik und des Klassischen* / H.O. Burger von (Hrsg.). Darmstadt, 1972; *Проблемы социологии литературы за рубежом*. М., 1983. С. 55—57).

^a См.: Schroetter K. *Der historische Roman: Zur Kritik seiner spaetbuergerlichen Erscheinung // Exil und innere Emigration*. Frankfurt a.M., 1972. S. III—151.

" Для России это романы Д. Мережковского, В. Брюсова, В. Крыжановской (Рочестер).

260

Советский и постсоветский исторический роман

ского, Р. Зотова, Н. Зряхова), отмечены острой идеологической и литературной борьбой между аристократической жанровой формулой исторического романа и драмы, которую разрабатывает Пушкин, и подходами идеологов третьего сословия — в первую очередь, развлекательно-нравоучительными романами Ф. Булгарина". На это противостояние накладывается оппозиция идейной независимости дворянства (сдержанная аристократическая критика власти, направленности и половинчатости инициированных ею социально-политических реформ), с одной стороны, и соглашательства с властью (официальное народничество), с другой, которая, в свою очередь, осложняется позднее оппозицией западников и славянофилов. Но и та, и другая сторона при этом едины в своем неприятии решительных общественных перемен и радикальных путей к преобразованию страны. Для славянофилов этот неприемлемый, губительный для страны вариант воплощают западники, для западников же — нигилисты, революционеры-народовольцы. В этом смысле русский исторический роман XIX в. содержит в себе как умеренно-либеральное, так и жестко-консервативное отталкивание от самой идеи кардинальных крупномасштабных реформ, тем более — от мысли о социальной революции. Показательно, что до 1917 г. русские литераторы, близкие к революционному народничеству, а впоследствии — к марксизму, не раз обращались (как, например, Александр Богданов) к *утопической* романистике, но практически никогда не работали в жанре *исторического* романа.

Напротив, именно ситуация и герои революционных переломов в истории России (такие, как Разин, Пугачев, декабристы, народовольцы) образуют проблемный центр советского исторического романа 1920-х, а во многом — 1930-х гг. и отчасти всех последующих десятилетий. Такова одна из идейных линий советской исторической романистики — линия, условно говоря, либерально-демократическая, прогрессистская.

Исторический роман, шире, историческая проза (новелла, повесть), равно как и жанр литературной утопии (политическая, экзотическая, детективная, техническая и другая фантастика), возникают в совет-

¹⁴ См.: Переверзев В.Ф. Пушкин в борьбе с русским плутовским романом // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 164—188.

261

Феномен прошлого

ской России уже на самом начальном этапе формирования "новой" литературы, подводящей символические итоги революционного переворота и гражданской войны. Вскоре появляются и первые обобщающие работы об этом литературном феномене¹⁵. Характерно, что все это происходит на той идеологической фазе, когда власть провозглашает демонстративный идеологический "разрыв с прошлым". Фактически подобный прокламируемый "разрыв" означает одно: заявку победившей власти и ее приверженцев на монопольное владение истолкованием социальной жизни — как дореволюционной истории, так и пореволюционного настоящего. В дальнейшем конструирование всей области исторического — группировка событийного материала, истолкование мотивов поведения исторических лиц — едва ли не целиком определяется характером власти в тот или иной период советской эпохи. Смену близких к власти групп и клик можно проследить на соответствующих сдвигах и переакцентировках официальной риторики в той части, которая касается прошлого.

На начальном этапе прошлое понимается исключительно в качестве проекции произошедшего революционного переворота, что и предопределяет отбор ключевых точек, исторических героев. Соответственно в истории актуализируются именно те фигуры, которые, во-первых, подвергают это прошлое ("царизм") жесточайшей критике и даже радикальному отрицанию, а во-вторых, трактуются как "близкие к народу", к "пролетариату" (на этих основаниях, в частности, формируются первые позитивные представления о классиках отечественной литературы и искусства, систематизированные уже позднее, в 1930-е гг.). Вокруг этого комплекса идей завязываются два из основных тематических направлений в

разработке историко-беллетристического жанра¹⁶.

"Статья О. Кемеровской "К проблеме современного исторического романа" публикуется уже в 1927 г. (октябрьский номер журнала "Звезда"), в том же году выходит монография И. Нусинова "Проблема исторического романа". Подробнее см.: Изотов И.Т. Из истории критики советского исторического романа (20—30-е гг.). Оренбург, 1967. Об утопическом жанре в том же политическом и культурном контексте см. аналитический обзор: Дубин Б.В., Рейтблат А.И. Социальное воображение в советской научной фантастике 20-х гг. // Социокультурные утопии XX века. Вып. 6. М., 1988. С. 14—48.

"Кроме уже указанной книги И. Изотова, см. литературоведческие работы о советском историческом романе советского же периода: Александрова Л. П. Советский

262

Советский и постсоветский исторический роман

Во-первых, это роман об идеях гражданских свобод, об интеллектуальных предшественниках русской революции 1917 г. (таковы роман Ольги Форш "Одеты камнем", 1924—1925; "Кюхля" Юрия Тынянова, 1925; "Северное сияние" Марии Марич, 1926)¹⁷; вариант этой сюжетной формулы — романизованная биография героя "из народа" (Ломоносов, Тарас Шевченко, художник Павел Федотов и др.) — использует сюжетные и стилистические шаблоны "романа социального восхождения". Второе направление — роман о народном бунте ("Разин Степан" Алексея Чапыгина, 1925—1926, позднее — его же "Гулящие люди", 1934—1937; "Стенькина вольница", 1925 и "Бунтари", 1926, Алексея Алтаева; "Салават Юлаев" Степана Злобина, 1929 или "Гуляй, Волга" Артема Веселого, 1932). В дальнейшем и сами фигуры подобных героев и особенно их трактовка в советской литературе во многом задаются представлениями В.И. Ленина о трех этапах освободительного движения в России. В 1930-е гг. первую тематическую линию — роман о предшественниках русских революций XX в. — продолжили Анатолий Виноградов в "Повести о братьях Тургеневых" (1932), Форш в "Радищеве" (1935—1939), Тынянов в "Пушкине" (1935—1943), Иван Новиков в "Пушкине в изгнании" (1936—1943). Вторую тематическую линию — роман о народном восстании — развили Георгий Шторм в "Повести о Болотникове" (1930), Вячеслав Шишков в "Емельяне Пугачеве" (1938—1945), а еще позднее — Степан Злобин в "Степане Разине" (1951).

Но уже в конце 1920-х гг. начинает разрабатываться еще одна, третья и крайне важная для исследуемой мною темы линия советской исторической прозы — роман об императоре, его империи и его народе: "Петр Первый" А.Н. Толстого (1929—1945; в 1934 г. на сцену страны вышла одноименная пьеса автора, а в 1937—1938 гг. — двухсерийный фильм В. Петрова по сценарию А.Н. Толстого, в котором имперские мотивы еще усилены; первая серия фильма получила приз

исторический роман и вопросы историзма. Киев, 1971; Нестеров М.Н. Язык русского советского исторического романа. Киев, 1978; Петров С.М. Русский советский исторический роман. М., 1980.

¹⁷ С середины 1920-х гг. начинает публиковаться историческая проза о первой русской революции — романы В. Залежского "На путях к революции" (1925), И. Евдокимова "Колокола" (1926), Е. Замысловской "Первый грозный вал" (1926), равно как и романы о предшественниках русских революций на Западе — "1848 год" и "1871 год" той же Е. Замысловской (оба — 1924).

263

Феномен прошлого

Парижской Международной выставки 1937 г.), "Екатерина" Анатолия Мариенгофа (1936) и др.¹⁸ Если две первые линии можно назвать соответственно революционно-интеллигентской (вариант классического русского романа о "лишнем человеке") и народно-бунтарской (вариант "разбойничьего романа"), то третью — государственно-державной.

Наконец, еще одну линию, военно-патриотическую, начинают в 1930-е гг. романы Алексея Новикова-Прибоя "Цусима" (1932—1935), Виссариона Саянова "Олегов щит" (1934), Сергея Сергеева-Ценского "Севастопольская страда" (1937—1939), Василия Яна "Чингис-хан" (1939). Напомню, что военно-патриотическая тема — в частности, в связи с мобилизационно-милитаристской идеологией и массовой практикой подготовки страны, а особенно молодежи, к предстоящей большой войне — развивается в данный период и в жанре советской исторической поэмы, в исторической пьесе (Сельвинский, Симонов, Вл.А. Соловьев)¹⁹. Больше того, государственно-державную и военно-патриотическую линии исторической прозы в эти годы подхватывает кино ("Александр Невский" и "Иван Грозный" Эйзенштейна, многочисленные фильмы-биографии), театр (драматическая диалогия А.Н. Толстого об Иване Грозном), живопись²⁰.

"Антитезой такого рода "придворной" романистике могли бы стать социально-критический роман-сатира франковского типа или аллегорическая притча о диктаторе, много примеров которых дает западно- и восточноевропейская литература первой половины XX в. (Д. Костолани и др.), а позже — литературы стран Латинской Америки (А. Роа Бастос, М. Варгас Льюса). В советской России роман подобного, просвещенческого в своей основе характера почти не получил развития; к редчайшим исключениям уже на позднем этапе принадлежат книги Мориса Симашко о восточных деспотиях — "Хроника царя Кавада" (1968), "Маздак" (1971).

"Советские авторы, пишущих на оборонную тему, проводятся в Москве уже в феврале 1937 г. Но и до этого, кроме уже упомянутых, выходят книги военно-исторической тематики Г. Бутковского "Порт-Артур" (1935), А. Дмитриева "Адмирал Макаров" (1935), К. Левина "Русские солдаты" (1935), К. Осипова "Суворов в Европе" (1938) и др.

²⁰ См. об этом: Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago; L., 1985 (рус. пер.: Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002); Stiles R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1900.

Cambridge, 1994. P. 64—97; Агитация за счастье: советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф; Бремен, 1994; Соцреалистический канон. СПб., 2000.

264

Советский и постсоветский исторический роман

Так обрисовывается самая общая социально-идеологическая рамка исторической романистики 1930-х гг. и последующих военных лет. В ней перед широким читателем предстает процесс создания мощной российской военной державы в его поворотных пунктах: на этапах "собирания" и укрепления имперского целого России, в жестоких испытаниях, прежде всего военных, и в главных действующих лицах — фигурах царей, полководцев и героев из народа. Именно во второй половине 1930-х гг. общая трактовка российской истории, всего хода модернизации страны (модернизации поздней, принудительной, централизованной и военно-экспансионистской, заданной сверху идеями царей-"реформаторов" и проектами отдельных фракций правящей бюрократии) делает — после периода пореволюционной эйфории, утопической и интернационалистской по духу, — новый поворот. Теперь в "легенде власти" на первый план выходят проблемы построения мощного национального государства, централизованной милитаризованной державы, темы "наследия", культурного синтеза, классики и пр. Это заставляет акцентировать в актуальной риторике мотивы, героев, эпизоды уже имперского и предимперского периодов русской истории. Именно тогда и в данном контексте на историческую авансцену выдвигаются фигуры Ивана Грозного и Петра Первого.

К ним в середине 1930-х гг. обращается советское руководство, его пропагандистский аппарат и примыкающая к нему либо так или иначе на него ориентирующаяся советская историческая наука, авторы программ и учебников по истории для средней и высшей школы (в 1933 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление о "стабильных" школьных учебниках, в мае 1934 г. — постановление "О преподавании гражданской истории в школах СССР")²¹. Сталинская конституция подводит черту под ближайшим прошлым, объявляя о том, что процесс строительства новой общественной системы в стране завершен.

²¹ К этому следует добавить письмо Сталина по поводу статьи Ф. Энгельса "Внешняя политика русского царизма" (июль 1934 г., распространялось в партийной верхушке, опубликовано в 1941 г.). Сталинский взгляд середины 1930-х гг. на историю, в том числе отечественную, вскоре стал предметом самого массового распространения: включивший его высказывания и партийно-государственные постановления сборник "К изучению истории" вышел в 1937 г. тиражом в 125 тыс. экземпляров (см.: Бордюгов Г., Бухараев В. Национальная историческая мысль в условиях советского времени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999. С. 29-36).

265

Феномен прошлого

Соответственно подвергаются идеологическому отбору, препарированию, обработке представления о предшествующем периоде: октябрьской революции и ближайшей пореволюционной эпохе. В июле 1931 г. выходит постановление ЦК о создании "Истории гражданской войны", разработанное по инициативе М. Горького²². С 1932 г. начинает издаваться биографическая книжная серия "Жизнь замечательных людей", опять-таки инициированная Горьким. В журнале "Октябрь" тогда же проходит дискуссия на тему "Социалистический реализм и исторический роман". Выходит монография М. Серебрянского "Советский исторический роман" (1936), над книгой об историческом романе активно работает Д. Лукач²³. В 1936 г. создается Институт истории АН СССР. Вместе с тем формируется корпус отечественной литературной классики, история русской литературы начинает по стандартной программе преподаваться в школах. В 1938 г. появляется документ, программный для всего этого процесса нового конструирования прошлого, — сталинский "Краткий курс", а в ноябре того же года — постановление ЦК "О постановке партийной пропаганды", резко осуждающее трактовку истории как "политики, опрокинутой в прошлое". Тем самым сталинская власть однозначно дает понять, что борьба за смысловое истолкование прошедшего завершена. Расстановка социальных сил в правящих верхах, в прилегающих к ним социальных слоях репродуктивной бюрократии ("советских служащих"), наконец, в ориентирующихся на обе эти инстанции группах

²² Первые романы об исторических деятелях октябрьской революции и гражданской войны появляются уже во второй половине 1930-х гг., в эпоху, назвавшую себя "сталинской", — "Билет по истории" М. Шагинян (о Ленине, 1938) и др. Посвященные фигуре самого Сталина "Хлеб" А.Н. Толстого и "Батум" М. Булгакова относятся к тому же периоду. О Сталине как герое литературы см.: Marsh R.J. Images of Dictatorship: Portraits of Stalin in Literature. L.; N.Y., 1989; March R.J. Literary Representations of Stalin and Stalinism as Demonic // Russian Literature and its Demons / P. Davidson (ed.). N.Y.; Oxford, 2000. P. 473—511.

⁰ На русском языке фрагменты опубликованы в журнале "Литературный критик" (1937. № 7, 9, 12; 1938. № 3, 7, 8, 12). Нем. изд.: Lukacz G. Der historische Roman. Berlin, 1955 (англ. пер.: Lukacs G. The Historical Novel. Boston, 1963).

266

Советский и постсоветский исторический роман

более образованных и квалифицированных горожан — слое "победителей" — задает смысловой рисунок основных идейных конфликтов, структуру характеров и "портретные" черты героев исторической романистики 1930—1940-х гг., точно так же, как и актуальной прозы тех лет о революции и пореволюционной эпохе. Важно еще раз подчеркнуть, что тогдашний исторический роман, как и научно-фантастическая,

утопическая и антиутопическая проза, писались, прочитывались, истолковывались в литературном контексте современной, "новой" словесности, а в работу над произведениями этих жанров были включены первоклассные писательские силы эпохи²⁴. Принципиальную ценностную композицию литературной "формулы" исторического романа в зрелый период советского общества образуют фигуры и значения "власти" — "народа" — "интеллигенции" — "Запада" и (или) его "черной тени" — "Востока"²⁵.

Поскольку единственной смыслозадающей инстанцией и, вместе с тем, воплощением тотального контроля над поведением героев для отечественного варианта этой обобщенной литературной формулы выступает власть, то поведение фигур, представляющих все остальные социальные силы или хотя бы их зачатки, укладывается в достаточно жесткие рамки либо подчинения (исполнения), либо отклонения (от бунта до измены). Любые самостоятельные действия частного человека выступают для окружающих персонажей и для читателя как заранее подозрительные. Но таковы же они и для самого действующего лица: "усомнившийся", "потерявший ориентиры", "соблазненный", "изменник", а то и прямой "враг", как предполагается, могут таиться в каж-

²⁴ Если говорить об исторической прозе, то к перечисленным Ю. Тынянову и М. Булгакову, А. Веселому и А.Н. Толстому нужно добавить А. Платонова с его повестью о временах Петра I "Епифанские шлюзы" (1927). О крупных писателях, писавших тогда утопико-фантастическую прозу, помимо тех же Булгакова, Платонова и А.Н. Толстого, см. в указанном выше обзоре Б. Дубина и А. Рейтבלата.

²⁵ В советскую эпоху ближневосточное направление российской геополитики так или иначе отражается в тыняновской "Смерти Вазир-Мухтара", "татаро-монгольской" трилогии В. Яна, а дальневосточное — в романах Н. Задорнова от "Амура-батюшки" (1944) до его же "Симоды" (1975). На североамериканском направлении в годы "холодной войны" и сталинской "борьбы с космополитизмом" работает И. Кратт с его романами о русских колонистах в Северной Америке "Остров Баранова" (1945) и "Колония Росс" (1950).

267

Феномен прошлого

дом²⁶. Романский персонаж, как и реальный человек тех лет, может, как предполагается, и сам не знать, что помогает врагу ("невольный пособник"). И чем сложнее, неоднозначнее, индивидуальнее герой, тем скорее падет на него подобное подозрение. Равно как и наоборот: только простота, бесхитрость, открытость могут быть для персонажа и окружающих его лиц удостоверением и гарантией чистоты помыслов, беспрекословной верности предписанному долгу.

Простота и прозрачность романских характеров, мотивов их действий воспринимается широким читателем как их "жизненность", похожесть на "всех нас", человеческая узнаваемость. В известном соответствии с постулатами социалистического реализма (напомню, что они начинают форсированно разрабатываться с 1932—1933 гг., после постановления партии об упразднении всех писательских организаций и в преддверии ведомственной централизации управления литературой и искусством²⁷, а узакониваются первым съездом писателей в 1934 г.), подобная конструкция художественной антропологии встречается и усваивается читателями как "сама жизнь".

При этом одна, интеллигентски-прогрессивистская линия, линия умеренно-либеральной критики в развитии советского исторического романа 1920—1980-х гг. (от Тынянова и Форш до Натана Эй-дельмана и Юрия Трифонова, Булата Окуджавы, Юрия Давыдова и Марка Харитонова) сосредоточивает внимание преимущественно на человеческой цене процессов форсированной модернизации. Безликой жестокости государства и изоляционистской официальной идеологии "нового человека", принятой и развитой в романистике социалистического реализма, здесь — на разных этапах, в практике разных групп интеллигенции — противопоставляется "вечный" человек христианства (как у Булгакова), русский "стихийный" человек (как у Веселого)

²⁶ См. об этом: Brooks J. Honor and Dishonor // Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, 2001. P. 127—158. В общесоциологическом плане проблема развернута в работе: Гудков Л. Идеологема "врага" // Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997—2002 гг. М., 2004. С. 552-649.

²⁷ В июле 1933 г. "Правда" помещает редакционную статью "Литература и строительство социализма", через несколько дней выходит программная работа Горького "О социалистическом реализме", начинается идейная и организационная подготовка писательского съезда, а в первые дни 1936 г. создается Всесоюзный комитет по делам искусств.

268

Советский и постсоветский исторический роман

го), "частный" человек (как у Окуджавы), собственно "человек исторический" (как у Тынянова, Трифонова, Ю. Давыдова).

Зачастую роман данной линии, вслед за классической русской литературой XIX в., делает своим протагонистом — и антиподом власти — "маленького человека", который помимо собственной воли попадает под колеса истории. Ценностная перспектива повествования в таких случаях, причем нередко выстраивающаяся от "первого лица" (а это форма для исторического жанра исключительная), задана образом жертвы, пусть даже "невольной". Масштаб и характер оценок действующих лиц, ролевых конфликтов и сюжетных поворотов определен "стороной потерпевших". Вариантом подобной парной формулы "царь и подданный" в романах данного подтипа выступает пара "художник и власть" (романы и повести Тынянова; "Повесть о Тарасе Шевченко" Лидии Чуковской, 1930; "Жизнь господина де Мольера" Булгакова, 1932—1933). Еще один важный смысловой момент, ценностный полюс в повествованиях данной

линии — позитивная или, по крайней мере, конструктивно-нейтральная оценка "Запада" и соответствующие смысловые акценты в обрисовке представляющих его фигур. Только в рамках этого направления возможен исторический роман, полностью построенный на западном материале (например, "Осуждение Паганини" Виноградова).

Другая, условно говоря, консервативная линия, начиная с Алексея Толстого, связана преимущественно с патриотическими мотивами державы (а позже, с 1970-х гг. — "почвы"), ее единства, военного могущества и триумфа, ставя в центр повествования царя-самодержца и его "верных слуг". Последние во имя интересов целого действуют с предельной жестокостью, без оглядки на какие бы то ни было социальные издержки и человеческие потери. В этом плане фигуры жертв составят обязательные атрибуты исторической прозы и этого типа, но будут по-другому ценностно аранжированы. Среди прочего, здесь изобилуют натуралистические сцены мучений и гибели подобных жертв, причем в их роли часто оказываются самые юные герои — молодая девушка или отрешенный от окружающего отрок, символизирующие незрелость, чистоту и хрупкость, едва ли не обреченность всего народа, родины, страны.

Позже, уже в 1970-е гг., после очередного размежевания теперь уже послеоттепельной интеллигенции на прозападническую и консервативно-патриотическую, легенда власти постепенно приобретает

269

Феномен прошлого

вид "возвращения к началам" и поиска исторических "корней", особого человеческого склада, "русского характера". С ориентацией на эти моменты (но в том числе и в полемике с такой тогдашней интернационалистской идеологией официальной пропаганды, как "новая историческая общность людей — советский народ"²⁸) в исторические романы-эпопеи Дмитрия Балашова, Олега Михайлова, Валентина Пикуля на правах ключевого символа вводится "почва" и иные знаки того же "органического" ряда ("род", "кровь")²⁹. Наряду с имперской эпохой русской истории (прежде всего — "петербургским" периодом государственно-централизованной модернизации), все большее внимание романистов этого направления привлекают начальные этапы собирания русского государства — "киевский" и "московский" периоды, равно как и заключительный этап российской монархии ("Август четырнадцатого" Солженицына, 1971; "У последней черты" Пикуля, 1979). Усиливается интерес к отечественным "истокам", догосударственной, племенной "Руси изначальной" (по заглавию известного в ту пору романа Валентина Иванова, 1961)³⁰.

У Пикуля к общей конструкции "романа о почве" и "русском характере" присоединяются элементы героико-авантюрного и даже мелодраматического повествования ("Пером и шпагой", 1972). Сюжетные мотивы, связанные с Западом, читателям Пикуля предлагается воспринимать и интерпретировать через особый, "снижающий" ценностный барьер или, можно сказать, своеобразный фильтр: сквозь трафаретку плутовского романа с его "низкими" героями и соответствующими (эгоистическими, корыстными, власте- или сластолюбивыми, в любом случае — подозрительными и недостойными) мотивами действия. Напротив, в исторических романах либерально-критической линии (Ю. Трифионов, Ю. Давыдов, Б. Окуджава) все шире разрабатываются мотивы бесчеловечной бюрократической власти,

²⁸ Всесоюзная конференция на тему "Новая историческая общность людей — советский народ и литература социалистического реализма" проходит в Москве в октябре 1972 г.

²⁹ См.: Анисимов Е. "Феномен Пикуля" — глазами историка // Знамя. 1987. № И. С. 214—223.

³⁰ Здесь закладываются первые образцы той "славянской фэнтези", которая расцветет через поколение уже в конце 1990-х гг. (см.: Каганская М. Миф двадцать первого века, или Россия во мгле // Страна и мир. 1986. № И; 1987. № 1, 2).

270

Советский и постсоветский исторический роман

социальной стагнации, "безвременья", сужения исторических альтернатив, стоящих перед страной и ее мыслящими людьми. На этом фоне в романах серии "Пламенные революционеры" (Ю. Трифионов, В. Аксенов, А. Гладиллин), романизированных биографиях серии "Жизнь замечательных людей" (Н. Эйдельман) аллегорически акцентируется тематика террора — как со стороны самого государства, так и в практике его оппонентов (народовольцы, большевики).

Напомню, что фигуры этих радикальных антагонистов прежней государственной власти вошли в советский исторический роман на самом начальном, пореволюционном его этапе, где, в духе тогдашней эпохи, были идеологически героизированы. В 1930—1940-е гг. подобные образы вооруженных тираноборцев и цареубийц, по понятным причинам, практически исчезли из советской исторической беллетристики (к буквально считанным исключениям принадлежит, например, роман Валерия Язвицкого о народовольце Ипполите Мышкине "Непобежденный пленник", 1933). 1970-е гг. — период новой их переоценки, аллегоризации в духе советского подцензурного "двойного сознания" (эзопова языка), сдержанной либеральной критики с общегуманистических позиций.

Еще раз, но теперь уже совсем в иной, державно-патриотической, почвенно-православной перспективе образы российских революционеров оказались негативно переоценены во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. (таков, в частности, роман о Сергее Нечаеве В. Сердюка "Без креста", 1997 и др.). Эти последние идеологические оценки (впрочем, отчасти они были артикулированы уже в опубликованных за рубежом исторических романах Солженицына о большевизме, а до него — в эмигрантской исторической прозе межвоенного периода, например, романе П. Краснова "Цареубийцы", 1938) в определенном смысле возвращают к "антинигилистическому" роману 1860-х гг. XIX в. — актуальной на тот момент

ангажированной прозе А. Писемского ("Взбаламученное море"), Н. Лескова ("Некуда"), В. Ключникова ("Марево") и др. Детально проследить подобные сдвиги в исторических трактовках фигур этого типа, а точнее — в трактовках одного травматического мотива, вероятно, основополагающего для самосознания русской — советской — российской эмигрантской — российской постсоветской интеллигенции (конфликт индивида и государственной власти, выбор адаптации или бунта, подчинения или насилия), — интересная и важная задача, которая, однако, выходит далеко за рамки данной статьи.

271

Феномен прошлого

В наиболее проявленной, но и до предела рутинизированной форме литературная историософия и художественная антропология русского, а затем советского исторического романа получают развитие и очередную переакцентировку уже в историко-патриотической продукции конца 1980-х — 1990-х гг.³¹ Как обычно, эпигоны в данном случае с особой, едва ли не карикатурной броскостью проявляют ход более общих процессов. Напомню, что основной поток советской литературы на всех ее этапах представлял собой литературу массовую, точнее массово-мобилизационную. После освоения стереотипов переводной приключенческой прозы и "учебы" у отечественных классиков во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. собственно советская литература, ее официально разрешенный мейнстрим соединил стандартизированную поэтику жанровой словесности (производственный или военный, деревенский или шпионский роман и т.п.) с актуальным пропагандистским заданием, но в этом смысле и с отдельными чертами классического русского "идеологического романа" XIX в. После распада СССР и (временного) отступления советской идеологии рухнула или, по крайней мере, подверглась диффамации, эрозии и вся жанровая система координат советской литературы. Однако реставрационный период в российской культуре середины и второй половины 1990-х гг. характерным образом начался для беллетристики именно с массово-исторического романа. Этот жанровый образец, что, собственно, и требовалось на тот момент, с одной стороны, был высоко идеологизирован (политизирован), с другой — остросюжетен, завлекателен для читателя³².

³¹ См. также: Marsh R.J. *History and Literature in Contemporary Russia*. L., 1995; Мясников В. Историческая беллетристика: спрос и предложение // Новый мир. 2002. № 4.

³² Данным соображением автор обязан А. Береловичу, который высказал его на семинаре Мишеля Окутюрье в Сорбонне (Paris-IV, 2001). В те же годы наблюдается взлет формульной фантастики в жанре "славянской фэнтези". Показательно, что похожие синтезаторские тенденции проявились в конце 1990-х гг. и в "авторской" прозе или арт-словесности — например, детективных романах-стилизациях Б. Акунина, Л. Юзефовича, с одной стороны, и романах об империи в духе постмодернистской "альтернативной истории" (С. Смирнов, С. Карпушенко) — с другой. Обзор этих последних см. в статье: Володихин Д. Неоампир // Ex Libris. 2001. 8 мая. С. 3.

272

Советский и постсоветский исторический роман

Стоит подчеркнуть, что даже в сравнении с 1970-ми, а еще более — с 1930-ми гг., прямые идеологические манифестации авторов и действующих лиц в современном массово-историческом романе заметно усилены и весьма однозначны. Порой они даже принимают утрированно-пародические черты, о чем пойдет речь несколько дальше. А пока проследим, как теперь выглядит подобная романная идеология в ее ключевых точках³³. Единица существования здесь — народ, собственно героем выступает именно это предельное по своим масштабам коллективно-национальное целое: отдельные действующие лица — лишь его аллегорические персонификации либо, напротив, столь же аллегорические воплощения неприемлемых, угрожающих и потенциально разрушительных для него человеческих стремлений и качеств (враги, изменники, иноверцы — противники христианства, как приверженцы ислама у В. Сербы, католики Литвы и Польши у В. Балязина). При этом "путь" каждого народа заранее предопределен: "У всякого народа должна быть единая цель. У великого народа и цель должна быть великой"³⁴. В исходной точке подобного предустановленного пути на территории будущей России существуют еще отдельные, разрозненные племена; в итоговом, кульминационном пункте Россия — это уже единая могучая империя: "Пришел конец эры биологического становления и началась эпоха исторического развития. Русь сделала первый шаг на пути к Российской империи"³⁵. После этого имперского апогея начинается описанный по той же органической модели распад, ослабление творческого потенциала, наступает эпоха "единой идеологии" и т.д.

³³ Поиски "истоков", "корней" и "основ" в прошлом, конечно же, ведутся в этот период и в более широком социальном и политическом контексте, за пределами собственно беллетристики — в сфере практической политики, включая идеологические службы Public Relations (PR), близкую к ним лоббистскую публицистику и т.п. Такого рода предприятия уже стали предметом внимания специалистов; кроме уже упоминавшегося сборника "Национальные истории в советском и постсоветском государствах" см. также: Мифы и мифология в современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2000; Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 2002; Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии: Старые и новые образы в современных учебниках истории / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2003.

* Зима В. *Исток*. М., 1996. С. 257.

³⁵ Там же. С. 472.

273

Феномен прошлого

Целое народа воплощено в его вожде: "Всякий народ на историческом пути нуждается в поводе. У народа поводиры могут быть вожди и пророки"³⁶. Образы земли (родины, почвы), народа, властителя-самодержца и отдельного героя в символическом плане взаимозаменяемы. Их семантическое тождество — принципиальная характеристика неотрадиционалистской художественной антропологии исто-рико-патриотического романа. Она обеспечивает возможности читательского отождествления со всем представленным в сюжете, со всей картиной романного мира, максимально облегчает читателю переход от одних, более конкретных, уровней символической идентификации к другим, более общим.

Для понимания того, как подобная литература воспринимается публикой, важно еще одно. Представленная таким образом история для читателей предопределена, другие ее варианты, т.е. другие взгляды на историю невозможны. Никакого места для самостоятельных оценок и альтернативных интерпретаций внутри описанной романной конструкции нет. Субъективные формы повествования, сослагательная модальность, юмор, ирония, абсурд и прочие разновидности авторской рефлексии, читательского дистанцирования в данном типе прозы практически исключены. Мир такой романистики столь же однозначен, сколь авторитарно ее письмо. История здесь — в отличие от "Еще ничего не было решено" в романе Тьяньнова "Кюхля" — неоспоримо и безоговорочно произошла. Поэтому ее монолитное целое недоступно воздействию и осмыслению. Его можно лишь ретроспективно представить в виде этаккой аллегорической панорамы, "исторического обозрения" — и соответствующим же образом воспринять, усвоить. Характерно и представление авторов описываемой романной продукции о своем читателе, на которого подобная оптика "настроена": это "подлинный патриот", неспособный преодолеть языковой "барьер"³⁷.

Взлеты и падения отдельного человека на таком предначертанном фоне определяются непознаваемыми для самого индивида и общими для всех, но открывающимися только в непосредственном воздействии на людей силами "судьбы". Подобный элемент традиционалистского, "эпического" образа мира кладется историко-патриотическим романистом в основу конструкций причинности. Он определяет дей-

* Зима В. Исток. С. 231. " Там же. С. 6.

274

Советский и постсоветский исторический роман

сгвия отдельных персонажей, где следствия и результаты в большинстве случаев от них не зависят, поскольку в принципе не поддаются предсказанию. "Жизнь — река... Кого на стрежень вынесет, кого на мель посадит"³⁸. Качество существования как такового, собственно "жизнь" — общее, надындивидуальное бытие всех людей ("всех" в смысле одинаковых, подобных друг другу) приравнивается в истори-ко-патриотическом романе — как в эпигонских романах-эпопеях Анатолия Иванова, Петра Проскурина и других романистов подобного плана в 1970-е гг.³⁹ — именно к такой непредсказуемой стихии. Чаще всего данный план значений образно представлен вполне стереотипными метафорами "потока", "стремнины" и т.п.

Несчастья людей и народов связаны с насильственными проявлениями власти, агрессивным стремлением к господству, честолюбию и индивидуализмом ("ячеством"). Как правило, эти беды для страны, народа и отдельного героя приходят извне, от "чужаков" — людей, чужих по языку, укладу жизни, вере. Вообще любое разнообразие, индивидуальное несходство, сложность общественного устройства, сам факт обособления людей и автономности человеческих групп предстает в описываемом типе романа — как вообще в традиционалистском и неотрадиционалистском сознании — чем-то неоправданным, необъяснимым. Различия подозрительны, они заранее пугают и в конце концов оборачиваются катастрофой. Поэтому в сознании романых героев и в историсофских отступлениях авторов социальное и культурное разнообразие существования обязательно упрощается, сводясь к привычному противостоянию "своего" и "чужого": "Самая великая тайна — разделение людей на своих и чужих"⁴⁰. Однако еще больше, нежели чужаков, русским приходится опасаться "своих". Подобными "своими", которые оказываются едва ли не хуже чужих, движет зависть — иначе говоря, сознание того же самого факта различий между людьми и группами людей, но теперь этот факт уже мифологизирован и заведомо негативно оценен: "Имя русскому сатане — зависть"⁴¹.

" Бахревский В. Стратотерпцы. М., 1997. С. 12.

" См. об их поэтике: Гудков Л., Дубин В. Литература как социальный институт. М., 1994. С. 123—141; Шведов С. Книги, которые мы выбирали // Погружение в трясины (Анатомия застоя). М., 1991. С. 389—408.

« Зима В. Исток. С. 149.

⁴¹ Бахревский В. Стратотерпцы. С. 235.

275

Феномен прошлого

Тем самым в массово-патриотический роман вводится важный для понимания всей коллективной мифологии россиян ("русской судьбы", "русского пути") мотив раскола. Причем раскола не только на "внешнем", социальном уровне (уже упоминавшаяся тематика "измены", "перебежчика", "предателя", "невольного пособника"), но и на более "глубоком" уровне человеческого характера, самого антропологического склада. Отсюда опять-таки эпигонская по отношению к русской литературе от Достоевского до Сологуба, ходовая в отечественном популярном романе семантика двойственности, раздвоенности русского человека: "Дремлет в нас теплая любовь к живому рядом с кровопийством, тянет нас то в болотную гниль, то на солнечный луг и пашню..."⁴². Характерно, что к подобному предательскому, гибель-

ному раздвоению приравнены индивидуализм и честолюбие: "...причиной всех его бед было то, что не о ближних своих он помышлял и заботился, не об их счастье и пользе, но прежде всего всегда думал лишь о собственной выгоде и себя — честолюбца и кондотьера — полагал важнейшей на свете персоной..."⁴³. Идеалом, который противостоит этой опасной, смертоносной расколотости и распре, в коллективном сознании и в историко-патриотическом романе выступает, по контрасту, соединение таких качеств, как внутренняя цельность, равенство себе, недоступность для внешних воздействий. Все они заведомо надиндивидуальны и объединены, воплощены в русской "земле", родине, единой державе, в особом складе русского человека (часть здесь, как уже говорилось, мифологически равна целому). Причем устойчивость и, в этом смысле, вечность, непрерывность совершенного существования, которое выше времени и которое не затронут никакие перемены, никакая "порча", гарантирована в подобной романной историософии и антропологии только целому. Лишь это предельное и заведомо непостижимое, недоступное ни конкретизации, ни изображению целое может даровать устойчивость индивиду, приобщив его, отдельную частицу, к общности всех (всех "своих") как носителю вечности:

"Красота — в единстве, и гордость — в познании красоты своей, а не прибавшейся из-за моря-океана.... Превыше всего — русский человек, русская земля.

⁴² Усов В. Цари и скитальцы. М., 1998. С. 243.

⁴³ Балязин В. Охотник за тронами. М., 1997. С. 417.

276

Советский и постсоветский исторический роман

...Беречь и хранить и защищать эту изукрашенную красотами землю — счастье, равного которому нет и не может быть"⁴⁴.

В качестве своего рода встречного залога, который герои должны символически обменять на дар спасения со стороны "целого", в популярном историческом романе фигурируют "терпение" и "служение" действующих лиц. Герой не только должен быть постоянно готов к самоотрицанию, самоустранению, жертвенной гибели наряду со всеми ("Для того, чтобы выстоять в непрерывных войнах с врагами, наше государство должно было требовать от соотечественников столько жертв, сколько их было необходимо... Именно так закладывались основы того, что потом назовут загадочной славянской душой!"⁴⁵). Он переживает свою общность с другими и причастность к целому именно в моменты подобного подчинения судьбе и согласия на любые потери — переживает ее характерным, пассивно-страдательным образом. Такова в данном контексте коллективистская, заведомо внеиндивидуалистическая, а потому и внеэтическая, семантика "совести" ("Кто мы? Пыль времен... Но пыль с совестью"⁴⁶). Поскольку терпение тут обозначает не черту индивидуального характера, а коллективную молчаливую верность традиционным заветам предков, то и подняться из своего "падения", вернуться к жизни герой может только вместе со всем народом. "И терпели... за истину отцов... Бог даст — воскреснем"⁴⁷. Это значит, что долг героев романа, как и "каждого из нас" (читателей) — вернуть утраченную честь державы, ее славу и могущество. Характерная формулировка одного из анализируемых романистов — о "жизни человека или целого народа — нележкой... но с неременной мечтой о будущем могуществе"^{48*}.

Антитезой мощи и всеобщего признания народа, страны, государства — силы и славы, которые всегда переживаются как потерянные и еще не обретенные, которые находятся непременно в прошлом или в будущем, но никогда не в настоящем, — в описываемых романах является принудительное состояние "выживания". В это постыдное состояние Россию век за веком свергают "антинародные реформаторы":

⁴⁴ Зорин Э. Огненное порубежье. М., 1994. С. 125.

⁴⁵ Зима В. Исток. С. 406.

⁴⁶ Бахревский В. Стратотерпцы. С. 537.

⁴⁷ Там же. С. 536.

⁴⁸ Усов В. Цари и скитальцы. С. 11.

277

Феномен прошлого

"Не так ли сдерживала стон, сцепив зубы, Россия, когда вздернул ее на дыбу Петр Первый ...не так ли сцепила зубы... под игом так называемых марксистов-ленинцев... не так ли сдерживает стон россиянин и теперь, понимая вполне, что ...привели Россию к самой пропасти, и мысли Великого Народа Великой Державы нынче не о славе и могуществе, но о выживании..."⁴⁹.

Собственно говоря, пределы человеческого, антропологического масштаб, известное несходство человеческого "материала" заданы в историко-патриотическом романе двумя крайними точками (полюсами), или двумя планами рассмотрения. О "верхнем", предельно общем (эквиваленте высокого, высшего — метафорическом обозначении власти), уже говорилось: это земля — народ — вождь как воплощение предначертанного и неизменного целого. "Нижний" же (эквивалент "народного" как фольклорного, образное обозначение "массы") образован тем допустимым для историко-патриотического романиста минимальным разнообразием человеческих типажей, которое предопределено для них предписанными моделями поведения в закрытом — родоплеменном или статусно-сословном — обществе. В романе этот смысловой минимум и выступает эмпирической, изображаемой "реальностью". На двух уровнях выстраиваются и речевые характеристики героев: они соответствуют стилиевой "табели о рангах" и черпаются из жестко-ограниченных разновидностей "низкого" и "высокого" стиля.

Героев характеризует узкий набор социальных признаков. В принципе, их всего два. Это, во-первых, место

во властной иерархии или в системе традиционного авторитета (нередко оно попросту задано и однозначно, как в архаике, маркировано полом и возрастом — мужчина или женщина, несовершеннолетний, зрелый или старый) и, во-вторых, принадлежность к племени, народу, вере ("наш, крещеный" или "чужак, нехристь"). Соответственно базовые типы героев в историко-патриотическом романе выстраиваются по оси господства. Основными персонажами, несущей характерологической конструкцией для всей идеологии данного романа выступают пока еще не определившийся в жизни отрок с чертами святости либо неопытная, не знавшая любви девушка; замужняя женщина (прежде всего как верная, понимающая и послушная жена); образцовый исполнитель — идеальный слуга, как бы двойник правителя, однако без самостоятельной власти и даже по-⁴⁹ Ананьев Г. Князь Воротынский. М., 1998. С. 451.

278

Советский и постсоветский исторический роман

ползновениям его обладать — он подданный (человек "малый" и "простой"), но не придворный (не "хитрый интриган").

Чаще всего такого исполнителя представляет воин, полководец. Он целиком подчинен высшим ценностям национальной целостности, мощи и славы, его долг — "по чести и совести служить государю и отечеству"³⁰. В образ такого военачальника входит даже социально допустимый минимум рационального поведения, воинской хитрости, "обмана" (поскольку она обращена против врага и идет на пользу "нашим"). Но куда важнее любого предвидения и расчета для этой ключевой фигуры "верность славным ратным традициям отечества"³¹. И это понятно. Данный герой в самой своей антропологической структуре воплощает, и притом максимальным, "идеальным" образом, функцию преданности целому, важнейшую для военизированного общества, — опорный элемент его мифологии, всей "легенды власти". Конечно же, в подобной фигуре сублимирована запретная и подавленная агрессивность бесправного, подначального, "маленького" человека. Но это лишь антропологический срез символики, он важен и все-таки не в нем одном здесь дело. Чрезвычайно существенно, что в образе полководца воплощены массовые представления о социальном порядке: такой порядок в доме, стране, мире понимается исключительно по военному образцу. Другими словами, досовременная, жесткая военная организация (своего рода "дружина") или близкие к ней по типу "архаические" устройства (одномерная иерархия во главе с вождем) предстают в массовом романе идеализированной моделью общества-государства, наиболее опознаваемой и признанной всеми мерой правильного устройства общей жизни. Какие бы то ни было отклонения от нее будут восприниматься массовым сознанием катастрофически — как синоним хаоса и гибели³².

В историческом романе описываемого державно-патриотического типа характерны частые эпитеты "всякий", "каждый", "любой", местоимение "все", сочетание "все люди" и им подобные, они не раз

⁵⁰ Ананьев Г. Князь Воротынский. С. 436.

⁵¹ Там же. С. 452.

⁵² О подобных представлениях на материале современных массовых опросов общественного мнения в России см.: Дубин Б. Модельные институты и символический порядок: элементарные формы социальности в современном российском обществе // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 1. С. 14—19.

279

Феномен прошлого

встречались и в примерах, приведенных выше⁵⁵. Этот словесный "тик" (клише) — не случайность и не неряшливость автора: они относятся к числу постоянных приемов историко-патриотического романиста. Дело не просто в том, что рассматриваемые здесь романисты машинально заимствуют или беззастенчиво крадут этот словесный ход у Л. Толстого (а вернее, у писателей советской эпохи, уже когда-то заимствовавших их у Толстого, — скажем, Фадеева или Л. Леонова, Шолохова или Симонова), — обсуждение литературного эпигонства в терминах заимствования бессмысленно и бесперспективно, поскольку в описываемых рамках, собственно говоря, нет автора как индивидуального лица, отвечающего репутацией за свое словесное поведение, свои "поступки". Речь о другом.

С помощью подобного приема историко-патриотический романист вменяет "доисторическим" родоплеменным сущностям (племени, земле) обобщенные нормы поведения европейского человека вполне конкретной эпохи — периода Просвещения и самого начала современности ("модерности"). Таковы здравый смысл, разумная природа и прочие характеристики личности и мыслимого по ее образу народа, которые сами в этом смысловом наполнении порождены модерностью. Автор историко-патриотического романа как бы дотягивает, надставляет своих персонажей до идеальной нормы того, что он сам — человек, хочешь — не хочешь живущий сегодня — считает "человеческим". Причем эпигонски соединяет этот моралистический план повествования с сущностями, понятиями, фигурами воображения традиционалистских эпох и архаики. При этом верхний предел обобщенной реалистичности изображенного в романе автору и его читателю часто задает, как в данном случае, знакомая им обоим по средней школе поэтика эпигонов высокой классики. Но это могут быть и инкрустации фольклорно-былинного, приподнятого стиля, используемые в их уже современной, "выразительной" функции. Обычно он применяется для описания черт наро-

⁵⁵ Вот еще один характерный образчик подобной всеохватной инклюзии, молчаливо подтягивающей читателя до нормы ("всегда так и никак иначе"): "...В каждом человеке... живет неизбывная тоска по управлению своим государством" (Зима В. Исток. С. 43). У него же (хотя можно было бы взять и других здесь перечисленных; выделено мной. — БД-)' "Все религии порождены естественным страхом смерти" (с. 120); "Людам необходимы герои. Все жаждут видеть перед собой образцы..." (с. 122); "Всякий народ на историческом пути нуждается в поводе" (с. 231) и т.д.

да или природы: "Велика земля Российская, а людом небогатая: едет ли смерд, либо гридин скачет, все больше починки встречает..."⁵⁴ или "В мае-травне в бело-розовое кипение оделись сады ордынской столицы".

Впрочем, гораздо чаще уровень общего в его высоком, героико-эпическом или сентиментально-лирическом модусе идеальной нормы поведения, чувств, мотивов действия и т.п. задается в романе интересующего нас типа куда менее почтенными образцами. Это может быть, например, игриво-чувствительная интонация почти анонимной женской прозы из советских женских журналов "Работница" и "Крестьянка" (даже если образ женщины приписан здесь мужскому взгляду): "Все, что ни совершает в жизни мужчина, он совершает ради одной-единственной женщины... И если у мужчины нет любимой женщины, все его победы и достижения меркнут. Даже богатство, даже власть... Ах, Анастасия! Что же нам с тобой делать?"⁵⁶ или "Зихно окинул ласковым взглядом ее стройную, чуть располневшую фигуру..."⁵⁷. До столь же знакомых нот, но теперь уже в тональности державной озабоченности, может поднять героя (и стилиевой регистр повествования) язык газетной передовицы или лексика телевизионных новостей: "Работа над новым договором потребует намного больше времени..."⁵⁸, "Игоря (имеется в виду князь Игорь. — *БД.*) не устраивал ни один из этих вариантов..."⁵⁹ или "Шел тревожный декабрь 6679 года"⁶⁰. Но в этой же функции общего и высокого могут выступить и штампы переводителя или рекламы: "Хотя назывался халиф багдадским, с 836 по 892 гг. (так в тексте романа! — *БД.*) двор халифа помещался не в Багдаде, а

⁵⁴ Тумасов Б. Князству Московскому великим быть. М., 1998. С. 5.

** Там же. С. 454. На данном материале можно говорить о нескольких функциональных разновидностях "русского стиля" — улично-просторечном (обычно мужском), домашне-чувствительном (женском или в разговоре с женой, вроде, например, такого: "Ишь, разгорланилась, — добродушно проговорил Житоблуд и, ласково осклабясь, обнял жену. — Умаялся я с дороги" (Зорин Э. Огненное порубежье. С. 141), сказово-былинном, державно-озабоченном (властном) и пр.

⁵⁵ Зима В. Исток. С. 67.

⁵⁷ Зорин Э. Огненное порубежье. С. 121.

⁵⁸ Серб А. Быть Руси под княгиней-христианкой. М., 1998. С. 9.

⁵⁹ Там же. С. 16.

⁶⁰ Зорин Э. Огненное порубежье. С. 19.

281

Феномен прошлого

Советский и постсоветский исторический роман

в Самарре... Этот город протянулся на 33 версты по берегу Тигра. Там были аллеи и каналы, мечети и дворцы из кирпича, площади и улицы. Все новое, с иголки, дорогое и добротное..."⁶¹. Знакомые по расхожей рекламе ("Седые пирамиды, древние храмы Луксора") клише высокого и отдаленного, экзотического и красивого — причем именно в их ощутимой шаблонности, "суконности" — выполняют здесь еще и аллегорическую функцию. Они как бы переводят прошлое на язык настоящего. А это обеспечивает читателю необходимый смысловой перенос, работу обобщающих механизмов идентификации. Напротив, нижний предел "похожести", "жизненности" людей прошлых эпох представлен языковыми эквивалентами того минимального социально-предписанного разнообразия, которое представлено в типажах романов и о котором шла речь выше. Неотрадиционализм присутствует в романе не просто как идеологическая максима (в языке автора), но как черта характера, свойство человека — в самой структуре персонажа. Функцию разнообразия могут выполнять, скажем, имена-клички персонажей (вроде какого-нибудь Житоблуда у Э. Зорина). Ее, например, несет просторечие — все эти "кажись", "любо", "едрен корень", "допрежь", "звон", "ужо погожу" и пр., либо лока-лизмы, отысканные в словаре Даля, его же "Пословицах русского народа" и других подручных пособиях.

Но самое важное здесь — *дистанция* между этими языковыми регистрами повествования, между разными уровнями социальной характеристики персонажей, которые кодируются подобными стилиевыми пометами. Разрывы между разными социальными планами характеристики (разность между статусно-ролевыми потенциалами героев) порождают и поддерживают повествовательное напряжение, предопределяют конфликты, управляющие движением сюжета, вводят в него внезапные, как бы немотивированные изменения ("переломы судьбы"). Стилиевые перепады, со своей стороны, задают известное разнообразие портретных характеристик. Все это в переплетении, контрасте, столкновении, контрапункте и составляет для автора и его читателя узнаваемость, жизнеподобие описанного, "реализм" романов данного историко-патриотического типа.

У

⁶¹ Зима В. Исток. С. 130.

Надо сказать, что в настолько подробно артикулированном виде, с таким постоянством стереотипного повторения от автора к автору и из романа в роман весь данный идеолого-символический комплекс, пожалуй, не был представлен ни в историко-патриотической прозе сталинской эпохи, ни даже в державно-почвенных опусах 1970-х — начала 1980-х гг. И это совершенно не случайно. Нарастание, больше того, педальирование идеологической составляющей в подобной исторической романистике — производное от

двух разных обстоятельств.

Первое, и более простое — переход литературного образца (вероятно, не только данного, но и любого иного) в руки эпигонов: взвинчивая идеологические оценки, эпигоны компенсируют клишированность своих способов понимания сложной стереоскопии прошлого, скудость средств истолкования "разбегающейся вселенной" ценностей и мотивов множества исторических лиц, с одной стороны, и такую же рутинность своего символического аппарата, периферийность (изношенность, избитость) имеющихся у них образно-символических ресурсов — с другой. Второе обстоятельство — более общего, социально-исторического свойства, оно характеризует функции и работу идеологических систем на разных этапах жизни общества. В ситуации подъема новых социальных слоев в советской России 1920—1930-х гг. официальная идеология, обращаясь к массам, выдвигала вперед, заостряла чисто мобилизационные аспекты инструментального достижения как бы совсем уже близких, всем понятных социальных целей. Отсюда прокламировавшаяся "сверху" и во многом принимаемая массами, особенно более молодыми, уверенность в возможности быстрых, волевых, "политических", как тогда говорилось, решений любой проблемы. Отсюда же — преобладание в риторике на темы современности таких моментов, как "сроки", "планы", "техника" (в широком смысле слова — имелись в виду любые относительно рациональные, стандартизированные умения, вырабатываемые на начальных этапах модернизации, индустриализации, цивилизации, неважно, касайся они умения управлять машинами или языковых компетенций, грамотности и пр.). Соответственно и в риторике на темы прошлого акцентировались "децизионистские" образы и мотивы ("подвиг"), связанные с успешным политическим, социальным, экономическим переворотом и скорым, любой ценой, дости-

282

283

Феномен прошлого

жением целей общего благосостояния. Характерно, что главный, парадигматический герой исторической прозы (кино, искусства вообще) в ту эпоху — Петр I. Но специальный анализ показал бы, что трактовки ценностно-целевой и мотивационной сферы человеческого поведения, вообще принципы художественной антропологии в романе о царе Петре А.Н. Толстого, с одной стороны, и, скажем, в романе Н. Островского "Как закалялась сталь" или "Повести о настоящем человеке" Б. Полевого — с другой, обнаруживают разительное сходство.

Иная социокультурная ситуация складывалась в конце 1960-х — начале 1980-х гг. — в период углубляющегося коллапса и разложения советской социально-политической системы, измельчания и распада обосновывавшей и подкреплявшей ее идеологической легенды. Официальная риторика "новой исторической общности людей — советского народа", лишенная всякого активизма, пыталась теперь лишь пассивно обозначить фиктивные контуры общего, но уже не существующего целого (чистая функция символической интеграции без малейшего мобилизационного заряда). На ее фоне в этот период активизируются такие неофициальные идеолого-символические ресурсы, как гуманистические ценности (у более либерально-реформистски настроенной, но адаптированной в советскую систему интеллигенции), защита гражданских прав и поиски не фальсифицированной истории (диссидентство, часть культурного андеграунда), почвеннические поиски "корней" и "истоков", державно-националистические идеи (идеологи журнала "Молодая гвардия", впоследствии — "Нашего современника" и "Москвы", — от различий в оттенках их взглядов сейчас отвлекаюсь).

Ни в официальной идеологии, ни в относительно альтернативных по отношению к ней коммуно-националистических и почвеннических поисках проблема новых, универсалистских ценностей существования, целей социокультурного развития, а значит, и задача новой антропологии современности практически не вставала. Способами как-то удержать распадающийся общий смысловой космос служили, с одной стороны, символы традиционалистского, партикулярно-национального целого (тавтологические конструкции родины, почвы, истоков, начал, риторика национальной исключительности, особого "народного" характера, воображаемого "своего" пути), с другой — образы внешнего и внутреннего врага (от США до "инородцев" и "иноверцев").

И те, и другие фактически несли одну, уже не миссионерскую, активно-мобилизационную, а пассивно-защитную функцию — все более

284

Советский и постсоветский исторический роман

фиктивного обозначения границ распадающегося социального и идеологического целого. Способом задать эти — исключительно внешние, огораживающие от воздействия извне — границы без собственного смыслового содержания, центра, ядра было, во-первых, перенесение координат подобного целого на все большую хронологическую глубину, еще большая изоляция, но уже не в символическом пространстве, а в воображаемом времени (к "началам", "истокам"), а во-вторых, все большая мифологизация исходного, навязчиво повторяющегося конфликта самоидентификации — неспособности к самостоятельному существованию под собственную ответственность за свои поступки и их последствия — без средств хоть как-то универсализировать компоненты и координаты самоопределения, откуда и демонизация образа, опять-таки, внешнего фиктивного врага, "мешающего" реализовать искомые единство, целостность, устойчивость коллективного целого.

Важно отметить функциональный характер — направленность и пределы — этого мифологизирования. Оно

выступало редуцией к символическим реликтам закрытого общества, построенного на пар-тикуляристских идеях исключительности национального сообщества и лежащего в основе подобного сообщества базового характера национального человека. Не случайно сквозным элементом, несущей конструкцией в данном образе мира и человека стал защитный барьер, надежная граница от внешнего мира, своего рода иммунитет к чужому ("другому")⁶².

Любопытно сравнить этот стандартизированный идеологический ход, например, с индивидуальными писательскими поисками Томаса Манна 1930-х гг., когда он в ситуации нарастающей социальной катастрофы тоже обратился к мифологическому материалу — сюжетам Ветхого Завета (речь идет о работе над романом "Иосиф и его братья"). Главным вопросом для Манна стал здесь "вопрос о человеке", причем человеке именно "нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни", но возведенный на уровень библейского вопроса "Что есть человек?"⁶³ При этом Манн полностью осознавал противоположность своего подхода использо-

⁶² См. об этом в статье автора: Дубин Б. Запад, граница, особый путь: символика "другого" в политической мифологии современной России // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 6. С. 25—35.

⁶³ Манн Т. Собр. соч. Т. 9. М., 1960. С. 176 (доклад 1942 г. о романе "Иосиф и его братья").

285

Феномен прошлого

ванию мифа в официальной нацистской пропаганде ("Миф XX века" Альфреда Розенберга) и подытоживал свой метод препарирования и обработки мифологического материала, который относился к отдаленнейшему, но жизненно важному, своему и неизменно актуальному для Европы прошлому: "В этой книге миф выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно *гуманизация* мифа"⁶⁴. Важнейшим способом подобной гуманизации для Манна стал юмор. Причем в юмористической, иначе говоря, условной модальности в сюжетное "правдоподобное" повествование вводилась именно фигура автора, его языковые манифестации субъективной и дистанцированной точки зрения — "элементы анализирующей эссеистики, комментирования, литературной критики, научности... речь косвенная, стилизованная и шутовская, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая"⁶⁵.

Мифологизация прошлого в советском историко-патриотическом романе преследует в корне иные задачи, а потому и воплощается в совершенно иных, коллективистских, деиндивидуализированных формах идеологических оценок, типах жанрово-сюжетного построения и — тоже "вплоть до мельчайшей клеточки языка" — в торжественной и серьезной, "высокой" поэтике языковой банальности, избранные примеры которой демонстрировались выше⁶⁶. Максимальную проявленность, о чем уже упоминалось, весь этот идеолого-символический комплекс получил к середине и во второй половине 1990-х гг., когда неудача предпринятой на рубеже 1980—1990-х гг. попытки волевого и разового реформирования страны "сверху" начала осознаваться всеми слоями российского населения. Отмечу, что у функционирования исто-рико-патриотического романа, в центре которого — описанный выше комплекс мотивов и символов, в 1990-х гг. обнаружились две кардинальные особенности, которых не было, насколько могу судить, никогда раньше. Впервые в пореволюционные годы книги данного жанра

⁶⁴ Манн Т. Собр. соч. Т. 9. С. 178.

⁶⁵ Там же. С. 174.

⁶⁶ См. об этом: Дубин Б. О банальности прошлого // Дубин Б. Слово — письмо — литература. С. 256—258. Сербский романист Данило Киш называл подобное явление "фольк-китчем" (Kis D. The Gingerbread Heart, or Nationalism // Kis D. Homo Poeticus. Essays and Interviews. N.Y., 1995. P. 17.

286

Советский и постсоветский исторический роман

предъявляются теперь читателю как чисто коммерческий продукт, а не как элемент государственной пропагандистской машины. Они создаются, распространяются, покупаются и потребляются вне прямого идеологического заказа или диктата со стороны государства, вне его монопольного финансового, экономического, социального обеспечения (иными словами, прежняя властная "легенда" теперь уже усвоена массовым человеком, вошла в его социально-антропологический состав, привычный круг оценок, переплетение мотивов действия). Кроме того, на этот раз — в отличие от взлета исторической романистики и читательского интереса к ней в 1930-е, а особенно в 1970-е гг. — такое доминантное положение историко-патриотических романов консервативного образца на книжном рынке и в кругу массового чтения жителей России никем не оспаривается. У данной версии национального прошлого впервые в российской культурной истории XIX—XX вв. фактически нет сегодня ни идейного, ни художественного конкурента: "борьба за историю", о которой говорилось раньше, как будто стихла⁶⁷.

Подобное стирание различий между разными группами, их идеями и оценками можно наблюдать в последнее время и в других сферах

⁶⁷ Уже на рубеже 1990—2000-х гг. в отечественной прозе, определяющей себя как постмодернистская, стали появляться

сочинения в жанре "сослагательной", "альтернативной" истории (П. Крусанов и др.). Круг их читателей ограничивается студенческой молодежью крупнейших городов и, кажется, совершенно не пересекается, во-первых, с читательской аудиторией исторических романов в духе либерально-интеллигентской традиции — условно говоря, Мигелями "толстых журналов" и, во-вторых, с группами потребителей историко-патриотической словесности, покупателей "романов на лотках" — сочинений, которые, соответственно, не рекламируются и не рецензируются ни в "толстых журналах", ни в "глянцевой" журналистике, ни на сетевых литературных сайтах. Эта ветвь, равно как и новейший вариант "славянской фэнтези", более популярной, опять-таки, среди городской молодежи и не без влияния идей Л. Гумилева использующей мотивы догосударственного, родоплеменного прошлого Руси вкупе с маскультурной символикой голливудских блокбастеров типа "Конан-варвар" и пр., в настоящей работе не рассматриваются. Однако в терминах уже не идеологии, а рынка можно оценить эту литературную и издательскую переориентацию на городскую учащуюся молодежь как поиск наиболее инициативными деятелями и менеджерами культуры новых, перспективных покупательских контингентов в условиях, когда привычная публика исторического романа, как и "серьезной" литературы вообще — интеллигенция — утрачивает социальную и культурную роль, экономический статус и общественный престиж. На материале производства и потребления отечественных кинофильмов этот процесс проявляется еще отчетливее.

287

Феномен прошлого

общественной жизни, в публичной политике^{6*}. Наконец, характерно, что подавляющее большинство авторов этих романов (опять-таки, в отличие от литературной ситуации 1920—1930-х и 1970-х гг.) — вчерашние газетчики, рядовые члены Союза журналистов или Союза писателей. В любом случае — это люди без собственных имен, без литературных биографий и писательских репутаций. Перед нами, как и полагается массовому изделию, рассчитанному на всеобщее потребление, — серийная и анонимная словесная продукция эпигонов.

Важно, что в подобном переходе основной массы населения за 1990-е гг. к позитивной оценке компонентов "прошлого" и "простоты" лидировала группа россиян (а в основном — россиянок) зрелого возраста, с высшим образованием, жителей Москвы и Петербурга, избравших по преимуществу представителей центристских партий и движений социалистической ориентации; это как раз тот контингент читателей, который в первую очередь интересуется историческими романами и книгами по отечественной истории. Среди черт жизненного уклада, которые Россия, по их оценкам, "потеряла" за 1990-е гг., как раз эта группа во второй половине 1990-х с особенной частотой выделяла символы великой державы и мирового приоритета — "гордость за свою большую и сильную страну", "ведущую роль в мире". К концу 1990-х гг. идеологический пассаизм этой служилой интеллигенции и бытовой пассаизм основной массы населения — при поддержке, подчеркну, большинства массмедиа, и прежде всего телевидения наиболее доступных и популярных каналов — сомкнулись. В базовом складе личности, в основном социальном типе современных россиян как опоры всей системы сегодняшнего российского общества и государства обнажились, отчетливо выступили на первый план неотрадиционалистские черты, характеристики национальной исключительности.

По-эпигонски стандартизированная державно-патриотическая версия отечественной и воспринимаемой через нее мировой истории, кратко представленная выше, выступает нормативной рамкой массового восприятия настоящего и прошлого, барьером или фильтром, от-

" См. об этом цикл работ: Гудков Л., Дубин Б. Российские выборы: время "серых" // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 2. С. 17—29; Конец 90-х гг.: Затухание образцов // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 1. С. 15—30; Гудков Л., Дубин Б. Общество телезрителей // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 31—45.

288

Советский и постсоветский исторический роман

секающим все иные значения и оценки, которые могли бы с описанной версией конкурировать, подрывать или разрушать ее целостность и нормативный строй, давать основание для рефлексии, анализа и критики. Эти альтернативные значения, позиции, точки зрения все чаще замалчиваются, вытесняются из публичного обихода сегодняшней России. В качестве общепринятой истории — в большинстве сообщений массмедиа, наиболее массовой беллетристике, растущем массиве школьных учебников и справочных пособий — вмещается и принимается лишь данная типовая конструкция. Запрос на нее со стороны и массы населения, и государственной власти обозначился во второй половине 1990-х гг., а к концу десятилетия и началу нового тысячелетия перешел в прямую символическую практику руководства страной, в работу огосударственных, по большей части, массмедиа центрального и местного уровней, в систему школьного, а во многом и институтского преподавания⁶⁹.

Контрастным социальным фоном для производства, массового тиражирования, читательского восприятия и оценки сегодняшней историко-патриотической романной продукции стали процессы, происходившие в российском обществе в 1990-е гг. Если конец 1980-х гг. был для населения России годами наибольшего символического уничтожения себя как советских людей ("совков", по жаргонному обозначению тех лет), а начало 1990-х гг., непосредственно после распада СССР, — временем наибольшей неопределенности и острой фрустрированности в плане социальной и национальной идентификации, то уже к 1994—1995 гг. заметно выросли показатели позитивного самоутверждения россиян, принадлежности респондентов к национальному целому России — ее "земле, территории", но особенно к ее "прошлому, истории". К середине 1990-х гг. россияне стали выделять в обобщенном образе русских, наряду с еще отчетливыми негативными сахохарактеристиками (униженность, привычка к опеке "сверху",

" См. об этом: Берелович В. Современные российские учебники истории: многоликая истина или очередная национальная идея? // Неприкосновенный запас. 2002. № 4 (24); Кобрин К. Культурная революция в провинции // Отечественные записки,

2002. № 8. С. 359—371; Зверева Г. Присвоение прошлого в постсоветской историософии России // Новое литературное обозрение. 2003. № 59; Каспэ И. Представление истории и представления об истории в русском Интернете // Исторические исследования в России / Под ред. Г. А. Бордюгова. М., 2003. Вып. 2: Семь лет спустя.

289

Феномен прошлого

непрактичность, лень), такие положительные черты "народного характера", как энергичность, трудолюбие, гостеприимство, религиозность, готовность помочь другим. Основой обновленной символической идентификации россиян стали прежде всего символы коллективной принадлежности к самому широкому целому — причастности к национальному сообществу. Причем главное место среди них заняли именно те смысловые компоненты, которые, во-первых, отсылали к воображаемому общему прошлому коллективных испытаний и побед, а во-вторых, подчеркивали характерные для традиционного общества, можно сказать, "архаические" качества социальной пассивности ("терпение", готовность к жертвам), культурной неискушенности и нетребовательности ("простота")⁷⁰.

Контражуром для всех этих сдвигов выступил на протяжении 1990-х гг. массовый кризис доверия к каким бы то ни было социальным и государственным институтам России за исключением армии и православной церкви (иными словами, кризис доверия именно к новым институтам, обозначавшим себя как современные, демократические, общие для всего мира). В массе российского населения крепла уверенность, что в стране "всем заправляет мафия", что "все кругом коррумпированы", что государство не функционирует, а вокруг царят безвластие, грабеж и разлад. По контрасту с устойчивыми советскими стереотипами, с одной стороны, и ожиданиями первых лет перестройки — с другой, у россиян среднего и старшего возраста росла неуверенность в будущем, укреплялись ожидания "твердой руки", ретроспективно повышалась привлекательность авторитарных лидеров, способных будто бы "навести порядок" (Сталин, Андропов)⁷¹. Эти настроения подхватывали и поддерживали не только малотиражные коммунистические или почвеннические газеты. Их муслировала популярная по своим ориентациям и риторике скандальная пресса, тиражировала сенсационная криминальная телехроника, пытались использовать различные группировки лиц, приближенных к власти.

⁷⁰ Подробнее см. об этом в работах Л. Гудкова "Победа в войне" и "Комплекс "жертвы" (Гудков Л. Негативная идентичность. С. 20—58, 83—120).

⁷¹ См. об этом: Ферретти М. Расстройство памяти: Россия и сталинизм // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 5. С. 40—54; Дубин Б. Сталин и другие: фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Мониторинг общественного мнения. 2003. №1,2.

290

Советский и постсоветский исторический роман

При этом всю вторую половину 1990-х гг. — после первой Чеченской войны, событий в Югославии, а затем развязывания второй, безрезультатной и непрекращающейся войны в Чечне — шел процесс политической, а отчасти и экономической изоляции России в мире, в мировом общественном мнении. Однако внутри страны он привел к парадоксальному результату. Власть, население и большинство средств массовой коммуникации, не сговариваясь, но вполне единогласно сконцентрировались на значении, символах и символическом престиже национального целого и его особого исторического пути, судьбы и предназначения.

Данная фантомная целостность, как и ее воображаемый престиж (достаточно вспомнить принятые при новом президенте на рубеже XX—XXI вв. герб, флаг и гимн России, а затем возвращение пятиконечной звезды на воинское знамя) спроецированы сегодня преимущественно в прошлое. Так, "лучшим" временем в массовом сознании россиян стала эпоха Брежнева⁷², а излюбленным предметом интеллигентской идеализации в литературе и кино (Э. Радзинский, Н. Михалков, Г. Панфилов) — последние цари из династии Романовых. На этой реставрационной волне и оказался возможным тот взлет историко-патриотической романистики — нередко с элементами костюмированной мелодрамы, авантюрно-криминального романа о мафии, злободневного боевика о "мировом заговоре", международном шпионаже и терроризме, — который описывался в настоящей работе.

⁷² См.: Дубин Б. Лицо эпохи. Брежневский период в столкновении различных оценок // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 5 (65). С. 25—32; Бере-лович А. Семидесятые годы XX века: реплика в дискуссии // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 4 (66). С. 59—65.

291

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОСОФИЯ: РИТОРИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ПРАГМАТИКА

ПИ. Зверева

В постсоветском социально-гуманитарном знании последних лет образовался большой массив текстов,

авторы которых рассматривают свою интеллектуальную работу как новый опыт историософии. Это подразумевает преемственность предлагаемых концепций о взаимосвязи исторического прошлого, настоящего и будущего России с отечественной интеллектуальной традицией второй половины XIX — начала XX в. Однако изучение постсоветских историософских произведений позволяет говорить о том, что для произведений 1990-х гг. и начала 2000-х гг. характерно главным образом заимствование дискурсивных форм и стилистики письма русской историософии рубежа XIX—XX вв. Контексты же этих работ обусловлены прежде всего современными процессами политической, социальной и культурной жизни страны. Стремление многих российских интеллектуалов облечь свои публицистические высказывания в "канонические" историософские формы, имитируя их внешние признаки, выглядит по большей части как общественно-политическая потребность в прагматическом использовании этого интеллектуального ресурса для обоснования принципов национально-государственного строительства России после распада СССР.

Важным стимулом для производства исследуемых текстов является непрерывная общественная полемика о месте России в мире. Возможности государственного позиционирования варьируются участниками дискуссий в широком пространстве, полярными (и одновременно

292

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

сходящимися) точками которого является определение России как *периферии* процессов модернизации и духовно-культурного *центра* грядущего мира. Основу новых историософских текстов, как правило, составляют различные концепции о *цивилизационной* (здесь и далее ключевые для подобной литературы слова-концепты выделены нами курсивом) специфике России, ее *пути* в прошлом, настоящем и будущем, а также о содержании и возможности реализации *русской идеи**.

¹ Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В 3 т. М., 1991; Дугин А.Г. Основы геополитики. Мыслить пространством. М.: Арктогея-Центр, 2000; Дугин А.Г. Эволюция национальной идеи Руси (России) // Отечественные записки. 2002. № 7 (4). С. 125—140; Ерасов Б.С. Выбор России в евразийском пространстве // Цивилизации и культуры. Вып. 1. Россия и Восток: цивилизационные отношения. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1994. С. 30—60; Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М., 2000; Каи-тор В.К. "...Есть европейская держава". Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. М.: РОССПЭН, 1997; Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001; Кантор В.К. Западничество как проблема "русского пути" // Россия и Запад: Диалог или столкновение культур: Сб. статей. М.: РИК, 2000. С. 6—30; Мо-жайскова И.В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России (Опыт мета-исторического исследования). В 4 ч. М.: Студия "Вече", 2002; На перепутье (новые веки): Судьбы интеллигенции. Российское общество и власть. Культурное своеобразие и либеральный реформизм. Россия и мир на рубеже веков: Сб. статей. М., 1999; Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива. М.: Норма, 1998; Основы евразийства (Серия "Национальная идея. Политическая партия «Евразия»). М.: Арктогея-Центр, 2002; Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002; Панарин А.С. Россия на крутых поворотах истории. М.: Изд-во Московского ун-та, 1999; Платонов О.А. Русская цивилизация. М.: Рада, 1992; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. О нынешней ситуации и проблемах изучения русской истории (на путях к россиеведению) // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 1. С. 5—71; Пивоваров Ю.С. Русская мысль, Система русской мысли и Русская система (опыт критической методологии). Статья первая // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 1. С. 87—116; Российская цивилизация (этнокультурные и духовные аспекты). К 70-летию М.П. Мчедлова. М., 1998; Российский цивилизационный космос (к 70-летию А. Ахиезера). М.: Эйдос, 1999; Русская нация: историческое прошлое и проблемы возрождения: Сб. статей / Сост. Е.С. Троицкий. М.: АКИРН, 1995; Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь / Ред. кол. Мчедлов М.П. и др. М.: Республика, 2001; Троицкий Е.С. О русской идее. Очерк теории возрождения нации. М.: АКИРН, 1994;

293

Феномен прошлого

Внимательное прочтение произведений этого жанра побуждает к тому, чтобы попытаться рассмотреть, каким образом в процессе авторского письма формируются определенные риторические стратегии. Центральная тема, предлагаемая для обсуждения, — способы конструирования концептосферы новой историософии в связи с дискуссиями о цивилизационной специфике России, ее месте в истории и современном мире.

В основу изучения таких текстов положены приемы дискурсивного анализа. Они дают возможность сосредоточиться на конкретных процедурах построения авторами познавательной матрицы:

отборе и означивании ключевых слов-концептов, технологиях их применения как формул конвенционального знания с целью "приведения к известному" новых идейно-политических и социально-культурных реалий России. Специальное обращение к "содержанию формы" текстов помогает извлечь из идеологической и концептуальной разноголосицы черты риторической общности историософского нарратива. Дискурсивный анализ позволяет обратить внимание не только на способы порождения культурных значений в процессе создания новых историософских концепций, но и на их прагматику, — условия закрепления в массовом обыденном сознании и утверждения в системе общего образования.

В ходе самоопределения новой Российской Федерации "канонические" историософские концепции рубежа XIX—XX вв. оказались востребованы разными политическими и общественными группами для создания соответствующих идеологем. Важным средством для по-

литиков в борьбе за власть и влияние на избирателей стало обращение к работам Н. Данилевского, И. Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова, Н. Бердяева, Н. Трубецкого, П. Савицкого и др. В общественных дискуссиях постоянно утверждалась мысль об универсальности и непреложности историософских идей как духовных констант для российской истории и современности, однако на практике их содержание ресемантизировалось в соответствии с прагматикой постсоветского социально-политического противоборства.

Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М, 2001; Цымбурский В.Л. Россия — земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М., 2000; Чубайс И.Б. От Русской идеи — к идее Новой России. М., 1996; Шкаратан О.И. Информационная экономика и пути развития России // Мир России. 2002. Т. XI. № 3. С. 44—61; Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999; и др.

294

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

Происходившие социально-политические сдвиги стимулировали интерес интеллектуальной элиты к таким концептам, как *российская (русская) цивилизация, русская идея, русский путь, судьба России* (которые часто пишутся с прописной буквы). Актуальность построения нового историософского дискурса заметно возросла в связи с официальным провозглашением преемственности нового российского государства с историей Советского государства и Российской империи. В официозных текстах историософские установки стали использоваться как емкие "готовые формы", которые могут служить обоснованием геополитического позиционирования новой России при разработке идеальной модели многополюсного мира, аргументами в пользу ее особого местоположения между Западом и Востоком.

В настоящее время повышенное внимание российских философов, историков, социологов, филологов к интеллектуальному ресурсу историософии можно объяснить далеко не только необходимостью давать свои ответы на идеологические и геополитические запросы государственной власти и политических элит. Историософские концепты, переосмысленные в соответствии с новыми идейно-политическими и социально-культурными реалиями, в значительной степени используются гуманитариями для того, чтобы попытаться заполнить познавательную лауну, которая образовалась в социально-гуманитарном знании после "ухода" официозного обществоведения.

В этой связи показательны высказывание В. Кантора, который характеризует современную ситуацию в России как "историософский вызов":

"Историософское осмысление пути России — одна из постоянных тем и проблем русской мысли. Представляется, что в резко изменившейся жизненной ситуации наших дней эта традиция нуждается в продолжении и развитии. Уже недостаточен анализ историософских идей прошлого, необходим сегодняшний, рожденный нынешним положением дел анализ «русского пути»: слишком серьезен и значителен пережитый и накопленный Россией опыт, чтобы не попытаться его заново осмыслить

"2

² Кантор В.К. Западничество как проблема "русского пути" // Кантор В.К. "...Есть европейская держава". Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. С. 13.

295

Феномен прошлого

В огромном массиве современных историософских текстов представлены различные идейно-политические концепции. Они располагаются в широком диапазоне между либеральной миросистемностью и почвенническим изоляционизмом (А. Ахиезер, В. Кантор, И. Кондаков, И. Яковенко, Ю. Пивоваров, А. Фурсов, В. Цымбурский, А. Уткин, В. Ильин, А. Панарин, А. Дугин, И. Можайскова, И. Орлова, О. Платонов, Е. Троицкий и др.). С идейно-политической точки зрения их авторов условно можно отнести к таким направлениям, как неолибералы, неоконсерваторы, неоевразийцы, традиционалисты-почвенники. Границы между этими направлениями (точнее, стилями мышления) весьма относительны и размыты. Сами направления (их наименования) также достаточно условны и трудно соотносимы с привычными для западного сознания критериями деления.

Указанные концепции выражают себя в разных дискурсивных формациях и конституируют себя как конкурирующие способы высказывания. Однако в этой многоголосице можно заметить и немало общих признаков. Трудности типологии историософского дискурса отмечены, в частности, в аналитической работе А. Малинкина. Подразделяя типы дискурса на революционаристский, либералистский, центристский, консервативный, фундаменталистский, автор подчеркивает относительность этого разграничения, поскольку, по его мнению, на формальном уровне тексты такого рода содержат в себе больше сходных черт, нежели различий:

"...Явно выраженная философичность, или философская нагруженность дискурса по новой российской «идентичности» сочетается с недостаточной теоретичностью и концептуальной самостоятельностью авторских позиций, их слабой эмпирической обоснованностью, подчиненностью элементов исторического подхода определенным идейным и идеологическим доктринам. Возможно, этот контраст при таком характере темы был бы вполне оправдан, если бы указанная философичность не представляла собой довольно часто выражение известных ценностно-мировоззренческих стереотипов и клише, этнонациональных предрассудков и мифов, не носила отпечатка интеллектуальной моды, не

отражала господствующие ныне иллюзии и самообманы общественного сознания"³.

³ Малинкин А. "Новая российская идентичность": исследование по социологии знания // Социологический журнал. 2001. № 4. С. 68.

296

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

Споры между авторами — нередко весьма жесткие — в большинстве своем проходят по линии политико-идеологической⁴. Но несмотря на видимые различия концепций и идейные контраверзы можно заметить, что ракурс рассмотрения предмета у их создателей общий — выяснение *места России* в мировой истории и культурно-географическом пространстве, обоснование ее *особой (цивилизационной, национально-культурной) идентичности*.

Принципиальное родство риторических стратегий новой историософии выражает себя в соблюдении сложившихся в отечественной социально-гуманитарной практике правил репрезентации самого предмета — *России*. Близость концептуальных оснований новой историософии прослеживается в идеях об изначальной *особенности России* (выпадении из "нормы", уникальности, исключительности и пр.) и огромном, пока недостаточно востребованном окружающим миром потенциале, — духовном, нравственном, интеллектуальном, экономическом.

Авторы стараются придерживаться сценариев "готового" знания и следовать в историософском тексте привычному для читателя историографическому порядку, хрестоматийному представлению российской истории. При этом, как правило, они стремятся опираться на клишированные исторические события — знаки, маркеры исторического процесса. Событием в данном случае является то, что поставлено в рамку историософского произведения, "названо", т.е. получило определенное "имя", обладает признаками философско-исторической и историографической конвенции.

Сюжет выстраивается из коллажа событий, при этом определяются кластер и иерархия персонажей с ролевыми (словесными и поведенческими) характеристиками. Авторское желание "отнесения к известному" стирает дистанцию между исследователем и предметом и обуславливает легкость присвоения историческим понятиям произвольных значений, снимает проблему качественного и временного различия исторических событий. Процедура упрощения историософского сюжета нередко совершается автором с целью сделать его доступным для понимания и усвоения "уроков истории" (дидактика). Отсюда — использование приемов стереотипизации, обращение к привычным оппозициям "свое — чужое" ("другое").

⁴ См. например: Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии. М.: ОГИ, 2003 (Серия "Дискуссии Фонда «Либеральная миссия»").

297

Феномен прошлого

Историософский сюжет выражает себя в состоявшейся определенности, но одновременно допускает многовариантность частных ходов и оценок. В нем непременно присутствует идея континуальности событий ("было — стало"); преемственность и разрывы в истории детерминированы в авторском повествовании законами, закономерностями, причинно-следственными связями, иерархическим структурированием "мирового исторического процесса" (цивилизации, эпохи, века, периоды, этапы и пр.). При моделировании места российской истории во всемирно-историческом процессе авторы обычно вводят тезис о типическом (антропологическом, повторяющемся в истории, циклическом) и утверждают вневременные аналогии. Такой способ представления истории России предлагается, например, в работах А. Фурсова и Ю. Пивоварова:

"Мы развиваем теорию русской истории как теорию Русской Системы [...] и прежде всего, ее ядра, ее систематизирующего элемента Русской Власти. [...] Речь идет, прежде всего, о теоретическом прочтении, т.е. о том, что, строго говоря, придает исследованию научный характер, превращая эмпирические факты в научные, а хронику — в историю. [...] Мы свободно переходим из XIII в. — в XX, из XX — в XVI, из XVI — в XIX в. и т.д. Можно сказать, что, с точки зрения времени, мы занимаем произвольную позицию. Для нас, с точки зрения нашей теории, — в русской истории (Русской Истории) все может оказаться и оказывается современным [...] или, как минимум, параллельным во времени, по крайней мере метафизически"⁵.

Все авторы, хотя и говорят о "модельности" построений, но претендуют на истинность своих версий, стремятся объективировать высказывания как соответствующие исторической и социальной реальности. Процедуры совмещения в рамках текста новой историософии разных "измерений" — религиозно-этического, национально-культурного, национально-государственного, державно-имперского, геополитического и пр., — облегчают авторам выбор (или производство), гипо-стазирование и легитимацию базовых концептов, с помощью которых выстраиваются определенные дискурсивные практики.

⁵ Фурсов А., Пивоваров Ю. Русская Система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 3. С. 14-15.

298

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

Такие опорные концепты изначальны выглядят вневременными, пространственно "беспредельными", не требующими дополнительной аргументации. Они предполагают семантическую насыщенность дискурса и открывают для читателя возможности "вчитывания" собственного опыта. Авторские намерения достигнуть правдоподобия реализуются и за счет использования разделяемых в обществе и публично артикулируемых политико-идеологических и социально-культурных концептов, которые репрезентируются в таких текстах

как онтологические сущности.

Доверие читателя к историософскому тексту создается в значительной мере благодаря тому, что в нем присутствуют необходимые атрибуты формульности (соответствия жанровым признакам фило-софско-исторического произведения). Построения такого рода не поддаются проверке на фальсифицируемость, поскольку представляют собой определенные наборы высказываний. Концепции особого *пути России* — самореферентны, расположены определенным образом по отношению друг к другу, распознаются и воспроизводятся в общем пространстве смыслопорождения.

Помимо авторского "голоса" в этих текстах слышны и другие "голоса", идущие не только из российской историософии XIX — начала XX в., но также из советского обществоведения и западной леволиберальной философии и эссеистики последних десятилетий. Эти тексты расположены в едином интертекстуальном пространстве, которое образуется посредством совмещения историко-интеллектуального пласта текстов и корпуса современных текстов, продуцируемых в постсоветском и западном социально-гуманитарном сообществе.

Использование авторами элементов такого интертекста создает эффект присутствия в их произведениях объективного исторического контекста. Узнаваемыми и поэтому вызывающими доверие читателя выглядят отсылки к признанным интеллектуальным источникам и авторитетам (славянофилы и западники XIX в.; русские консерваторы рубежа XIX—XX вв.; Н. Данилевский, В. Соловьев, Н. Бердяев; О. Шпенглер, А. Тойнби, И. Валлерстайн, С. Хантингтон и др.). Они используются как опорные знаки конвенции и создают "родословную", позволяющую вписывать продуцируемый текст в непрерывную (мировую, национальную) историю идей.

Рабочие операции авторов историософских текстов в создаваемом ими интертекстуальном пространстве — перекрестное цитирование и

299

Феномен прошлого

самоцитирование — создают у читателя впечатление о приобщении к новому нормативному знанию. Авторы используют конвенциональные базовые слова, как правило, с одним значением или с привычными коннотациями. То же касается употребления объясняющих высказываний, фигур речи и умолчания, предпочтительных литературных тропов, речевых интонаций. В работах постоянно демонстрируется зависимость используемой риторики от риторической традиции, сложившейся в традиционной российской историософии и историографии. В то же время авторы стремятся опираться на концепты и аргументацию современных западных социальных философов и эссеистов, которые применяют процедуры цивилизационного анализа. При этом, как правило, происходят идейная ресемантизация базовых слов, их подчинение собственной концепции.

При конструировании авторской позиции активно используется обыденный язык (узус), который тоже усиливает "эффект реальности" для читателя — потребителя этих текстов. Концепция выглядит для него легко распознаваемой, быстро осваиваемой, не нуждающейся в критической рефлексии. Это — апелляция к стереотипу, к обыденному знанию. Не случайно во многих текстах провоцируется "снижение" программных высказываний и обращение к так называемому здравому смыслу.

В процессе конструирования повествования огромная роль отводится литературным тропам, особенно — метафоре, которая выполняет в тексте исключительно важную познавательную функцию. Используемые в качестве метафор слова "нагружаются" универсальными концептуальными признаками.

Нередко роль метафор выполняют слова, которые заимствованы из конкретной историографии и прошли процедуру переозначивания, например *раскол, манихейство, Орда, самодержавие (Великая самодержавная революция 1517—1565/1649), смута* и пр. Им придается — в концепциях А. Ахиезера, И. Яковенко, А. Пелипенко, А. Фурсова и ряда других авторов — статус внеисторических универсалий (*манихейская революция, смута 1238—1304 гг., смута XVII в., Красная смута, смута рубежа 80—90-х гг. XX в.*).

В лексикон активно включаются и такие слова, на которые по определению возлагается повышенная нагрузка. Так, прилагательное *русский* призвано автоматически придавать используемым понятиям новое значение.

300

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

Например, в концепции А. Фурсова и Ю. Пивоварова, содержащей элементы западной либеральной миросистемности, слово *русский*, будучи приложенным к социологическим универсалиям *система, власть, популяция*, должно, по замыслу авторов, их качественно преобразовывать в новые понятия (*не-западные*).

В историософских построениях неоконсерваторов, неоевразийцев и традиционалистов-

почвенников это слово приобретает статус сакрального и наделяется сверхценными свойствами. Так, в текстах А. Дугина выстраивается неоевразийский (традиционалистский по основанию) дискурс, в котором концепт русский выражает цивилизационную уникальность России:

"Не суть важно, отдаем ли мы сами себе отчет, откуда взялись такие специфически русские черты, как созерцательность, небрежение должными практическими делами, великодушие, открытость, доброта, общинность, сострадание к обездоленным, неприязнь к жесткой эгоцентрической конкуренции, жертвенность, любовь к Отчизне, смешение личного и социального, духовного и материального, интуитивность и эмоциональность оценок, приоритет правды, нравственности над законом и правом, удивительно проникновенное восприятие земли, почвы, чувство цельности, неприязнь к дробности мира, консерватизм. [...] Каждый русский человек (в широком смысле — каждый, кто испытал на себе воздействие русской цивилизации) обязательно в той или иной степени наделен этими чертами"⁶.

Новая историософия оперирует историографическими "модулями", произвольно совмещая и переопределяя их семантику и местоположение в соответствии с той или иной концепцией. В роли модулей выступают такие целостные вербальные конструкции, как: *Киевская Русь, принятие христианства, византизм, татаро-монгольское (иго, завоевание, оккупация), ордынство, московская Русь, смута 1, петровская Россия, екатерининская Россия, самодержавие, смута 2 (большевизм и пр.), сталинизм, смута 3 (рубеж 80—90-х гг. XX в.)* и пр.

Тексты формируются и бытуют в пределах общего идеального пространства и условно определяемого времени — *мировой (всеобщей) истории*. В своих произведениях авторы подтверждают привычную практику мыслить "большими" внеисторическими формами (*Россия*,⁶ Дугин А. Русская православная церковь в пространстве Евразии // Основы евразийства. М., 2002. С. 706.

301

Феномен прошлого

Запад, Восток, Азия, Европа и пр.), которые в рамках дискурсивных формаций приобретают вид своеобразных эмблем и символов. Использование авторами *цивилизационного* подхода при изображении взаимозависимости между прошлым, настоящим и будущим России открывает возможности для построения историософского метанарратива.

В процессе авторского письма концепт *цивилизация*, как правило, наделяется универсальными сущностными признаками и не предполагает специального пояснения его содержания. Концепты *российская (русская) цивилизация, русская идея, путь России, судьба России* играют огромную роль в риторике любого историософского дискурса. Их трансляция вызывает доверие читателя к тексту, поскольку авторы опираются на разделяемые коллективные представления и традиции (немалую часть которых составляют "изобретения" интеллектуальной элиты в Новое и новейшее время). Все это автоматически усиливает эстетический (выразительный) аспект историософского дискурса.

Нерефлексивное включение концепта *российская (русская) цивилизация* в историософский дискурс подразумевает его онтологическую целостность, *телесную* определенность и *духовную* специфику феномена. Более детальное изображение авторами черт и свойств *российской цивилизации*, как правило, предполагает использование антропоморфных, органицистских, биологических метафор, что утверждает читателей в мысли о реальности этого концепта.

Нередко *российская цивилизация* представляется в текстах посредством метафор *молодости, незрелости, переходности* и пр. Например, в концепциях В. Цымбурского и И. Яковенко⁷ метафоры *лимитроф, мембрана, схлопывание*, введенные авторами из естественнонаучных и технических дисциплин (географии, биологии, механики), объективируются и соединяются с понятиями *цивилизация и культура* в целостную объяснительную систему, призванную обосновать специфический *путь России* в связи с динамикой исторического местоположения *российской цивилизации*.

Поясняя свою концепцию (по мировоззренческим основаниям либеральную, "западническую") о *периферийности и переходности российской цивилизации*, И. Яковенко пишет:

⁷ Цымбурский В. Россия — земля за Великим Лимитрофом: Цивилизация и ее геополитика. М., 2000; Яковенко И. Россия и саморазвитие европейского эйдоса // Российский цивилизационный космос. М., 1999. С. 186—202.

302

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

"Понятие лимитрофа фиксирует континуум переходных состояний между цивилизациями. Россия (как и Орда или Волжская Булгария) являет собой пример цивилизационного синтеза на лимитрофе. В силу объективных обстоятельств цивилизационного синтеза российская цивилизация лишена единого основания. В рамках российской цивилизации агрегируются элементы, не складывающиеся (во всяком случае, пока) в высокоинтегрированное синтетическое целое. Отсюда проблемы и беды России. Беды, но не провинности, ибо другого пути утверждения цивилизации, государственности и истории на данной территории не было. Ценой невероятного исторического усилия из поколения в поколение наш народ работает над соединением несоединимых элементов в эффективное динамичное целое"⁸.

Новая историософия свободно использует концепты И. Гердера (*народный дух*), Н. Данилевского и И. Ильина (*органика цивилизации*), Н. Бердяева (*душа России*), Л. Гумилева (*пассионарность*) и других известных авторов, изымая их как "готовые формы" из романтической, позитивистской и религиозно-идеалистической парадигматики XIX — первой половины XX в.

Авторам неоконсервативной, неоевразийской и неопочвеннической ориентации оказывается удобно

применять телесно-целостные, органицистские формулы для обоснования идеи внутренней цивилизационной устойчивости, единства и монолитности народов, сплоченных вокруг государствообразующего центра — российского *суперэтноса*. С помощью "формульных" высказываний подобного рода, в зависимости от идеологических установок, утверждаются мифы о прямой преемственности новой России либо с Московской Русью, либо с Российской империей и СССР. Общим местом для традиционалистского дискурса становится, например, такое высказывание из текста А. Дугина:

"Евразия — это не географическое и не континентальное понятие. Это уровень развития русского народа, русской государственности, в который она вступила, начиная с возвышения Московского царства. [...] Абсолютным евразийством является империя Чингизхана, и наследниками этой империи стали сначала Московское царство, а потом — собственно Россия и СССР. [...] Евразийством следует называть именно это движение русской государственности, обращенное к Востоку — к Владимирской, а потом Московской Руси, к Ивану Грозному, к тюркофилии, к очень доброжелательному отношению к восточным культурам,

* Яковенко И. Россия и саморазвитие европейского эйдоса. С. 195—198.

303

Феномен прошлого

но, тем не менее, к утверждению своей собственной уникальной самобытности, особенно перед лицом глобализации"⁹. Подобные суждения — не редкость и для дискурсивных практик авторов, которые стремятся опираться на западные миросистемные теории:

"С евроазиатской линией и проблематикой [...] все ясно. Нынешняя Россия — евразийская держава. Россия / СССР была великой евразийской империей, сравниться с которой отчасти и в какой-то степени может Великая монгольская империя. Однако если учесть длительность существования России / СССР в качестве евразийской империи (более 300 лет против реальных 50 у монголов) и наличие отсутствовавшего у монголов универсалистского проекта [...], то их Монгол Улс на фоне России / СССР выглядит довольно бледно; впрочем, трудно сравнивать политику XIII в. и эпохи Модерна, тем более что монголы, особенно Золотая Орда, очертили, как исторически оказалось, многие границы российско-советского *impregium'a*"¹⁰.

Независимо от идейно-политических ориентации авторов, в историософском дискурсе формируется общее высказывание о метаисторическом движении *Российской цивилизации* и огромном потенциале ее жизненной самореализации как одного из *центров* полицивилизационного мира. Из концепции *Российской цивилизации* как специфической телесной целостности, вырастает риторическое *тело* Государства Российского (Руси — России — Российской Империи — Новой России), которое вписывается в символическое культурно-географическое пространство. Такое тело развивается вширь, взрослеет, приобретает опыт, борется с врагами за выживание и самосохранение. Его сила/власть (*богатырство*) неизменно внушает уважение окружающему миру — друзьям и врагам.

В текстах, содержащих неоконсервативные, неоевразийские и неопочвеннические концепции, постулируется отказ от *прогрессиями* (особенно от теории "догоняющей модернизации" и связанных с нею внутренних "комплексов" — невозможности подтвердить государственное величие и державность социально-экономическими показателями) и проводится апология *циклического* развития в рамках само-

⁹ Дугин А. Я за многополярную цивилизацию // Основы евразийства. С. 544—545.

¹⁰ Фурсов А. Представляю номер (Или о глобализации и не только о ней) // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 4. С. 6.

304

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

организующихся и самовоспроизводящихся территориальных — конфессиональных — духовно-психологических целостностей. Как дополнительный аргумент авторы этих текстов нередко используют в качестве риторических "готовых форм" элементы публицистического дискурса западных левоориентированных интеллектуалов, выступающих с критикой теорий модернизации, современного корпоративного неолиберализма и негативных сторон глобализации". Но при этом такие "формы" наполняются антидемократическим содержанием.

Отрицательные высказывания российских авторов в адрес "догоняющей модернизации", которые производятся якобы в русле критических суждений зарубежных аналитиков, в конечном счете служат основанием для морального возвышения России над пространством бездуховного западного либерализма, погибающего от внутренних противоречий. Замена прогрессизма риторикой циклического развития, как и технология метафорического конструирования телесно-целостной российской *цивилизации*, в конечном счете придают содержанию базовых концептов охранительный, консервативный характер. Декларируемая оппозиция русской *духовности* и так называемых *материально-технических опасностей*, идущих в Россию с Запада оборачивается в таких текстах попытками утверждения антилиберальных установок как новых нормативов для коллективных представлений.

В итоге в историософских текстах неоконсервативной ориентации выстраивается позиция, в соответствии с которой российская *цивилизация* из *периферийного* состояния (по одной из концепций российских западников) выдвигается в *центр* современного мира.

Такая позиция, в частности, формулируется в текстах А. Панарина:

"Только держава, история, география, культура которой синтезирует импульсы Запада и Востока, Севера и Юга, способна дать насущную критику западных практик не со стороны, а как бы из выстраданного внутреннего опыта, и сделать поворот к Востоку осознанным. Только культура, сочетающая восточную идентичность, связанную и с восточно-христианской духовностью, и с евразийской моделью государственности, и западный прометеизм, устремленный в будущее,

¹¹ В числе критиков такого рода немало известных профессионалов-гуманитариев, например Н. Хомский, который в последние годы резко выступает против усиления антидемократических процессов в США и западном мире (см.: Хомский Н. Прибыль на людях. Неoliberalизм и мировой порядок. М.: Практикс, 2002).

305

Феномен прошлого

способна конвертировать богатейшее восточное наследие в альтернативный исторический проект. Российская культура как раз и является таковой [...] Россия разоблачила [...] тщательно скрываемую профессиональную тайну западного миссионерства, и Запад ей не может этого простить [...] И то, что волна вестернизации, готовая накрыть весь мир, разбилась о Россию, считается непростительной виной России. Второй виной России является ее историко-эсхатологический темперамент — неспособность целиком жить настоящим и принимать статус-кво. Россия имеет призвание звать в будущее"¹².

Своеобразным подтверждением высказываний о *центральной позиции* России в мире нередко служит мысль о *российской цивилизации* как *православной цивилизации*⁰. Концепция *православной цивилизации* утверждается не только в текстах неоконсервативной, неопочвеннической и неоевразийской идейных ориентации (А. Пана-рин, И. Можайскова, А. Дугин и др.), но и в работах авторов, которые занимают более открытые, умеренно-либеральные или центристские позиции¹⁴.

Принципиальная смена авторами историософских текстов теоретико-познавательных координат и возвышение значимости культурно-исторического *измерения* российских реалий предполагают возможность допуска в историософский дискурс внедисциплинарной риторики.

В большинстве историософских текстов объективируется такая мифологическая константа, как коллективно-исторический, *уникальный опыт народа*, выражаемый в его *духовном складе* и *национальном характере (ментальности)*. Для неоконсервативной, неоевразийской и неопочвеннической дискурсивных практик характерны риторические формулы *естественности, природного богатства, духовности* русского народа, которые переводятся в ранг базовых понятий и ре-ифицируются. Часто авторы используют эти формулы в сочетании с концептами *традиционализма, соборности, державности* русского

^a Панарин А.С. Россия на крутых поворотах истории. С. 14—15,197.

⁰ Заметим, что в западной философской эссеистике формула *православной цивилизации*, используемая преимущественно для определения культурно-географического пространства современной России, не содержит в себе коннотаций такого рода. См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.

¹⁴ Например, см.: Шкаратан О.И. Информационная экономика и пути развития России. С. 44—61.

306

T

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

народа и в оппозиции к концептам, с помощью которых описывается *западная цивилизация*.

Авторами-неоевразийцами и неоконсерваторами (А. Дугин, А. Панарин, И. Орлова) и почвенниками (Е. Троицкий) широко используется для выражения особой *русской духовности* метафора *души России*. Согласно их концепциям, *русская духовность* неизменно отстаивает свою целостность, противопоставляя себя *западной материально-прагматической телесности*, которая создается глобальными информационными технологиями и навязывается культурой массового потребления. В неоконсервативной версии историософии А. Панарина *народ* России выглядит как *коллективное тело*, обладающее *естественной* пространственностью, духовной силой и ясностью:

"Народ является социоприродным образованием — совместным продуктом истории и географии. Chi олицетворяет симбиоз с неповторимой в своем своеобразии природой и со столь же уникальной, духовно и нравственно освоенной историей. [...] Народная субстанция не знает того противопоставленного гармониям Космоса социоцентризма, который породил субъективистскую гордыню и произвол Модерна. Почему народная субстанция со временем стала все больше раздражать модернизаторов? В первую очередь по причине своей замечательной цельности и целостности. Эта субстанция была неподвластна соблазнам великих учений и манипуляциям «великих учителей», которые судили об истории народа по себе"¹⁵.

Заметим, что та же метафора *русской духовности* оказывается способной выполнять иную когнитивную роль в построениях либералов-западников (например, у В. Кантора), когда она используется для характеристики многосложного, противоречивого *русского пути* и условий модернизационного вхождения России в мировое цивилизационное пространство. Хотя автор и делает упор на концептах *переходности* (модернизационной периферийное™) и *незрелости* России по отношению к Западу, риторическая стратегия в дискурсе формируется таким образом, что читатель остается в убеждении о возможности позитивного соединения русской *самобытности* с современными модернизационными и демократическими проектами либеральных российских реформаторов:

¹⁵ Панарин А.С. Россия на крутых поворотах истории. С. 147—149.

307

Феномен прошлого

"Сегодня, когда говорят о выборе западного, буржуазного пути, слышатся и возражения: а может ли национальная культура что-либо выбирать, не отрывается ли она в таком случае от самой себя, ведь культура необходимо должна развиваться по особым, своим собственным законам. Возражение резонное. Но и путь у России в самом деле особый, в него входит и постоянная ориентация на Запад. Это своего рода саморегуляция культуры. [...]

Сегодня опять путь в цивилизации связывают с государственностью. Но не с правовым государством, а с восстановлением империи. Что ставить во главу угла? Империю? То есть силу, подавлявшую всякую самостоятельность внутри и вовне? Или нормальное существование каждого отдельного российского человека — жизнь сытую, обеспеченную, благоустроенную, лишенную перманентных катаклизмов?.. Иными словами, быть сверхдержавой или страной, развивающей культуру и цивилизацию, основанную на правах личности?"¹⁶.

Выстраивание оппозиции *телесное/духовное* и подчеркивание авторами текстов неоконсервативной, неоевразийской и неопочвеннической ориентации *духовного* превосходства России над *материальным (телесным)* прагматизмом Запада содействует формулированию концепций антизападничества в той или иной форме и, как их конкретного преломления в российском опыте, — антиреформаторских построений. Идея особенности России, ее высокой *духовности*, мессианской роли в мире (в отношениях с Западом) сопрягается с критикой идей модернизации России по "западному" образцу и необходимостью сохранения *самобытности* — культурной, религиозной, традиционной.

Во многих текстах новой историософии заметно выражена критика господствующей западной *цивилизации* с позиции "своей" национальной культуры, — "подавляемой", *особой* (в соотношении с *мировой* как западной). Отсюда — мысль о возвращении к *земле, природе, традиционным национальным устоям* в семье, в образовании, в отношениях между людьми, к "неиспорченному" западной цивилизацией историческому периоду русской истории (допетровскому, досоветскому). В ряде текстов (А. Панарин, И. Орлова) можно встретить возвышение идей традиционализма и национального *духовного* своеобразия, которые, по мысли авторов, должны подтверждать практическую установку о неприемлемости для современной России

¹⁶ Кантор В.К. "...Есть европейская держава". Россия: трудный путь к цивилизации. С. 117,134.

308

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

либерально-демократических реформ в их "западнической" версии и необходимости поиска ею *своего пути*.

Так новая историософия совмещает элементы мессианско-идеалистического дискурса о *русской идее* и *русском пути* (с акцентом на этику и дидактику) с традиционалистским национально-государственным, идейно-политическим дискурсом.

Прагматика установок новой историософии, претендующих на нормативное знание, заметно прослеживается в построениях современной российской профессиональной историографии, в учебных и справочных текстах, популярной литературе.

Новые историософские построения активно включаются в теоретико-методологический арсенал исторической профессии в России. Это делается не только самими авторами таких проектов (в целях их легитимации), но и усилиями "патриархов" — облеченных институциональной властью историков, — которые в поисках "выхода из кризиса" российской историографии (понимаемого как переосмысление концепции непрерывной национальной истории) стремятся соединить многообразные версии мировой и российской истории в моноконфигурацию из историософского, цивилизационного и формационного подходов".

Построения новой историософии в постсоветской России выглядят попытками генерации и закрепления такого научно-публичного дискурса, который претендует на академическую нормативность в изменяющемся пространстве социально-гуманитарного знания и одновременно, в условиях становления российской государственной идеологии, стремится принять на себя властные функции в общественной сфере и образовании. Созидание средствами новой историософии определенной когнитивной карты — познавательной матрицы, претендующей на всеобщность, — обуславливает наличие в таких текстах сильных нравственно-императивных и дидактических начал.

Не случайно многие позиции новой историософии легко и быстро вошли в пространство учебной литературы по отечественной истории и истории культуры для средней и высшей школы. В отсутствие прежней официальной идеологии они создают контуры других "догматов веры",

¹⁷ См. например: Сахаров А. О новых подходах в российской исторической науке. 1990-е годы // Мир историка. XX век. М., 2002. С. 11—19.

которые согласуются с направлениями поиска новой государственной идеологии¹⁸.

Призыв государственной власти к поиску *русской национальной идеи* и построению новой государственной национальной истории рассматривается многими профессионалами — авторами учебных текстов как путь к преодолению мировоззренческих и понятийных трудностей с помощью предлагаемого "общего основания" для отечественной истории. В конвенции такого рода видится возможность ограничения влияния либерально-демократических, "западнических" версий теории "эшелонной" модернизации, а также более активного противостояния многообразным опытам созидания "региональных" и "этнокультурных" историй. Успешность включения новой историософии в учебные тексты в значительной степени объясняется тем, что она позволяет эклектически соединять элементы формационного и цивилизационного подходов с идеологическими "державно-национальными" построениями, содержательно корректировать соотношение марксистско-советской и либеральной модернизационной версий истории.

В этой связи типичным выглядит суждение В. Журавлева, одного из авторов-составителей новой учебной литературы:

"Блуждание историков между двумя соснами — формационным и цивилизационным подходом к постижению прошлого — в какой-то мере продолжается. С трудом пробивает себе дорогу позиция, согласно которой два эти подхода не противостоят, не взаимоисключают, но взаимодополняют и обогащают друг друга. И это логично... Органично сочетая эти два подхода, мы получаем возможность дать учащимся многостороннюю, объемную картину той или иной эпохи, исторического процесса в целом. [...] Россия пока еще не нашла, не успела своим
¹⁸ История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное пособие / Сост. А. Радугин. М.: Центр, 1998; История России с древнейших времен до конца XX в.: Учебное пособие для вузов. В 3 т. / Отв. ред. А. Сахаров. М., 2000; Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2 ч. / Под ред. А. Данилова. М.: Владос, 1995; Семенникова Л. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. М.: Интерпракс, 1994; Кондаков И. Введение в историю русской культуры: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 1997; Уткин А. Россия и Запад: история цивилизаций: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2000; Шаповалов В. Россияведение: Учебное пособие для вузов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001; Российская цивилизация: Учебное пособие / Под ред. М.П. Мчедлова. М.: Академический проект, 2003.

310

социальным опытом — в условиях конфликта между государством и обществом, перманентного давления первого на второе — наработать предназначенный именно для нее механизм эффективной модернизации... На смену концепции и идеологии «догоняющего развития» должна неизбежно прийти концепция и идеология *органического* развития России"¹⁹.

В конечном счете в сводных учебных пособиях по истории России наблюдается механическое соединение элементов новой историософии, содержащей концепцию *особого пути России*, с традиционной схемой политической (национально-государственной) историографии. Историософская форма служит основанием для схемы *непрерывной национальной истории* и построения российской истории как мировой *исторической драмы*. Нерелективное использование в одном тексте разных языков описания исторических событий и процессов содействует упрощению и "одномерному" пониманию содержания базовых понятий, которыми оперирует современная историография.

Например, в тексте учебного пособия Л. Семенниковой "Россия в мировом сообществе цивилизаций" *место России* определяется следующим образом:

"1. Россия не является самостоятельной цивилизацией и не относится ни к одному из типов цивилизаций в чистом виде.

2. Россия представляет собой цивилизационно неоднородное общество. Это особый, исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся к разным типам развития, объединенных мощным, централизованным государством с великорусским ядром.

3. Россия геополитически расположена между двумя мощными центрами цивилизационного влияния — Востоком и Западом, включает в свой состав народы, развивающиеся как по западному, так и по восточному варианту. Неизбежно в российском обществе сказывалось как западное, так и восточное влияние.

4. При крутых поворотах исторические вихри «сдвигали» страну то ближе к Западу, то ближе к Востоку. Россия представляет собой как бы «дрейфующее общество» на перекрестке цивилизационных магнитных полей"²⁰.

¹⁹ Журавлев В. Экспериментальные учебники как мировоззренческая и воспитательная альтернатива официальным стандартам // Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под ред. К. Ай-мермахера, Г. Бордюгова. М.: АИРО-XX, 2002. С. 191—193.

²⁰ Семенникова Л. Россия в мировом сообществе цивилизаций. С. 109.

311

В учебном пособии для средней школы "Россия и мир" предлагается разновидность историософского истолкования места *российской цивилизации* в мире в связи с репрезентацией *особого национально-го характера, уникального коллективного опыта жизни русского народа*:

"Географические, социально-экономические, политические, культурные условия жизни русского народа, безусловно, наложили отпечаток на его облик и отделили в определенные устойчивые черты характера. [...] Обычно отмечают

государственность русского народа, его терпеливость, законопослушность, духовность, соборность. С другой стороны, говорят о его общественной апатии, слабом интересе к человеческой индивидуальности, равнодушии к отвлеченным идеям и понятиям. [...] Все в нашей истории действуют, по большей части вместе, все заодно, но не по каким-то идейным соображениям, а по одинаковости отношения к событиям и времени, которые воспринимаются вообще, целиком. Однако, если это так, то необходимо различать соборность как высокую духовность, идеал духовного единства, доступный в реальной жизни пока что не очень многим, и общинность — единство психолого-физическое, удел подавляющего большинства населения России. И та, и другая, безусловно, национальны, но различия между ними явны и значимы"²¹.

Автор учебного пособия "Россиеведение" В. Шаповалов идентифицирует себя с критическим направлением в отечественном неолиберализме. Работа Шаповалова интересна тем, что содержит опыт систематического перевода построенной новой историософии в образовательную практику. В этом тексте концепт *народ России* наделяется сверхценными *телесно-органическими* атрибутами, что позволяет автору выстраивать версию об уникальности российской цивилизации: "Самый главный ресурс цивилизации — ее народ, а самое важное качество народа — его жизненная сила, основанная на понимании единства исторической судьбы и совместного будущего, сила, зреющая и растущая вместе с историческим развитием цивилизации. Наиболее полно она концентрируется в характере народа, в его устойчивых психологических чертах. Можно подробно обрисовать природные условия, экономику, политику, демографию, технику и другие особенности цивилизации. Но при этом нечто важное остается непознанным — то, что лучше всего назвать «духом цивилизации». Именно поэтому [...] мы будем

²¹ Россия и мир: Учебная книга по истории. Ч. I. С. 139—141.

312

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

обращать пристальное внимание на особенности общерусского национального характера, в котором в наибольшей степени как раз и реализуется дух российской цивилизации"²².

Рассуждая о *суперэтничности* как свойстве *российской цивилизации*, В. Шаповалов концептуализирует метафору *общей российской души*. Наделение этого концепта эссенциалистскими чертами дает автору основание говорить о связи между *душой, культурным духом* России и общероссийским *национальным (народным) характером*:

"Общероссийский национальный характер — это общие черты психологии всех россиян, то есть граждан России, или, более широко, тех людей, чья судьба в нескольких поколениях оказалась связанной с Россией так, что они приобрели характерно российские психологические черты. Народный характер вообще является не категорией родства по крови, а категорией духовного плана. Это тем более справедливо, если речь идет об общих чертах характеров многих народов. Понятие общероссийского национального характера как раз и призвано отразить общие черты характеров народов, населяющих Россию"²³.

В широком диапазоне историософских импликаций к учебным текстам по истории, политологии, истории культуры нередко встречаются элементы фундаменталистской неоконсервативной риторики, граничащей с "державным" национализмом²⁴. Так, в учебнике Е. Скворцовой по теории и истории культуры, получившем гриф Министерства образования Российской Федерации, утверждение об уникальности "российского типа культурно-исторического развития" средствами историософской аргументации основывается главным образом на идее его "естественного" превосходства над прочими культурными типами:

"Любой народ и его культура являются заложниками своих естественных, природных начал [...] В эпоху славянской древности заложены были начала всего строя русской жизни, духовности, языка, культуры в целом. Русичей отличала могучая сила, неведомая цивилизованным народам того времени. Народ богатырей отличался царским великодушием и добротой, военной смекалкой, простым образом жизни и высоким представлением о назначении человека. [...] На развивавшееся

²² Шаповалов В. Россиеведение. С. 46. ²³ Там же. С. 41.

²⁴ Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999; Троицкий Е.С. Этнополитология: Учебное пособие. В 3 т. М., 2003.

313

Феномен прошлого

в русле рационалистического мирозерцания западное христианство главным образом падает историческая ответственность за глубину и продолжительность безрелигиозной эпохи и судьбу миллионов людей, вырвавших себя с корнем из мира духа в борьбе за превратно понятый социальный идеал. [...] Насаждаемый идеал сильной, удачливой, всепобеждающей, идущей напролом и не считающейся ни с кем личности глубоко чужероден отечественному национальному сознанию с его сострадательностью, всемерпимостью, отзывчивостью, добротой"²⁵.

При кажущейся отвлеченности и идеалистичности построений новая историософия ориентирована на поддержку атрибутов нового национального государства. Это выражается в активном использовании и семантической нагруженности™ концептов *национальной культуры, национального менталитета, национальной церкви, национального государства, державы, империи*. Таким образом, она имеет "выходы" в современную социально-политическую практику и выглядит вполне прагматичной.

Усиление прагматической тенденции можно заметить в новейших дидактических версиях историософии, адресованных общеобразовательной школе. Характерным примером может служить учебник "Отечественное" для старших классов, изданный в качестве "экспериментального" (автор концепции и ответственный редактор И. Чубайс) с целью воспитания у российских школьников патриотизма. Рассуждая об особой российской цивилизации, авторы этого учебника выстраивают следующие базовые установки:

"...Мы определили глубинные устойчивые правила нашей жизни — русскую идею. Человеческая ментальность и

специфика хозяйственного уклада выражаются понятием *общинный коллективизм*. Главное в народно-государственной стратегии — *собираение земель*, постоянный количественный рост страны. Специфика духовного склада общества выражена в *православном христианстве*. Определив и описав русскую идею, мы получили инструмент для исследования глубинных социальных изменений в обществе. [...] Чтобы понять, что мы родились не с залпом «Авроры», а на 1000 лет раньше, надо, в первую очередь, придать особое значение историческому знанию, истории отечества. Культ истории, пафос отечественной истории, историзм — вот важнейшая составляющая новой российской системы ценностей²⁶.

276. 314

²⁵ Скворцова Е.М. Теория и история культуры. С. 185, 208, 314.

²⁶ Отечествоведение: Учебник для старших классов. М.: Захаров, 2004. С. 251,

Новая российская историософия: риторические стратегии и прагматика

Идеи сильной вертикальной исполнительной власти и "неактуальности" концепта *гражданское общество для России* вполне соотносятся с историософскими установками о *переходности российской цивилизации (третий путь)*, а также с мыслью об историческом величии России, требующем своей реализации и подтверждения в конструкции многополюсного мира.

Запросы о характере российской истории, формулируемые федеральной властью и различными социально-политическими группами как обращения к российским интеллектуалам, содержат в себе важную установку: подтвердить достоверность и "правоту" настоящего аргументами исторического прошлого. Этот вызов государственной власти напрямую связан с идеями исторического обоснования и легитимности нового российского национального государства. В дискурсе новой историософии отчетливо просматривается связь с "русским проектом" федеральной власти.

В начале 2000-х гг. в содержании такого государственно-политического запроса заметно усиливается идея исторического обоснования принципа мобилизации нации и сплочения вокруг центральной власти в процессе "вечной" борьбы "народа" с внешними и внутренними угрозами. Совершенствование исторического образования в рамках реформы средней и высшей школы мыслится как укрепление любви к Отечеству (в этой формуле Отечество и Государство тождественны друг другу). Исходная конвенциональность и доступность объяснительных схем, узнаваемость "формул" историософских версий отечественной истории потенциальными потребителями (представление прошлого, с точки зрения здравого смысла) выглядят для значительной части современного российского общества эффективными и достаточными дидактическими средствами формирования в системе образования принципов государственного патриотизма.

ПРОВАЛ "УСПЕШНОГО ДЕЛА"? ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЮ В ШВЕЙЦАРСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ*

И. Эрманн

История играет в политике огромную роль¹. С одной стороны, правительства должны уметь обращаться с наследием прошлого. С другой стороны, официально канонизированное повествование об этом самом прошлом², т.е. история, представляет собой серьезное средство легитимации политических решений. Вообще говоря, чем больше лидеры стремятся осуществить радикальные изменения, тем больше они вынуждены обращаться к истории³. В этом кроется причина того, почему исторический дискурс успешно переживает большинство революций и

* Перевод с англ. Т.А. Дмитриева при участии Б.М. Скуратова.

¹ Об этом см., например: *Les usages politiques du passé* / F. Hartog, J. Revel (eds.). Paris: Editions de l'EHESS, 2001.

² Я заимствую это довольно общее, но тем не менее полезное определение из работы: *L'histoire en partage. Usages et raises en discours du passé* / J. Letoumeau, B. Jewsiewicki (eds.). Paris: L'Harmattan, 1996.

³ Нельзя сказать, что подобное обращение к истории всегда осуществляется сознательно. Об этом см., например: *The Invention of Tradition* / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). L.; Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

316

Провал "успешного дела"?

большинство масштабных эволюционных изменений, например, таких, как создание и консолидация национального государства, и в определенной степени даже способствует им⁴.

Большинство специалистов считает, что интеллектуальные истоки понятия "нация" восходят к XVIII столетию⁵. Эти семена быстро взошли и в XIX—XX вв. дали плоды в виде политических образований. В Швейцарию, как и в другие европейские страны, это понятие и связанную с ним реальность привнесли французские армии в 1798 г.⁴ Хотя централизованное государство Гельветическая республика в 1803 г.

прекратила свое существование, национальная идея продолжала жить в некоторых социальных сферах благодаря тому, что это допускалось властями отдельных кантонов в 1830-е гг. и, в масштабах всей Конфедерации в целом, начиная с 1848 г. Именно с этого момента швейцарская нация, в основу которой было невозможно положить ни общий язык, ни общую религию, стала испытывать постоянную потребность в получении все новых и новых импульсов, которые могли бы поддержать ее существование⁷. Граждане должны были испытывать чувство принадлежности к одной стране. Кроме того, они должны были действовать так, чтобы обеспечить сохранение своей страны. Им было необходимо не только противостоять вторжениям извне, если бы таковые произошли, но и избегать внутренних конфликтов, которые могли бы повлечь за собой хаос. В решении всех этих задач история играла колоссальную роль*.

⁴ Применительно к Франции об этом см.: Les lieux de memoire / P. Nora (ed.). Paris: Gallimard, 1984—1994.

⁵ Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998 (1990); Girardet R. Nationalismes et nation. Bruxelles: Ed. Complexe, 1996.

⁶ Boning H. Traum von Freiheit und Gleichheit. Zurich: Orell Fussli. 1998; Dossiers helvetiques / Ch. Simon (ed.). Basel: Helbing & Lichtenhahn and then Schwabe, 1995—2000.

⁷ Frei D. Die Forderung des schweizerischen Nationalbewusstseins nach dem Zu-sammenbruch der Alien Eidgenossenschaft 1798. Zurich: Juris-Verlag, 1964; Im Hof U. Mythos Schweiz. Identität, Nation, Geschichte: 1291—1991. Zurich: Neue Zürcher Zeitung, 1991.

¹ Конечно же, история не была той единственной силой, которая сплачивала швейцарскую нацию воедино. Рассмотрение всех моментов этого процесса см. в книге: Herrmann I. Les cicatrices du passé. Gestion et prevention des conflits helvetiques: 1798—1918 (Готовится к публикации). Превосходный анализ законодательных мер,

317

Феномен прошлого

Все эти соображения дают основания предположить, что процесс формирования швейцарской нации представляет собой хороший пример для изучения феномена использования истории в политических целях, для рассмотрения особенностей этого применения и его границ, успехов и неудач, с которыми пришлось столкнуться на этом пути, иными словами, пример, который позволит понять, почему историей пользуются и — одновременно — почему ею злоупотребляют в таких масштабах⁹.

Политическая и историографическая конъюнктура (1798—1998)

Нет ничего удивительного в том, что первые попытки использовать историю в националистических целях приходятся на так называемый французский период, когда унификация и централизация швейцарских кантонов превратились в главную политическую цель. До 1798 г. каждый кантон представлял собою самостоятельное государство, связанное с другими сложной системой союзов. Для того чтобы превратить эту архаическую политическую организацию в реальную нацию, швейцарская революционная элита была вынуждена обратиться к основополагающим интеллектуальным произведениям, опубликованным в эпоху Швейцарского Просвещения¹⁰. В ту пору, когда аристократическая элита жила в космополитическом мире, а представления простых людей о мире не простирались далее границ их собственного кантона, представители "третьего сословия" "изобрели" швейцарскую нацию. Их изобретение было реализовано исключительно в сфере понятий,

способствовавших формированию и сохранению швейцарской нации, см.: Gruner E. Die Wahlen in den Schweizerischen Nationalrat — Les elections au Conseil national suisse: 1848—1919: droit et systeme electoral, participation au scrutiny. Bern: Francke, 1978.

⁹ По этому поводу см. также: Iggers G.G. The Uses and Misuses of History and the Responsibility of the Historians, Past and Present // Actes, Rapports, resumes et presentation des tables rondes. XIXe Congres international des Sciences Historiques. Oslo: University of Oslo, 2000. P. 83—98; Walter F. Du bon usage de l'instrumentalisation // Itinera. 1999. Fasc. 23. P. 49—53.

¹⁰ Об этом см., например: Im Hof U., Capitani F, de. Die Helvetische Gesellschaft: Spätaufklärung und Vorrevolution in der Schweiz Frauenfeld. Stuttgart: Huber, 1983.

318

Провал "успешного дела"?

хотя оно и было очень серьезным. Среди всего прочего, эти интеллектуалы переписали швейцарские мифы и превратили их в подлинное повествование о происхождении Швейцарии, соответствовавшее научным критериям времени¹¹. Иоханнес фон Мюллер (Johannes von Müller) был создателем наиболее известной версии швейцарского прошлого¹². В его сочинении создание страны и приумножение ее территории были изображены в виде непрестанной борьбы за сохранение подлинной и специфически швейцарской свободы. Эта интерпретация прошлого не имела ничего общего с представлениями о тех институтах, которые намеревались создать революционеры. Тем не менее она вполне сочеталась с политическим проектом так называемых патриотов, которые находили поддержку в действиях французской Директории. Более того, наиболее известные из плеяды этих патриотов, а именно Фредерик-Сезар де Лагарп (Frederic-Cesar de Laharpe), Петер Оке (Peter Ochs) и Алберт Штапфер (Albert Sta-pfer) были не чужды историческим познаниям¹³. Все трое оставили после себя сочинения по истории. Из этого нетрудно сделать вывод, что все они великолепно знали историографическую литературу и прекрасно отдавали себе отчет в ее политическом значении. Поэтому вовсе не удивительно, что они прибегли к использованию исторических аргументов в целях обоснования своих националистических притязаний.

В отличие от дискуссий, проходивших среди французских революционеров, швейцарская политическая риторика в основе своей не была связана в логическом развитии с идеей естественных прав. Точнее, естественные права понимались ею как исторические права¹⁴. Этот спо-

¹¹ Marchal G.P. La naissance du mythe du Saint-Gothard ou la longue decouverte de l'homme alpinus et de l'Helvetia mater fluviorum //

La decouverte des Alpes, Itinera. 1992. P. 35—53.

¹² Muller J. von. Der Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft. Frankenthal: Verlag der Segelischen Buchdruckerey und Buchhandlung, 1790—1791.

" Schenk Ch. Das Geschichtsbild der Helvetiken helvetische Politiker als Geschichts-schreiber: Peter Ochs, Philipp Albert Stapfer und Frederic-Cesar de Laharpe. Fribourg, MBA work, 1998.

¹⁴ В этом не было ничего нового, поскольку подобная стратегия использовалась еще со времен Английской революции. Если же брать более близкие к описываемым событиям пространственно-временные параметры, то надо вспомнить о Жан-Жаке Руссо (см.: Rousseau J.-J. Lettres ecrites de la raontagne. Amsterdam: Marc Michel Rey, 1764).

319

Феномен прошлого

соб изображения новых притязаний и новых чаяний не только был более правильным и лучше соответствовал состоянию научного исторического знания той эпохи; помимо всего прочего, он имел три важных преимущества. Во-первых, он доказывал, что политическая элита, которая правит страной благодаря французской военной поддержке, не пытается построить швейцарскую нацию на импортированных идеалах. Во-вторых, он показывал, что новая элита помогает швейцарским гражданам не добиться новых прав "с нуля", но обрести их заново. Благодаря этому действия политической элиты выглядели не как незаконный бунт, но как усилия, направленные на восстановление прежних прав. Более того, чтобы подчеркнуть, что их действия оправдываются историей, лидеры использовали одно и то же слово — революция, — для описания как текущих событий, так и событий, происходивших до того, как швейцарцы были лишены своей изначальной свободы¹³. Один из наиболее радикальных лидеров патриотов, Лагарп, датировал эти события временем, "предшествовавшим римскому завоеванию"¹⁶; само собою понятно, что от той поры не сохранилось каких-либо источников.

Эта интерпретация прошлого сразу же столкнулась с критикой со стороны оппонентов революционных радикалов, т.е. со стороны представителей прежней правящей элиты. Отправляясь от той же самой историографической базы, они приходили к существенно иным политическим выводам. Они изображали французское военное присутствие как оккупацию. На этом основании они взывали к унаследованной от предков швейцарской свободе как символу сопротивления иностранной оккупации и революционным идеям, заимствованным извне¹⁷. Эта

¹⁵ Например, в начале XIX в. Ф.-С. де Лагарп писал: "Представительная демократическая конституция, основанная на принципах свободы и равенства, заменила готические формы старой Конфедерации, которая повсеместно рухнула, как только разразилась Великая революция 1798 года. Если эта революция... обещает Гельветической республике более блестящее существование, нежели существование первоначальной Конфедерации, то все-таки следует признать, что революция 1307 года превосходит ее и по времени, и по дерзости предприятий, и по последовавшим за ней триумфам" (Laharpe F.-C. de. Memoires de Frederic-Cesar Laharpe concemant sa conduite comme Directeur de la Republique helvetique adresses par lui-meme i Zschokke. Paris; Geneve: Joel Cherbuliez, 1864. P. 136).

"Ibid. P. 135.

¹⁷ Mallet-du Pan J. Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberte helve-tique. Extrait du Mercure britannique, octobre 1798.

320

Провал "успешного дела"?

историческая контрпропаганда, в основе которой также лежало основополагающее понятие свободы, имела колоссальный успех. В этом, по-видимому, кроются причины того, что история продолжала оставаться решающим риторическим аргументом даже после падения централизованного государства Гельветической республики. Начиная с 1803 г. и вплоть до 1848 г., когда политическая система Швейцарии вернулась к своей прежней ультрафедеративной форме, к прошлому продолжали усиленно апеллировать¹⁸. Если смотреть с этой точки зрения, то мало что изменилось после того, как наполеоновская система потерпела крах, а великие державы решили сделать Швейцарию независимой страной, обеспечить ее нейтралитет и дать ей те границы, в которых она существует и по сию пору. Тем не менее, по мере того как революционная волна в 1830-е гг. начала распространяться на некоторые из наиболее развитых индустриальных кантонов, основное направление в историографии постепенно становилось более либеральным¹⁹. В действительности, несмотря на то что явно политизированные историки, такие, как Шарль Моннар (Charles Monnard) (1790—1865) толковали швейцарское прошлое так, как если бы оно естественно вело к изменениям, произошедшим в 1830-е гг., на самом деле это прошлое не использовалось для строительства нации или восстановления ее прежнего единства.

Строительство нации, т.е. централизация и гомогенизация страны, были главной политической целью другой группы, известной под именем "радикалы". Поскольку преследуемая ими цель не пользовалась популярностью в католических и сельскохозяйственных районах Швейцарии, она порождала множество конфликтов, которые в конечном счете привели к гражданской войне. Эта война (так называемая Sonderbundkrieg)²⁰ была той ценой, которую "радикалы" были

" Herrmann I. Histoire et politique. Le passe comme moyen de pression et de legitimisation en Suisse au XIX^e siecle // Relations Internationales, echanges culturels et reseaux intellec-tuels / H.U. Jost, S. Prezioso (eds.). Lausanne: Antipodes, 2002. P. 13—27.

" V<er F. Historiographie suisse depuis le XVIIIe siecle // Dictionnaire historique de la Suisse (готовится к публикации).

²⁰ Bucher E. Die Geschichte des Sonderbundskrieges. Zurich: Berichtshaus, 1966; Moos C. Fragen an den Sonderbund // Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des His-torischen Vereins der funf Orte Luzern, Uri, Unterwalden ob und nid dem ^ald und Zug. 1996. N149. S. 83—103; Jorio M. "Gott mil uns". Der Bund des Sonderbund-des mit Gott // Revolution und Innovation. Die Konfliktreiche Entstehung des schweize-rischen Bundesstaaten von 1848 / A. Ernst, A. Tanner, M. Weishaupt (Hrsg.). Zurich:

321

вынуждены заплатить ради того, чтобы добиться власти и превратить свою страну в настоящее национальное государство²¹. Довольно удивительно, что они редко обращались к образам швейцарских героев во время этого конфликта на национальном уровне и после его окончания. Несмотря на то что образ Вильгельма Телля всегда служил олицетворением Швейцарии как единственной демократической страны в Европе, новые лидеры предпочитали обращаться к истории не как к последовательности событий, которые привели к учреждению в 1848 г. демократической конституции, но как к глобальному понятию. Для них история была своего рода судьей, судящим исторические деяния вообще и деяния властей в частности²². В ту пору европейский национализм приобрел более культурный облик и вступил в более агрессивную фазу. В этих условиях Швейцария выглядела слабой страной, лишенной таких "объективных" основ национального строительства, которыми было принято считать язык или религию. Поэтому швейцарское правительство, причем, возможно, без отчетливо выраженного на то намерения, стало придавать особое значение одной из тех немногих гельветских особенностей, которую можно было рассматривать как специфически-национальную, а именно, демократии. Незадолго до конца XIX в. гражданам мужского пола были предоставлены права, которым не было аналога в Европе. Они получили не только право избирать и быть избранными, но и возможность отвергать или предлагать новые конституционные законы²³. Chronos. 1998. S. 245—258; Remak J. A Veiy Civil War: The Swiss Sonderbund War of 1847. San Francisco: Boulder, 1993.

²¹ Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat 1798— 1848 / Th. Hildbrand, A. Tanner (Hrsg.). Zurich: Chronos. 1997; Kistli T. CH — eine Republik in Europa. Der Schweizerische Nationalstaat seit 1798. Zurich: NZZ Verlag, 1998; Revolution und Innovation. Etappen des Bundesstaates. Staats- und Natiomnbil-dung der Schweiz, 1848—1998 / B. Studer (Hg.). Zurich: Chronos Verlag, 1998.

²² См., например, обращение правительства после Невшательского дела в 1856 г.: "Беспристрастная история воздаст нам по справедливости и признает, что мы не пренебрегаем никакими средствами, чтобы дать конфликту мирное и удовлетворяющее всех разрешение" (Feuille federate. Bern: C.-J. Wyss, 1857. T I. P. 7).

²³ На федеральном уровне конституция 1848 г. предоставила право голоса всем мужчинам. По конституции 1874 г. они получили право на референдум, а в 1891 г. им было предоставлено право на конституционную инициативу. Женщины, однако же, добились тех же прав только в 1971 г.1

322

Провал "успешного дела"?

В этих условиях, сопряженных с противоречиями на международном уровне и политическими нововведениями внутри страны, история играла важную роль. Она снова заняла значимое место в официальном дискурсе. Продолжая использовать историю в качестве морального понятия, политики в то же время начали обращаться к героическому прошлому Швейцарии.

Первоначально правящая элита строила свои исторические аргументы на основе старой либеральной историографии. Тем не менее довольно быстро появилось новое поколение историков, получивших образование в немецких университетах, чьи работы могли быть использованы для подкрепления радикальной риторики²⁴. В действительности эти исследователи существенно усовершенствовали прежние повествования о прошлом за счет более адекватного изучения источников и мастерского взаимоувязывания историй 22 кантонов, из которых складывается история Швейцарии. Более того, эти ученые были настоящими радикалами. Иоганнес Дирауэр (Dierauer) считается лучшим из них. Он написал труд, который и по сию пору не утратил своей ценности; этот труд служил основой для всех швейцарских учебников (по истории) вплоть до конца XX в.²⁵ и получил крайне высокую оценку со стороны властей²⁶. Тем не менее, несмотря на всё стремление сохранить объективность, Дирауэр, как и его коллеги, разработал телеологическую концепцию судьбы Швейцарии и подлинного значения свободы, только благодаря которым мог возникнуть существующий образ правления²⁷.

Эта интерпретация прошлого имела крайне важное значение для элиты, состоящей из радикалов, поскольку она оправдывала и легитимизировала ее власть. Более того, она побуждала народ гордиться своими предками и как зеницу ока беречь оставленное ими уникальное на-

²⁴ Buchbinder S. Der Wille zur Geschichte. Schweizergeschichte um 1900 — die Werke von Wilhelm Oechsli, Johannes Dierauer und Karl Dandliker. Zurich: Chronos Verlag, 2002.

²⁵ По поводу современных изменений в швейцарских учебниках см.: Heimberg Ch. Comment communiquer l'histoire, la transmettre et la faire construire i l'ecole? // Traverse. 2004. N 2. P. 41—54.

²⁶ Dierauer J. Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Gotha: FA. Pert-hes; Zurich: E. Waldmann. 1887—1920.

¹⁷ Walter F Du bon usage de l'instrumentalisation.

323

Феномен прошлого

следие. Иными словами, с помощью истории граждан приучали к идее о необходимости защиты своей страны и разумного пользования имеющимися у них правами. Эта определенная версия швейцарской истории распространялась через школу, празднества и торжества, а также через политический дискурс²⁸. Постепенно история и в самом деле превратилась в оружие, помогавшее бороться против внешних врагов путем укрепления швейцарского национального сознания, а против внутренних потрясений — путем напоминания о том, что политическая система страны прекрасно сочетается с ее историческим прошлым.

Благодаря всему этому данная версия прошлого оказалась также востребованной в годы Первой мировой войны. Политики подчеркивали прежде всего то обстоятельство, что нейтралитет являлся тем историческим наследием, которое имело решающее значение для Европы, для Швейцарии, и особенно — для защиты вековой швейцарской свободы. Они также способствовали формированию явно преувеличенного представления о гражданском предназначении истории, делая ацент даже не на принципе ответственности, а на принципе самопожертвования граждан²⁹. Это требование было результатом драматических экономических и социальных условий, которые господствовали в ту пору и которые способствовали подъему левых протестных движений³⁰.

Для того чтобы обосновать свои социальные требования, Социалистическая партия и профсоюзы также прибегали к помощи истории. Несмотря на то что они обращались к тем же самым событиям, которые фигурировали и в буржуазной версии истории, они делали из них совершенно иные выводы.

Неудивительно, что их интерпретация швейцарской истории была по существу своему марксистской. Они рассматривали судьбу страны через призму теории классовой борьбы³¹.

²⁸ Zimmer O. A Contested Nation. History, Memory and Nationalism in Switzerland, 1761—1891. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

²⁹ См. обращение президента Национального совета: "Для нас будет достаточным вдохновляться этим жертвенным духом, которым повелевают обстоятельства и который никогда не изменял нашему народу в критические моменты его истории" (Feuille federale. 1915. T. I. P. 814-815).

³⁰ Vuilleumier M. La greve generate de 1918 en Suisse // La Greve generate de 1918 en Suisse. Geneve: Ed. Grounauer, 1977. P. 7—59.

³¹ Grimm R. Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen. Bern: Verlag Unions-druckerei, 1920.

324

Провал "успешного дела"?

В нарисованном ими мире Вильгельм Телль и другие герои швейцарского эпоса выступали в роли борцов за экономическое равенство, точно так же, как и их наследники, жившие на заре XX в. Эта интерпретация легитимировала борьбу левых сил. Более того, она выполняла функцию доказательства того, что элита, состоящая из радикалов, не относится с должным почтением к исторической судьбе Швейцарии и не имеет законных прав на то, чтобы апеллировать к истории³².

После окончания Первой мировой войны вызов официальной интерпретации истории был брошен не только слева, но и справа. Как обычно, интерпретация истории, выдвинутая правыми, основывалась на тех же исторических событиях. Однако, благодаря сочинениям некоторых историков и, в частности, Гонзаго де Рейнольда (Gonzague de Reynold), политики-популисты пришли к выводу, что будущее Швейцарии лежит в области федеративного устройства и корпоративной организации (общества)³³. Более того, они могли обосновать это заключение ссылкой на "естественное" чувство свободы, унаследованное народом от его героических предков.

Этот двойной вызов в сочетании с опасностями, которые принесла с собой Вторая мировая война, заставил власти модифицировать историческую аргументацию. Они стали трактовать швейцарскую историю и швейцарскую идентичность как *Sonderfall P**, маленькую страну, способную остоять свою независимость от угроз, исходящих из двух крайних лагерей. Эта желанная мечта была персонифицирована фигурой крестьянина-солдата. Такой образ прошлого был весьма полезным: он напоминал каждому гражданину о необходимости быть предусмотрительным.

³² См., например, заявление Фрица Брупбакера (Brupbacher), будущего коммуниста: "Если бы Телль и Винкельрид только и делали, что протестовали с тыла... то даже сегодня у нас «в лавочке» были бы австрийские прево, и вам пришлось бы вместе с австрийцами сражаться в Галиции против русской революции... Армия, по моему мнению, существует для того, чтобы загонять в угол подлинных врагов родины, этих бар и их слуг, как во времена Телля, Штауффахера, Мельхтала и Винкель-рида. Когда мы обуздаем бар, армия снова станет на сторону народа, и тогда я опять заключу мир с Конфедерацией" (Le mouvement ouvrier suisse. Documents. Situation, organisation et luttes des travailleurs de 1800 à nos jours... Geneve: Ed. Adversaires, 1975. P. 176—177).

³³ Reynold G., de. La democratie et la Suisse: essai d'une philosophie de notre histoire nationale. Bern: Editions du Chandelier, 1929.

³⁴ Особый случай (нем.). — Прим. перев.

325

Феномен прошлого

тельным, чтобы сохранить экономическую "автономию" Швейцарии, и храбрым, чтобы отстоять ее территориальную целостность³⁵. Еще до конца войны власти посчитали необходимым облечь эту версию прошлого в форму "научного" знания. Для этого они поспособствовали появлению большого количества трудов, главная цель которых заключалась в том, чтобы доказать справедливость и историческую необходимость швейцарской политики нейтралитета в войне. Таким образом, власти инициировали создание самой настоящей официальной историографической догмы, которая благополучно дожидая до наших дней³⁶.

Постепенно в академическом мире стали появляться конкурирующие версии прошлого, рассказывающие иную историю или указывающие на ошибки и пропуски, имеющие место в ее "административном" варианте. Несмотря на очевидность того, что история Швейцарии была не столь благообразной, какой ее привыкли изображать официальные историки, критика, исходившая из академических кругов, оставалась практически неизвестной для общественности вплоть до середины 1990-х гг. В это время в Швейцарии

произошли события, тесно связанные с историей. В частности, в 1991 и 1998 гг. были отмечены важные юбилеи. В 1991 г. отмечалась 700-я годовщина так называемого учреждения Конфедерации, а в 1998 г. — 150-я годовщина принятия современной конституции Швейцарии. Эти два события предоставили историкам хороший повод продемонстрировать мифологические аспекты истории страны³⁷ и разоблачить интересы и демагогию, господствовавшие в официальной историографии после 1848 г., когда к власти пришли радикалы³⁸. Более того, после 1996 г. власти столкнулись с атаками, исходившими от Америки и связанными с требованием выяснить судьбу вкладов, сделанных в швейцарские банки теми евреями, которые погибли в годы нацизма. После некоторых колебаний

" Studer B. La reintegration de la Suisse i l'histoire. Les enjeux du passe entre savoir, memoire et pouvoir // Itinera. 1999. Fasc. 23. P. 25—33.

³⁶ Zala S. Gebandigte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihr Malaise mil der Geschichte der Neutralitat. Bern: Archives federates, 1998.

" Marchal G.P. Neue Aspekte der friihen Schweizergeschichte // L'histoire en Suisse. Bilan et perspectives — 1991, Revue suisse d'histoire. Basel: Schwabe & Co, 1992. P. 325—338.

" Tanner A. Zusammenstellung der Publikationen und Aktivitäten fur das Jubiläums-jahr 1998 // Itinera. 1999. Fasc. 23. P. 206-212. 326

Провал "успешного дела"?

швейцарские власти приняли решение нанять нескольких независимых историков для того, чтобы прояснить этот вопрос. Предположения на этот счет, выдвинутые профессиональными историками, не только подтвердились, но и стали известны широкой общественности.

К удивлению, этот радикальный поворот в исторической науке был достаточно благожелательно встречен политическим истеблишментом страны. Причем произошло это не вопреки имевшим иконоборческий характер новым историческим открытиям, а наоборот, именно благодаря им: они напомнили о том, что роль, сыгранную Швейцарией в происходивших событиях, нельзя считать из ряда вон выходящим исключением; кроме того, эти новые открытия еще раз напомнили о том месте, которая Швейцария занимает в Европе. Иными словами, вышло так, что эта историческая версия поддержала основное политическое притязание политического истеблишмента страны, а именно, интеграцию Конфедерации в Европу³⁹.

По этой ли причине или же вопреки ей, однако вскоре стало понятно, что большинство граждан одобрило эту новую интерпретацию истории. Могло бы сложиться впечатление, что народ принял новое официальное повествование точно так же, как он принимал прежние. Тем не менее следует признать, что в 1990-е гг. одобрение новой версии прошлого сопровождалось одновременным уменьшением влияния истории на жизнь страны⁴⁰. Парадоксально, но эта эволюция получила новый, хотя и достаточно противоречивый импульс со стороны тех граждан, которых продолжали заботить уроки истории. Эти граждане, а практически все они относились к числу людей старшего поколения или же выходцев из сельских регионов страны, были возмущены новой официальной версией прошлого. Они продолжали верить в то, что средневековые мифы содержат в себе непоколебимую истину. Помимо всего прочего, они усматривали в том, как власти изображают Вторую мировую войну, личное оскорбление. Для них эта интерпретация делала

¹⁹ Kdnig M. Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Die Arbeit der "Bergier-Kommission" und die weitere Forschung // Widerspruch. Beitrage zur Sozialistischen Politik. H. 43. 2002. S. 171—178.

* Этот феномен получил распространение и в других странах, в частности во Франции, применительно к которой Франсуа Артог назвал это явление "presentisme" (см. об этом: Hartog F. D'Historicite. Presentisme et experience du temps. Paris: Eld. du Seuil, 2003. Chap. 5).

327

Феномен прошлого

напрасными испытанные ими страдания и принесенные жертвы. Хотя, по сравнению со страданиями других народов, страдания швейцарского народа в годы Второй мировой войны могут казаться достаточно умеренными, они были весьма значительными во временнбй перспективе. Поэтому эти граждане выступили против откровений официальных историков во имя своих собственных личных воспоминаний и во имя коллективной памяти⁴¹. Более того, они утратили всякое доверие к решениям властей и стали голосовать за правых популистов, призывавших к проведению более изоляционистски и федералистски ориентированной политики.

Успехи и неудачи в политическом использовании истории

Эта широкая панорама, изображающая два столетия использования истории в политических целях, показывает, насколько распространенной была подобная практика, которая еще и поныне в значительной степени остается таковой. Сама популярность феномена использования истории в политических целях служит наглядным свидетельством ее воздействия и ее эффективности, т.е. способности истории подкреплять политические решения и прививать гражданские нравы населению Швейцарии. Взгляд историка, погруженный в прошлое, позволяет разглядеть многие процессы, воздействие которых делает такое вмешательство эффективным.

Прежде всего необходимо отметить один момент, имеющий стратегическое значение. Дело в том, что в случае Швейцарии история была одним из тех немногих элементов, которые могли способствовать созданию настоящей нации. Этому можно привести много причин. Во-первых, швейцарских патриотов, которые стремились создать из швейцарских кантонов централизованное государство, поддерживали

французские войска. Поэтому им требовалось доказать, что осуществляемый ими проект не был навязан оккупировавшими страну французами, но имел подлинно швейцарское происхождение. Иными словами, создаваемую нацию нельзя было выдать за порождение революцион-

⁴¹ La Suisse face au chantage. Son attitude en 1939—1945. Critiques des rapports Bergier, Groupe de Travail Histoire Vecue. Yens-sur-Morges: Cabedita, 2002.

328

Провал "успешного дела"?

ных идеалов, поэтому надо было доказать, что она укоренена в швейцарской душе. И конечно же, наилучшим средством для достижения этой цели была именно история. Во-вторых, в условиях, когда ни язык, ни религия не могли сыграть роли объединяющих факторов, история оставалась главным, если не единственным принципом объединения. Эти исключительные обстоятельства привели к тому, что прошлое получило исключительную символическую власть и значение⁴².

Уникальное место, занимаемое историей среди факторов, определявших становление швейцарской нации, сочеталось с весьма специфическим характером ее использования. Речь идет о том, что швейцарские власти часто умудрялись оставаться единственными официальными пропагандистами прошлого. Контролируя основные средства коммуникации, такие, как школа и праздники, они тем самым держали под контролем и содержание распространяемых повествований⁴³. Для этого политическая элита разработала несколько специальных технологий, призванных способствовать получению поддержки со стороны общества. Во-первых, официальная трактовка прошлого тесно увязывала его с такими основополагающими и выполняющими роль идентификаторов ценностями, как свобода, права народа и независимость⁴⁴. Во-вторых, это повествование изображало мероприятия, которые власти намеревались провести в будущем, как наследие "глубокой старины". Тем самым силы, занимавшие господствующее положение на политической сцене, пытались доказать, что их национальные амбиции были не только благими, но и глубоко укорененными в историческом прошлом. Этого было бы вполне достаточно, если бы граждане постоянно демонстрировали благосклонность к той версии прошлого и соответственно к "ответственной" за

⁴² *Есть* примеры и применительно к другим "странам", скажем, случаи с "изобретенной" Паданией (Padania) (см.: Avanza M. Une histoire pour la Padanie. La Ligue du Nord et l'usage politique du passe // Annales HSS. January-February 2003. N 1. P. 85—107).

⁴³ Frei D. Die Forderung des schweizerischen Nationalbewusstseins...

⁴⁴ Это присвоение (властями) ценностей с помощью прошлого является широко распространенным феноменом. О том, как обстояли в этом отношении дела во Франции, см.: Baudmiere C. La memoire de l'epuration au sein de Г extreme droite francaise; Mis-chi J. La revolution au nom de la tradition: Mise en seine historique de l'implantation com-muniste dans l'Allier // Les Usages politiques de la memoire (готовится к публикации).

329

Феномен прошлого

нее политической группе, которая лучше использовала понятие свободы и в которой история свободы была наиболее продолжительной⁴⁵.

Более того, складывается впечатление, что весьма облагораживается само содержание этих ссылок на историю. Даже темные стороны швейцарского прошлого изображают так, чтобы они производили благоприятное впечатление. Этот эффект достигается за счет того, что к тем немногочисленным изменникам и предателям, чьи действия шли вразрез с волей и судьбой нации, применяется "фигура умолчания"⁴⁶. Тем не менее в целом ссылки на историю представляют собой прекрасный повод для описания многочисленных добродетелей предков, которыми, по мнению властей, было бы неплохо обладать и современным гражданам⁴⁷. Соответственно главной целью политического дискурса оказывается объяснение, как счастлив швейцарский народ оттого, что имеет таких замечательных предков, которые завещали ему такую замечательную страну. Этот дискурс несет с собой не выраженную явно, но оттого не становящуюся менее определенной информацию. Он настойчиво призывает население Швейцарии действовать так, чтобы сохранить свое наследие и остаться счастливым⁴⁸.

⁴⁵ Этот механизм не является исключительно швейцарским; его можно наблюдать и в большинстве других европейских стран. См., например: Thiesse A.-M. La creation des identites nationales: Europe XVIIIe—XXe siicle. Paris: Seuil, 1999.

⁴⁶ См., например: La memoire de 1798 en Suisse romande. Actes du colloque de la Societ  d'Histoire de la Suisse romande / I. Herrmann, C. Walker (eds.). Lausanne: Societe d'Histoire de la Suisse romande, 2001.

⁴⁷ Как можно судить по инаугурационному обращению президента Швейцарии (Landammann) 1805 г., эта практика появляется довольно рано: "Заседание представителей швейцарских кантонов отмечает сегодня от имени 19 кантонов праздник того великого союза, который был установлен клятвой на Грютли и был впервые скреплен кровью героев при Вальфлатге у Моргартена. Дерзкое непокорное мужество, которое приводит к великим решениям и рассматривает смерть за отечество как необходимую жертву, мудрость совместных решений, умеренность в пользовании достигнутыми преимуществами, но прежде всего — любовь к свободе Швейцарии и крепкая сплоченность... сохранили этот союз святым до наших дней" (Anrede seiner Exzellenz des Herrn Landammanns der Schweiz bey der Eröffnung der allgemeinen eidgendssischen Tagsatzung, den 3ten Brachmonat 1805, Solothum, 1805. P. 3).

* В те моменты, когда существование Швейцарии оказывается под угрозой, речь об этом уже идет в открытую: "Мы скажем этому народу, что он получил от своих предков драгоценное наследие, чтобы сохранить его: счастливую и свободную родину. Бог, который дал ее народу, хочет, чтобы он передал ее в безупречном виде тем, кто будет жить вслед за нынешним поколением!" (Feuille federale. 1857. T. I. P. 8).

330

Провал "успешного дела"?

Если смотреть на дело формально, то может сложиться впечатление, что это прославление прошлого утверждается. Вплоть до 1990-х гг. такое политическое воскрешение истории не вызывало каких-либо сомнений со стороны ученых. Совсем наоборот, поскольку, как было принято полагать, все эти ссылки на историю основывались на научном знании, они считались истинными. Эта мистификация имела множество последствий, как это становится заметным на примере использования понятия "предки". Во-первых, герои швейцарского эпоса зовутся ныне "отцами нации". Если считать, что эта историческая метафора верна, то получается, что все ныне живущие граждане являются их "сынами". Более того, она предполагает существование тесной связи между средневековыми членами Конфедерации и современными швейцарскими гражданами⁴⁹. Считается, что благодаря этому могут возникнуть чувства благодарности и признательности по отношению к прародителям или, что даже лучше, стремление быть достойными своих предков.

Метафора семьи также выполняет свою роль: она способствует созданию органического видения швейцарского прошлого, соединяющего судьбы 22 кантонов в рамках единого повествования. Однако одновременно она привносит шизофреническое восприятие этого самого прошлого, поскольку эта единая история противоречит рациональным данным и большинству региональных историй, которые свидетельствуют о самостоятельной исторической судьбе кантонов.

Несмотря на все ожидания, эти фундаментальные противоречия, по-видимому, никак не сказались на эффективности политического использования истории. Напротив, все свидетельствует о том, что эти противоречия содействовали истории, внушая населению гражданские чувства; более того, невольно складывается впечатление, что явная искусственность официального повествования о прошлом словно бы побуждала граждан к тому, чтобы своими действиями сделать это изо-

⁴⁹ См., например, официальную декларацию Федерального Совета о швейцарском нейтралитете: "...Голос властей страны всегда находил сочувствующее и энтузиастическое эхо, когда речь шла о том, чтобы защищать родину и передавать в безупречном виде последующим поколениям честь швейцарской нации. История и опыт дают нам твердое убеждение, что сегодня, как и всегда, вы будете готовы поддержать духом, воодушевлявшим ваших отцов, обязанности, которые накладывают на вас родина, и поддержите всеми усилиями настрой ваших властей, являющийся выражением вашей верховной воли..." (Feuille federate. 1870. Т. III. P. 15—16).

331

Феномен прошлого

бражение прошлого верным⁵⁰. Эти поразительные успехи можно объяснить апологетическими интонациями официальной истории, верой в то, что описание швейцарских достоинств так или иначе было близко к истине, и наличием коллективной воли, направленной на сохранение своей замечательной страны, воплощавшей эти достоинства.

Хотя такое успешное использование истории в целях конструирования гражданской идентичности прослеживается на протяжении двух столетий швейцарского национального существования, оно не имело непрерывного характера. С одной стороны, были периоды, когда уроки прошлого подталкивали граждан к поведению, противоположному тому, которое от них ожидалось. С другой стороны, множилось число случаев, когда люди отказывались принимать официальную версию прошлого и соответственно уклонялись от принятия тех гражданских установок, которые им пытались внушить власти. Все это указывает на то, что политическое использование истории не всегда приводит к успеху и что оно даже может способствовать формированию механизмов, действующих в направлении, противоположном ожидаемому властью имущими. Со стратегической точки зрения соперничество вокруг использования прошлого представляется наилучшим способом раздела его символического капитала. Следствием этого соперничества является выражение гражданами меньшей готовности действовать так, как их хотят заставить, используя для этого ссылки на историю. Это разделение становится еще более заметным, когда каждая из соперничающих политических сил преуспевает в обнаружении за своими притязаниями длительной исторической традиции, и особенно, когда каждой из политических сил удается включить в свое повествование понятие "свобода". Именно так обстояло дело в период между двумя мировыми войнами, когда население Швейцарии колебалось между несколькими версиями прошлого, конкурировавшими друг с другом.

И наоборот, политическое использование истории может страдать от недостатка доступной аргументации, обусловленной как тенденциозной стратегией ее использования, так и ее риторическим содержанием. После войны, получившей название Sonderbund Krieg, к мифической швейцарской истории обращались довольно редко, хотя ссылки на подвиги Вильгельма Телля прекрасно соответствовали ситуации.

⁵⁰ Об этом психологическом процессе см.: Joule R.-V., Beauvois J.-L. La soumission librement consentie... Paris: Presses universitaires de France, 2001.

332

Провал "успешного дела"?

Конечно же, это молчание в определенной мере соответствовало принципам новой радикальной системы, ориентированной на будущее. Однако оно было вызвано еще и тем фактом, что в историографии господствующие позиции продолжали занимать исследователи, поддерживавшие прежний либеральный образ правления. В этих условиях власти предпочитали обращаться к философскому содержанию истории. Помимо всего прочего, историческое сообщение может быть скомпрометировано отсутствием новизны и, как следствие этого, окостенением содержания. Поэтому, когда пришла пора праздновать 700-летие основания Конфедерации, власти чувствовали себя крайне неудобно, апеллируя к славной швейцарской саге,

написанной историками около ста лет назад. Позднее стало понятно, что эта разновидность дискурса не способна воскресить в памяти славные деяния "предков". Единственное, на что она способна, — напомнить о старомодном патриотизме, потерявшем всякую силу или даже ставшим совершенно контрпродуктивным⁵¹. Чрезмерное использование истории в инструментальных целях может привести и к другому сбою — на концептуальном уровне. Во-первых, политическое использование истории пойдет по замкнутому кругу. Именно так случилось накануне и во время Первой мировой войны. Сам успех исторических доводов побудил швейцарскую правящую элиту использовать их снова и снова. По мере разворачивания конфликта власти старались усилить эту риторику ради того, чтобы гарантировать ее эффективность⁵². Однако в среднесрочной перспективе эта амбициозная заявка привела к прямо противоположным результатам. На протяжении XX в. граждане проявляли растущее недоверие к социально-политическим действиям и изменениям, с которыми им

⁵¹ Walter F. Presence et absence de l'histoire. Les Suisses en vacances de l'histoire // Institut national genevois: 1991, regards sur une Suisse jubilaire. N 34. P. 105—118.

⁵² В самом начале конфликта власти сформулировали историческую (и грандиозную) миссию, стоящую перед страной, так: "Миссия, представляющая собой смысл существования Швейцарии в истории, есть миссия, предназначенная для фуппировки наших различных рас в высшее органическое единство в государстве, где они живут примиренными, доказывая, что национальная солидарность и любовь к общей родине крепче, нежели разнообразие рас и языков" (Feuille federate. 1914. Т. IV. P. 820—821).

333

Феномен прошлого

приходилось сталкиваться. Более того, швейцарцы часто выглядели слишком консервативными, если только совершенно не лишенными тяги к каким-либо переменам. Складывается впечатление, что пример их славной истории оказал на граждан своего рода "парализующее" воздействие, поскольку они воздерживались от действий, опасаясь, что это приведет к разрушению их наследия⁵³.

Если посмотреть на политическое использование истории с позиций общей и динамической перспективы, то этот случай аномии никак нельзя будет признать единственным. Складывается впечатление, что одной из основных причин неэффективности политического использования истории в конце XX в. явилось требование научной объективности, разделявшееся большинством граждан. Это требование, которое делает невозможным моральное наставление граждан на примере сказаний о подвигах швейцарских героев, предполагает основательное знание исторической истины. Все это — наглядный результат развития образования, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря демократии, некогда опиравшейся на историю о Вильгельме Телле. В этом смысле можно утверждать, что демократия разрушила одну из своих главных опор.

В середине 1990-х гг. власти начали понимать, как работает этот коварный механизм. Именно поэтому они стали пропагандировать научную версию прошлого. В результате возникла еще одна тенденция. Старшее поколение стало протестовать против новой "объективной" интерпретации истории и, следовательно, против самого правительства⁵⁴. Оно продолжало хранить верность прежней версии прошлого, которая изображала поведение Швейцарии во время Второй мировой войны как славную защиту свободы и общечеловеческих ценностей. Тем не менее их протесты соотносились скорее не с прежней версией прошлого, но с собственными воспоминаниями и опытом. Поступая подобным образом, т.е. занимаясь апологетикой своего собственного жизненного опыта, эти представители старшего поколения показывали тем самым, что и их затронула позднейшая эволюция демократии.

^a Об этом политическом параличе см.: Sella D.-L. La Suisse comme Democratic consociative: essai de destruction d'un mythe de science politique // Passe pluriel. En hommage au professeur Roland Ruffieux. Fribourg: Ed. universitaires, 1991. P. 346.

⁵⁴ Maissen Th. Verweigerte Erinnerung. Nachrichtlose Vermogen und schweizerische Weltkriegsdebatte (1989-2002). Zurich: NZZ Verlag, 2004.

334

Провал "успешного дела"?

И в этом плане демократия также способствовала деконструкции того социального порядка, на котором она сама и покоилась⁵⁵.

Иными словами, все говорит о том, что политическое использование истории стало жертвой своих былых успехов. Подобная неудача могла быть вызвана косвенными факторами, в частности, формированием таких демократических нравов, которые препятствуют использованию истории в политических целях. Она могла быть вызвана также и прямыми причинами, в частности, появлением альтернативной исторической памяти, сопротивляющейся возрождению той самой истории, которая вызвала ее к жизни.

* * *

Суммируя, можно сделать вывод, что использование истории для достижения политических целей не всегда эффективно. В случае со швейцарским национальным строительством можно проследить определенный параллелизм, между (не)эффективностью инструментального подхода к прошлому и (не)популярностью понятия "нация". Это означает, что исторические доводы не обладают достаточной силой для навязывания гражданам мероприятий, которые идут вразрез с их коллективной волей. Данное обстоятельство ставит определенный предел политическому использованию истории и в то же время служит указанием на то, что сегодняшние неудачи использования истории в политических целях связаны скорее с тем национальным

объектом, на который оно направлено, нежели с его механизмами.

Однако и сами эти механизмы имеют свои пределы. Они определяются несколькими внутренними противоречиями, проявляющимися тогда, когда история используется для достижения политических целей в чрезмерной степени — происходит ли это потому, что к ней слишком часто апеллируют, или потому, что ею слишком неосторожно манипулируют.

Иными словами, пределы и неудачи исторической риторики являются оборотной стороной ее же собственных успехов. Успех проистекает как от податливости самой истории, так и от ее научной природы. История выражает мнение того, кто на нее ссылается; однако благодаря этой ссылке само мнение представляется истинным. Более

⁵¹ Общую характеристику этого феномена см.: Robin R. La meraioire saturee. Paris: Stock, 2003.

335

Феномен прошлого

того, символический капитал прошлого превращает его воскрешение в памяти в стимул и даже в обязательство. Поэтому история служит отличным средством заставить людей действовать в определенном направлении. Однако общественные эмоции не так-то легко поддаются манипуляции, и потому эти манипуляции часто порождают непредвиденные результаты для тех, кто использует историю в политических целях. Иными словами, причины политической эффективности использования прошлого, равно как и причины политической неэффективности подобного использования — одни и те же; они связаны с двойственной природой истории, которая одновременно является научным и эмоциональным аргументом.

СОВРЕМЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КИНО И ИДЕЯ КУЛЬТУРЫ ("ПРОШЛОГО")

Н.В. Самутина

Постановка проблемы "Европы" и "европейского", а также разговор об идее культуры и прошлого применительно к кино требует от исследователя повышенной методологической корректности. В современном пространстве изучения кинематографа (так же, как и культуры) отсутствует единство в определении практически любого члена "уравнения", которым мы намерены оперировать. Разумеется, подобного единства, берущего корни в эссенциалистской уверенности, что Европа или "европейское кино" существует "на самом деле", в принципе не может предполагать исследование, принадлежащее сфере культурологии, или cultural studies (под которыми мы понимаем работу с теориями культуры и способы анализа, имеющие культуру своей рамкой). И все же с начала 90-х гг. XX в. конструкт "европейского" применительно к кинематографу становится в западных cinema studies одним из "проблемных мест", тем полем, которое подвергается частым переописаниям, в соответствии с быстро изменяющимися культурными реалиями, с движением идей и оценок¹. Вследствие же своей обращенности к современности наш текст не просто оказывается в пространстве, где вещи меняют свои имена: во многом он вынужден касаться тех областей, где имена еще не розданы. Кроме того, характер постановки вопроса о любой идее в кино, например, об идее прошлого, напрямую зависит от того, о каком кино мы намерены говорить: о кино в целом как о малоподвижном

¹ Краткий обзор исследований по проблеме "европейского" в кино см.: Vincen-deau G. Issues in European Cinema // The Oxford Guide to Film Studies. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 440—448.

331

Феномен прошлого

единстве, которое противопоставляется в философских рассуждениях литературному или иному до-фотографическому способу восприятия (в традиции, следующей за Вальтером Бенямином), или, к примеру, о кино как системе жанров, в каждом из которых может быть прослежена своя идея прошлого в серии ее трансформаций. Гарантией определенной научной строгости в нашем случае может служить лишь четкое задание параметров исследования, определение его исходных рамок и соблюдение в дальнейшем заданных правил игры.

Соответственно ряд правил работы с современной культурой и ее кинематографическими репрезентациями можно сформулировать следующим образом. Прежде всего, в своем исследовании мы опираемся на конструкционистские представления о механизмах репрезентации, предполагающие, что природа значения социокультурна и оно сложными способами, через ряды символических практик конструируется в процессе мышления и коммуникации; что оно никогда не может быть закреплено окончательно, а все время находится в изменении². Наша задача — отслеживать эти изменения и пытаться анализировать их смыслы. Кинематограф, с его плотной включенностью в окружающий культурный контекст и с меньшей (чем, например, литература) зависимостью от традиции канонических описаний, предоставляет для выполнения таких задач множество яркого материала.

Одним из объектов исследования для нас станет понятие "европейское" применительно к кино, те кинематографические модели, которые при помощи этого понятия формируются, и тот набор коннотаций, который оказывается с ним почти неразрывно связан. Мы практически не будем пользоваться "техническим" расширительным пониманием, по которому "европейским" называется все кино, сделанное на территории европейских стран (а не Америки и не Африки)³. "Европейским" для

² См. например: Hall S. *The Work of Representation // Representation. Cultural Representations and Signifying Practices*. L., 1997. P. 15—41.

³ Подобный "географический" подход, снимающий проблема-газацию, почти невозможен сегодня, после 1990-х гг., многократно усложнивших всю картину "европейского" в кино (усложнивших как в теоретическом ключе, так и кинематографической практике, обогатившейся прежде не существовавшими формами общеевропейского кино). Тем не менее некоторые примеры недифференцированного понимания "европейского" кино, приводящего к непродуктивному сравнению "всего со всем", можно найти даже в таком специализированном издании, как: *European Identity in Cinema / W. Everett (ed.)*. L.: Intellect, 1996.

338

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

нас является кино, соотносящее себя с концептом "Европа": во-первых, на формальном уровне экономико-социальной модели (это кино, включенное в преимущественно европейские системы репрезентации, такие, как авторский интеллектуальный кинематограф); во-вторых, на уровне содержательном ("Европа" и "европейское" для этого кино существуют как предмет и как проблема). Речь пойдет о том европейском кино, которое задает себя в качестве такового, в противовес, с одной стороны, Голливуду и, с другой стороны, — национальным кинематографам. Для оптики культурной репрезентации существенным является прежде всего этот момент самоконституирования чего-то в качестве "европейского", возможность фиксировать в фильме черты сознательного усилия быть "европейским" фильмом.

Кинематограф понимается нами в данной работе как культурная практика, определенным, достаточно жестким образом организованная институционально, как через системы производства и дистрибуции, так и с помощью "идеальных типов" и социологически определяемых образцов, таких, как жанровое голливудское кино, интеллектуальное авторское кино, национальные кинематографии. Эта системная организация играет в кинематографе, существующем как социальный институт и средство массовой коммуникации, роль, не позволяющую выносить суждения о "художественных достоинствах" или "смысле" фильма без учета этих институциональных отношений. Существенной в этой связи оказывается и историчность кино. Несмотря на свою молодость, по сравнению с литературой, театром или наукой, кинематограф все же имеет относительно продолжительную историю, в течение которой он подвергался ряду изменений. В отношении европейского кино можно говорить о первой половине и второй половине XX в. как о принципиально различных периодах существования (восприятия). Свои рассуждения о современном кино мы будем выстраивать, опираясь на материал последних 10—15 лет, и отдельно выделяя кино 1990-х гг., столь недавнее, и все же уже безоговорочно отошедшее в прошлое как завершённый период киноистории.

Наконец, используя такой термин, как "идея культуры" ("прошлого")⁴, важно помнить, что эта и все прочие "идеи" практически

⁴ Такая связка "прошлого" и "культуры" появилась в нашей работе именно потому, что выстраивание любых рассуждений о "прошлом" в "кинематографе вообще", с точки зрения обозначенного подхода, невозможно. Так, идея "прошлого" в голливудском кино неразрывно связана с его жанровой организацией и будет различаться

339

Феномен прошлого

системой звезд, с фигурой массового зрителя⁶, с идеей развлечения и удовольствия, с установлением определенных норм, предопределяющих доминирующие типы нарративов, принципы психологизации персонажей, наиболее распространенные способы съемки, задающие в целом нормы "голливудского реализма". Последний в самом общем виде подразумевает отсутствие зрительского внимания к средствам выражения (например, ничто не должно мешать следить за тем, как любовная история движется через ряд перипетий к счастливому концу; а, скажем, в блокбастере сами средства, такие, как погони и взрывы, становятся целью, уничтожая идею "содержания"). В любом случае голливудский кинематограф не предполагает той рефлексивной дистанции, которая характерна для восприятия в "старших" медиа — литературе, изобразительном искусстве и т.д.

Соответственно практически любая идея национальной или культурной идентичности, выражаемая средствами кино, вынужденно развивается через противопоставление себя Голливуду, чем по большому количеству параметров, тем лучше. Такое противопоставление почти всегда оформляется как полное отрицание или как соперничество, борьба за своего зрителя, порой даже "на территории противника" — под такой борьбой подразумевается использование голливудских средств для проведения своих идеологий (ход равно возможный, например, и для интеллектуала Фассбиндера⁷, и для национально-патриотического "народного" кино любого государства). Другим возможным ходом в этой борьбе за право подать свой кинематографический голос является разработка эстетических систем, кардинально отличающихся от американской "нулевой степени кино" и меняющих сами задачи кинематографического произведения. К таким

системам принадлежат несколько насчитывающихся в истории кинематографических авангардов; Литература о феномене Голливуда слишком многочисленна, чтобы быть здесь представленной даже кратко; отметим лишь несколько крупных теоретико-культурных исследованиях: Bordwell D., Staiger J., Thompson K. *The Classical Hollywood Cinema: Rim Style and Mode of Production to 1960*. L., 1985; Dyer R. *Heavenly Bodies: Film Stars and Society*. N.Y., 1986; *Movies and Mass Culture*. New Brunswick, 1995; Flinn C. *Strains of Utopia: Gender, Nostalgia and Hollywood Film Music*. Princeton, 1992; Gaines J. *Classical Hollywood Narrative: The Paradigm Wars*. Durham, NC, 1992.

⁷ Самутина Н. В. Херцог и Р.-В. Фассбиндер. Европейский человек: упражнения в антропологии // *Киноведческие записки*. 2002. № 59. С. 343—358.

342

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

интеллектуально-философское кино, так называемое Арт-синема; и в некоторых вариантах то, что условно называют "национальными кинематографиями", включая "Третье кино", в соответствии с концепцией, разработанной в 1980—1990-е гг. и постулирующей принципиальное отличие кино Африки и Латинской Америки от других кинематографических моделей*. Но, так или иначе, Голливуд остается всеобъемлющим и неотменимым "другим" для любой кинематографической системы, служащей для репрезентации каких-либо альтернативных культурных идентичностей, в том числе идентичности европейской⁹.

Вторым принципиальным фактором для оформления модели "европейского" кино стала идея авторства, возникновение и закрепление именно в Европе такого феномена, как "авторский режиссерский кинематограф". Возможность помыслить кинематограф как канон великих имен, а фильм как авторское произведение, все элементы которого подчинены единому замыслу, является европейской идеей и исторически, и типологически. Авторское европейское кино, или Арт-синема, оформлялось с середины 1940-х гг. как модель, выстроенная вокруг фигуры режиссера-творца, решающего средствами кино сложные культурные задачи, подобно тому, как это происходит в других элитарных культурных практиках: высокой литературе, современном искусстве, классическом театре.

Это выразилось и в особом распределении производственных функций, характерном для кинематографий всех европейских стран: именно режиссер (а не продюсер, как в Голливуде, и не актер-звезда или коллектив актеров-звезд, как нередко бывает в национальных кинематографиях) несет основную ответственность за фильм; режиссер имеет право финального монтажа; именно имя режиссера (в значительно большей степени, чем актеров, даже если они хорошо известны) становится "знаком качества", торговым брэндом, значимым в доминирующих культурных институциях, и ориентиром для зрителей. Можно сказать, что именно с закреплением главенствующей фигу-

' *Questions of Third Cinema / J. Pines, P. Willemen (eds.)*. L.: BFI, 1989.

⁹ В данном случае мы говорим именно о репрезентации; о считаваемых элементах сознательного выражения идентичности в кино. За границами нашего рассуждения оставлена проблематика Голливуда как "своего другого", наиболее ярко заявленная в статье Эндрю Хигсона: "Голливуд едва ли может рассматриваться... как тотальное другое, с тех пор как такая большая часть любой национальной культуры есть имплицитный «Голливуд»" (Higson A. *The Concept of National Cinema // Screen*. 1989. Vol. 30. N 4. P. 39).

343

Феномен прошлого

ры режиссера-Автора и с оформлением кинематографического канона (Феллини, Антониони, Бергман, Тарковский, Бунюэль, Вендерс, Фассбиндер, Годар) идея культуры в европейском кино становится идеей "высокой культуры".

Модель Арт-синема прочно утверждается в производственной практике уже с 50-х гг. XX в., но только концом 1960-х гг. датируется начало критических размышлений о кинематографическом авторстве (так называемая *auteur theory*, предложенная Эндрю Саррисом и критиками журнала "Cahier du Cinema"¹⁰). Полноценные же описания этой кинематографической модели, уже достаточно плотно соотношенные с таким качеством, как "европейскость" (иногда это выражается в названии "большое европейское кино"), и включающие в себя необходимые институциональные аспекты, появляются в 1980-е и в 1990-е гг., в рамках исследований кинематографа, как социального института, и широкой проблема-газации понятия "европейское" применительно к кино¹¹. Наше комплексное определение авторского европейского интеллектуального кино разработано с опорой на тексты С. Нила, Ж. Венсендо, Д. Бордуэлла. Подчеркнем, что это именно определение модели, выделяющей центральные образцы и ориенти-

¹⁰ Хорошо известно, что изобретатели "авторской теории" опробовали ее в основном на авторах американского кино, отыскивая режиссерское авторство там, где оно более всего подавлено системными конвенциями. Но такая постановка задачи была связана именно с тем, что авторство европейских режиссеров, таких, как Антониони и Бергман, в доказательствах как бы не нуждалось и принималось некритически.

¹¹ Bordwell D. *Art Cinema as a Mode of Film Practice // Rim Criticism*. 1979. N 4 (1). P. 56—64; Neale S. *Art Cinema as Institution // Screen*. 1981. Vol. 22 (1) (рус. пер.: Нил С. *Арт-синема как институция // Логос*. 2002. № 5—6. С. 292—321); Vincendeau G. *Issues in European Cinema // The Oxford Guide to Film Studies*. P. 440—448; Caughie J. *Theories of Authorship*. L., 1981; Самутина Н. Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея // *Киноведческие записки*. 2002. № 60. С. 25—42. Важно заметить, что первые исследовательские тексты о модели Арт-синема и призывы к ее полноценному изучению появляются в начале 1980-х гг. В это время Арт-синема не именуется европейским феноменом, а больше связывается (в особенности С. Нилом) с национальными идеологиями европейских кинодержав: Италии, Франции, Германии. "Опознание" Арт-синема как именно "европейской" модели происходит уже в 1990-е гг., во "взгляде назад" из десятилетия переосмысления "европейского" и соотносится с появлением общеевропейского кино, с проблематикой канонов и культурных образцов, с постмодернистской критикой европейской культуры.

344

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

рованной на использование всей совокупности институциональных и эстетических признаков (каждый из которых в отдельности может быть присущ другой модели).

Для данного типа кинематографа характерны:

- отношение к кинематографу как к искусству и интеллектуальной практике; безусловное выделение фигуры режиссера-Автора, ответственного за всю конструкцию в целом; использование имени автора в качестве марки и "патента" на соответствующее интеллектуальное качество;
- ориентация на проблемность, на возможность решения средствами кино серьезных философских или социальных вопросов; отношение к средствам кинематографа как к инструментам мышления;
- ориентация на новаторство формы, на оригинальность языка, внимание к стилистическим и формальным приемам. В тех случаях, когда форма подчеркнута проста, это свидетельствует о большей сложности конструкции, о кодировании "простоты" от противного — от "сложности". Нередко осознанное обращение к проблематизации самого языка кино;
- стремление нагрузить сложными комплексами значений любые элементы киноизобразительности, от движения камеры, ракурса съемки и монтажных ходов до световых, цветовых и звуковых решений. Введение в структуру кинотекста формальной и смысловой неоднозначности как позитивной категории;
- стремление к тотальному контролю над изображением: изгнание из кадра любых случайных элементов (или использование случайности в качестве приема: концепция "самостоятельной камеры" и т.д.);
- в смысле тематических предпочтений — внимание к интеллектуализму, к проблемам личности, ее способности производить культурные ценности, ее взаимоотношениям с бытом и общественной реальностью; основной конфликт такого фильма — не в действии, а в мысли, в рефлексии. Повышенное значение в этой модели имеют тематическая конструкция "фильм о фильме" и композиционная "фильм в фильме";
- принципиальная вненациональность как способность переходить любые границы на интеллектуальных основаниях; способность фильма быть интересным зрителям разных стран не просто в качестве этнографического факта, а в качестве факта их собственной культуры; плюс дополнительное оформление этой вненациональности как европейско-сти, в отчетливом противопоставлении Голливуду;

345

Феномен прошлого

- в качестве нормы — постоянное расшатывание представлений о "возможном", существование в состоянии перехода границ, прежде всего интеллектуальных, формальных и границ репрезентации сексуальности. Но и наличие серьезных ограничений при переходе границ: в области формы — соблюдение основных условий кинопроизводства (длина фильма, формат — хотя возможно их обыгрывание); ограничения в структурной значимости сексуальных сцен;
- четкое задание своего типа зрителей через текстовые (повышенная "сложность" текста, наличие больших степеней отстранения) и внетекстовые (фестивали, элитные кинотеатры, ночные показы, специализированная пресса) практики.
- в экономико-техническом аспекте — производство фильма в одном из европейских государств, часто несколькими государствами совместно; использование европейской технологической базы; европейские параметры бюджета.

Существенным обстоятельством нам кажется то, что активное развитие европейского кино (как суммы произведений "сильных авторов" и авторских направлений с манифестами и коллективной эстетикой), полноценное оформление "идеального типа" авторского европейского кинематографа, представлением о котором руководствуются и создатели фильмов, и зрители, произошло во второй половине XX столетия не по причине поддержки именно этой модели на уровне национальных государств (такова точка зрения Стива Нила, одного из первых исследователей Арт-синема, который считает, что возникновение этой модели связано исключительно с механизмами национально-государственного протекционизма), но всего лишь с помощью этой поддержки. Причиной зарождения и активного развития модели интеллектуального кино, кино как Искусства, ставящего своей задачей решение культурных проблем, ориентирующегося на новацию и так далее, стала постоянная потребность европейского культурного сознания в существовании хорошо развитых "высоких" интеллектуальных дискурсов во всех имеющихся культурных практиках. Идеино-интеллектуальное единство, вырастающее из чтения книг, анализа фильмов, из дискуссий и художественных жестов, из меняющегося представления об эстетическом, о художественной и профессиональной "норме", является ничуть не меньшей движущей силой при возникновении моделей, стилей и направлений в кино, чем экономические и технологические параметры. Все основные элементы, составляющие модель Арт-сине-

346

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

ма, были произведены на не знающем границ европейском интеллектуальном пространстве, а заинтересованная экономическая поддержка государств обеспечила процветание этой модели и одобрение ее идеологического и художественного содержания, но не само это содержание полностью. Европейский кинематограф, представленный Арт-синема, может рассматриваться как весомая часть

большого европейского "проекта культуры", берущего начало еще в романтическом представлении о сущности и социальных функциях искусства, о культивировании субъективности, о связи индивидуального развития и образования с общим уровнем культуры народа или государства. В рамках такого понимания кино как интеллектуальной практики была достигнута относительная "победа" над рядом очень существенных для кинематографа свойств, и прежде всего над его "массовостью", над его ориентацией на запросы максимального числа потребителей, над естественным рыночным механизмом, требующим относиться к фильму как к окупающемуся капиталовложению. Вместо этого на первый план выходит идея авторства и творческого мышления средствами кино, идея решения культурных проблем, выражения сложных культурных идентичностей и даже, в каком-то смысле, идея образования — или, во всяком случае, воспитания зрителя на определенных образцах "настоящего" кино.

1990-е годы: европейская идентичность и европейская культура

Последнее десятилетие XX в., прошедшее под знаком объединения Европы, можно назвать ключевым моментом в становлении современного европейского кино. В каком-то смысле (несмотря на полвека признанного существования Арт-синема как европейской культурной практики), в это десятилетие оно по-новому, на более законных основаниях оформилось как "европейское". Это касается и фиксации восприятия Арт-синема как европейского феномена, и оценки огромной роли кино в репрезентации европейской идентичности, и актуального состояния самого кинематографа, в котором начали возникать новые формы, более, чем когда-либо, позволяющие говорить о кинематогра-

347

Феномен прошлого

фическом европейском единстве¹². В это десятилетие кинематограф, в который "вписана" идея культуры, Европе по-настоящему понадобился.

Хорошо известно, что проблема Европы, ее культурной сущности, ее будущего обрела в 1990-е гг. принципиально новое звучание. Это касается и непосредственных дискуссий о будущем европейского единства, заполнивших западную интеллектуальную публицистику 1990-х гг. в связи с процессами политического и экономического объединения Европы, и дискуссии в координатах "модерн — постмодерн", имеющей в основе работу М. Хоркхаймера и Т. Адорно "Диалектика Просвещения"⁰, а также сформированной французскими постструктуралистами и американскими деконструктивистами парадигмы мульт-культурных, антилогоцентрических (и, явно или подспудно, антиевропейских в традиционном понимании европеизма) исследований. Все это сделало актуальным изучение того, какие наборы аргументов, какие мыслительные ходы и — в случае с кинематографом — аудиовизуальные решения описывают и представляют "Европу" и "европейское" в приближенном к нам промежутке времени; как европейская культура создает и понимает себя сама в языке кинематографа и в кинематографических образах.

По данным многочисленных источников, наиболее активные публичные дебаты о "Европе" и европейской идентичности с участием историков, социологов, политологов, философов, деятелей культуры приходятся на первую половину и середину 1990-х гг., примерно с 1991 по 1997 г.¹³ Одной из очевидных причин организации этих дебатов можно назвать "запаздывающую" реакцию граждан Европы на

¹² См. об этом в обзоре Ж. Венсендо, а также: Screening Europe: Image and Identity in Contemporary European Cinema. L.: BFI, 1992; Sorlin P. European Cinemas, European Societies, 1939—1990. L.: Routledge, 1991; Wayne M. The Politics of Contemporary European Cinema. Histories, Borders, Diasporas. Bristol, Portland: Intellect, 2002.

¹³ Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997.

¹⁴ См. например: Delanty G. Inventing Europe. Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995; Kaelble H. The History of European Consciousness // Societies Made Up of History. Edsbruk, 1996; Moren E. Penser ('Europe. Paris, 1987; National Identity and Europe: The Television Revolution. L., 1993; Segers R. Europe: A Cognitive or an Emotional Concept? // SPIEL. 1995. N 14. H. 1. P. 3—19; Shohat E., Stam R. Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media. L; N.Y., 1994; Media and Identity in

348

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлое")

процессы ее объединения и возникшую потребность, вместе с развитием идеологических обоснований "европеизма", компенсировать недостаток его эмоциональных составляющих.

Задача поиска и позитивного утверждения оснований европейской идентичности была в европеистском дискурсе 1990-х гг. выполнена достаточно успешно (не в том смысле, что сторонники европеизма всех "переубедили", но в том, что определенный комплекс культурных представлений, исторических и современных мифологем им удалось актуализировать и воспроизвести языком, доступным для перевода на язык эстетических практик). В соответствующих работах искались и были заявлены основные составляющие европейской идентичности — и формула "единство в разнообразии", определяющая исторические принципы устройства Европы, и идея "европейского проекта", как "большого европейского дома", где царят порядок, изобилие и, самое главное, мир, и утверждение, что отказ от понятия "культурная идентичность" губителен для европейцев.

Европейская идентичность видится европейским мыслителям в незыблемости правового регулирования, жестко гарантирующего рамки личной безопасности и свободы и задающего понятия "гражданский субъект" и "индивидуальная личность"; в компенсаторных механизмах приветливости и учтивости, смягчающих последствия отчуждения, в "мире очищенных и возвышенных античных форм" (Г.С. Кнабе),

данном каждому европейцу в латинском языке, окружающей древней архитектуре, классической литературе; наконец, в аристотелевской традиции в философии и в общих принципах рационализации повседневности. Где бы ни полагались при этом "корни" Европы — в Греции, Риме, христианском средневековье или в "модерности", наступившей с конца XVIII в., принципиально важной составляющей "европейского" признается забота о прошлом и культура истории. Во многом это связывается с идеей европейского опыта и с представлением о Европе как о непрерывном самоконституирующемся усилии. Contemporary Europe. Bristol, 2002; Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: от Европейского Сообщества до Европейского Союза. М.: РГГУ, 1998; Браг Р. Европа, римский путь. Долгопрудный, 1995; Кнабе Г. Проблема постмодерна и фильм Питера Гринауэя "Брюхо архитектора" // Вопросы философии. 1997. № 5. С. 80—95; Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000; Занусси К. Что будет с Европой? // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 164—166.

349

Феномен прошлого

Кажется совершенно не удивительным, что именно в то время, когда проблема Европы актуализировалась во многих культурных областях, она без всякого "заказа сверху" актуализировалась и в кинематографе, в медиуме, чрезвычайно чутком к потребностям окружающего времени и пространства. Кинематограф 1990-х гг. включился в общий бурный контекст европейских дискуссий активным производством фильмов, утверждающих европейскую кинематографическую модель и прямо ведущих речь о современной Европе. Но здесь произошел предсказуемый — и все же неожиданный, как любые крупные изменения — поворот "европейского сюжета".

Дело в том, что идея европейской идентичности и европейской культуры (богатого европейского прошлого), как ее основания, подверглась безжалостной критике в европейском Арт-синема, так же, как и в других интеллектуальных культурных практиках. Наиболее ярким примером может послужить фильм греческого режиссера Тео Ангелопулоса "Взгляд Улисса"¹⁵, снятый в 1995 г., когда весь мир праздновал столетие кино¹⁶. В этом фильме знаменитого режиссера-Автора, которого Фредерик Джеймисон назвал "последним модернистом"¹⁷, в известном смысле сконцентрировалось все то, что авторское европейское интеллектуальное кино думает о европейском прошлом и европейской культуре. Основная идея этого очень длинного, сложного и печального фильма — демонстрация всей меры усталости европейской культуры от своего великого прошлого, которое греческий поэт Сеферис называет тяжелой "мраморной головой" — с этой головой в руках рождается любой греческий художник и любой европейский художник. Эта "мера усталости" проявилась в самой форме "Взгляда Улисса" не меньше, чем на сюжетном уровне: основным действием трехчасового фильма стало медленное движение по пространству, снятое очень длинными кадрами, преимущественно с использованием дальних планов.

Главный герой фильма, названный Улиссом, — кинорежиссер греческого происхождения, преуспевший в Америке. Он возвращается на

¹⁵ "Взгляд Утеса". Реж. Тео Ангелопулос. Греция — Франция — Италия, 1995.

" Более подробно о проблеме европейского у Тео Ангелопулоса и о фильме " Взгляд Улисса" см.: Самутина Н. Тео Ангелопулос: прошлое, память, истоки // Киноведческие записки. 2004. № 66. С. 4—14.

¹⁷ Jameson F. Theo Angelopoulos: the Past as History, the Future as Form // The Last Modernist. The Films of Theo Angelopoulos. Trowbridge: Flicks Books, 1997. P 78—95.

350

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

родину в середине 1994 г., чтобы отыскать в киноархивах три первых ролика, снятых в самом начале XX в. первыми режиссерами Греции братьями Манакис (целая история их жизни, совпадающая с историей XX в., рассказана в фильме). Улисс проделывает длинный путь по разоренным, обнищавшим Балканам — из Греции, через Албанию, Македонию, Болгарию; потом он плывет по Дунаю в Югославию и попадает, наконец, в Сараево, где идет настоящая война. Идея во что бы то ни стало найти первые ролики, первый, не замутненный взгляд на XX в., заставляет его проделать это немислимое путешествие по опаленной войной земле — и конечно, оно репрезентирует европейскую идею поиска идентичности и культурных корней, европейскую веру в нарратив путешествия, вознаграждающий путника за терпение и страдания обретением утраченной родины (как в "Одиссее") или священного источника смысла (как в средневековых легендах о Святом Граале). Стремление кинематографического Улисса обрести утраченное прошлое ("лучшее" прошлое, на основании которого возможно построение другой жизни) реализуется в фильме Ангелопулоса по всем правилам техники "пути памяти", как она воссоздана в современной теории культуры исследовательницей Фрэнсис Иейтс¹⁸: Улисс медленно обходит все "места памяти", значимые для его биографии и для европейской истории в целом.

Герою Ангелопулоса (которого играет Харви Кейтел, один из ведущих американских актеров "психологической" школы Станиславского) удастся найти ролики в Сараево и даже убедить хранителя архива Иво Леви (в этой роли Эрланд Иозефсон, любимый актер Бергмана и позднего Тарковского) проявить их в условиях войны. Но они оказываются пусты, а Иво Леви даже не успевает этого увидеть. Его бессмысленно убьют на улицах Сараево вместе с его дочерью, которая представляет в этом повествовании Пенелопу. Улисс навсегда теряет все, что он искал, даже не успев это обрести. Европейское прошлое, как и прошлое кинематографа, оказывается практически недостижимо, его основания отчуждены, и война мстит той культуре, которая, может быть, ее породила. "Взгляд Улисса" стал своеобразной "модернистской бомбой", соединившей в рамках богатых возможностей Арт-синема многообразие культурных значений

(мифологические и литературные прототипы, историю XX в., нарратив путешествия, размышления о сущности Иейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997.

351

Феномен прошлого

сти кино, о культурной нагруженности зрения, о механизмах памяти и т.д.) для проблема-газации европейской идеи прошлого и культуры. С одной стороны, стремление прикоснуться к истокам, соединение личной памяти о прошлом с исторической памятью предков служит, с европейской точки зрения, основанием для формирования человеческой идентичности, для развития самой идеи культуры. С другой стороны, плодотворное европейское прошлое оказывается во "Взгляде Улисса" мифом, пустым роликом, а в основании идентичности обнаруживается беспомощность перед войной и насилием, нежелание принимать имеющуюся историю и невозможность от нее отказаться. Фильм кончается фигурой "вечного возвращения" и представляет собой вопрос без ответа, который задает интеллектуальный европейский кинематограф, рассуждая о европейском прошлом. При этом другие варианты, предложенные в рамках Арт-синема, выглядят еще жестче: так, в "Европе" радикального Лаоса фон Триера основанием нынешнего европейского благополучия прямо называется тоталитарное национальное государство. А фильм "Trainspotting"²⁰ британца Дэнни Бойла посвящен молодому поколению европейцев, "сидящему на игле" в грязных подвалах и равно чуждому любым проявлениям идентичности и культуры, будь то "национальная гордость шотландцев" или рекламное туристическое пространство архитектурных памятников.

Однако потенциал "богатого европейского прошлого" и "великой европейской культуры" как двух понятий, актуализированных всем строем культуры начала 1990-х гг., не остался нереализованным. Этот комплекс европейских идей и представлений, взятых, несмотря на готовность к определенной проблема-газации, все же в положительном ключе, в модусе утверждения, нашел свое выражение в других кинематографических феноменах. Каждый по-своему, эти феномены поддерживали одну и ту же идею культуры: сегодняшней европейской культуры как места плодотворного единства современности и прошлого. Первый феномен был впервые описан нами в 1999 г. как кинематографический дискурс "Прекрасной Европы"²¹ (начало — середина

"Европа". Реж. Ларе фон Триер. Дания — Франция — Германия — Швеция, 1991.

²⁰ "Trainspotting". Реж. Дэнни Бойл. Великобритания, 1996.

²¹ Самутина Н. Эта музыка слишком прекрасна // Искусство кино. 1999. № 9. С. 78-89.

352

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлое")

1990-х гг.); под вторым мы имеем в виду набравшее силу в середине 1990-х гг. и существующее по сей день общеевропейское кино.

Дискурс "Прекрасной Европы"

Фильмы, которые составили первую волну киноевропеизации и подарили зрителям по-своему незабываемый образ "Прекрасной Европы", оказались сняты авторами, от которых не особенно приходилось ожидать чего-либо подобного. "Синий" и "Красный" К. Кесьлевского, "Прикосновение руки" К. Занусси, "За облаками" М. Антониони — В. Вендерса, "Ускользящая красота" Б. Бертолуччи²² были созданы в первой половине 1990-х гг. режиссерами, признанными к этому времени классиками Арт-синема, режиссерами-новаторами, каждый из которых претендовал в прошлом на подчеркнuto индивидуальную поэтику, на авторское видение кинематографической работы. Однако их фильмы 1990-х гг. поражают своей похожестью, единством не только общей стилистики и поставленных проблем, но даже сравнительно небольших символических решений.

Возникший в этих фильмах кинематографический образ Европы может быть описан как сложный культурно-семиотический комплекс, объединяющий ряд конкретных реалий, как то: визуальный образ пространства, внешность и одежда людей, их язык и музыка, техника и предметы повседневного обихода; культурные представления об истории и личности, о любви и роли женщины в обществе, о памяти, правосудии, идеале, религии, значении творчества в жизни и т.д.; а также имеющий набор одинаково прочитываемых символов. На всех этих уровнях по отдельности и на уровне общего смысла, остающихся после кинопросмотра эмоций, создатели "Прекрасной Европы" представили нам образ высокой европейской культуры, выступающей одновременно как норма и как идеал, как некий дух, пронизывающий все сферы повседневности, и как идея, требующая неперестанного движения, самокультивирования.

²² "За облаками". Реж. Микеланджело Антониони, Вим Вендерс. Франция — Италия — Германия, 1996; "Три цвета: Синий", "Три цвета: Красный". Реж. Кшиштоф Кесьлевский. Франция — Польша, 1993—1994; "Прикосновение руки". Реж. Кшиштоф Занусси. Великобритания — Польша, 1994; "Ускользящая красота". Реж. Бернардо Бертолуччи. Великобритания — Франция, 1996.

353

Феномен прошлого

Одной из основных стилистических характеристик этого европейского образа становится "красота" — и как намеренная "красивость" самого типа изображения, и как классическая правильность попадающих в кадр объектов. Она выражается на уровне подбора актеров (подчеркнuto европейский тип внешности, противопоставленный и этническим, и голливудским стандартам), их одежды и движений; в трех доминирующих типах пространства — европейском городе (где акцентируется одновременно техническая

современность и связь с историей через культурные памятники прошлого, соразмерность такого города человеку), деревенском пространстве, демонстрирующем единство природы и культуры, и в образе европейского дома — отдельного, уютного, антропоморфного, несущего в себе память множества поколений. Передача дома кому-либо всегда осуществляется как символическая акция по передаче "наследия", "памяти о прошлом".

Обязательным составным элементом "европейской красоты" является великая классическая музыка, представленная здесь больше в современных обработках и подражаниях и означенная положительно (в отличие, например, от "Доктора Фаустуса" Т. Манна, "Бессмертия" М. Кундеры или "Репетиции оркестра" Ф. Феллини). Музыка становится в "европейском дискурсе" каналом трансляции значений "идеального" и "прекрасного", без которых невозможно само развитие жизни. Сразу в двух фильмах о "Прекрасной Европе" — "Синем" и "Прикосновении руки" — главными героями становятся композиторы, которые вынуждены преодолевать страдания и примиряться с прошлым во имя того, чтобы создавать музыку для будущего. В "Прикосновении руки" это симфония, выросшая из еврейской мелодии и написанная композитором, потерявшим всех своих близких во время Холокоста; в фильме "Синий" — ни много ни мало — торжественная кантата к празднику Объединения Европы. В образах "европейской красоты" на всех уровнях — пространства, музыки, привлекаемых фигур актеров (так, во всех этих фильмах присутствуют, часто в совсем маленьких ролях, знаменитые европейские актеры, как бы представляющие европейскую кинематографическую культуру: Жанна Моро, Макс фон Сюдов, Жан Марэ, Марчелло Мастоияни) актуализируется богатое европейское прошлое, кристаллизованная история, "сквозящая" в современности. На уровне системы ценностей и повседневной культуры образ Европы рисуется так же привлекательно. Его ключевыми словами оказы-

354

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлое")

ваются творчество (как неперемнная составляющая жизни любого человека, не только художников и фотографов, но и манекенщиц, учителей, продавцов); пространство понимания, связывающее всех персонажей и особенно подчеркнутое в отношениях молодежи с предшествующими поколениями; любовь как гармония духовного и телесного начал; терпимость, предоставляющая личности право свободного выбора. Наконец, сама личность утверждается в европейском кинодискурсе (особенно это явственно на примере проблематики фильма "Синий") как абсолютный центр, мало зависящий от социального положения, достатка или возраста и вполне соотносимый с классическим представлением о цельном субъекте. Представление о личности задается как образ медленного, творческого построения собственной идентичности, конструирования "себя", как осознанная работа по установлению контакта с другими, развитию доброжелательности и позитивной установки на сотрудничество (солидарности). "Человечность" "Прекрасной Европы" репрезентируется кинематографом как идеал, который нашел в 1990-е гг. горячую поддержку в соответствующей зрительской реакции.

Разумеется, подобная картина подразумевает обширные пространства исключения как на предметном уровне (отсутствие в кадре оружия, крови, нищеты, маргинальных или иноэтнических групп), так и на идеологическом — в "Прекрасной Европе" оказывается "преодоленной" вся центральная проблематика постмодернистской критики. Именно идея преодоления — боль не забыта, но преодолена — характерна для решения главных проблем, поставленных в этом кино на сюжетном уровне ("Синий", "Красный", "Прикосновение руки"). Фильмы "Прекрасной Европы" являют разительный контраст с рядом фильмов на ту же тему, отрицающих не только идею преодоления и изменения, но и саму возможность связи культуры прошлого с современностью (эту "другую Европу" можно увидеть в уже упоминавшихся "Европе" Ларса фон Триера, "Trainspotting" Дэнни Бойла, "Ненависти" Матье Кассовица²³). Однако важно подчеркнуть, что, как правило, фильмы о "другой Европе" тоже находятся в диалоге с классической культурой, только ее роль в современности они видят принципиально иначе.

Сложность идеологических задач, которые реализовывались в "европейском кинодискурсе", потребовала чрезвычайно активной символической работы. Эта работа выразилась и в оживлении традицион-²³ "Ненависть". Реж. Матье Кассовиц. Франция, 1995.

355

Феномен прошлого

но связанных с Европой символов, и в привязывании универсальных символических образов к европейским смысловым комплексам — в цветовой символике (значение синего цвета и приглушенной световой гаммы), в символах дождя и тумана, лестниц, человеческих рук. Особую роль в создании символических образов играют способы съемки, которые благодаря медленному, "философичному" задерживанию на детали, скольжению камеры, "идеализирующим" крупным планам лиц и т.д. создают ценностно нагруженные визуальные образы, проникнутые "идеальным строем", напряжением "высокого", характерным для классической европейской культуры.

Подчеркнем еще раз, что по всей совокупности институциональных параметров эти фильмы принадлежат к рангу элитарного европейского кинематографа, к модели Арт-синема. Они с успехом представлялись на основных европейских фестивалях как новые произведения прославленных режиссеров-Авторов, получали высшие награды, широко обсуждались в прессе, после этого шли в европейском прокате, на телевидении, и были увидены немалым количеством зрителей. Но в этот раз среди зрителей Антониони и Бертолуччи

оказались не только интеллектуалы. Создатели образа "Прекрасной Европы" исходили из новой для себя концепции киноязыка, из необходимости реализовать идеологию "живой" и творческой культуры, необходимой каждому гражданину Европы, в соответствующих формальных средствах. Киноязык фильмов о "Прекрасной Европе" достаточно традиционен и доступен. Для него характерна ориентация на повышенную привлекательность изображения, внятные, несмотря на сложность духовных проблем героев, сюжеты, отсутствие отталкивающих публику экспериментов с монтажом и построением кадра. Таким образом, он существенно отличается от тех новаторских решений, которые позволяли когда-то причислять и Бертолуччи, и Кесьлевского, и Антониони к мастерам индивидуальных стилей. Красота европейского кинопространства подходит совсем близко к красоте, к штампу; многие символические "моменты красоты", вовсю задействованные режиссерами, имеют мелодраматическую визуальную историю. По нашему мнению, культурный смысл подобного решения нужно искать в специфических задачах европейского "кинематографического комплекса", в особенном понимании режиссерами функций европейского кино и роли "высокой культуры" в конструировании идентичности "среднего" европейца.

356

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

Повышенная традиционная эстетизация визуальных объектов в этих фильмах демонстративна. Она должна рассматриваться как умышленный, по-своему оригинальный и очень трудный в исполнении художественный прием. Режиссеры поставили своей задачей "отво-евание красоты" у штампа, преодоление уже ставшей нормой для интеллектуального кино боязни положительных ценностей, в том числе визуального порядка. В разгар постмодернистских 1990-х гг. "европейский дискурс" предложил противоположное по смыслу "прямое" художественное действие (состоящее в отказе от устоявшегося деления на массовые и элитарные художественные решения, в пренебрежении негативной нагруженностью определенных визуальных символов, в борьбе с "изношенностью" киноязыков не путем изобретения новых, а путем осознанного обновления старых).

В подобной традиционности, в балансировании на грани штампа нам видится особая культурная задача создателей "европейского дискурса". Протягивая зрителю штамп на ладони, они тем самым конструируют этого зрителя; предполагают существование личности, способной вынести суждение в соответствии со своей культурой, знанием киноистории, со своей "эстетической чувствительностью". Европейские представления об индивидуальной личности оказываются, таким образом, репрезентированы в дискурсе "Прекрасной Европы" не только на "содержательном", но и на "формальном" уровне, как представления о субъекте зрелища, делающем индивидуальный выбор. Понимание фильма как произведения, вписанного в определенную традицию и плотный культурный контекст, а зрителя как субъекта, способного "прочитать" фильм и стремиться расширить свои знания о нем, использовать фильм не для развлечения, а для размышления об актуальных проблемах современности, — все это характерно для европейской модели Арт-синема в ее основе. Однако использование для этой цели штампа можно считать своеобразным изобретением дискурса "Прекрасной Европы".

Общеввропейское кино

Наконец, последним по времени кинематографическим феноменом, ярко репрезентирующим социокультурную "связку" Европа — культура — прошлое, можно считать общеевропейское, или панъевропейское кино — молодое, активно развивавшееся в конце 1990-х гг. и

357

Феномен прошлого

только начинающее привлекать внимание исследователей современной культуры²⁴. Название "общеввропейское кино" может быть применено к кинематографу конца XX и начала XXI в., возникшему на территории Объединенной Европы и на средства этой самой Объединенной Европы, при активной финансовой поддержке специально организованных для этого европейских структур: фондов и организаций типа Fonds Eurimages de Conseil de L'Europe; European Script Fund, Espace Video Europeen, при поддержке в рамках Media Program of the Commission of the European Communities, с участием таких традиционных производителей европейских фильмов, как французский Canal+, английский Channel Four, BBC и т.д. Основным производственно-экономическим механизмом такого кино можно считать совместное производство фильма несколькими европейскими странами, с участием и общеевропейских, и национальных государственных структур, и более мелких частных фондов (хотя это не означает, что фильм, в одиночку произведенный сегодняшней Германией или Испанией, не может по всем остальным характеристикам считаться "новоевропейским"). Разумеется, доля европейских стран в этом производстве неравномерна: наибольшее участие принимает Франция, и современная кинематографическая Европа имеет заметный французский колорит; но есть и ряд хорошо развивающихся в этом пространстве более мелких кинематографий, например, ирландская, исландская²⁵ или датская.

В целом этот кинематограф транслирует идеологию европеизма более открыто, чем какие-то другие модели. Идеологическая поддержка соответствующих проектов производится с опорой на "европейские

²⁴ Исследований общеевропейского кино пока существуют единицы. Скорее ему уделяется некоторое внимание в рамках изучения популярного (массового) европейского кино отдельных стран. Активным пропагандистом

изучения этих видов кинематографа является Ж. Венсендо (см: Popular European Cinema / R. Dyer, J. Vincendeau (eds.). L.; N.Y.: Routledge, 1992; Vincendeau G. The Encyclopaedia of European Cinema. L.; 1995; Forbes J., Street S. European Cinema., An Introduction. L., 2000). Один из немногих, в чьем тексте появился термин Pan-European Cinema, М. Уэйн: Y&yne M. The Politics of Contemporary European Cinema. Histories, Borders, Diasporas. Bristol, Portland: Intellect, 2002.

²⁵ Успехи исландской кинематографии тем более показательны, что она представляет собой достаточно яркий вариант совсем молодого, во многом выросшего на европейских возможностях кинопроизводства. Первый исландский фильм был снят в 1979 г.

358

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлое")

культурные ценности" в самых расхожих их вариантах: на "единство в разнообразии", "Европу регионов" (поддержку получают фильмы, репрезентирующие региональную этническую и культурную идентичность, — кино Прованса, Уэльса, Северной Ирландии, Каталонии); на европейские традиции литературной культуры (среди нового европейского кино очень велик процент экранизаций как классики, так и современных книг европейских писателей). В эти же институциональные потоки вливается кино, произведенное киноиндустриями второго и третьего звена, понимающими всю безнадежность конкуренции с Голливудом и видящими свое место именно в европейском кино "культурных идентичностей". Новое общеевропейское кино во многом отличается от европейского Арт-синема по своим культурным задачам и соответствующей им организации. В нем значительно ослаблена система авторства и практически отсутствуют "звездные" режиссеры: звездой такого фильма скорее будет широко известный европейский актер — Жерар Депардьё, Натали Бэй или Эмма Томпсон (в этом смысле европейское кино позиционирует себя как национальная кинематография!). Нередко фильм строится на полном отсутствии звездных персонажей, а актерами могут выступать даже любители. Это кино, лишенное модернистской многозначности, свойственной Арт-синема, кино, не столь сильно ориентированное на новацию и представляющее "сниженный" вариант европейской кино модели даже по отношению к фильмам о "Прекрасной Европе". Своим адресатом оно видит скорее рядового зрителя (что позволило Ричарду Дайеру и Женетт Венсендо назвать его кинематографом для среднего класса²⁶), европейца со средним достатком и образованием, достаточно "культурного", чтобы хотеть от кинематографа выражения разделяемых им ценностей (в число которых не входит голливудский глобализм: конструкция и здесь выстраивается с учетом негативного "другого"), но недостаточно вовлеченного в интеллектуальные дискурсы, чтобы ценить новаторство киноязыка или интересоваться философскими вопросами. Это популярное кино, сделанное европейцами для европейцев, существует сегодня в разных тематических и стилистических вариантах, но все они, тем не менее, тесно связаны все с той же с идеей культуры.

Так, в фильмах о современности, о повседневной жизни обычных людей (например, "Порнографическая связь", "Итальянский для на-

²⁶ Popular European Cinema.

359

Феномен прошлого

чинающих", "Читай по губам" и т.д.²⁷), отсылки к европейской культуре устроены достаточно непросто. На уровне иконографии для них характерно повышенное внимание к моде и современному искусству, к евродизайну, этому универсальному языку европейской повседневности; к поэтике городского пространства, потому что более, чем когда-либо, кино современности — это кино городов. На уровне сюжета и проблематики эти фильмы "гуманистичны", в оценках критики, печатающихся на обложках видеокассет, они часто характеризуются как "добрые". Это не означает отсутствия проблем и конфликтов, часто весьма жестких, но преодоление проблемных ситуаций обычно происходит с помощью таких идеологем, как "понимание", "примирение с судьбой", как обретение опыта, значимого для развития личности, несмотря на страдания.

Наконец, особенно ярко идея культуры воплощается в формальных решениях фильмов о современности. Фильм должен быть снят в лучших традициях серьезных европейских кинематографий, т.е. осмысленно, с вниманием к детали, с подчеркнутой опорой на эстетическую традицию; кроме того, вхождение в актуальное состояние культуры производится через задействование (в умеренном количестве) крупных тенденций европейского Арт-синема, которые "присваиваются" и тиражируются в этом кинематографе "среднего звена". На рубеже веков такую роль образца, подлежащего тиражированию и использованию в качестве культурной нормы, сыграло для общеевропейского кино движение "Догма-95", совершенно изменившее за десятилетие стандарты киноизображения, доминирующие на европейском пространстве. Принципы, провозглашенные в манифесте "Догмы": съемка ручной камерой, отсутствие "наложенного" звука, обновление содержательных норм за счет отказа от любых условностей голливудского мейнстрима — побыв новаторским приемом один раз, в Арт-синема последнего великого Автора XX в. Ларса фон Триера, — превратились в штамп, в маркер "культурности", "как бы новаторства", как в последующих фильмах "Догмы" (это можно сказать и о "Последней

²⁷ "Порнографическая связь". Реж. Фредерик Фонтен. Франция — Бельгия — Люксембург — Швейцария, 1999; "Итальянский для начинающих". Реж. Лоне Шерфиг. Дания, 2001; "Уилбур хочет покончить с собой". Реж. Лоне Шерфиг. Дания — Великобритания — Швеция — Франция, 2003; "Читай по губам". Реж. Жак Одиар. Франция, 2001; "Скагеррак". Реж. Сёрен Крейг-Якобсен. Дания — Швеция — Великобритания, 2003.

песни Мифунэ", и о "Любовниках"²⁸, и об "Итальянском для начинающих"), так и в общеевропейском кино в целом.

Однако с точки зрения репрезентации прошлого более интересен другой вариант современного европейского кинематографа. Это так называемое *heritage cinema* (буквально: кино наследия) — европейский костюмный кинематограф, в котором действие целиком или преимущественно находится в прошлом. *Heritage cinema* как таковое имеет столь же приличную историю, что и Арт-кино. Оно берет начало в британской костюмной комедии, и во французских экранизациях литературной классики, и в итальянском историческом кино. Но *heritage cinema* 1990-х гг., существующее уже в пространстве Объединенной Европы, имеет ряд отличительных особенностей, позволяющих фиксировать его и как особый тип, и как общеевропейское явление, претендующее на выражение существенных моментов общей (при этом обязательно "белой", не маргинальной) европейской идентичности.

Как и некоторые другие типы исторического кино²⁹, *heritage cinema* работает как "окно в прошлое" и строится на детальной реконструкции предметной среды. Но это кино эксплуатирует особую конструкцию "общего для европейцев" чувства прошлого, оно основано на ощуще-

²⁸ "Последняя песнь Мифунэ". Реж. Сёрен Крейг-Якобсен. Дания — Швеция, 1999; "Любовники". Реж. Жан-Марк Барр. Франция, 1999.

²⁹ Под "другими типами исторического кино" более всего приходится иметь в виду, разумеется, голливудский историзм с его жанровыми конвенциями. Мы не имеем возможности подробно на этом останавливаться, поэтому заметим лишь, что репрезентация прошлого и истории в голливудском кино происходит настолько отличным от европейского способом, что эффектом "окна в историю" сходство почти ограничивается. Исторический боевик, мелодрама или байопик репрезентируют Историю — как бы Реальную, и в то же время до предела психологизированную, мелодраматизированную и подчиненную правилам повествования с началом, кульминацией и финалом, с действующими Героями и двигателями их поступков: Любовью, Ненавистью, Предательством, Мужеством. Решение личных проблем персонажей подменяет решение исторических проблем незаметно для зрителя, убежденного, что он смотрит историю нападения на Перл-Харбор или убийства Кеннеди такой, как она была "на самом деле". Моральный посыл повествования выглядит так: "слава Богу, что мы не живем в те ужасные времена" или "можно надеяться, что это не повторится". Несмотря на необходимость реконструкции предметной среды, ни деталь, ни вообще "знание о вещах" не вводится в горизонт интереса зрителя; и т.д. Глубокий анализ жанровых конвенций голливудского историзма см. в работе: Rosenstone R. *Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History*. Cambridge, 1995.

361

Феномен прошлого

нии "давности" окружающих вещей, ландшафтов и обычаев. Еще раз подчеркнем, что это ощущение "давности" не особенно считается с тенденциями мультикультурализма и не обнаруживается в кино французских арабов. *Heritage cinema* не случайно подвергается атакам левой критики, которая усматривает в нем реакционные элементы прежних "тотальных повествований", репрезентирующих лишь одну господствующую идентичность. Однако именно благодаря этой апелляции к "общности прошлого" ностальгические нарративы *heritage cinema* популярны у зрителей разных стран, что обеспечивает этому типу кино, так же как и Арт-кино, возможность пересекать национальные границы европейских государств (что очень плохо удается национальным кинематографиям, больше связанным с языком, с национальной классикой и региональными культурно-символическими системами, делающими значительную часть культурных отсылок или, например, такой феномен, как юмор, чуждыми рядовому зрителю другой страны).

В основе *heritage cinema* лежит ностальгическое повествование, очень часто принимающее форму воспоминания о детстве. Его центральным персонажем оказывается ребенок, особенно взрослеющий ребенок, переживающий последнее лето/зиму детства или юности; или — в качестве эквивалентной ребенку фигуры — взрослый, медлящий на пороге принятия важного решения. Существенным моментом кажется то, что многие европейские костюмные фильмы нашего времени не погружаются в прошлое слишком глубоко, не выходят за пределы XX в. (хотя есть очень интересные варианты работы с XVIII и XIX вв., а именно с моментом становления личности через науку или высокое искусство — "Ангелы и насекомые" Филипа Хааса или "Спящий брат" Иозефа Вильсмайера³⁰). В них редко представлены "основные" исторические события, которые обычно становятся тревожным фоном, нарастающей откуда-то издалека угрозой детству; или ребенок оказывается в них вброшен, не понимая происходящего. Такая "отстраненность" общей истории (Истории с большой буквы) чрезвычайно показательна. Европейские *heritage films* делают все для разделения прошлого и Истории, для выстраивания европейской идентичности на позитивном чувстве прошлого, на плодотворной ностальгии.

³⁰ "Ангелы и насекомые". Реж. Филип Хаас. Великобритания — США, 1995; "Спящий брат". Реж. Иозеф Вильсмайер. Германия, 1995.

362

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлое")

1990-е гг., оглядывающиеся на XX в., не позволяют вкладывать какие-либо позитивные смыслы в понятие Истории, в "тотальное повествование", всегда приходящее извне в жизнь нынешнего обычного человека или тогдашнего ребенка, двоящейся фигуры, с которой призван отождествляться зритель *heritage cinema*. Отчасти, как нам кажется, это связано со столь подробно прописанным в критических дискурсах чувством вины европейцев за свою концепцию Истории, основанную на доминировании одного культурного типа и

приведшую к стольким мировым катастрофам. История как событийный процесс с его глобальностью оставляется голливудским историческим боевикам и мелодрамам — или большому европейскому эпосу в рамках Арт-синема, такому, как "XX век" Бертолуччи или "Вкус солнечного света" Иштвана Сабо³¹. Прошлое, которое конструируется в современном европейском кино, есть прежде всего личная история, индивидуальное, субъективное и "незаметное" прошлое человеческой жизни. Неудивительно, что многочисленные "истории взросления" в рамках heritage cinema — "Последний сентябрь" ирландки Деборы Уорнер, "Секреты сердца" испанца Монксо Армendarиза, "Отблески пламени" португальца Луиса Филипа Роха, "Солино" немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина³² — отличаются подчеркнутой камерностью. Им невозможно приписывать значения, выходящие за пределы идей ностальгического повествования.

Эти идеи в целом нельзя назвать чересчур оптимистичными: ведь в основе ностальгического нарратива лежит утрата. Но heritage cinema не случайно работает с психологическим эффектом "светлой печали" и рассчитано на позитивное зрительское восприятие. Утрата детства или счастливых дней прошлого, утрата мгновений частной жизни является обязательным условием обретения субъективности в памяти — конструкция, многообразно представленная в самых разных сферах европейской культуры. В переживании утраты прошлое актуализируется,

"1900", или "XX век". Реж. Бернардо Бертолуччи. Италия, 1976; "Вкус солнечного света". Реж. Иштван Сабо. Венгрия — Австрия — Германия — Канада, 1999.

¹² "Последний сентябрь". Реж. Дебора Уорнер. Ирландия — Франция, 1999; "Секреты сердца". Реж. Монксо Армendarиз. Испания, 1997; "Отблески пламени". Реж. Луис Филип Роха. Португалия — Испания — Франция, 1995; "Солино". Реж. Фатих Акин. Германия, 2002.

363

Феномен прошлого

и ме История войн и насилия, а частная история тоски по потерянному раю составляет содержание "европейского" в ностальгических повествованиях heritage cinema; можно сказать, что европейский человек становится собой тогда, когда тоскует, а европейский зритель становится собой, когда разделяет эту тоску, воссозданную с помощью определенного набора кинематографических средств.

Реконструируя прошлое, heritage cinema реконструирует не события, а состояния. Оно, конечно, всегда сюжетно наполнено и даже бывает смешным. Обычный источник комического в этом кино — проказы детей, в разных вариациях повторяющие шалости школьников из прообраза всего ностальгического кинематографа — "Амаркорда" Федерико Феллини. (На этом примере очень четко виден механизм взаимодействия Арт-синема, создающего высокие образцы, и "среднего" европейского кино, многократно тиражирующего эти образцы почти в рамках "формульного повествования". Heritage cinema редко бывает рассчитано на новацию, и очередная история детских проделок или первой любви только упаковывается в нем в различные региональные обертки.) Но, повторим, существенны не события. На первый план в этом типе кино всегда выходят атмосфера и умение его создателей (к каковым относится не только режиссер, но в большей степени художники и операторы) воспроизвести это странное состояние печали, щемящей тоски, спровоцировать зрителя на переживание чувства утраты.

Механизм работы heritage cinema может быть сопоставлен с эффектом рассматривания старых фотографий. В нем воссоздается (присутствует) все: дом, музыка, одежда, пятна света, крупные планы старинных вещей, переодевание к ужину, малозначащие разговоры за столом, капли дождя. И все это щемяще указывает на отсутствие. Фильм одновременно заставляет переживать прошлое и его исчезновение, аналогично тому, как, по мнению современных теоретиков фотографии, фотографический механизм указывает на разрыв между присутствием и отсутствием референта, репрезентируя нерепрезентируемое. Работа фотографии нередко описывается как сама работа истории (истории как прошлого, не подлежащего присвоению и нарративизации)³³. Конечно,

"О фотографии и истории см.: Петровская Е. Непроявленное: Очерки по философии фотографии. М., 2002; Cadava E. Words of Light. Theses on the Photography of History. Princeton, 1997.

364

Современное европейское кино и идея культуры ("прошлого")

ностальгическое изображение, возникающее в heritage cinema, есть мимикрия под фотографию, попытка на семиотическом уровне воспроизвести ее свойства. Но все же подобный эффект в восприятии фильмов достигается.

В heritage cinema, может быть, наиболее полно воплощается некоторая часть наследия европейской культуры: та часть "культуры", которая апеллирует к ценности обычного, к неуловимой "красоте повседневного". Тщательно реконструированное в этом кино прошлое обращено к сентиментальному субъекту чувства. В общем пространстве европейского кино heritage cinema дополняет Арт-синема, как дополняют друг друга повседневность и событие, традиция и новация. По отношению к другим кинематографическим типам heritage cinema представляет собой такую же реализацию представлений о кино как о "культуре", что и Арт-синема.

* * *

Тезисно набросанная нами картина современного европейского кино, разумеется, фрагментарна и условна. Более того, современность, как ей и положено, существует лишь в непрерывном изменении, в ускользании от любых попыток определения. Совершающаяся на глазах политизация производимого в Европе

кинематографа, которая резко нарушает сложившееся за десятилетия соотношение эстетики и политики, заново ставит и интересующие нас вопросы "прошлого" и "культуры"³⁴. Возможно, новая концепция европейского кино оставит в прошлом и ностальгические повествования, и сколь угодно радикальную эстетику Арт-синема ради политического действия; возможно, впоследствии это приведет к возникновению новых кинематографических типов. Однако пока можно констатировать, что любое современное кино (кино конца XX и самого начала XXI в.), задающее себя как европейское, конструируется через идею культуры на уровне модели и обращается к понятию культуры "предметно", в своих задачах, образах, языках. Задействованное в кино понятие "культура" не вполне однородно. В "верхнем" его регистре можно говорить о высокой европейской культуре, с ее канонами, идеалами, с ее богатым прошлым. Обращение

⁵⁴ См.: Самутина Н. Европейское братство лузеров // Русский журнал, www.russ.ru. 4.07.2003.

365

Феномен прошлого

к этому регистру более свойственно Арт-синема. В "нижнем" регистре речь идет о культуре как традиции идеализации повседневности и об индивидуальном прошлом как месте обретения идентичности. Это является предметом ностальгических повествований-heritage cinema. Но в любых современных репрезентациях "европейского" применительно к кино "культура" идет в связке с "прошлым" для полноценного обретения значения "современности".

РОЛЬ АНТИЧНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XIX в.

Т.А. Сабурова

Кто разделит

Нас от годов, чья поступь отзвучала? *Р. М. Рильке*

В "осмнадцатом столетии" в России в результате интенсивного культурного творчества и взаимодействия с другими культурными мирами — прежде всего европейским — окончательно разрушается прежняя целостная символическая картина мира, происходят ее усложнение и фрагментация, о чем свидетельствуют в том числе и рассматриваемые ниже исторические представления. Европеизация русской культуры и общества, активно проводимая государственной властью, выразилась не только в усвоении европейских обычаев, изменении культурных форм ("плана выражения"), но и в постепенном изменении содержания культуры, становлении европеизма. Культура европейского Просвещения стала фактором, во многом определившим культурное развитие России, являясь и строительным материалом для формирования национальной культуры, и тем самым "иноземным реактивом" (П.Н. Милюков), который проявил тип русской культуры.

Важнейшим достоянием, воспринятым русским обществом от столетия, названного в Европе веком Просвещения, стала просветительская парадигма картины мира. Чтение как одна из основных культурных практик русского общества (учитывая логоцентричность русской культуры в целом), формировало "сетку" представлений русского ин-

368

Роль античности в историческом сознании русского общества

теллектуала. Сочинения философов европейского Просвещения влияли на способ осмысления мира, создавали духовный мир русской интеллектуальной элиты, способствовали переводу многих иностранных понятий на язык русской культуры, и наоборот, изложению явлений русской жизни языком европейского Просвещения. В.О. Ключевский упоминает о том впечатлении, которое производила русская образованная молодежь на французских путешественников: "самая просвещенная и философская в Европе"¹.

Любая периодизация этого культурного процесса, тем более в сфере представлений, достаточно условна. Начало XIX в. можно считать периодом завершения культурной эпохи XVIII столетия, "безумного и мудрого". По мнению Ю.М. Лотмана, "мы поймем единство и противоречия XVIII века, если вспомним, что он вдохновил не только Ломоносова и Державина, но и Мусоргского, Сурикова и «Мир искусства», что он отразился в пушкинской «Капитанской дочке» и в пушкинской же «Истории Пугачева» и что, начатый Петром, он завершился 1812 годом"². В историографии существует определение "большого девятнадцатого века", начинающегося с Великой французской революции 1789 г. и заканчивающегося в 1914 г. с началом Первой мировой войны. Таким образом, период конца XVIII — начала XIX в. оказывается принадлежащим сразу двум эпохам, и во многом от исследовательского ракурса зависит проведение хронологической границы. Но принципиально важно то, что просветительская парадигма, сформировавшаяся в XVIII в., определила мышление русской интеллектуальной элиты в XIX столетии.

Веком Просвещения, в определенном смысле завершившийся в Европе с Французской революцией, в России

продолжался в следующем столетии, но так и не получил завершения. По выражению Ю.М. Лотмана, "то, что на Западе этап, в России почти превращается в сущность"³. Так, идеология Просвещения в явном или скрытом виде постоянно присутствовала в русской культуре XIX в., являясь одной из

¹ Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 3. М: Мысль, 1993. С. 351.

² Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII — начало XIX века). М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. С. 18.

³ Там же. С. 25.

369

1

Феномен прошлого

ее доминант. Поэтому и анализ темпоральных представлений русского просвещенного общества, как базовых представлений, составляющих картину мира наряду с представлениями о пространстве, невозможно строго ограничить рамками рубежа XVIII—XIX вв., учитывая специфику социокультурной динамики России. Все же мы по возможности постараемся оставаться в пределах выбранной нами периодизации.

Исследование темпоральных представлений, исторического сознания как важнейшей социокультурной категории позволяет приблизиться к пониманию системы смыслов и ценностных ориентации, определяющих построение картины мира в XIX в. Представления о прошлом, настоящем и будущем как модальностях времени, о характере их взаимосвязи составляют конструкцию исторического сознания и одновременно определяют его содержание. "Прошлое при этом организуется как текст, прочитываемый в перспективе настоящего"⁴. Настоящее формирует избирательное отношение к прошлому, выделяя исторические эпохи, события, личности, придавая им позитивную или негативную аксиологическую окраску. Значение имеет не только общая оценка минувшего, но и сам набор элементов, составляющих его образ, осознание его как отдельного темпорального состояния, наличие представления о последовательности или прерывности времени.

Механизм формирования образа прошлого под влиянием настоящего отражает синхронные и диахронные диалогические процессы в культуре, изменение социальной реальности, взаимосвязь сферы культуры и социальных отношений. Следовательно, анализ этого механизма приближает нас к пониманию феномена конкретной культуры, помогает "преодолеть расстояние, дистанцию между минувшей культурной эпохой, которой принадлежит текст, и самим интерпретатором"⁵.

Применительно к России особенный интерес представляет в этом отношении XVIII в., как время создания новой "картины мира" в просвещенных слоях русского общества. Важнейшей характеристикой этого процесса была "европеизация" высших социальных слоев, формирование их новой культурной идентичности, что, соответствен-

⁴ Успенский Б.А. Эподы о русской истории. СПб.: Азбука, 2002. С. 19.

⁵ Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Московский философский фонд, 1995. С. 25.

370

Роль античности в историческом сознании русского общества

но, требовало инкорпорации европейской истории (а европейская древность была классической, античной) в социальные представления. В то же время "вторжение" чужого прошлого могло быть позитивным и выполнять идентификационную и легитимизирующую функции только в случае его "присвоения". Поэтому мирозерцание русского общества стремится к достижению целостности, *актуализируя* заимствованные компоненты культуры, формирующие образ былого. В результате в России представления о прошлом, характерные для образованных сословий, обогащаются целым комплексом новых исторических мифов. Эти мифы закрепляются в сознании с помощью самых разных институциональных механизмов — от соответствующим образом организованной системы образования до "сценариев власти" (выражение Р. Уортмана), создаваемых с помощью праздников и церемоний.

Формирование новых темпоральных представлений, как части картины мира русского просвещенного общества, связано не только с проблемой становления его новой культурной идентичности, но и с созданием идентичности национальной, основывающейся на соответствующем знании о прошлом. Смена исторических представлений, изменение их характера и содержания составляет необходимый элемент формирования новой национальной идентичности на рубеже XVIII—XIX вв. Причем невозможно говорить о существовании единого образа национального прошлого, необходимо учитывать социокультурную детерминированность разных образов, различия между официальным образом, транслируемым властью, особенно активно со второй четверти XIX в., и образами, характерными для оппозиционно настроенной части русского просвещенного общества. Важно выяснить, каков механизм формирования новых представлений, определить характер их взаимодействия с прежними образами, включенными в историческое сознание. "Новое прошлое" при ближайшем рассмотрении оказывается связанным с "прежним"; даже декларируя отказ от сложившихся исторических представлений, оно опирается на уже существующие мнемонические места и коммеморативные практики. "Прежнее прошлое" не вытесняется окончательно из исторического сознания, вступая во взаимодействие с образами, поступающими из других культур.

Можно предположить, что "новое прошлое" для русского просвещенного общества — новое в полном смысле этого слова, так как его

371

Феномен прошлого

собственная история только начинает создаваться вместе с формированием культурной идентичности этого слоя. В то же время, этот слой русского общества является субъектом формирования национальной идентичности, что определяет необходимость-создания образа прошлого не только своей культуры, но и общества в целом.

Прежние представления о прошлом в рамках традиционной символической картины мира выделить достаточно трудно, так как до XVIII в. минувшее не локализуется как особая модальность времени, соединяясь с вечностью. Индивидуальные представления могли ограничиваться представлениями об истории семьи, рода, персонифицируясь и одновременно мифологизируясь. Прошлое в целом оставалось во многом неструктурированным, аморфным, "темным зеркалом" с небольшими светлыми проблесками событий и людей. По мере необходимости из этого темного прошлого могли извлекаться события или герои, необходимые для легитимизации или морализаторства. Конечно, при формировании нового образа наблюдается определенная преемственность, влияние прежних темпоральных представлений, сохранение мнемонических мест. Например, даже в начале XIX в. будут использоваться события Смутного времени. Неизменным останется и время начала истории, "откуда есть пошла Русская земля", сохраняющее мифологический характер.

Историческое сознание как элемент культуры имеет диалогическую природу, при формировании темпоральных представлений происходит пересечение различных культурных практик. Традиционно в исследованиях феномена русской культуры ставится вопрос о степени влияния внешнего воздействия на собственную культурную традицию. Оправданно задаться этим вопросом и при изучении динамики исторического сознания, и в частности модификации образа прошлого за счет включения элементов античности. Важным методологическим замечанием в связи с этим представляется положение о необходимости избежать крайних позиций в истолковании проблемы влияния. В некоторых интерпретациях влияние извне "обретает смысл движущего и притом важнейшего фактора формирования русской социально-культурной традиции, которой, по существу, отказывают в признании какой-либо определенной собственной структурной самостоятельности и автономности. Думается, что здесь, так же как в случае с прямо противополо-

372

Роль античности в историческом сознании русского общества

ложным концептом абсолютной уникальности русской культуры, мы имеем дело всего лишь с очередным мифом, само существование которого обусловлено недостаточностью рациональной традиции анализа и истолкования"⁶.

Учет фактора внешнего влияния на формирование и развитие представлений о времени, безусловно, необходим, но для понимания механизма изменения темпоральных представлений особое значение имеет раскрытие феномена рецепции, который является показателем глубины изменений.

Рецепция — это всегда "приспособление к себе" (Ж. Деррида). Транслируемые образы и смыслы получают новое истолкование в принимающей культуре, трансформируются в процессе культурно-интеллектуального взаимодействия, становятся основой для последующих интерпретаций. Понятие "рецепция" позволяет раскрыть особенности восприятия элементов иной культуры, их трансформацию в другом культурном пространстве, процесс взаимовлияния культур. В этом смысле рецепция имеет, безусловно, диалогическую природу.

Образы прошлого в историческом сознании русского общества конца XVIII — начала XIX в. строились прежде всего как результат рецепции античности. Обращение к античному компоненту и включение его в историческое сознание определялось ситуацией двойного культурного диалога (античности — русской культуры, культуры европейского Просвещения — русской культуры), причем восприятие античности русской культурой можно считать результатом и прямого, и опосредованного европейской культурой диалога. Античное наследие становится важнейшим компонентом образа прошлого в целом, что связано с активным распространением элементов античной культуры в России XVIII в., влиянием античной литературы, философии, историографии, искусства и даже художественных элементов быта (интерьеры, утварь).

Русская интеллектуальная элита читает произведения античных авторов, выполняет переводы и издает античные сочинения, создает собственные произведения, отмеченные духом и стилем античности.

Переводы В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова, Е.И. Кострова, В.П. Петрова и др. сыграли важную

⁴ Парамонова М.Ю. "Проблема русской культуры" как феномен русской культуры // Одиссей. Человек в истории. 2001. М.: Наука, 2001. С. 64.

373

Феномен прошлого

роль в освоении античного наследия⁷. Для русского просвещенного общества был характерен взгляд на события современности через призму античных сюжетов, создание новых мифов и облечение старых в античную оболочку, использование языка античности, что позволяет говорить о существовании особого дискурса, определенного античным наследием⁸. История, как часть литературы эпохи Просвещения, формировала определенные исторические представления, создавала образы прошлого, основанные на античном

историографическом наследии, предлагая историописания в традициях античности, а также непосредственно вводила читателей в мир античной древности.

"Среди античных авторов, чьи сочинения привлекли тогда внимание русских переводчиков, почетное место занимают историки. В частности, в это время были переведены произведения Геродота, Диодора Сицилийского, Иосифа Флавия, Геродиана, Юлия Цезаря, Саллюстия, Веллея Патеркула, Валерия Максима, Тацита (не полностью), Светония, Флора, сборник «Писатели истории Августов» и сокращение Евтропия. Если добавить к этому переводы Корнелия Непота, Курция Руфа и Юстина, то выходит, что к концу XVIII в. сочинения большей части античных историков были уже доступны русскому читателю"⁹.

Классическое наследие соединяет русскую и европейскую культуру этого времени, включает Россию и Европу в единое историческое время, начинающееся с античности.

Актуализация античного компонента в русской культуре приводила к историзации темпоральных представлений, и в то же время стирала временные границы между культурами, превращая античность во вневременной или современной элемент культуры. По мнению В.А. Чиглинцева, "само явление взаимодействия двух культур, став

⁷ Подробнее см.: Свиясов Е.В. Античная лирическая поэзия в русских переводах и подражаниях XVIII—XX веков. О библиографии // Вопросы литературы. 1988. №2.

¹ "From the foundation of Moscow University to the Age of Pushkin, Roman writers caught the imaginations of Russian men of letters, challenged their skills as translators, inflamed their talents as propagandists and exerted an influence on their sense of Russia's proximity to European culture" (Kahn A. Readings of Imperial Rome // Slavic Review. 1993. Vol. 52. P. 747).

¹ Фролов Э.Д. Русская наука об античности: Историографические очерки. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 105—106.

374

Роль античности в историческом сознании русского общества

доминантой их существования, снимает любые пространственные и временные границы между ними"¹⁰. Эта современность классической древности в культурном бытии России конца XVIII — начала XIX в. достигалась взаимодействием двух принципиально разных установок. С одной стороны, шла интеллектуальная работа над созданием нового образа античного прошлого, новой интерпретации античной культуры, отвечающей запросам русского общества. С другой — важную роль играло представление о непреходящей ценности античного культурного наследия, в силу общности человеческой природы уничтожающей дистанцию между эпохами.

Интерпретация античности как современной русской культуре конца XVIII — начала XIX в. определяет систему ценностных ориентации, моральных норм, формирующих стратегии социального поведения. Эти стратегии выражались формулой "быть греком", "быть римлянином", что создавало ощущение личного переживания античности. Впрочем (на что обращает внимание А.В. Михайлов), ощущение необходимости стать греком пронизывает и европейскую культуру конца XVIII в. В подтверждение своих слов он цитирует восклицание Гете: "Каждый пусть будет по-своему греком! Но только пусть будет!"¹¹ В связи с этим интересно отметить впечатление, упоминаемое в "Письмах русского путешественника", которое произвел Гете на Н.М. Карамзина, (хотя Карамзину не удалось встретиться и поговорить с ним, он его только видел, проходя мимо дома, где жил великий писатель). Увидев Гёте, Карамзин "остановился и рассматривал его с минуту: важное (в другом издании — важное и хорошее. — Т.С.) греческое лицо!"¹²

Столь же показательным, что в конце XVIII — начале XIX в. "быть человеком — означало быть «римлянином»"¹¹. При этом быть "римлянином" могло подразумевать и "мыслить как римлянин", и "вести себя как римлянин", и эти сферы (мышления и поведения) не

⁹ Чиглинцев В.А. Рецепция как межкультурное взаимодействие. Античное наследие и современная культура // Межкультурный диалог в историческом контексте. Материалы научной конференции. М.: ИВИ РАН, 2003. С. 131.

¹¹ Михайлов А.В. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 518.

¹² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Вступ. ст. Г.П. Макого-ненко; прим. М.В. Иванова. М.: Правда, 1988. С. 125.

⁰ Лотман Ю.М. Карамзин. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 211.

375

Феномен прошлого

обязательно совпадали. Не случайно достаточно сильным было в этот период влияние Тацита на русское общественное сознание, равно как и Плутарха, который предоставлял русским людям готовые образцы поведения. Хорошо известны примеры знакового поведения генерала А.П. Ермолова, читавшего римских историков и называвшего себя проконсулом, а также декабристов, явно ориентированных на античную жертвенность и героику. Быть "римлянином", кроме реализации определенной знаковой стратегии мышления или поведения, во многом означало быть свободным человеком, быть гражданином. Поэтому особенно актуальными для русского общества выглядели идеи свободы, транслируемые вместе с античным наследием.

Сколь бы противоречивыми ни были "римские" темы — борьба с тиранией, права и свободы гражданина, образы римских императоров, — все они органично входили в русскую действительность, тесно переплетаясь с современными событиями и создавая почву для совершенно различных интерпретаций. С.Н. Глинка хорошо передал природу этой двусмысленности:

"Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душою римлян. Не ведал я ничего о состоянии

русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло на чреде полубогов. Исполинский призрак древнего Рима заслонял от нас родную страну"¹⁴.

В дальнейшем вплоть до появления в России гражданских свобод античные образы будут оставаться неизменно востребованными в политическом отношении. Так античное прошлое соединяется с европейским настоящим у Н.М. Карамзина, который описывает события французской революции, используя отрывки из сочинений римских историков, а в "Пантеоне" публикует отрывок "Катон в Ливии", подчеркивая идею гибели ради свободы. Такая политическая интерпретация античности, основанная на истории независимой Греции и республиканского Рима, создавала образ современного гражданина, задавала нормы и образцы гражданского поведения, проявления патриотизма. Именно эти элементы образа античности отбирало русское общество как близкие, востребованные вследствие утверждения в общественном сознании идеала человека-гражданина, и одновременно эти элементы непосредственно формировали сам образ гражданина.

Исследователи русской

¹⁴ Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С. 63.

376

Роль античности в историческом сознании русского общества

литературы XVIII в. отмечают значение произведений Ш. Роллена и Ж.-Б.Л. Кревье в переводе В.К.

Тредиаковского не только как источников знания о древнем мире, но и в качестве "своеобразной школы гражданской добродетели в антично-республиканском духе"¹⁵.

Чтение Тацита, Тита Ливия, Плутарха формировало политические убеждения будущих декабристов, утверждало ценность свободы и необходимость борьбы за нее, возможность принесения себя в жертву ради народной свободы. Как верно отмечал В.А. Десницкий, подчеркивая рецепцию античности русской культурой начала XIX в.,

"классические традиции оживают на новой психологической основе. Для декабриста Якушкина любимые авторы — Плутарх, Тит Ливий, Цицерон. Он превозносит мудрость Солона, готов, как многие его товарищи, взять в руку «кинжал Брута», поразивший «тирана». На этой новой психологической основе поднимается новая волна интереса к античности, появляется большое количество переводов с греческого и латинского"¹⁶.

О значимости античного гражданского компонента в мировоззрении декабристов говорят воспоминания И.Д. Якушкина, С.Н. Глинки, дневник В.К. Кюхельбекера, сочинения К.Ф. Рыльева и т.д.

"Не ты ль, о мужество граждан, Неколебимых, благородных. Не ты ли гений древних стран, Не ты ли сила душ свободных, О доблесть, дар благих небес, Героев мать, вина чудес, Не ты ль прославила Катонов, От Каталины Рим спасла И в наши дни всегда была Опорой твердою законов"¹⁷.

" Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века. М.: Учпедгиз, 1960. С. 135.

" Десницкий В.А. Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958. С. 47.

¹⁷ Рылеев К.Ф. Гражданское мужество // Рылеев К.Ф. Сочинения: Стихотворения и поэмы. Проза. Письма / Сост., вступ. ст., коммент. С.А. Фомичева. Л.: Художественная литература, 1987. С. 67.

377

Феномен прошлого

Особенностью образа античного прошлого в историческом сознании декабристов, что характерно и для большинства образованного русского общества, была его идеализация, создание некоей модели, отражавшей специфику восприятия античности; усвоение отдельных актуальных элементов, соответствующих идеальным представлениям о прошлом и настоящем. Как отмечал М.Л. Гаспаров, "они строили только самих себя, а из античности выхватывали только то, что им в каждый данный момент лучше годилось для этой стройки"¹⁸. П.С. Кнабе также обращает внимание на существование античного мифа декабристов, который основывался на истории античного общества, знакомой им по произведениям как античных авторов, так и историков Нового времени, но в этом мифе гипертрофировались отдельные стороны жизни античного общества, выполняя тем самым воспитательную функцию. С этой точки зрения представления об античности отражают одну из циклических концепций исторического развития, рассматривающую идеальное состояние человечества как исходную точку, а будущее — как возвращение к истокам. Специфика этой концепции исторического времени заключается в том, что в итоге время останавливается, прошлое соединяется с будущим, линия замыкается в круг.

Особое значение приобретала в России и нормативность античной культуры. С одной стороны, нормативность, присущая античному обществу, облегчала восприятие готовых образцов поведения. Г.

Кнабе пишет:

"Героическая ответственность перед высокой патриотической нормой и в этом смысле — нормативность, возвышение над эмпирией повседневности и личных интересов, постоянное соотнесение жизни с идеалом, сакральным, гражданским и этическим, образовывали коренные характеристики античности как типа культуры, вытекавшие из самой исторической природы греко-римского мира"¹⁹.

Ю.М. Лотман приводит пример из "Записок" С.Н. Глинки, как проявление двойной закодированности, когда нормы античного героизма, почерпнутые из литературы, становятся моделью, на которую

" Гаспаров М.Л. Несколько "тривиальностей" // Одиссей. Человек в истории. М: Наука, 2002. С. 343.

" Кнабе Г.С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М.: РГГУ, 2000. С. 106.

378

Роль античности в историческом сознании русского общества

ориентируются реальные люди, вовлеченные в практические бытовые ситуации²⁰. С.Н. Глинка писал об одном из корпусных офицеров, который, узнав о болезни брата, отправился в мороз через залив пешком в Кронштадт, чтобы навестить его. Это стало причиной его собственной болезни, но он, преодолевая ее, продолжал выполнять затем свои должностные обязанности. Отношение к брату и готовность пожертвовать собой ради его блага соединяло поведение этого офицера в сознании современника с поведением Катона (об этом свидетельствует даже то, как его называет С.Н. Глинка — "Катон-Гине"), хорошо известного русскому обществу по трудам античных историков. Простота быта, терпение, преодоление трудностей и тому подобные примеры в изобилии давало русскому обществу чтение Плутарха. В этом отношении знаком "римского" быта служила бедность и непритязательность в повседневной жизни.

С другой стороны, нормативность античного мира пересекалась с нормативной основой жизнедеятельности русского общества, усиленной каноном эпохи классицизма, что создавало общее поле для диалога. Образ гражданина, вводимый из античного прошлого в современность, легко воспринимался русским общественным сознанием, достаточно сильно ориентированным на сферу должного, так как приоритет должного перед сущим составлял характерную черту традиционной культуры средневековой Руси. Но гражданские идеалы также с успехом транслировались и государственной властью. Дело в том, что политическая интерпретация античности с XVIII в., времени становления Российской империи, активно происходила и на уровне государственной идеологии. В официальной версии античный миф соединяется с мифом государственным, и важнейшее значение приобретает образ императорского Рима. Не случайны сравнения российских государей с императорами римскими, например, распространенным было сравнение Александра I с императором Августом.

Экспликация власти с помощью древнеримских образов, использование властью римских символов (что еще раз подтверждает актуальность и значение античного начала), привели не только к созданию особого образа власти в России, читаемого как символ "римского",

²⁰ Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века. Т. IV. С. 113-117.

379

Феномен прошлого

что, в частности, показано Р. Уортманом²¹, но и к последующему изменению отношения к "римскому" как знаку в среде русской интеллигенции. Постепенно римское начало в сознании интеллигенции все больше связывалось именно с государственной властью, с империей, ограничением свободы, приобретая негативную аксиологическую окраску. Показательным в этом отношении является широкое распространение не просто образа Рима, а Рима гибнущего, олицетворяющего гибель империи и одновременно грядущий закат западного мира. Е. Баратынский в 1821 г. обращается в стихотворении "Рим" к образу Рима, гордого, свободного, державного, но утратившего прежнее величие:

"Кому *еще* грозишь с твоих семи холмов?

Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?

Или, как призрак-обвинитель,

Печальный предстоишь очам твоих сынов?"²²

Показательно употребление слова "сыны", отражающего тесную связь формирующейся русской интеллигенции с античным фундаментом европейской культуры.

Однако римский образец не исчерпывался государственной трактовкой, и в этом состояло еще одно противоречие рецепции античного прошлого в России. Римское начало соединялось в историческом сознании не только с гражданственностью, властью, воплощением империи, но и с Французской революцией 1789 г., что создавало другую модель политической интерпретации античного наследия.

²¹ "По случаю учреждения Комиссии ("Комиссии для сочинения проекта нового Сложения". — Т.С.) произведения искусства и литературы изображали Екатерину в обществе законодателей классической древности, чаще всего Нумы и Ликурга. В их компании она приобретала сакральность основателя и творца. [...] Аллегория помещает Екатерину в классический антураж, представляя ее основательницей, обновляющей Россию через слияние с Римом. Аллегорический роман М.М. Хераскова "Нума Помпилий, или Процветающий Рим", опубликованный в 1768 г., расширил эту тему, используя фигуру законодателя Нумы для прославления Екатерины, чьи законы сделают Россию «процветающим Римом». (Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. Т. I. М.: ОГИ, 2002. С. 171).

²² Баратынский Е. Стихотворения. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1979. С. 27.

380

Роль античности в историческом сознании русского общества

"Античный маскарад" Французской революции выражался в речах, образах, стилях поведения якобинцев, для которых

"сам античный мир предстает... как некое двуединство, как прообраз гражданского общества, созревшего и эмансипировавшегося в революционную эпоху, и как разновидность воплощенной в греческом полисе и римской *civitas* естественной (природной) социальности"²³.

В этом случае способом трансляции античной культурной практики становились не столько литературные и исторические произведения, сколько *события* политической жизни, приближавшие античность во времени и одновременно, возможно, отталкивающие от нее в политическом пространстве.

Очевидно, что "образ античного прошлого", инкорпорированный в российское настоящее, слишком обобщенное понятие. Мы видим существенные отличия и многослойность в восприятии античности,

выделении греческого и римского ее компонентов, проявляющихся в разных версиях политической и культурной интерпретации. И все же господствующим является мнение, что это разделение не имеет принципиального характера, "определяющим для «русской античности» XVIII — первой половины XIX в. остается восприятие античного наследия как единого истока и нормы культуры"²⁴. Подтверждением общности античного начала для сферы культуры, его современности, созвучности русской культуре может служить отрывок из речи Н.М. Карамзина, произнесенной им в Императорской российской академии в 1818 г.: "...мы пленялись «Илиадою» и «Энеидою», вместе с афинянами слушали Демосфена, с римлянами — Цицерона"²⁵.

Рецепция античной культуры непосредственно была связана и с системой образования, основанной на изучении греческих и римских авторов, вводившей античные образы и риторике в речевую практику русского общества. Необходимо учитывать тот факт, что начальное образование русского дворянства до середины XIX в. имело преимущественно домашний характер. Первыми учителями многих предста-

²³ Гордон А.В. Иллюзии — реалии якобинизма // Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты / Отв. ред. А.В. Гордон. СПб.: Наука, 1995. С. 366.

²⁴ Кнабе П.С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. С. 136.

²⁵ Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма / Вступ. ст., коммент. А.С. Смирнова. М.: Современник, 1982. С. 147.

381

Феномен прошлого

вителей русской интеллектуальной элиты были иностранцы, в частности французы-эмигранты, совершенно естественно преподававшие прежде всего историю Древнего мира и языка. Яркий пример такого обучения содержится в воспоминаниях М.А. Дмитриева, который, как многие дворянские дети, живя в поместье, учился истории, географии, мифологии, французскому языку у эмигранта Ж. д'Англемона. М.А. Дмитриев уже в детском возрасте хорошо знал мифологию, она считалась тогда необходимой для образования, а в собственном рукописном журнале помещает рассуждение о Луции Крассе и Платоне²⁴. Обучение в пансионах также имело гуманитарный характер, много времени отводилось изучению сочинений античных авторов.

В результате образованные русские и писали, и говорили "как греки" (или "как римляне"). "И клянусь Титанами и страшным Стиксом, что не выеду из Франкфурта не дождавшись ясных дней", — образец соответствующего речевого оборота в "Письмах русского путешественника"²⁷. Таких примеров мы можем найти еще очень много в переписке начала XIX в. Постоянная актуализация античного образца происходит и в произведениях литературы, демонстрируя сопричастность античному миру. Хотя, надо заметить, что использование античных мифологических имен и сюжетов могло вызывать и напряженную полемику в русском обществе (архаисты и арзамасцы)²⁸, отражая восприятие античности не только как европейского культурного языка, но и как языческой религиозной системы. Рецепция античности как языческого начала, противостоящего православию, составляет особую проблему и раскрывается в исследовании В.М. Живова и Б.А. Успенского²⁹.

²⁶ Дмитриев М.А. Главы на воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой, Т.Ф. Нешумовой. М.: Новое литературное обозрение, 1998.

²⁷ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 132.

²⁸ Архаисты в своем отношении к античности были близки позиции В.К. Треди-аковского, протестуя против употребления мифологических имен и сюжетов в литературных произведениях, воспринимая это как проявление языческого начала. Таким образом, их восприятие античности определялось прежде всего религиозной точкой зрения, в то время как для арзамасцев античная мифология оценивалась с общекультурной позиции, не наполняясь религиозным содержанием.

²⁹ Живов В.М., Успенский Б.А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII—XVIII вв. // Живов В.М. Разыскания в области истории и предистории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002.

382

Роль античности в историческом сознании русского общества

Отдельная задача в понимании восприятия античного прошлого как русской "современности", античной культуры как не потерявшей своего значения и актуальной для формирования русской национальной культуры — анализ просветительской парадигмы русского общественного сознания. Идеология Просвещения, усвоенная русской интеллигенцией, утверждала идеи антропоцентризма, общечеловеческих ценностей, соединяла различные исторические эпохи в единую историю человечества, победное шествие человеческого разума. Н.М. Карамзин неоднократно обращался к опыту античной истории и культуры для извлечения уроков и назидания современникам и потомкам.

"Картина Греции жива перед нами. Там все прельщает зрение, душу, сердце; там красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидии и Зевксисы — одним словом, там должно дивиться утонченным действиям разума и нравственности"³⁰.

Образ живого античного прошлого сохранится в русской культуре до середины XIX в., получит дальнейшее развитие в работах русских просветителей 1840—1860-х гг. Общечеловеческий характер античности, определяющий ее современность и понятность человеку XIX столетия, раскрывается в творчестве В.Г. Белинского. Представляет интерес сравнение вышеприведенного отрывка из произведения Карамзина

"Мелодор к Филалету" с отрывком из "Римских элегий" Белинского, подтверждающее устойчивость общей просветительской парадигмы в историческом сознании, общность восприятия античной истории как прошлого общечеловеческого и живого.

"Превосходство греков над всеми другими народами древности состоит в том, что у них все свое, все народное, частное, семейное, домашнее, было ознаменовано печатом необходимости и разумности, отличалось характером общечеловеческим. Удивительно ли после этого, что мы имена Тезеев, Солонов, Ко-дров, Леонидов, Мильтиадов, Фемистоклов, Аристидов, Кимонов, Периклов, Алкивиадов, Тимоленов, Сократов, Платонов узнаем в нашем детстве прежде, нежели имена героев отечественной истории; что все образованные народы считают Грецию как бы своим общим отечеством? Как ни отделены мы от греков и нравами, и условиями жизни, и образом воззрения на мир, и веками, словом, как ни противоположна наша жизнь греческой, мы все понимаем в истории Греции Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. С. 151.

383

Феномен прошлого

так же ясно, как и в истории своего отечества, — и каждый образованный человек нашего времени легко может представить себя, в своей фантазии, под небом Эллады, слушающего на площади ораторов или внимающего, в садах академии, мудрым урокам божественного Платона. Да, для нас, при небольшом изучении, грек понятен, будто наш современник, и на площади, и на поле брани, и в совете, и в портике, и на пиру, с венком на голове возлежащий за столом, среди благоговенных курений, и в домашней жизни, жалующийся на прозу брачных уз и житейских забот³¹.

Просветительская интерпретация прошлого предоставляла возможность широких обобщений и извлечения нравственных уроков из истории. А.Н. Радищев в своем творчестве неоднократно обращался к истории, причем, по мнению Ю.М. Лотмана, для Радищева не имеет значения разница между языческой античной, языческой русской и православной христианской стариной.

"Все они укладываются в идеальную картину сочетания исконного народного суверенитета и мира героев — народных вождей («Песни, петье на состязаниях в честь древним славянским божествам»), тираноборцев, античных стоиков (образ Катона Утического, проходящий сквозь все творчество Радищева) или христианских мучеников (жизне Филарета милостивого). Изображая современного «мужа тверда» — Ф.Ф. Ушакова, Радищев может совместить в нем черты Катона и христианского мученика³².

Опыт античности помогал ему анализировать эволюцию государственной власти, культуры, цензурных условий, характеризовать политических деятелей.

Так поступали и французские просветители, которые на примерах Эллады и Рима пытались воспитывать, по словам Е.Г. Плимака, и будущих просвещенных монархов, и грядущих цареубийц. "У Гельвеция, Руссо, Марата и Робеспьера имя «узурпатора» Кромвеля фигурирует рядом с именами Мария, Суллы, Цезаря"³³.

А.И. Герцен, Н.Г. Чер-

" Белинский В.Г. Римские элегии // Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 97.

³¹ Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПб, 2002. С. 114.

³³ Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций. М.: Весь Мир, 2000. С. 55.

384

Роль античности в историческом сознании русского общества

нышевский, В.Г. Белинский утверждали связь современности и античности, используя многие античные идеи как не потерявшие своего общечеловеческого значения. "Античность выступала у них как былое, которое пророчествует"³⁴.

Современность античного прошлого для просвещенного русского общества конца XVIII — начала XIX в., стирание темпоральных границ в восприятии античного наследия отражает только одну сторону исторического сознания, одну сторону образа античности. Другая особенность восприятия античности состоит в понимании ее как иной, далекой эпохи, отделенной от современности хронологическими веками и содержательными историческими этапами. Надо сказать, что это противоречие было заложено в просветительской модели исторического развития и усилено последующим влиянием романтизма.

Представление об античности именно как о далеком прошлом формируется и в рамках теории прогресса, которая определяла античной эпохе четкое место именно в прошедшем времени. Несмотря на различные размышления о содержании и направлении прогресса, сама идея прогрессивного развития прочно утверждается в сознании интеллигенции.

"Читаю Тацита и благодарю Бога, что между нами уже не может родиться Тацит: ибо не могут родиться Нероны и Тиберии. [...] Усовершенствование — цель человечества: пути к нему разнообразны до бесконечности — (и хвала за то Провидению!) Но человечество подвигается вперед"³⁵.

Античность в свете теории прогресса воспринимается как время прошедшее, отделенное от настоящего; соединяется с понятием древности, старины. В стихотворении П.А. Вяземского "Рим" ясное осознание времени античности, ушедшего в историю Рима, звучит в строках:

³⁴ Пустарнаков В.Ф. Влияние античного наследия на мировоззрение классического русского Просвещения 40—60-х годов XIX века // Пустарнаков В.Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравнительного анализа. М., 2002. С. 335.

³⁵ Кюхельбекер В. Европейские письма // Невский зритель. СПб., 1820. Ч. 2. Апрель. С. 41.

385

Феномен прошлого

"И человечеству, в его стремленье новом, Звучишь преданьем ты, а не насущным словом"³⁴.

Такие же представления о безвозвратно потерянном античном мире звучат в предисловии Н.Ф. Кошанского

к изданному им сборнику греческих буколических поэтов "Цветы греческой поэзии" (М., 1811):

"Потух во мгле веков блиставший свет

Эллады, И Муз и граций сонм объяла скорби

тьнь

"³⁷

Важно заметить, что Просвещение формировало представление об античном прошлом как прошлом своим, а не чужом. Система образования и круг чтения конца XVIII — начала XIX в. делали античное прошлое *своим*, греческую и римскую историю для русского человека *своей* историей. Не случайно Русский Путешественник вспоминает чтение в детстве рассказов об античных героях, которые воспринимаются как герои свои, а не чужие.

"Мне было 8 или 9 лет от роду, когда я первый раз читал Римскую <историю>, и воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того време* ни люблю его как своего Героя. Аннибала я ненавидел в щастливые времена славы его, но в решительный день, перед стенами Карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли; когда он, укрываясь от злобы мстительных Римлян, скитался из земли в землю: тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала, и врагом жестоких Республиканцев"³⁸.

Это можно объяснить и тем, что фактически до появления "Истории" Карамзина другого прошлого, кроме античного, русское общество и не знало, и не ценило. К. Батюшков в письме к Н. Гнедичу в 1810 г. напишет: "Правду тебе сказать, я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?"³⁹ И даже после из-

" Вяземский П.А. Стихотворения / Вступ. ст. Л.Я. Гинзбург. Сост., подгот. текста и примеч. К.А. Кумпан. Л.: Советский писатель, 1986. С. 283.

" Свиясов Е.В. Античная лирическая поэзия в русских переводах и подражаниях XVIII—XX веков. О библиографии. С. 207.

³⁴ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 271.

" Батюшков К. Избранная проза / Сост., послесл. и примеч. П.Г. Паламарчука. М.: Советская Россия, 1988. С. 299. 386

Роль античности в историческом сознании русского общества

дания "Истории государства Российского" среди поколения XVIII в. еще сохранялись прежние представления о "темности" русской истории. А.И. Герцен в "Былом и думах" вспоминает, как его отец принял за Карамзина "Историю государства Российского", узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: "Все Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?"⁴⁰ В этом отношении к античности русское просвещенное общество сближалось с обществом европейским, которое также проходило через преклонение перед античностью, чтобы потом открыть собственное прошлое.

Только постепенно античная история, прочно усвоенная русским просвещенным обществом, формирующейся русской интеллигенцией, начинает восприниматься как история общечеловеческая, европейская, но не заменяющая собственную национальную. Более того, осмысление античности способствует становлению прошлого отечественного. "Осознание своего как «своего» требует предварительного знания чужого и осознания его как «чужого»"⁴¹. Это положение полностью применимо к процессу формирования исторических представлений и отражает изменение отношения к античности в русском обществе. На античном фундаменте происходило становление отечественной истории, создание текста национального прошлого. Эта "национализация" исторического сознания начинается в русском обществе в XIX в., отражая процессы европеизации русской культуры и формирования национального самосознания, переход к новому типу исторических представлений, характерных для общества Нового времени.

Обратим внимание на особенности историографической культуры в России начала XIX в., способ создания текста национального прошлого на основе культуры античности и Просвещения. Н.М. Карамзин в значительной мере опирается на античную историографическую традицию, сочинения античных историков являются не только образцом, но и предметом рефлексии. В качестве основных моделей для Карамзина выступают Тацит и Ливий. "Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита

⁴⁰ Герцен А.И. Былое и думы. М., 1975. С. 100.

⁴¹ Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века. Т. IV. С. 14.

387

Феномен прошлого

в силе — вот главное!"⁴² Соответственно идентификация Карамзина с Тацитом была достаточно распространенной в русском просвещенном обществе первой четверти XIX в. Об этом свидетельствует письмо К.Ф. Рылеева⁴³, а также его стихотворение "К К<осовско>му":

"Иль Тацит-Карамзин

С своим девятым *томом*"⁴⁴.

Тоже сравнение мы видим в эпиграмме А.С. Пушкина на М.Т. Ка-ченковского:

"Бессмертною рукой раздавленный зоиц, Позорного клейма ты вновь не заслужил! Бесчестью твоему нужна ли перемена? Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?"⁴⁵

Как считает британский исследователь А. Кан, "если вы хотите понять Тацита, читайте его через призму Карамзина, если вы хотите понять Карамзина, читайте его через одну из его моделей, Тацита"⁴⁶.

Несомненно, что опора на античную историографическую традицию, характерная для Н.М. Карамзина, не ограничивалась именами Тацита и Ливия, так же как и все историческое творчество Карамзина строилось на базе не только античной историографии. Д. Юм, Э. Гиббон, У. Робертсон являются для него образцами современного стиля историописания, прослеживается влияние философско-исторических взглядов И. Гердера, французских просветителей, но сама стратегия историописания близка именно античной историографии. Дорог Карамзину и сам образ историка античности, сочетающего мастерство художественного стиля, прагматизм и морализаторство, граждан-

⁴² Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. М: Наука 1989 Т. 1.С. 19.

ⁿ "Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита" (Рылеев К.Ф. Сочинения: Стихотворения и поэмы. Проза. Письма. С. 293).

⁴⁴ Там же. С. 49.

⁴¹ Пушкин А.С. Сочинения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1985. Т 1 С. 191.

* Kahn A. Readings of Imperial Rome from Lomonosov to Pushkin // Slavic Review. 1993. Vol. 52. N 4. P. 767.

388

Роль античности в историческом сознании русского общества

скую позицию. Преобладание воспитательной функции истории в сознании русского просвещенного общества начала XIX в. определило интерес к античным сочинениям. А.В. Никитенко, тогда еще студент Петербургского университета, также в своем дневнике делает запись: "В прошедшие дни в свободное от занятий время я читал Тацита. Какая мощь в этом историке!"⁴⁷ Обращает на себя внимание следующий за этой записью комментарий, в котором сравнение Тацита и Плутарха приобретает характер общего размышления о качествах историка и задачах истории, соотношении литературных достоинств сочинения и гражданской позиции автора.

"Рим в его время уже отжил свое исполинское величие, но оно вновь ожило на страницах его бессмертного произведения. Он, очевидно, не думает поучать, но ни один историк не поучает столько, как он. И это не рассуждениями или нравочениями, а силой самого повествования — убедительного в своей безыскусственной простоте и ясности изложения. Сравнивая его с Плутархом, находишь между обоими большую разницу. Плутарх возвышен. Тацит велик. В одном сила, в другом могущество. Плутарх тоньше и просвещеннее, Тацит глубже и всеобъемлющее. Плутарх изобразил деяния великих людей золотыми буквами; Тацит вырезал их неизгладимыми чертами на скрижалях истории. Красота одного в красноречии, другого в отсутствии его. Читая Плутарха, восхищаешься им; читая Тацита, не с ним беседуешь, а с людьми и событиями минувших веков. Плутарх позволяет себе отступления, которые ему охотно прощаешь; Тацит всегда сдержан и владеет собой: он выше авторских слабостей. Плутарх философ; Тацит человек, гражданин и мудрец. Один создан, чтобы описывать деяния великих мужей, другой — чтобы быть самому таким"⁴⁸.

Создание текста национальной истории первоначально происходило на основе античного нарратива, это было характерно не только для исторических, но и для литературных, драматических произведений. Герои, имевшие русские имена, действовали и говорили так, как будто принадлежали античному миру. Этому способствовали не только риторические приемы, заимствованные у античных авторов, но и рецепция внутреннего содержания античной культуры. Примечателен отзыв А.С. Пушкина о "Думах" К.Ф. Рылеева: в них нет ничего национального, русского, помимо имен, включая "Ивана Сусанина".

ⁿ Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 30. * Там же.

389

Феномен прошлого

Кроме того, античная историографическая традиция соединяется с историографической традицией Просвещения, когда исторические сочинения реализуют морализаторскую, воспитательную функцию. Например, А.И. Тургенев, хорошо знающий русскую и европейскую историю, тонко чувствующий историческую эпоху, так выразил свое впечатление от "Марфы-посадницы":

"«Марфа Посадница», по любви моей к русской истории, мне очень понравилась и предполагает большие сведения в истории тогдашнего времени; слог соответствует материи; только мне кажется, что Марфа Посадница слишком учена для своего полу и для своего времени; можно было заставить ее риторствовать, очаровывать сердца сограждан, не заставляя ее быть таким ученым историком. Когда она говорит о падении Рима, кажется, что будто она от доски до доски прочла Гиббонову историю"⁴⁹.

В России процесс европеизации, вслед за усвоением европейского образа прошлого (античности), вызывает интерес к собственной истории, что связано во многом с распространением европейских ценностей, ведущих свою родословную от Древней Греции и Рима (гражданственность, патриотизм, стремление к славе, личной и народной). Показательным является изменение ценностной иерархии исторических личностей:

"Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона"⁹⁰.

А еще в конце XVIII в. сердца представителей русского образованного общества сильнее бились как раз "за

Фемистокла или Сципиона", которых воспринимали как *своих* героев.

На смену античности как прошлому своему, европейскому, общечеловеческому, в начале XIX в. на первый план выходит прошлое древнерусское, отечественное, национальное. Это изменение в представлениях отражает и влияние европейской культуры, и развитие

* Тургенев А.И. Политическая проза. М.: Советская Россия, 1989. С. 132.⁵¹ Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 1. С. 14.

390

Роль античности в историческом сознании русского общества

истории как области знания, и становление национального самосознания. Античная древность наращивается национальной, хотя само прилагательное "национальный" появляется в России только в словаре 1804 г.

Особое значение для создания нового образа имел романтизм. Постепенно с 1820-х гг. просветительское мировоззрение русской интеллигенции получает ярко выраженную романтическую окраску, о чем свидетельствуют произведения К. Батюшкова, Е. Баратынского, П. Вяземского, В. Жуковского, В. Кюхельбекера и др. Романтический характер исторических воззрений свойствен и декабристам. Под влиянием Ф.В. Шеллинга, А. и Ф. Шлегелей формировались взгляды любомудров.

"Русская романтическая школа начала XIX века, вслед за европейской, обращалась к национальному прошлому, модифицируя при этом не только картину этого прошлого, но и настоящее, формируя новую картину мира"⁵¹.

Важно обратить внимание на то, что прошлое древнерусское, вызывавшее бурную полемику в журналах начала XIX в., не воспринималось как европейское. В историческом сознании русской интеллигенции начало русской истории как европейской было неразрывно связано с XVIII в. Именно XVIII в. стал воплощением русского прошлого, соединяющего европейское и национальное, началом новой истории России как европейской державы. Восприятие XVIII в. как времени *начала* при достаточно долгом и прочном отрицании ценности древнерусской истории складывалось в результате воздействия государственной идеологии еще с Петра.

"Подобно тому, как западноевропейские просветители создали тот образ средневековья, который сделался потом достоянием научного и бытового сознания XIX в., петровская эпоха построила концепцию Древней Руси как неподвижного, жестко организованного, изолированного от всего мира, погруженного в церковность организма"⁵².

⁵¹ Филатова Ю.А. Практика межкультурных коммуникаций европейских интеллектуальных элит: Н.М. Карамзин — издатель журнала "Вестник Европы" // Межкультурное взаимодействие и его интерпретации. Материалы научной конференции 22—23 апреля 2004 г. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 94.

" Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века. Т. IV. С. 87.

391

Феномен прошлого

Древнерусское прошлое фактически выпало из исторического сознания русского общества, было отвергнуто и забыто. Необходимо учитывать и особенности образа древности, существовавшего в историческом сознании до XVIII в., его мифологичность и неструктурированность. Только в XIX в. в связи с процессом формирования национальной культуры начинается "вспоминание" своего отечественного прошлого, лежащего за чертой XVIII в. В историческом сознании постепенно создается образ единой, цельной истории. Утверждение идеи народа в общественном сознании приводит к своеобразной ностальгии по русской древности, стремлению "соединить оба пола времени"⁵³. Этому стремлению отвечает и творчество Н.М. Карамзина, и В.А. Жуковского, и К.Ф. Рыльева, и многих других представителей русской культуры.

Наряду с временем возникновения древнерусского государства, сосуществующего в темпоральных представлениях с образом античности, важнейшим элементом русского прошлого остается образ XVIII в. Восприятие XVIII в. как близкого прошлого сочеталось в историческом сознании с восприятием античности как далекого времени. При этом рецепция античности приближала ее к настоящему, делала живой и современной для русского просвещенного общества. Трактовка настоящего как воплощения древности, а не продолжения предшествующего времени, существование темпорального разрыва в историческом сознании были характерны и для европейского общества, но намного раньше — в эпоху Возрождения.

"Гуманисты ввели в методологию истории разграничение далекого и близкого прошлого, в свою очередь отделенного от настоящего. Настоящее трактовалось не как пролонгация непосредственно предшествующего, а как возобновление далекого прошлого (вспомним письма Петрарки к Ливию, Цицерону и другим как к своим современникам)"⁵⁴.

Русские интеллектуалы начала XIX в. погружаются в пространство античной культуры, читая сочинения античных авторов так же, как своих современников, создавая собственные произведения, по-

⁵³ Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века. Т. IV. С. 145.

⁵⁴ Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 199.

392

Роль античности в историческом сознании русского общества

священные античным событиям и героям. Не абсолютизируя роль античного компонента в общественном сознании, необходимо отметить его значительную роль в формировании темпоральных представлений и политического мировоззрения русского просвещенного общества. Можно предположить, что XVIII в. вызывает интерес не только как время начала новой русской истории, время создания империи, но и как время классицизма, период утверждения античных идеалов в русской культуре, что образует еще одно поле для взаимодействия образов античности и XVIII в. в рамках темпоральных представлений XIX в. Русское просвещенное общество в процессе формирования образа прошлого, прочтения текста античной культуры

обращается не только напрямую к античному наследию, но и к его "переводам" эпохи Возрождения и Просвещения, ведет диалог с русской культурой XVIII столетия.

Именно в отношении к XVIII в. часто проявляется осознание линейного и необратимого хода времени, формируется представление о смене поколений. Так, П.А. Вяземский, которого П.Я. Чаадаев называл "русским отпечатком XVIII столетия", в своих записных книжках неоднократно обращается к теме ушедшего века и уходящего поколения, которое видится ему замечательным и оригинальным. Во многих его заметках ощущается своеобразное ностальгическое настроение, составляющее элемент исторической памяти. Но образ века Просвещения в сознании русской интеллигенции не только идиллический, начинается и критическое осмысление идей и событий XVIII в. Хотя уже Н.М. Карамзин после Великой французской революции не узнавал века Просвещения "в дыму и пламени". Уверенность в прогрессивном развитии человечества дает основания представить век XIX превосходящим век XVIII, разрушить идеализированный образ, утвердившийся в сознании русской интеллигенции благодаря господству просветительских идей и мифологизации Петра, и надеяться, что "мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде, — перестанем жалеть о веках семнадцатом и восемнадцатом"⁵⁵.

Различные интерпретации прошлого не снижают, а напротив, отражают его высокую значимость для русского просвещенного общества, как и для традиционного общества в целом. Прошлое определяет

⁵⁵ Кюхельбекер В. Изящная проза. Европейские письма // Невский зритель. СПб., 1820. Ч. 1. Февраль. С. 45.

393

Феномен прошлого

настоящее, оно же воплощается в будущем. Причем будущее сознательно игнорируется, на первый план выходит связь прошлого и настоящего, например у Н.М. Карамзина: "...чтобы знать настоящее, необходимо иметь сведения о прошедшем"⁵⁶. Будущее не представляет для Карамзина особого интереса, предмета для размышлений, так как "...все зависит от провидения! Будущее не наше"⁵⁷. Будущее можно только попытаться предсказать, оно считается уже существующим и предопределенным, причем предопределенным именно прошлым. Отношение к будущему как повторению прошлого можно увидеть и в середине XIX в., эти темпоральные представления оказываются очень устойчивыми. Баратынский напишет в 1840 г.:

"На что вы, дни! Юдольный мир явленья Свои не изменит! Все ведомы, и только повторенья Грядущее сулит"⁵⁸.

Воплощение и чтение текста прошлого и есть в данном случае история, как писал Н.М. Карамзин: "Что есть история? Память прошедшего, идея настоящего, предсказание будущего"⁵⁹.

Преобладание в темпоральных представлениях прошлого, отсутствие приоритетной ориентации на будущее как на качественно новое состояние характерно для исторического сознания русского общества конца XVIII — начала XIX в. Возможно, такое внимание к минувшему связано с процессом формирования его нового образа в начале XIX в., осмыслением античной и отечественной истории и связи времен в темпоральных представлениях. Именно образ прошлого станет затем основой для создания проектов будущего в русской общественной мысли, а острота политической полемики будет определяться различными интерпретациями прошлого при одинаковом восприятии его значимости для будущего.

Исследование образа прошлого в русском историческом сознании конца XVIII — начала XIX в. дает основание сделать вывод о процессе его темпорализации. И.М. Савельева и А.В. Полетаев пишут:

"Карамзин Н.М. Сочинения: В 2 т. / Сост., коммент. Г.П. Макогоненко. Л.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 189.

¹⁷ Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. С. 222. ^a Баратынский ф. Стихотворения. С. 148. "Вестник Европы. 1802. № 8. С. 357.

394

Роль античности в историческом сознании русского общества

"Процесс темпорализации исторического сознания включал формирование представлений о разделенноеTM прошлого, настоящего и будущего, более четкие понятия и знание единиц времени и временных интервалов истории, постепенное утверждение историзма как способа понимания общественного развития, установку на будущее и другие специфически временные параметры Нового

"⁶⁰

времени .

Но процесс темпорализации исторического сознания русского общества представляется незавершенным в начале XIX в. вследствие нечеткости временной структуры, проявляющейся в специфическом отношении к античности, древнерусскому прошлому, XVIII в. В темпоральных представлениях русского общества сохранилось устойчивое представление о вечности, связанное с традиционностью православной культуры, но утвердилось и новое представление о времени. Понятия вечности и времени были локализованы в небесном и земном мирах, не противореча друг другу. Г.П. Макогоненко отмечал появление острого ощущения времени в его объективном и субъективном плане уже в русской культуре конца XVIII в.⁶¹ Но важен тот факт, что время становится категорией не только философской, но и исторической, осмысляется и включается в социокультурную реальность. Для исторического сознания русского общества конца XVIII — начала XIX в., формирования новых темпоральных представлений особое значение имела античность, образ которой составлял

неотъемлемую часть картины мира русского просвещенного человека. Рецепция античного наследия стала основой для формирования представлений о национальной истории, первоначально имевших античную оболочку, из которой постепенно выделилось собственно национальное прошлое, ставшее фактором формирования национальной и культурной идентичности русского общества начала XIX в.

⁶⁰ Савельева И.М., Полегаев А.В. История и время: В поисках утраченного. С. 605.

" Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе // XVIII век: Сборник статей / АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом); отв. ред. Г.П. Макогоненко, А.М. Панченко. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе, конец XVIII — начало XIX в. Л.: Наука, 1981. С. 10—11.

395

УВЕКОВЕЧИВАЯ В БРОНЗЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПАМЯТНИКА "ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИИ" И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ*

А.В. Антощенко

Происходящие в последние годы изменения в историческом познании не могли не затронуть его собственной истории. Утверждающийся антропологический подход к историографии смещает акцент с изучения процесса выработки исторических знаний научным сообществом на исследование их функционирования в культурной среде, восприятия прошлого обществом, роли исторической памяти в формировании идентичности. Связанное с этим признание самостоятельной роли эстетической стратегии историзации свершившихся событий приводит к расширению предметного поля историографии. Предметом историографических исследований становятся самые разнообразные формы придания смысла прошлому, поскольку формирование исторического сознания и исторической памяти обеспечивают не только научные тексты, но и любые другие виды повествования о прошлом, базирующиеся не только на понятийном, но и на образном осмыслении произошедшего. Тем самым произведения изобразительного искусства, и монументальные произведения в их числе, могут рассматриваться как

* Поддержка данной работы была осуществлена АНО-Иноцентр в рамках программы "Межрегиональные исследования в общественных науках", совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных исследований им. Кеннана (США), при участии Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данной статье, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных организаций.

396

Увековечивая в бронзе

средство формирования исторической памяти наряду с работами историков и изучаться в этой связи как историографический источник.

Как и при изучении других видов историографических источников, первоначальный анализ памятника должен быть ориентирован на выявление эстетической, политической и эпистемологической стратегий, реализующихся при его создании¹. При этом следует учитывать, что каждая из стратегий придает своеобразное толкование и выдвигает на первый план одно из предъявляемых к символически представляемой информации требований, важнейшими среди которых можно назвать понятность, достоверность и адекватность².

Эстетическая стратегия предполагает рассмотрение достоверности и адекватности через призму понятности, т.е. через форму передачи, которая должна быть доступна обычному зрителю. Политическая стратегия предполагает, что достоверность, трактуемая как соответствие политическим целям власти, предопределяет понятность и адекватность исторических представлений. Тем самым складывается основа для фальсификации исторического прошлого в угоду политике власть предержащих, поскольку ведущим становится содержание, представление которого может вполне соответствовать требованию понятности, но не всегда быть адекватным историческим свидетельствам. Адекватность выступает как основа для понятности и достоверности при эпистемологической стратегии. Она означает соответствие принятым в научном сообществе профессиональных историков познавательным процедурам и правилам, посредством которых достигается объяснение (понятность) и обоснование выдвигаемых положений данными источников (достоверность). Нетрудно заметить, что обоснованная таким образом "понятность" исторического исследования может не

¹0 соотношении этих трех стратегий в историописании см.: Рюзен И. Утрачивая последовательность истории // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М. 2001. Вып. 7. С. 8—26.

² См.: Passmore J. Explanation in Everyday Life, in Science and in History // History and Theory. 1962. Vol. 2. N 2. P. 105—123. Разработку этих положений применительно к историографии см.: Антощенко А.В., Жуковская Т.Н. Об особенностях исторического познания в России во второй трети XIX века // Сборник материалов по отечественной историографии (вторая треть XIX века). Петрозаводск, 2001. С. 13—14.

соответствовать общепринятым понятиям здравого смысла, так же как достоверность" — запросам политиков.

С учетом возможных коллизий, вызываемых разнонаправленностью этих стратегий, следует подходить к рассмотрению предмета исследования данной статьи — оформлению в произведении монументального искусства тысячелетней истории России.

Правительственное предложение

Идея возведения монумента в ознаменование тысячелетия Российского государства, празднование которого должно было состояться в соответствии с летописной традицией в 1862 г., зародилась в правительственных кругах. Задолго до торжественной даты, 27 марта 1857 г., министр внутренних дел С.С. Ланской обратился в Комитет министров с предложением "о сооружении в Новгороде памятника первому Русскому государю Рюрику". Однако в ходе обсуждения в Комитете первоначальный замысел существенно изменился. Разделяя мнение министра об общей цели памятника, члены Комитета отметили, что "присвоение одному Рюрику исключительно чести представительства всего тысячелетия" не вполне соответствует идее сооружения.

"Отечество наше после варяжских князей видело Просветителя народа светом христианства — равноапостольного Владимира, Дмитрия Донского — победоносного борца с ненавистными татарами за свободу отечества, Иоанна III, соединителя под скипетром единовластия распавшихся частей государства, наконец, видело, по прекращении рода Рюриком, — царей из рода Романовых, поставивших Россию на ряду с первостепенными державами Европы"³.

Так идея памятника основателю государства была преобразована в замысел монумента, который запечатлел бы исторический путь России. Поэтому Комитет министров отметил в поданном на рассмотрение и утверждение императора предложении:

"Призвание Рюрика составляет без сомнения одну из важнейших эпох нашего государства, но потомство не должно и не может

придать забвению заслуг других своих самодержцев, полагая, что эпоха 1862 г. должна быть ознаменована не

³ Семеновский А.И. Памятник тысячелетию России, воздвигнутый в Новгороде 8 сентября 1862 г. СПб., 1908. С. 142.

увековечением подвига Рюрика, но воздвижением народного Памятника «Тысячелетию России», где бы могли быть в барельефах или других изображениях показаны главнейшие события нашей отечественной истории"⁴.

Тем самым в постановлении Комитета министров задавалась *политическая стратегия* монументального воплощения прошлого России, в котором на первый план выдвигались самодержцы. Однако определение "народный Памятник", по справедливому замечанию О. Майоровой, открывало возможность дополнительной и неоднозначной интерпретации замысла: *памятник, воздвигнутый народом*, или *памятник, воздвигнутый народу*⁵. Понятно, что первая интерпретация больше соответствовала замыслу правительства, поскольку позволяла подвести ее под привычное понятие "народность", которое наряду с понятиями "самодержавие" и "православие" выражали, по мысли бывшего министра народного просвещения графа С.С. Уварова, отличительные черты русской истории. Такому пониманию соответствовала и заключительная часть предложения, в которой отмечалось: "Такой Памятник соответствовал бы и величию намерения Его Императорского Величества и тем чувствам, которые Русский народ всегда разделял и без сомнения разделит с Его Величеством в данном случае". На что была наложена резолюция Александра II: "Совершенно с этим согласен"⁶.

Конкурс проектов

После высочайшего одобрения предложения Комитета министров министр внутренних дел отдал распоряжение губернаторам и ведомствам начать подписку для сбора народных пожертвований на сооружение памятника. Принял участие в организации сбора пожертвований и Святейший Синод. Подписка продолжалась с 1857 по 1862 г. и принесла около 150 тыс. руб. Поскольку уже в 1859 г. стало ясно, что путем пожертвований невозможно собрать необходимую сумму в 500 тыс. руб., было принято решение о внесении в роспись государ-

⁴ Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 207. Оп. Б. Д. 104. Л. 2.

⁵ Майорова О. Бессмертный Рюрик // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 146.

⁶ Семеновский А.И. Памятник тысячелетию России... С. 142.

ственных расходов на 1860 и 1861 гг. сумм по 200 тыс. руб. ежегодно, чтобы покрыть издержки по сооружению монумента.

23 апреля 1859 г. была утверждена разработанная Плавным управлением путей сообщений и публичных зданий, которому поручалось строительство, программа конкурса проектов памятника, опубликованная затем в газетах. Датой окончания подачи проектов было определено 1 ноября того же года. В соответствии с условиями конкурса памятник "должен состоять предпочтительно из ваяльных изображений, соединенных изящными архитектурными сооружениями" и отражать шесть главных эпох истории России.

1. Основание государства Русского — Рюрик, 862 г.
2. Введение христианства в России — Владимир, 988 г.
3. Начало освобождения от ига татарского — Дмитрий Донской, 1380 г.
4. Основание единовластия Царства — Иоанн III, 1491 г.

5. Восстановление оною избранием на престол дома Романовых — Михаил Федорович, 1613 г.

6. Преобразование России и основание Империи Российской — Петр Великий, 1721 г.

Двумя объединяющими идеями исторического развития России, по замыслу организаторов конкурса, должны были стать: 1) "изображение веры православной, как главного основания нравственного возвеличения русского народа"; 2) "ознаменование постепенного, в течение тысячи лет, развития Государства Российского"⁷. Причем первая идея являлась ведущей, что должно было найти свое выражение в помещении соответствующего изображения "над памятником, в преобладающем виде". Предлагаемый в программе способ изображения развития государственности с учетом главнейших эпох в истории страны предполагал представление прошлого России как ряда реформаторских преобразований государства, проводимых постепенно укрепляющей свое влияние самодержавной властью.

Несмотря на довольно короткий срок — шесть месяцев — на конкурс было представлено 52 проекта, которые подавались анонимно под девизами. Из всех представленных проектов 15 были простым объяснением замысла памятника, а 37 включали чертежи, рисунки, а некоторые — даже модели проектов.

Специально созванная конференция

⁷ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 104. Л. 8.

400

Увековечивая в бронзе

Академии художеств под председательством ее вице-президента князя Г.Г. Гагарина, с участием архитекторов и инженеров, командированных от Главного управления путей сообщений и публичных зданий, признала "лучшими, по достоинству", три проекта. Из них большее число голосов при баллотировке итогов конкурса получил проект молодого художника М.О. Микешина. Прежде чем характеризовать процесс реализации проекта победителя, небезынтересно будет проанализировать некоторые из сохранившихся в архивах проектов⁸, отклоненных конференцией. Такой анализ позволит лучше понять, как осуществлялось эстетическое воплощение определенной правительством политической стратегии представления прошлого России, и в какой-то мере прояснить, почему именно проект Микешина был признан победителем конкурса.

В соответствии с программой большинство авторов конкурсных проектов сосредоточило свое внимание на изображении православной веры, воплощение которой варьировалось от православного креста, водруженного на цилиндрическое основание, до здания, уподобленного своим архитектурным обликом храму. Если простое водружение креста на цилиндрический постамент не могло представить историческое прошлое страны, то предложенный профессором И.А. Монигетти проект здания⁹, купол которого вызывал аллюзии с Исаакиевским собором в Петербурге, едва ли смог бы "конкурировать" по своей архитектуре с храмом Святой Софии в Новгороде. Такое здание скорее напоминало бы о пышном, но тяжеловесном искусстве Византии, чем о русской старине. К тому же и портретная галерея самодержцев и императоров, расположенная по окружности барабана под куполом, едва ли соответствовала церковным канонам. Однако идея храма, в котором была бы представлена галерея всех российских венценосцев, не была исключительно достоянием Монигетти. Она, как говорится, витала в воздухе. Уже после завершения конкурса Александру II был подан проект секретаря В.П. Охрименко, предлагавшего возвести в Киеве, "колыбели и православной веры и Великих Князей Российских, возвеличивших в христианской вере русский народ и распространивших пределы русской земли", памятник¹⁰.

⁸ РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6.

⁹ Там же. Л. 16.

» РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 109. Л. 1-7.

401

Феномен прошлого

Центральным элементом памятника должна была стать трехпрестольная церковь "во имя Божьих угодников: 1) Святого и Всехвального Апостола Андрея Первозванного, водрузившего Крест на горах Киевских; 2) Святого Равноапостольного Князя Владимира, просветившего землю русскую Святым Крещением и 3) Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского". На двух куполах церкви предлагалось поместить фигуры св. Андрея и св. Владимира, поддерживающих главный церковный крест. В самом храме на белом фоне предполагалось представить живописные изображения "всех святителей Российских", с указанием времени их святительства и описанием "всего касающегося до Церковной русской истории". В более корректном, с канонической точки зрения, проекте предлагалось соединить церковное помещение стеклянными коридорами с северной и южными галереями, представляющими собой полукруглые залы. В них следовало поместить "изображение в портретах, от Академии художеств написанных, а в случае таковых не окажется, то в исторических описаниях", всех правителей Руси и России, начиная с великих князей и княгинь и заканчивая императорами. В северной зале — 21 портрет князей, от Рюрика до Владимира Долгорукого; 20 портретов великих князей киевских — от Мстислава Изяславича до Станислава; великих князей владимирских — от Андрея Юрьевича до Василия Васильевича Темного. В южной зале — 20 портретов самодержцев и императоров, от Иоанна III до Николая I. В их ряду упоминались и Борис Годунов, и историческое описание Лжедмитрия, и царь Василий Иванович Шуйский, и историческое описание трехлетнего междуцарствия с портретами патриотов Гермогена и Филарета Никитича, "а равно князя Пожарского". В проекте предлагалось представить в галерее портреты многих сподвижников

императоров дома Романовых. Наконец, автор считал необходимым построить в непосредственной близости с храмом, с тем чтобы образовать площадь, два здания: одно для Высшего Духовного Сановника, а другое для духовной педагогической Академии, преподаватели которой вели бы просветительную работу с паломниками.

Идея непоколебимости православия как духовной основы нации вполне импонировала власти, но, несмотря на высочайшую благодарность автору, проект не был принят к реализации, так как местом его возведения предлагалось выбрать Киев. К тому же во время подачи

402

Увековечивая в бронзе

проекта стало уже ясно, что собираемых средств по подписке о пожертвованиях не хватит даже на монумент в Новгороде.

В поддержке было отказано и автору другого проекта, предполагавшего возведение памятника в северной столице. Однако в случае с проектом архитектора А.И. Ла-Дана¹¹ не было не только выражения благодарности, но, напротив, было высказано грубое порицание. Причина такого отношения к предложению Ла-Дана возвести памятник, символизирующий благодарность России европейским народам, содействовавшим ее приобщению к цивилизации, представляется довольно прозрачной: воспоминания о роли западных держав в Крымской войне были, по-видимому, еще очень свежи, поэтому на проекте собственноручно Его Императорским Высочеством было написано: "Отвечать ему, что это вздор". Вписывать Россию в европейскую историю как *ученицу* власть не соглашалась.

Однако вернемся к проектам памятника тысячелетию России в Новгороде. Отсылка к столичным архитектурным или монументаль-

¹¹ РГИА. Ф. 207. Оп. 5. Д. 108. Л. 1—3. Обосновывая проект, Ла-Дан писал: "В будущем 1862 году исполняется тысяча лет от начала Руси. Началом Руси полагается призвание первых ее правителей, венцом ее тысячелетия будет освобождение крестьян. Поводом к первому событию была неурядица, к последнему привело Россию образование. Начало порядка нашего — в Новгороде, начало нашего образования в Петербурге. Далеко ушла Россия в последние сто пятьдесят лет на пути просвещения. Не грех ей, в день своего совершеннолетия, сказать русское «спасибо» и тем народам, которые ей в том помогали. Вот начала, из которых возникла у меня мысль о том, не справедливо ли бы было, в день тысячелетия России, независимо от монумента, возводимого в Новгороде, воздвигнуть другой в Петербурге. Монумент этот, будучи всенародным изъявлением признательности России к тем народам, которые спешествовали ей на пути просвещения, послужит вместе с тем и несокрушимым памятником одному из самых славных дел России. Лучшая добродетель народа, как и человека, чувство признательности. Монумент должен состоять из четырехгранного пьедестала, по углам которого поставлены четыре трубящих ангела. На пьедестале статуя Петра I в одежде Сардамского плотника. Пожатием правой руки благодарит он представителя голландцев, а левой призывая небо в свидетели искренности. С четырех сторон пьедестала отдельные барельефы, изображающие Императрицу Екатерину II, Императоров Александра I, Николая I и Александра II в группах современных им представителей тех европейских держав, которые чем-либо содействовали России к развитию в ней просвещения. Место для монумента я бы полагал на Знаменской площади, перед вокзалом Николаевской железной дороги. Мысль эту имею счастье повергнуть на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества".

403

Феномен прошлого

ным сооружением была находкой не только упомянутого выше профессора Монигетти. Выдвинутый на конкурс проект Николая Штрома¹², казалось, соединил в себе все атрибуты возведенных в Петербурге во второй трети XIX в. памятников последним императорам. Но ни Ангел, напоминающий об Александрийской колонне, ни женские образы, аллегорически представляющие Справедливость, Силу и Мудрость (возможно, Вера осталась с другой стороны памятника) и отсылающие к памятнику Николаю I на Марининской площади Петербурга, ни даже портреты последних императоров, помещенные на нижнем ярусе памятника, не могли решить главной задачи: представить постепенное развитие российской государственности.

Не справился с данной задачей и проект, составленный коллежским секретарем Ф. Дмитриевым. В описании памятника весьма сжато объяснял его замысел:

"От Князей Рюрика, Владимира и Дмитрия Донского, на трех снопах, во единой Славе, Силе и Власти, основаны три коренные духовные, военные и гражданские народные звания. Времена и царство их означаются звездой над семенами колосьев с трех сторон, по указанию Государственного Герба, на тот предмет, дабы и потом, каждое звание, по видимой славе, пользовалось примером великой обязанности, и как виноград под тенью листьев, так и человек под тенью десяти исторических веков и опытов в делах своих охранялся Божьею милостью. Остается желать и всегда видеть, чтобы на земле святое Евангелие, как скрижали нового Завета, словом Божиим просвещая вселенную, оставалось в одних и тех же руках"¹³.

Довольно сложный замысел требовал детального объяснения, представленного Дмитриевым¹⁴. В основании памятника лежал "плац" из гранита. "Он состоит, — пояснял автор проекта, — из двух Священных и Исторических слов Глас Народа и Глас Божий". На представляющий собой шестиконечную звезду плац были "положены три снопа" и установлен трехгранник с российским гербом на каждой грани. Снопы должны были составлять шесть главных эпох российской истории. На каждом из гербов располагалась также шестиконечная звезда с символами и именами: Власть, символизируемая скипетром, связывалась с именами Рюрика и Иоанна III; Слава (хотя, как ка-

« РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6. Л. 4.

¹³ Там же. Л. 15.

"Там же. Л. 12,12об., 15,19.

жегся, точнее было бы говорить о Вере), символизируемая крестом, связывалась с именами Владимира и Михаила Федоровича; наконец, Сила, символом которой был меч, связывалась с именами Дмитрия Донского и Петра I.

На основаниях трех снопов (по слову на каждом) располагалась надпись "Россия тысяче лет", а также представители основных сословий, которые должны хранить заветы славных предков: дворянство — Силу, духовенство — Славу и крестьянство — Власть. Верность заветам выражалась тем, что каждый представитель сословия наделялся соответствующим символом: дворянин — мечом, священник — крестом, а крестьянин — скипетром (последнее решение было само по себе слишком смелым). Именно так, как представляется, можно интерпретировать то краткое описание памятника Дмитриевым, которое сопровождало проект. Его наиболее интересной чертой является попытка ввести эстетическими средствами в представление об истории ее социальное измерение. Заметим, что не так явно намек на социальное содержание российской истории присутствовал и в проекте Штрома, где были также представлены три сословия русского общества, но этого не требовалось программой конкурса.

Не определялось программой и специальное представление образа России. Однако он появился не только в победившем проекте Мике-шина, который именно за эту новизну был подвергнут довольно резкой критике Ф.И. Буслаевым¹⁵, на что справедливо указывает О. Майорова¹⁶. Она связывает появление России в образе женщины с изменением принципов исторической самоидентификации, осуществляемым властью. Но данная идея, как и идея храма, не являлась исключительной собственностью одного автора, в данном случае Микешина. Источник ее уже тогда был назван В.В. Стасовым — статуя "Бавария", возведенная в Мюнхене¹⁷. Об этом напоминали и колоссальное изображение России в образе женщины, предлагавшееся в проекте третьего призера конкурса архитектора Антипова, и аналогичный проект Никитина¹⁸. В проекте под девизом "Да благоденствует Россия" ее изобра-

¹⁵ Буслаев Ф.И. Памятник тысячелетию России // Буслаев Ф.И. Мои досуги. СПб., 1886. С. 189—191.

¹⁶ Майорова О. Бессмертный Рюрик. С. 148—149.

¹⁷ Стасов В.В. Избранные сочинения. М., 1952. Т. 2. С. 483.

» РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6. Л. 5.

жение также предполагалось "в виде молодой и прекрасной женщины с княжеской мантией на плечах и с княжеской короной на голове", стоящей на поддерживаемом Рюриком и шестью новгородцами щите. "При олицетворении России, — считал автор, — можно взять одну из древних икон, изображающих великую княгиню Ольгу"²⁰.

Последний штрих, как представляется, объясняет причину неудачи Никитина. Он изобразил Россию в европейском наряде, хотя уже церемониал открытия памятника Николаю I на Исаакиевской площади, свершившегося всего за пять месяцев до подведения итогов конкурса, предписывал придворным дамам явиться на торжество "в русском платье"²¹. Европейская мода была непопулярной в глазах правительства. Поэтому даже символы изобилия, традиционно изображенного на проекте Никитина в виде рога, военной мощи, столь же традиционно представленного военными доспехами и оружием, и обширности государства, неожиданно отмеченного разнообразием фауны (котик, морж и олень у подножия), не могли принести автору успеха.

Одной из важнейших задач, поставленных организаторами конкурса перед авторами, было представление "в ваяльных изображениях" шести главнейших эпох российской истории. Наиболее доступным способом решения ее стали барельефные изображения, с успехом "опробованные" на памятнике Николаю I, вокруг постамента которого были размещены барельефы с изображением важнейших событий его царствования: обращение к верным императору войскам 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади, усмирение холерного бунта 1831 г. на Сенной площади, награждение графа Сперанского за составление Свода законов и осмотр императором Веребьевского моста на трассе железной дороги, соединившей Петербург с Москвой²².

¹⁹ РГИА. Ф. 218. Оп. Б. Д. 1691. Л. 240.

²⁰ Там же.

²¹ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 141. Л. 4 об. См. о "русском платье" в придворной моде: Выскочков Л. В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001. С. 414—415.

²² См. об изменении первоначального замысла барельефов: Токарева И.Г. Предполагаемые и осуществленные сюжеты рельефов памятника Николаю I на Исаакиевской площади // Русский скульптурный рельеф второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1989. С. 44—50.

Характерно, что по пути представления прошлого в барельефных картинах пошли многие конкурсанты, даже те, что "не владели искусно карандашом". Правда, и на этом пути их ждали

трудности, по-разному решаемые ими. Так, Я. Домбровский, довольно живописно представив встречу Рюрика, крещение в Днепре и Куликовскую битву, установление единодержавия при Иване III и избрание Михаила Романова, наконец, создание армии и флота при Петре I, явно затруднялся с соединением этих разрозненных частей в единое целое²³. Для автора же проекта "Да благоденствует Россия", предложившего в качестве основания памятника "кругло-продолговатые" щиты, на которых изображались важнейшие этапы развития государственности, связать их воедино не представляло труда. Он предлагал соединить щиты между собою "военными трофеями, а также эмблемами науки, художеств, мореплавания, земледелия и торговли" (что было подчеркнуто читавшим проект), "кроме того, лавровыми и дубовыми венками и такими же гирляндами"²⁴.

Не менее успешно проблему объединения эпох эстетическими средствами решал проект, представленный под девизом "В тысячу лет один раз"²⁵. Увенчанный статуей Ангела трехступенчатый шестигранник позволял не только поместить аллегорические женские изображения добродетелей (в чем вновь проявлялось влияние памятника Николаю I), но, что значительно важнее, предоставить место для шести барельефов, на которых изображались важнейшие эпохи российской истории. Расположенные в нижнем ярусе, они дополнялись текстами, раскрывающими суть произошедшего и нанесенными на пластины, размещенные во втором ярусе. Наконец, каждый из шести углов второго яруса венчался двуглавым орлом — российским гербом. Заметим, что пирамидальная и многоярусная форма представления прошлого давала, казалось бы, простор для изображения истории как процесса постепенного прогрессивного развития. Однако она не была использована полностью. В проекте Григорьева эта идея оказалась выраженной старомодным генеалогическим деревом, в которое непонятно как должна была быть вписана идея шести этапов истории²⁶. Более

» РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6. Л. 18.

²⁴ РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 1691. Л. 238.

²⁵ РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6. Л. 9.13. ²⁴ Там же. Л. 2.

407

Феномен прошлого

интересный по замыслу проект изображения достижений в различных сферах общественной жизни был представлен по-детски наивным и слишком сложным символическим рисунком²⁷, который едва ли могли бы расшифровать даже высокообразованные члены конференции, не говоря уже о простонародье на Софийской площади в Новгороде.

В конечном счете предпочтение было отдано микешинской модели, соединяющей поступательное развитие истории с цикличным движением, или, по справедливому замечанию О. Майоровой, идею обновления с идеей преемственности²⁸. Такое воплощение позволяло соединить прошлое с настоящим, историю и современность, на что символически указывалось авторами многих проектов. Собственно связь прошлого с современностью в проектах вводилась уже простым указанием на время возведения памятника, которое означалось, как правило, именем "Благочестивейшего" или "Благодарного Государя Императора". Один из конкурсантов, Ф.Д. Титов²⁹, не удовлетворился этим и предложил увенчать памятник фигурой императора Александра II, руководимого Верою и возводящего Россию "на высшую степеню". История увековечивала это событие, указуя перстом "на скрижаль свою, где начертано 1000 лет". Однако такой аллегорически-назидательный сюжет больше соответствовал морализаторскому историописанию, "нарративу примеров", уходящему в прошлое под напором историзма. К тому же в то время возведение памятника живущему воспринималось скорее как дурной знак.

Разработка проекта Микешина

Отказ от столь прямолинейного воплощения идеи связи истории и современности не означал, что отрицалась сама идея. На памятнике, проект которого создал Микешин, она была реализована более привычно в надписи: "Свершившемуся тысячелетию государства Российского в благополучное царствование Императора Александра II лета 1862". Однако не только этим, но и всем своим обликом предложенный Микешинским макет более всех других соответствовал программе. Характерно, что точность соответствия осознавалась не только самим

²⁷ РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 220-6. Л. 8.

²⁸ Майорова О. Бессмертный Рюрик. С. 158—159.

²⁹ РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 1691. Л. 266—267.

408

Увековечивая в бронзе

автором. Отсутствие среди предложенных проектов достойных конкурентов Микешину вынужден был признать в мемуарах даже его явный недоброжелатель³⁰. Указания анонимного художника на то, что действительную конкуренцию молодому художнику могли составить лишь Н.С. Пименов и П.К. Клодт дает намек на еще одно важное обстоятельство победы Микешина. Он воспринимался в условиях

реформаторского обновления общества как противник заскорузлой академической рутины, выразившейся в верности классицизму, как сторонник поиска новых форм.

Представленный в виде макета проект Микешина давал возможность, что называется, воочию увидеть предлагаемый замысел. Созданный за неимением времени первоначально без постамента, макет напоминал шапку Мономаха. Расположенная в центре держава была окружена шестью скульптурными группами, получившими название колоссальных фигур, и венчалась крестом, поддерживаемым Ангелом, который благословляет коленопреклоненную женщину в русском национальном платье, символизирующую Россию. Макеты барельефов, изображающих важнейшие события каждой из эпох, предполагалось подготовить в течение трех месяцев, дававшихся на доработку деталей проекта. Их составление было поручено известному скульптору Клодту, что обернулось неожиданным поворотом в реализации замысла памятника. Клодт обязался подготовить "эскизы барельефов, сюжеты которых должны соответствовать историческим периодам, выражаемым каждой из шести групп Памятника"³¹. К июню 1860 г. он представил два эскиза барельефов: "призвание на княжение Рюрика" и "принятие Русским народом Св. Крещения при Владимире Святном". Эти эскизы были утверждены императором 24 апреля и 2 июня 1860 г. Однако когда Александр II решил лично ознакомиться с ходом работ по изготовлению макетов колоссальных фигур и барельефов, выяснилось, что сюжеты последних лишь повторяют те фигуры, которые должны были окружать державу. Во избежание такого повторения было решено составить "новый порядок барельефов", что поручалось Микешину. В своих воспоминаниях Микешин утверждает, что именно он "подсказал" императору

³¹ <Художник> Воспоминания об Академии художеств. 1859—1864 // Русская старина. 1880. № 10. С. 398.

«РГИА. Ф. 207. Оп. Ъ. Д. 123. Л. Ъ.

409

Феномен прошлого

мысль изобразить на них "знаменитых мужей, споспешествовавших своими подвигами прославлению Российского государства"³². Однако она была благосклонно воспринята, что свидетельствовало о готовности императора "ввести" в монументальное изображение идею опоры самодержавной власти на общество в лице его славнейших представителей. Тем самым расширялось само представление о предмете истории, содержанием которой должны были служить не одни только подвиги самодержцев и развитие самодержавия, как это виделось предшествующему поколению историков и как было сформулировано в программе конкурса.

Первоначально предполагалось, что число лиц будет незначительным, так как их изображения должны были быть помещены в виде медальонов вокруг постамента, размеры которого позволяли разместить только 24 портрета, что значительно осложнило бы выбор самых достойных, оказавшийся и без того довольно трудным. Решение было найдено главным управляющим путей сообщения и публичных зданий К.В. Чевкиным, который предложил сделать сплошной барельеф, опоясывающий постамент памятника³³, и расположить на нем возможно большее число исторических персонажей. Составление их списка было поручено Микешину, который, по его собственному признанию, "растерялся перед новой задачей". Ее решение потребовало обращения к экспертным оценкам специалистов — историков, литераторов и артистов, среди которых Микешин называл С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, Ф.И. Буслаева, М.П. Погодина, Н.В. Калачева, И.И. Срезневского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Я.П. Полонского и др. Тем самым в решение вопроса вводилась эпистемологическая стратегия эстетического представления истории, опирающаяся на научное знание. (Заметим в скобках, что и Чевкин указывал на то, что он советовался с профессорами.)

Понятно, что различное понимание экспертами содержания российской истории и значения отдельных лиц вызвало разногласия³⁴. Так

³² Микешин М.О. Воспоминания художника // Неман. 1969. № 10. С. 160—161.

³³ Воспоминания А.В. Эвальда // Исторический вестник. 1895. Т. LXII. № 10. С. 82—83.

³⁴ "По мнению Буслаева, мне надо было делать только одних угодников, по мнению Костомарова — юго-западных личностей, по Погодину — московский период", — вспоминал Микешин (Микешин М.О. Воспоминания художника. С. 161).

410

Увековечивая в бронзе

что в первом списке, представленном Микешиним Чевкину 22 августа 1860 г., он вынужден был обозначить спорные имена знаком вопроса³⁵. Окончательное решение оставалось за властью, что определяло господство политической стратегии в выборе достойных представлять историческое прошлое России.

В Российском государственном историческом архиве сохранился первоначальный список Микешина, исправленный Чевкиным³⁶, анализ которого, как представляется, позволяет выявить некоторые особенности той политической стратегии, которую власть стремилась утвердить с помощью увековечения прошлого в Памятнике тысячелетию России. Предлагаемый список разделялся на четыре отдела: "Просветители", "Государственные люди", "Военные люди и герои", "Писатели и художники". С эпистемологической точки зрения в таком решении можно увидеть своеобразное предвосхищение позитивистской теории многофакторности исторического процесса, хотя число факторов, выделяемых в исторических исследованиях, значительно увеличится во второй половине XIX в. в связи с освоением историками понятия "социальное развитие". С политической точки зрения, как справедливо замечает О. Майорова, это означало расширение оснований для самоидентификации, вводимых властью³⁷. В отличие от характерного для

предшествующего правления отрицания общенационального значения интеллигенции император Александр II готов был признать его, соглашаясь с мыслью о развитии культуры как важном показателе зрелости общества. Успехи культуры наряду с административной благоустроенностью государства и его военной мощью признавались существенным свидетельством прогрессивности власти, что вело к поиску ею "нового языка в диалоге с обществом". Однако в восприятии этой идеи были свои границы, о которых будет сказано ниже.

Теперь же обратимся к характеру исправлений. Довольно смело Чевкин исключил из списка имена князей, царей и императоров, уже представленных в колоссальных фигурах. Понятно, что при этом он руководствовался указанием Александра II избежать повторения. В разделе "Просветители" были вычеркнуты также местные, прежде всего новгородские святые, на включении которых, по воспоминани-

³⁵ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 11—12 об.

³⁴ Там же.

³⁷ Майорова О. Бессмертный Рюрик. С. 150.

411

Феномен прошлого

ям Микешина, настаивал Буслаев³¹. Это диктовалось, по-видимому, желанием представить наиболее значимые имена святых. Правда, при подготовке списка, представленного на рассмотрение и утверждение императору³⁹, из него "исчезли" Иларион, Епифаний и Лазарь Баранович. Однако более интересна и значима "позитивная программа" Чевкина, т.е. те имена, которые были включены в список. Понять мотивы, которыми он руководствовался, помогают краткие комментарии, сделанные к некоторым из имен в списке (заметим в скобках, что именно в данной части таких комментариев больше всего, а это значит, что адресат предполагал наименьшую осведомленность адресанта именно в отношении святых), а также описания героев Памятника современниками — учителями Новгородской гимназии Н. Отто и Н. Куприяновым, собравшими официальные исторические сведения о них*.

Итак, в раздел "Просветители" вписаны: Иона, "митрополит Киевский (1448 г.) поддержал Православие, когда митрополит Исидор принял Унию на Флорентийском соборе"⁴¹, Феофан Прокопович, "замечательный деятель Петровской эпохи, Архиепископ Новгородский"⁴², Георгий Конисский, "Архиепископ Белорусский, поборник Православия против Унии, славный проповедник и защитник Православных на польском сейме"⁴³ и Иннокентий Херсонский и Таврический, "в последнюю великую борьбу России с западными державами ...принимал самое деятельное, живое участие"⁴⁴. Как представляется, все три имплицитно представленных мотива — противодействие католическому и униатскому влиянию, особенно в польских землях, участие

³⁹ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 17—20.

⁴⁰ Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике тысячелетия России, воздвигнутом в г. Новгороде. Новгород, 1862.

⁴¹ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 17 об. Ср.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 28—30.

⁴² См.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 55—59.

⁴³ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 18. Ср.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 61—63.

⁴⁴ См.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 66—68.

412

Увековечивая в бронзе

в петровских преобразованиях и Крымской войне — были значимы, что подтвердит и дальнейшее рассмотрение поправок Чевкина.

Сокращение списка "Государственных людей" сначала было минимальным: вслед за Иваном III была вычеркнута и его жена — Софья Палеолог, а освободившееся место Михаила Романова занял его отец — Федор (Филарет) Никитич, правда, не без сомнения, отмеченного знаком вопроса. Однако при составлении списка для утверждения из него были исключены: митрополит Филипп, дьяк Грибоедов, сомнение в необходимости включения которого в список выражали эксперты, Борис Годунов, Остерман, а главное — Екатерина II и Александр I. Зато остались внесенные Чевкиным Ольгерд, Витовт и Ордин-Нащокин. Чевкин не только не усомнился в необходимости оставить в списке Гёдимина (напротив его имени Микешин поставил знак вопроса, так как не был склонен прислушиваться к советам Костомарова в данном случае), но прибавил имена двух литовских князей, сражавшихся против Ордена и Польши⁴⁵. Едва ли Чевкин обращался к Костомарову, такой совет вполне мог дать противник опального историка Н.Г. Устрялов. Как бы то ни было, имена этих князей-язычников были оставлены, так как утверждали идею исторической принадлежности к русским землям Литвы и усиливали антипольскую направленность монумента. (Заметим в скобках, что в данном случае Чевкин проявил завидную политическую интуицию:

вопрос о необоснованности польских притязаний на Литву через два года будет детально обсуждаться в переписке императора Александра II с его братом Константином, наместником в Царстве Польском⁴⁶.

Отметим и еще одно важное изменение: при составлении списка для императора из него был исключен Иван IV, которого Чевкин вписал было вместо Ивана III. Такое изменение при последовательном сохранении в списке Марфы Посадницы, устранения которой требовали многие консервативно настроенные корреспонденты Микешина, было призвано исторически обосновать возможность возродить традиции местного самоуправления в планируемых земствах при сохранении сильной центральной власти.

⁴⁵ См.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 75—79.

⁴⁶ См.: Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем за время пребывания его в должности Наместника Царства Польского // Дела и дни. 1922. № 3. С. 78—79.

413

Феномен прошлого

В отличие от списка "Государственных людей", перечень "Военных людей и героев" был подвергнут Чевкиным наибольшей правке. Были вычеркнуты князья Борис и Глеб. Их добровольная смерть в подражание Христу могла ассоциироваться с подвигом лишь в глазах человека глубоко верующего, но не имела ничего общего с воинской доблестью. Сначала был устранен из списка, а затем вновь восстановлен Довмонт Псковский. Было отказано в увековечении в бронзе П.И. Панину и П.Х. Витгенштейну.

Литовско-русское единство исторически еще раз было подчеркнуто включением в список имени Кейсгута, а антипольская направленность внесением в него имен Авраамия Палицына, Дибича Забалканского и Паскевича Эриванского. В краткой характеристике Авраамий Палицын был назван "келарем Троицкой лавры", но в описании Отто и Куприянова его представили вдохновителем патриотической борьбы с польскими завоевателями и даже духовным преемником св. Сергия Радонежского, благословившего в свое время Дмитрия Донского на борьбу с татарами⁴⁷. Последнее уравнивало как национальное, так и религиозное значение борьбы против татарского нашествия с противодействием польской интервенции. При характеристике И.И. Дибича отмечались его боевые заслуги не только в войне 1812 г. и русско-турецкой войне 1828—1829 гг., но и в разгроме польского восстания в 1830 г.⁴⁸ Военное руководство усмирением "инсургентов" и взятием Варшавы в 1831 г., принесшим ему титул князя Варшавского, подчеркивалось в биографии И.Ф. Паскевича, отличившегося в персидской кампании 1826—1827 гг. и русско-турецкой войне 1828—1829 гг.⁴⁹

Наконец, среди "военных людей и героев" в списке Чевкина появились имена, призванные отметить рост морского могущества Российской империи — Ф.М. Апраксин, А.Г. Орлов-Чесменский, Ф.Ф. Ушаков и П.С. Нахимов. Характерно, что когда список был несколько изменен императором⁵⁰, Нахимов вместе с добавленными в

⁴⁷ См.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 200—203.

«Там же. С. 261—266.

«Там же. С. 266—274.

⁵⁰ В статье А. Е. Захарченко выдвигается гипотеза, что адмирал Ф.Ф. Ушаков был исключен из списка "реакционными силами", поскольку "нахождение на Памятнике фигуры основателя Республики Семи островов в Ионическом море могло вызвать нежелательные ассоциации у публики" (см.: Захарченко А.Е. История со-

414

Увековечивая в бронзе

него М.П. Лазаревым и В.А. Корниловым стали олицетворением отнюдь не поражения в Крымской войне, свидетельствующего о гнилости николаевского режима, а создания и героической обороны Севастополя⁵¹. (Этим оправдывалось, как представляется, и включение в раздел "Просветители" имени Иннокентия Херсонского и Таврического.)

В оценке последнего раздела "Писатели и художники" Чевкин больше всего полагался на мнение экспертов. Из него были устранены почти все вызывавшие их разногласие, а значит, и сомнение, имена: легендарный "певец Игоря", А.В. Кольцов, А.А. Иванов и А.Е. Мартынов. В.А. Жуковский должен был остаться в памяти потомков, по-видимому, не только как поэт, но и как воспитатель юного Александра II⁵². К числу прославленных поэтов были добавлены Н.И. Гнедич и М.Ю. Лермонтов.

7 сентября 1860 г. исправленный Чевкиным список был высочайше одобрен императором Александром II, написавшим на нем: "Очень хорошо". Однако изменения на этом не закончились. Микешин должен был подготовить к концу ноября эскиз горельефа, который был представлен 8 декабря на рассмотрение императору. Александр II "удостоил рисунок Микешина рассмотрения и, выслушав личные его объяснения, соизволил одобрить проект в общем его виде". При этом было указано, "чтобы в числе Литераторов помещен был Державин, в числе Государственных мужей — Кочубей; из числа Военных людей Орлов-Чесменский, Дибич-Забалканский и Паскевич-Эриванский были бы выведены более видным образом"⁵³.

31 января 1861 г. Главное управление путей сообщений и публичных зданий заключило с Микешиним "условия" о выполнении им макета барельефного фриза к 1 декабря 1861 г. Работа над Памятником была отражена в "Месяцеслове на 1862 г.", в котором был представлен рисунок с общим видом монумента и подробное описание с перечнем лиц, помещенных на нем. И тут-то при сличении списка,

оружения памятника "Тысячелетию России" в Новгороде // Ученые записки Новгородского государственного педагогического института. Т. 2. Историко-филологический факультет. Вып. 2. Новгород, 1956. С. 65).

⁵¹ Ср.: Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 274—285.

"Там же. С. 307—309.

» РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 23 об—24.

415

Феномен прошлого

представленного Микешиным и помещенного в "Месяцеслове", со списком, утвержденным императором 7 сентября, и дополнениями, сделанными при рассмотрении эскиза 8 декабря, выяснилось, что в них внесены изменения. Очевидно, с согласия императора, Микешин вновь восстановил в списке "Просветителей" имя Владимира Святого, "Государственных людей" — Иоанна III, Михаила Федоровича, Петра I, Екатерины II и Александра I, "Военных людей и героев" — Дмитрия Донского, дополнив раздел именами Лазарева и Корнилова и исключив из него Апраксина, Ушакова и Котляревского. Из списка "Писателей" были устранены Гнедич и Державин, зато добавлены Н.В. Гоголь и Т.Г. Шевченко, скончавшийся 26 февраля 1861 г. Именно включение двух последних имен малороссийских писателей вызвало отповедь Чевкина, который довольно жестко поставил перед Микешиным вопрос об основаниях такого самоуправства. Микешин попытался обратиться к императору как третьей стороне, но ответ Александра II свидетельствовал о том пределе, до какого власть была готова допустить самостоятельность мнения экспертов в решении данного вопроса. "Государь повелел изображение Гоголя, находящееся на Высочайше одобренном рисунке барельефа, сохранить, а Шевченки, допущенное произвольно, исключить", — гласило указание 30 ноября 1861 г.⁵⁴

Допуская возможность помещения на памятнике представителей различных народов, населяющих Россию, власть отнюдь не собиралась потворствовать их национальным устремлениям, а тем более сепаратизму. Линия единства Малороссии и Московского государства, намеченная образом Богдана Хмельницкого, боровшегося за независимость Украины против поляков⁵⁵, развивалась в идее преданного служения российским императрицам и императорам малороссов: князя А.А. Безбородко⁵⁶ и его племянника князя П.В. Кочубея⁵⁷, внесенного в список по личному указанию Александра II. Родословная Кочубея напоминала к тому же об измене Мазепы. В этом контексте поместить на памятник Шевченко, осужденного за участие в "украинофиль-

⁵⁴ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 56,58.

⁵⁵ См.: Отто Н., Куприяновы. Биографические очерки... С.204—210. Правда, авторы несколько "смазали" эту сюжетную линию, излагая события "по Костомарову".

"Там же. С. 134-137. "Там же. С. 142-144.

416

Увековечивая в бронзе

ском" Кирилле-Мефодиевском братстве (характерно, что о причине его ссылки в Новопетровское укрепление Отто и Куприянов стыдливо умалчивали⁵⁸), значило бы для власти прервать эту линию единства, на что она ни при каких условиях идти не собиралась.

Последней фигурой, помещенной на памятник, стал Николай I. Александр II, начавший преобразования, которые расходились с традицией предшествующего правления, долго сомневался в необходимости включения в список "достоинейших мужей" имени своего отца, не пользовавшегося популярностью в обществе. К тому же сыновний долг уважения и признания его заслуг был отдан открытием памятника на Исаакиевской площади. И все же, как верно отмечает О. Майорова, преобразуя облик власти и основания самоидентификации подданных, он не мог допустить разрыва истории⁵⁹. Поэтому после того как президент Петербургской Академии наук Д.Н. Блудов заметил этот пробел, 25 января 1862 г. последовало распоряжение: "Государь Император Высочайше повелеть изволили сообразиться немедля о помещении на барельеф памятника Тысячелетию Государства Российского изображения покойного Императора Николая Первого"⁶⁰. Вопреки своему желанию, Микешин был обязан сделать эскиз, "одев" Николая I, по повелению его сына, в казачий генеральский мундир. Лепку фигуры поручили художнику Н.А. Лаверецкому. В создании макета памятника для отливки также участвовали скульпторы Р.К. Залеман, А.М. Любимов, П.С. Михайлов, М.А. Чижев и И.Н. Шредер.

Показательно, что властный контроль не ограничился только содержанием памятника. Александр II пристально следил и за эстетическим воплощением замысла. Уже при рассмотрении эскиза барельефа 8 декабря 1860 г. он указал на необходимость того, "чтобы сходство в чертах, росте и костюме было сколь возможно верно сохранено"⁶¹. Позже, 12 апреля 1862 г., осматривая часть барельефа, которую лепил Шредер ("Писатели и художники"), он "высочайше соизволил повелеть стараться достигнуть более сходства в чертах: Крылова, Жуковского, Гнедича и Грибоедова, и

уменьшить несколько рост Гого-

⁵⁸ Отто Н., Куприянов Н. Биографические очерки... С. 321—323.

⁵⁹ Майорова О. Бессмертный Рюрик. С. 159.

⁶⁰ РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 63.

⁶¹ Там же. Л. 71.

417

Феномен прошлого

ля"⁶². Бюст Жуковского был предоставлен Шредеру из собственного кабинета Его Величества. А Чижов, лепивший "Государственных людей", был допущен в Зимний дворец, чтобы иметь возможность как можно точнее воспроизвести фигуру Александра I, руководствуясь, по указанию Александра II, его изображениями на портретах: "одним работы Жерара, находящимся в комнатах в Бозе почившего Императора Николая I, и другим — работы Доува, в Галерее 1812 года"⁶³. Нацеленность на точное воспроизведение исторических персонажей на памятнике, которого требовала власть, оказывалась вполне соответствующей эстетическим устремлениям автора проекта к реализму в искусстве и утверждавшемуся в исторической науке представлению о необходимости добиваться соответствия воспроизведения прошлого в работах исследователей исторической реальности.

Таким образом, в ходе разработки и осуществления замысла увековечения в Памятнике тысячелетней истории России ведущую роль играли политические соображения власти, державшей под неослабным и постоянным контролем процесс эстетического оформления представлений об историческом прошлом. Однако господствующая политическая стратегия давала определенный простор для утверждения нового подхода к истории, сутью которого должно было стать видение ее как органического, внутренне обусловленного процесса, идущего от прошлого к настоящему, связывающего их воедино. Правда, мнения экспертов учитывались до тех пор, пока они не противоречили политическим видам правительства. Как только возникали какие-нибудь разногласия между ними, сразу обнаруживался тот предел, который ставила эпистемологической стратегии выработки исторических знаний политическая стратегия формирования исторической памяти.

« РГИА. Ф. 207. Оп. 3. Д. 123. Л. 72. "Там же. Л. 71.

418

ЗНАНИЕ О ПРОШЛОМ В ТЕОРИИ ЭКСКУРСИИ И.М. ГРЕВСА И Н.П. АНЦИФЕРОВА

Б.Е. Степанов

Историографическое исследование в "новой интеллектуальной истории" движимо интересом к проблеме взаимосвязи исторического знания и опыта истории во всем многообразии его культурных контекстов. В предпринятом мной исследовании творчества двух российских историков начала XX в. — И.М. Гревса и Н.П. Анциферова — это выразилось в попытке соотнесения двух планов анализа. С одной стороны, важным было выяснение того, каким образом историки воспринимают импульсы окружающих культурных и социально-политических обстоятельств и определяют в них себя и свою деятельность. С другой стороны, неоднократно возникала проблема оценки того, каким образом их творчество встраивалось в ту или иную конфигурацию социальной реальности. Теория экскурсии, разработанная Гревсом и Анциферовым в 1910—1920-е гг., оказалась в свете избранного мной подхода весьма благоприятным предметом анализа.

Обращение к этой стороне деятельности историков позволяет высветить социокультурные предпосылки и импликации исторического знания, увидеть его в отношении к опыту переживания истории, соотнести когнитивные, эстетические и политические аспекты определенного способа репрезентации прошлого.

Избирая такой способ репрезентации творчества этих историков, я в определенном смысле следую рекомендации Б.С. Кагановича, одного из наиболее авторитетных исследователей исторической науки начала XX в. Он в свое время писал о необходимости, критически оценивая урбанистическую теорию

419

Феномен прошлого

Гревса, "иметь в виду экскурсионно-краеведческие рамки, в которых развертывалась работа Гревса в 20-е гг."¹.

В моем анализе эти рамки станут преимущественным предметом рассмотрения. При этом, однако, меня интересует не последовательная реконструкция определенного этапа творческого пути Гревса и Анциферова, но теоретическая гетерогенность, возникающая в пространстве текстов об экскурсиях. Соответственно мною сделана попытка разобраться не только в том, каким образом теория экскурсии вытекала из общих принципов развивавшегося ими подхода к изучению истории и каким способом она их преобразовывала, но и в том, как в ней проявились определенные институциональные запросы и культурные импульсы породившей ее противоречивой эпохи, какие ролевые и ценностные напряжения эта теория выражала. Вместе с тем нужно отметить, что осуществляемый в данной работе экспериментальный синтетический опыт, основанный на соединении разных перспектив и планов теоретической и исторической рефлексии, на данном этапе исследования существенно ограничен. С одной стороны, он ограничен рамками анализа теории и основан преимущественно на имманентном анализе текстов Анциферова и Гревса, с

другой — оставляет без должной проработки ряд важных для поставленной проблемы социальных и культурных контекстов.

Экскурсионное дело в России: историко-социологический очерк

Обсуждение рамок репрезентации прошлого, воплощенных в теории экскурсии, требует характеристики — хотя бы и схематической — истории социальной практики, из которой эта теория рождается. Развитие экскурсионного дела традиционно осмысливается в контексте оформления во второй половине XIX — начале XX в. такой важной для современных обществ сферы, как туризм². Образование си-

¹ Каганович Б.С. И.М. Гревс — историк средневековой городской культуры // Городская культура Средневековья и начала Нового времени. Л., 1986. С. 231.

² См.: Koshar R. German Travel Cultures. Oxford, 2000. P. 1—19; Крючков А.А. История мирового и отечественного туризма. М., 1994. С. 29—48; Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов-н-Д., 1988. С. 48—57.

420

Знание о прошлом в теории экскурсии

стемы объектов туризма, объединявшей растущее число исторических и природных достопримечательностей, становление инфраструктуры массовых путешествий (гостиничная индустрия, глобализация путей сообщения, издание путеводителей), возникновение институтов и сообществ, обеспечивающих ее функционирование, не только создавало условия для проведения экскурсий, но и стало фоном для формирования их идеологии.

Важные импульсы для развития экскурсионного дела складываются в системе среднего образования, где в это время разгорается борьба между сторонниками конкурирующих моделей: "реальной", в которой упор делался на изучении естественных наук и иностранных языков, и "классической", в большей степени ориентированной на изучение античной древности³.

Становление практики экскурсий происходит в рамках первой — "реальной" — модели. Историки экскурсионного дела связывают его с двумя тенденциями, первоначально обнаружившими себя в сфере преподавания естественнонаучных дисциплин. Во-первых, это стремление к преодолению теоретического характера образования и повышению предметности преподавания. Соответственно экскурсия, как образовательный прием, должна была обеспечить более реальный контакт с природой и придать большую жизненность школьному образованию. Во-вторых, экскурсионная практика воплощала для многих идею изучения природных комплексов. Эта идея получила отклик не только в образовательной среде. Она была признана и в академическом мире⁴, и

³ На это указывал уже один из теоретиков экскурсионного дела еще в 1920-х гг.: Н.А. Гейнике (Гейнике НА. Культурно-исторические экскурсии // Культурно-исторические экскурсии. М., 1923. С. 2). Более подробно об этом см.: Милуков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. Ч. 2. М., 1994. С. 279—340; Очерки истории школы и педагогической мысли народов. М., 1991. С. 15, 66; Писцов К.М. Экскурсии как компонент культурно-просветительной политики в первое десятилетие Советского государства: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2001. С. 20—26. Характерно, что эти образовательные модели конкурировали не только содержательно, но и институционально: первая базировалась преимущественно в частном секторе, вторая занимала господствующее положение в государственных учебных заведениях.

⁴ В связи с этим можно упомянуть так называемый хронологический поворот в географии, обозначивший переход к изучению ландшафтов, качественно-специфических и индивидуализированных пространств. Признание этой идеи выразилось, в частности, в деятельности Русского географического общества под руководством

421

Феномен прошлого

в широких кругах образованного сообщества. "Реальность" и целокупность познания окружающего мира в экскурсии оказались значимыми в рамках таких познавательных практик, как краеведение и родино-ведение, в свою очередь неразрывно связанных с развитием земского движения и институтов просвещения¹.

В 1890—1900-х гг. ускоряется процесс институционализации экскурсионного дела: в структуре педагогических и туристических обществ появляются отделы и комиссии, специализирующиеся на организации экскурсий. Понятие "экскурсия", входившее тогда в массовое употребление, охватывало самые разные поездки. Их задачи — часто смешанные — располагались в диапазоне от чисто рекреационных до просветительских, вдохновленных стремлением "сделать народ обладателем культурных сокровищ". Адресатами экскурсионной работы были преимущественно учащиеся и их учителя. Последние не только были участниками экскурсий, но нередко включались и в распространение этой практики, принимавшей постоянный характер в некоторых школах и гимназиях⁶.

С конца 1890-х гг. экскурсионная работа становится также объектом государственной образовательной и культурной политики, направленной, в частности, на то, чтобы преодолеть оторванность школы от жизни и содействовать развитию более осмысленных форм проведения каникул. Наряду с важными мерами организационного и экономического характера, значимым для развития экскурсионного дела, событием стала разработка профессором Д.Н. Кайгородовым в 1901 г. школьных программ по природоведению, в основу

В.П. Семенова-Тян-Шанского, в организации под эгидой Академии наук комиссий по изучению естественных производительных сил и по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран, возглавлявшихся друзьями И.М. Гревса — В.И. Вернадским и С.Ф. Ольденбургем.

* Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в России. М., 1981. С. 7; Коло-кольцова Н.Г. К истории отечественной экскурсионной школы. М., 1992. С. 8—11; Музейное дело России. М., 2003. С. 69—144. К сожалению, здесь лишь упоминается о

необходимости более подробного (в частности, с использованием методов социологии знания) анализа развития экскурсионного дела в связи с развитием музеев и других форм публичной репрезентации науки.

* Добкин А.И. Комментарии // Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. С. 436.

422

Знание о прошлом в теории экскурсии

которых был положен экскурсионный метод⁷. Институциональное закрепление экскурсионной практики в системе государственных учреждений было связано с созданием совещательных органов и комиссий, специализировавшихся на организационном и методическом обеспечении экскурсий. Важным источником государственного интереса к набиравшей силу практике гуманитарных экскурсий стало осознание их эффективности в качестве средства религиозного и патриотического воспитания, внушения "желательной бодрости духа" и направленного на преодоление оторванности молодежи от жизни и противодействие "фальшивой проповеди отрицательных идей". Значение экскурсий виделось в придании школе национального характера*.

Наглядным примером реализации этой цели может служить общая направленность созданного в 1914 г. журнала "Экскурсионный вестник. Хождение по Руси и за рубежом", ставшего органом Центральной экскурсионной комиссии, сформированной в 1910 г. при Московском учебном округе. Оформлен он был в нарочито русском стиле. В редакционной статье первого номера журнала появление его представлялось, в частности, как реакция на всплеск экскурсионно-туристического движения, связанного с государственными коммеморациями 1910-х гг.: столетней годовщиной победы в Отечественной войне 1812 г., годовщиной царствования династии Романовых и др. Характерно, что с началом Первой мировой войны журнал включается в борьбу против "немецкого варварства" за культуру и цивилизацию, интерпретация которых в этой ситуации приобретали отчетливо выраженный оттенок государственного национализма.

Деятельность Гревса в области экскурсионного дела была далека от этого политического и идейного контекста. Гуманитарные экскурсии, которым он посвятил немало теоретических и методических сочинений, были прежде всего формой приобщения к универсальным ценностям, к классическому наследию, способом сделать это на-

⁷ См.: Колокольцова Н.Г. К истории отечественной экскурсионной школы. С. 8—11.

¹ Экскурсионный вестник. 1914. № 1. Вступительная статья; см. также: Рюмина Т.Д. История краеведения Москвы в конце XIX — начале XX века. М., 1998. С. 52—55. О значении экскурсий и путешествий как форм политической мобилизации в XIX—XX вв. см.: Koshar R. German Travel Cultures. P. 1—19. Там же указания на литературу вопроса.

423

Феномен прошлого

следие близким и понятным. "...Одно из редких наслаждений и духовных благ — ощущать внутреннюю связь с несколькими очагами культуры, входить в них как в дом..."⁹ Для самого Гревса важным импульсом оказался опыт собственной научной командировки во Флоренцию, которую он совершил вместе с женой в 1890—1891 гг. Вспоминая об этой поездке, он писал:

"Такие скитания (прогулки по итальянским городам. — Б.С.) сильно двинули меня вперед, определили серьезные особенности моего вкуса, который впоследствии встал в центре своеобразия моей индивидуальности, как историка: изучение вещественных памятников, особенно через путешествие по монументальным

¹⁰

городам .

Эта командировка оказалась важной для Ивана Михайловича и в более специальном научном смысле, ибо позволила реализоваться его интересу к изучению исторической топографии и городской культуры и стала импульсом к размышлениям о значении опыта города для изучения истории. Намеченный здесь академический контекст является чрезвычайно важным для характеристики экскурсионной деятельности Гревса, который стал одним из инициаторов введения экскурсий в практику университетского преподавания и вообще университетской жизни.

Экскурсии рассматривались им не просто как формы организации досуга и важный элемент не только мировоззренческого, но и

¹ Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл // Экскурсионное дело. 1922. № 4—6. С. 6; Ср.: Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. М., 1903. С. 14; Гревс И.М. Предисловие // Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." Л., 1991. С. 25. О контексте см.: Брагинская Н.В. Славянское возрождение античности // Русская теория: 1920—1930-е гг. М., 2004. С. 56—57; Фролов Э.Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 1999. С. 342—343; Кнабе П.С. Гротескный эпилог классической драмы: Античность в Ленинграде 20-х годов. М., 1996. С.16—17.

" Гревс И.М. Моя первая встреча с Италией // Вахромеева О.Б. Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие И.М. Гревса (1860—1941). СПб., 2004. С. 235. Дополнительные сведения о путешествии Гревса почерпнуты нами из работы: Свешников А.В. Итальянские путешествия русских историков начала XX века (рукопись). Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность автору за возможность ознакомиться с текстом этой работы, которой я обязан интересными наблюдениями и отсылками.

424

Знание о прошлом в теории экскурсии

профессионального становления ученого. В этом смысле они были частью реформы исторического

образования, реализация которой во многом связана с именем Гревса". Эта реформа вела к специализации подготовки историка за счет развития предметной системы и системы специальных курсов и семинаров взамен прежней, основанной преимущественно на общих курсах. Экскурсии выделялись как важный шаг внедрения в учебный процесс практических занятий¹². "Экскурсии должны сделаться постоянным интегральным элементом изучения и преподавания истории в общеобразовательной и научной школе. В университете — это необходимый вид исторического семинария"¹³.

Результатом собственных усилий Ивана Михайловича по разработке этой образовательной практики стали путешествия в Италию 1907 и 1912 гг., организованные им для своих учеников. Эти экскурсии стали завершением его семинаров по изучению различных аспектов позднесредневековой и ренессансной культуры¹⁴. Экскурсии тщательно готовились. Вырабатывался план их проведения, в соответствии с которым определялся список литературы, подлежащей освоению. Специальное внимание уделялось подбору участников: состав группы должен был обеспечить слаженность работы, познавательную концентрацию и единство коллективного переживания. Все это, а также стремление к отказу от транспортных средств, воплотившееся в идее "хождения по стране", сближало в глазах Гревса и его учеников экскурсию с паломничеством и придавало ей рели-

¹¹ Скржинская Е.Ч. И.М. Гревс: Биографический очерк // Гревс И.М. Тацит. М.; Л., 1946. С. 240; Вялова С.О. К творческой биографии профессора И.М. Гревса // Из истории рукописных и старопечатных собраний. Л., 1979. С. 133.

¹² В одном из конспектов практических занятий по истории средних веков Гревс писал о том, что у нас полезность исторических семинариев еще очень часто приходится доказывать, тогда как в Германии и Франции это уже признано как аксиома (ОР РГБ. Ф. 1148. Д. 78. Л. 2).

¹³ Скржинская Е.Ч. И.М. Гревс: Биографический очерк. С. 246.

¹⁴ Наиболее значительной была вторая из этих поездок. В ней в качестве соруководителей участвовали ученики и коллеги Гревса — искусствоведы А.И. Анисимов и В.А. Головань, историки Н.П. Оттокар и П.Б. Шаскольский, а в числе слушателей были будущие соратники Гревса по Петроградскому экскурсионному институту Н.П. Анциферов, Г.Э. Петри, Е.А. Лютер, А.И. Корсакова.

425

Феномен прошлого

гиозные коннотации¹⁵. Этим экскурсии Гревса отличались не только от массовых экскурсий, но и от других зарубежных студенческих экскурсий¹⁶. Именно эти дальние путешествия стали для Гревса наиболее полным выражением существа экскурсионного метода. Вместе с тем в годы работы в Тенишевском училище, куда Гревс устроился в связи с запретом преподавать в университете, он организует ближние учебные экскурсии по Санкт-Петербургу и его окрестностям.

Реконструируя интеллектуальную историю обращения Гревса к занятиям в области экскурсионной практики, нельзя не упомянуть об идеологии культурничества, своеобразно определившей его видение задач науки и просвещения. Истоки этой идеологии связаны, по-видимому, с его участием в Приютинском братстве, образованном в 1885 г. Это был союз молодых людей, объединившихся вокруг идейно-нравственной программы, представлявшей своего рода проект "общего дела". Эта программа возникла в поисках выхода из того тупика, которым стали для русской интеллигенции события 1 марта 1881 г.,

"когда революционная пропаганда выглядела очевидно неуместной, торжество власти казалось отвратительным, кровь — и с той, и с другой стороны — заставляла отшатываться и от правых, и от левых"¹⁷. "Приютинцы были одушевлены верой в прогресс, культурный и общественный, орудиями же борьбы за него видели воспитание (самовоспитание) личности, науку, просвещение, наблюдение за жизнью народа и сильное воздействие на нее"¹⁸.

Многолетнее существование братства, ядро которого, наряду с И.М. Гревсом, составили Д.И. Шаховской, братья С.Ф. и

¹⁵ Ср. характерные выражения из работ об экскурсиях: "научные паломничества", "научный пелерина", "флорентийские радения", "святые истории" и др.

¹⁶ Среди них можно упомянуть, например, поездки в Грецию и Турцию членов студенческого общества историко-филологического факультета Московского императорского университета, во главе с ректором университета князем С.Н. Трубецким в 1903 г., и слушательниц Женского Педагогического института, во главе с директором института С.Ф. Платоновым в 1909 г. Наиболее близкой по духу к экскурсиям Гревса была, по-видимому, экскурсия в Грецию под руководством Ф.Ф. Зелинского (см.: Диль Э.В. Экскурсия в Грецию летом 1910 г. под руководством Ф.Ф. Зелинского // Гермес. 1910. № 18—20. С. 3—4).

¹⁷ Перченко Ф.Ф., Рогинский А.Б., Сорокина М.Ю. Предисловие // Шаховской Д.И. Письма о братстве. Звенья. Вып. 2. С. 177—178.

" Там же. С. 179.

426

Знание о прошлом в теории экскурсии

Ф.Ф. Ольденбурги, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, представляло собой опыт практического осуществления этого идейного комплекса. На почве этого опыта формируется не только теория культуры Гревса, о которой пойдет речь ниже, но также и концепция ноосферы В.И. Вернадского". Общественно-политической проекцией этого мировоззрения стало участие всех членов братства в

кадетской партии, выступавшей против существующего режима под лозунгом "За свободу и культуру". Политика партии в довольно большой степени была ориентирована на интеллигенцию, что выражалось в придании самостоятельного значения просвещению и культурной работе, борьбе за университетскую автономию, использовании символических ресурсов, связанных с культурой и образованностью, и т.д.²⁰ В архиве Гревса сохранились документы, свидетельствующие о том значении, которое для него — в частности, в общении со студентами — имела тема утверждения науки в качестве одного из факторов развития человеческой культуры²¹.

Деятельность Гревса в области экскурсионного дела достаточно органично вписывалась в эту социально-политическую перспективу. О значении экскурсий как образовательного средства Гревс писал уже в 1899—1900 гг.²² В 1903 г. выходит в свет эссе "Научные прогулки по историческим центрам Италии (Очерки флорентийской культуры)". Выпуская его, Гревс стремится восполнить недостаток среди огромной литературы о путешествиях таких книг и брошюр, которые могли бы послужить "надежным идейным путеводителем для стран-

" Борисов В.М., Перченко Ф.Ф., Рогинский А.Б. О социально-психологических истоках учения В.И. Вернадского о ноосфере // Механизмы культуры. М., 1990. С. 241—243.

" Семенов А.М. Знание как политика и призвание (По материалам истории российской Конституционно-демократической партии) // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х гг. СПб., 2003. С. 358—379. Наряду с Гревсом в кадетской партии состояли и другие видные экскурсионисты, например, Б.Е. Райков и В.А. Герд.

²¹ См.: Вялова С.О. К творческой биографии профессора И.М. Гревса. С. 131—133.

²² Гревс И.М. Несколько теоретических замечаний об общеобразовательном значении экскурсий // Памятная книжка Тёнишевского училища в СПб на 1900—1901 гг. СПб., 1900. С. 102-111.

427

Феномен прошлого

ника, ищущего серьезного образования"²³. В этой и последующих его работах Италия предстает как "лучшая школа гуманности". О значении этих работ свидетельствует отзыв П.П. Муратова. Во введении к "Образам Италии" Муратов назвал Ивана Михайловича "...одним из тех, кто возродил в русской культуре конца XIX — начала XX века «чувство Италии»"²⁴.

Дань жанру "научных прогулок" отдали и ученики Гревса²⁵. Наиболее интересно в этой связи упомянуть о статье О.А. Добиаш-Рож-дественской "Потревоженные святые"²⁶. Написание этой статьи, посвященной судьбам готического искусства в Западной Европе, стало откликом на обстрелы соборов в Лувене и Реймсе, произведенные немецкой армией осенью 1914 г. В историко-культурную характеристику архитектурных памятников, вызванную к жизни травматическим опытом и являющуюся своего рода актом "борьбы за культуру", автор включает и рассказ о своих прогулках там, где ныне ступает "нога немецкого легионера". Сама реконструкция облика разрушенных со-

²³ Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. С. 6. Попытки обозначить эту традицию как на уровне отдельных текстов, так и на уровне соответствующих пассажей в текстах историков (Ж. Мишле, И. Тэна, Э. Ренана, Дж. Рескина, Г. Буассье, Ф. Грегоровиуса и др.), можно найти в позднейших работах И.М. Гревса и Н.П. Анциферова (см., например: Гревс И.М. Город как предмет краеведения // Краеведение. 1924. № 3. С. 251; Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942) [Подготовка к публикации и предисловие А. Свешникова, Б. Степанова] // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. М., 2004. С. 156. В письмах Л.П. Карсавина И.М. Гревсу из русских путеводителей, которыми он пользовался в своем путешествии по Италии, упомянуты лишь оцениваемая весьма критически работа П. Перцова о Венеции (см.: Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л.П. Карсавина: Письма И.М. Гревсу. (1906—1916) / Сост. С. Клементьева, А. Клементьев. М., 1994. С. 24).

²⁴ Цит. по: Каганович Б.С. И.М. Гревс — историк средневековой городской культуры. С. 219. По мнению Б.С. Кагановича, Муратов во многом реализовал замысел ненаписанной книги Гревса об Италии.

²⁵ Оттокар Н.П. Культурные центры старой Италии // Экскурсионный вестник. 1915. № 4.

²⁶ Добиаш-Рождественская О.А. Потревоженные святые // Вестник знания. 1915. № 1. С. 57—81. См. также: Анисимов А.И. Рец. на кн.: Добиаш-Рождественская О.А. Потревоженные святые. Пг., 1915 // Экскурсионный вестник. 1915. № 2. С. 119—120.

428

Знание о прошлом в теории экскурсии

боров представлена в статье О.А. Добиаш-Рождественской как их непосредственное обозрение. Однако главным сотрудником и преемником И.М. Гревса в деле экскурсиеведения стал Николай Павлович Анциферов.

Увлечение экскурсионной работой возникло у Анциферова еще в студенческие годы. Его симпатия к революционным идеям воплотилась в стремлении служить делу революции в сфере культуры и просвещения. Это привело Анциферова в Эрмитажный кружок, организованный в 1910 г. по инициативе еще одного ученика И.М. Гревса — А.А. Гизетги²⁷. Члены этого сообщества, вдохновляемые идеями Дж. Рескина, сделали своей целью изучение Эрмитажа с тем, чтобы проводить в нем экскурсии для рабочих. Замечательной особенностью Эрмитажного кружка было то, что он возник в студенческой среде и не был

связан ни с каким учебным заведением²⁸. Участие Анциферова и некоторых других его членов в итальянской экскурсии И.М. Гревса 1912 г. стало важным импульсом для возобновления работы кружка, прерванной студенческими волнениями 1911 г. Успешно окончив университет, Анциферов тем не менее "отказался от научной карьеры, видя свое предназначение в просветительной деятельности"²⁹, частью которой была и экскурсионная работа.

Первая мировая война и революция не воспрепятствовали поступательному развитию экскурсионного дела, однако радикально изменили глобальный культурно-политический и социальный контекст его существования. Упомянутый выше поворот журнала "Экскурсионный вестник" к борьбе за культуру — лишь один из примеров широкой националистической мобилизации интеллигенции³⁰. Приверженность к общечеловеческим началам культуры привела Гревса в оппозицию к этому движению³¹. Ему — ас его подачи и Анциферову — была близ-

²⁷ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 194—195, 202—203. "Там же. С. 205.

²⁹ Конечный А.М., Кумпан К.А. Петербург в трудах и жизни Н.П. Анциферова // Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 9.

³⁰ См.: Колчинский Э.М. В поисках новых форм организации российской науки // Академия наук в Санкт-Петербурге в XVIII—XX веках: Исторические очерки. СПб., 2002. С. 353—354.

" Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 173; Каганович Б.С. Русские историки Средних веков и Нового времени конца XIX — начала XX века: Дне.... докт. ист. наук. СПб., 1995. С. 35.

429

Феномен прошлого

ка позиция Р. Роллана, выраженная последним в сборнике с характерным названием "Поверх барьера". Вместе с тем их не могло не затронуть многократно усиленное историческими катаклизмами 1914—1917 гг. ощущение кризиса культуры, симптомы которого усматривались в различных сферах жизни. Вполне объяснимо, что одним из важнейших среди этих симптомов для Гревса стал начавшийся еще во время войны и доведенный до предела революционными преобразованиями кризис в науке, вызванный отсутствием условий для научной работы, сужением интеллектуального горизонта, прекращением контактов с Западом и другими разрушительными процессами. В этой ситуации все более актуальным становится переосмысление и более глубокое обоснование самой науки, как формы и нерва культурного творчества. У Гревса и Анциферова это было связано с тяготением к религии, чему способствовали и трагические биографические обстоятельства.

Положение Гревса и Анциферова при советской власти оказалось двойственным. С одной стороны, они — как и множество других представителей интеллигенции — не приняли революцию. В 1918 г. они подписывают обращение "К учителям истории", в котором говорилось о "катастрофе, разразившейся над Россией", и интеллигенция призывается к возрождению истинных духовных и национальных ценностей³². Критическая позиция Гревса отразилась и в неопубликованной статье "О культуре", где он пишет о насущности обращения к теме культуры в ситуации "рокового надрыва истории", "кризиса быта и кризиса мирозерцания", "среди нашего упадка печати, утеснения литературной свободы, когда отнят простор для выражения индивидуальных исканий вечной правды и дух коснеет под гнетом временных партийных лозунгов, захвативших господство над нынешним преходящим днем"³³. Это

³² Каганович Б.С. Русские историки Средних веков и Нового времени конца XIX — начала XX века. С. 94. Более подробная реконструкция политического контекста деятельности Гревса и Анциферова в советское время требует рассмотрения их деятельности в различных неформальных кружках и организациях и попыток самореализации в публичной политике (например, участие Анциферова в журнале "Свободные голоса").

" Гревс И.М. О культуре // Мир историка: идеалы, традиции, творчество. Омск, 1999. С. 279. В качестве других симптомов кризиса Гревс указывает на оторванность от Запада, "провинциальное захолустное разобщение" и "призрак грядущего варварства".

430

Знание о прошлом в теории экскурсии

высказывание показывает, что защита культуры ("вечного" и "всеобщего") оказывается и защитой истории³⁴. Отречение от "старого мира" выразилось в попытках упразднения истории — и как традиций, мешающих построению нового общества, и как дисциплины. С 1919 г. исторические специальности переходят под ведомство созданных в университетах факультетов общественных наук. Возникают и получают государственную поддержку альтернативные традиционным учебным и научным институтам структуры — такие, например, как Комакадемия. Новые условия воспроизводства исторического знания определялись и идеологическим запросом, и усилиями по радикальному реформированию системы преподавания, и попытками перековки старых кадров, без участия которых образовательные и научные институты не могли функционировать. В этой ситуации Гревс пытался отстаивать свою приверженность принципам университетской автономии и в силу этого довольно быстро оказался не у дел. С 1923 г. он был отстранен от преподавания в университете, что в каком-то смысле оказывалось и отчуждением от научной работы³⁵.

Тем не менее в этой ситуации Гревс и Анциферов не покидают страну и находят свою нишу, которой становятся экскурсионное дело и краеведение. Эта ниша была далеко не маргинальной. Как отмечает К.М. Писцов, первое десятилетие существования Советской власти стало временем расцвета экскурсионного дела — с ним в той или иной степени оказалась тесно связана судьба сразу нескольких культурных институтов: образования, науки, музейного дела. Значение экскурсий как средства массового просвещения осознавалось

и лидерами нового политического режима. Трудности функционирования традиционных образовательных институтов делали это средство выгодным. Показательно, что уже в 1918 г. структуры, курировавшие экскурсионную работу, существовали практически во всех секциях Наркомпроса. Впо-

" В связи с этим важно отметить, что Гревс, как пишет Б.С. Каганович, "никогда не менял своей оценки царского режима и не раскаивался в оппозиции к нему" (см.: Каганович Б.С. Русские историки Средних веков и Нового времени конца XIX — начала XX века. С. 45).

⁵⁵ Каганович Б.С. Русские историки Средних веков и Нового времени конца XIX — начала XX века. С. 12—13; См. об этом также в письмах И.М. Гревса Е.Я. Рудинской 1918—1928 гг. (Вахромеева О.Б. Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие И.М. Гревса. С. 297—321).

431

Феномен прошлого

следствии подобные структуры появляются и на местах — в губернских отделах народного образования и политического просвещения³⁶.

Эпоха военного коммунизма оказалась сравнительно благоприятной для экскурсий даже в экономическом отношении, поскольку для экскурсионных групп были введены транспортные льготы, отмененные с началом нэпа, а их участникам иногда даже выдавался специальный паяк³⁷. В начале 1920-х гг. появляются два подведомственных Наркомпросу института, специализирующихся на изучении экскурсионного опыта, разработке методики и подготовке экскурсионных кадров — Центральный музейно-экскурсионный институт, работавший в Москве, и Петроградский (Ленинградский) экскурсионный институт, организуются экскурсионные станции, проводятся съезды экскурсионистов, собирающие сотни участников. Обсуждение вопросов, связанных с экскурсионной практикой, обнаруживает различие позиций его участников по вопросам о статусе экскурсионного дела, о качестве и иерархии экскурсионных объектов и методах их демонстрации. Многочисленные статьи и книги, вышедшие в то время, составляют на сегодняшний день существенную часть работ по экскурсиеведению.

Постепенно происходит институционализация экскурсий в рамках системы школьного образования. Как отмечает Ш. Плаггенборг, между представителями различных политических позиций существовала известная общность в представлениях о культуре и воспитании, благодаря чему инновации и эксперименты в этой сфере получали поддержку³⁸. Внедрение экскурсионного метода обучения осуществляется в контексте установки на сближение школы с жизнью, определявшей обучение в новой советской "трудовой" школе³⁹. В частности, это выразилось в экспериментах по замене предметной системы обучения преподаванием по комплексам, которое строилось на том, что окружа-

* Писцов К.М. Экскурсии как компонент культурно-просветительной политики в первое десятилетие Советского государства. С. 47—50, 77—86; Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в России. С. 22.

³⁷ Значение этих факторов подчеркивает в своей работе Ш. Плаггенборг (см.: Плаггенборг Ш. Революция и культура. СПб., 2000. С. 251).

" См.: Плаггенборг Ш. Революция и культура; ср. Смирнов Н.Н. Выступление в дискуссии // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х годов. СПб., 2003. С. 358-379.

" Показательно, что педагогические журналы и сборники были одной из основных площадок обсуждения собственно экскурсионного метода.

432

Знание о прошлом в теории экскурсии

ющая действительность не должна была подвергаться схоластическому расчленению, а явления изучались в их жизненной взаимосвязи. Такая организация усиливала прагматическую функцию образования. В этой перспективе экскурсии рассматривались уже не как вспомогательное средство, но часто как основа преподавания в целом.

Бытование экскурсий как в образовательной, так и в научной сферах в довольно большой степени определялось их связью с краеведческим движением. Реализованная им тенденция к локализации и демократизации научного знания наметилась еще до революции. Но подлинный размах движение приобрело в 1920-е гг., в течение которых число краеведческих организаций перевалило за 1700. В деятельности краеведческих организаций самого разного калибра — от школьных до более профессиональных, существовавших на уровне губернии или области, — научные, образовательные и просветительские задачи соединялись с задачами охраны памятников, природы и т.д. *° Эта деятельность довольно быстро получила поддержку официальных инстанций. Глава Наркомпроса А.В. Луначарский назвал краеведение "органом самопознания страны"⁴¹. Научный статус краеведения характеризует хотя бы то, что уже в 1921 г. при Президиуме Академии наук создается Центральное бюро краеведения, во главе которого становится участник Приютинского братства и неперемный секретарь Академии С.Ф. Ольденбург, а к занятиям в этой области оказываются причастными многие крупные ученые, представители различных областей знания. В связи с участием в развитии краеведения переживает возрождение и Приютинское братство.

Одной из важнейших задач краеведения становится сохранение различных объектов, путем придания им статуса "культурного наследия". Это касалось и активно преобразуемой городской среды (здесь достаточно вспомнить ленинский план монументальной пропаганды) и музейной сферы, где, как пишет М.Б.

Гнедовский, в первые послереволюционные годы возникла необходимость "осмысления и переосмысления, распределения и перераспределения огромного количества

⁴⁰ Подробнее об этом см., например: Филимонов С.Б. Краеведение и документальные памятники. М., 1989.

⁴¹ Цит. по: Шмидт С.О. Краеведение в научной и общественной жизни России 1920-х годов // Шмидт С.О. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 153.

433

Феномен прошлого

предметов, вырванных из привычных форм бытования, поставленных под охрану государства и буквально вызывавших о придании им каких-то культурных значений"⁴².

Гревс и Анциферов оказываются в авангарде экскурсионного дела и краеведения. Они работают в отделе музеев Петроградского управления научных и художественных учреждений, гуманитарном отделе Петроградского экскурсионного института, Центральном бюро краеведения и ряде других мест, участвуют в совещаниях по краеведению и экскурсионному делу, в публикации сборников и периодических изданий по этой тематике. В качестве руководителя гуманитарного отдела Экскурсионного института Гревс намечает широкое поле деятельности, выделяя в нем три основных направления развития экскурсионного дела: 1) разработка методологии и методики проведения экскурсий, учения о природе экскурсионности, формах и способах экскурсионного образования; 2) классификация типов и категорий экскурсий; 3) исследование материала и "выявление экскурсионных объектов"⁴³. Работа в сформировавшейся вокруг этих задач группе единомышленников открывает для Гревса и Анциферова возможности адекватной самореализации. В письме Е.Я. Рудинской от 29 сентября 1921 г. Гревс пишет:

"Мы много делаем для методического основания вопроса, изучаем материал, вырабатываем планы. Быть среди памятников, общаться с людьми, их любящими, подводить к ним людей, от них просвещающихся, погружаться в подлинные художественные следы старины — в этом кроется источник громадного и разнообразного наслаждения... Находимся в деятельных и одушевленно дружеских отношениях с такой же московской группой. Когда погрузишься в созерцание этого прошлого, отрешись от настоящего, то черпаешь силу в ощущении связи между временами"⁴⁴.

⁴² Гнедовский МБ. Проектирование *a* музейном деле: история и перспективы // Музеи мира. М., 1991. С. 149.

Следует уточнить, что *art* предметы далеко не всегда находились под охраной государства и экскурсионистам нередко приходилось буквально спасать их от расхищения и уничтожения. См. об этом, например: Добкин А.И. Примечания // Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 455.

⁴³ Гревс И. М. Гуманитарный отдел Ленинградского экскурсионного института (его общие задачи и ближайший план), 1924 // Вахромеева О.Б. Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие И.М. Гревса. С. 308—309.

⁴⁴ И.М. Гревс — Е.Я. Рудинской, 29 сентября/12 октября 1921 г. // Там же. С. 302.

434

Знание о прошлом в теории экскурсии

Оправданность сотрудничества с новой властью вытекала из идеологии культурничества. Энтузиазм, связанный с приходом в культуру и науку целых социальных слоев, создавал почву для взаимодействия с новой властью, стремление же интеллигенции приобщить народные массы к культуре соответствовало государственным задачам⁴⁵. Более того, поиски компромисса в отношениях между учеными и властью заставляли считаться с господствующей идеологией, способствовали сближению "языка науки" и "языка власти".

Другим побудительным мотивом для продолжения интеллектуальной деятельности в условиях нового режима у Анциферова и Гревса, как у многих других ученых в то время, был, по-видимому, патриотизм⁴⁶. Идеи культурничества и патриотизма воплотились в проекте так называемого гуманитарного краеведения, который оформляется в их работах этого периода⁴⁷. Однако, несмотря на лояльность по отношению к власти, этому проекту была отпущена весьма недолгая жизнь. Краеведение и экскурсионное дело столкнулись с давлением социального заказа на соответствие знания принципам марксистской

⁴⁵ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 420; ср.: Сидорова Л.А. Духовный мир историков "старой школы".

Эмиграция внешняя и внутренняя. 1920-е гг. // История и историки: историографический вестник. 2003. С. 168—191. Характерным в этом случае представляется следующий пример. Д.И. Шаховской, один из наиболее активных членов Приютинского братства, излагает в одном из писем И.М. Гревсу свою оценку деятельности С.Ф.

Ольденбурга. Соглашаясь с недовольством Гревса чрезмерной готовностью Ольденбурга идти на компромиссы с властью и его погруженностью в суету организационной работы, Шаховской пишет о том, что если Ольденбург бросает лозунг культурной революции, то нужно отбросить частные недовольства и встать под его знамена. См. об этом: Шаховской Д.И. Письма о братстве // Звенья. Вып. 2. С. 256.

⁴⁶ См. об этом: Колчинский Э.М. Борьба за выживание: академия наук и гражданская война // Академия наук в Санкт-Петербурге в XVIII—XX веках: Исторические очерки. СПб., 2002. С. 375. Это показательно с точки зрения интеллектуальной эволюции Гревса, который в дореволюционном академическом мире воспринимался как "западник", без должного почтения относящийся к отечественной истории (см.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 2. Д. 5695. Л. 62—64).

⁴⁷ Общность их подходов является аксиомой; если же говорить об их различиях, то можно указать на то, что Гревс развивает преимущественно общую теорию экскурсии, тогда как Анциферов больше внимания уделяет, во-первых, вопросам методики, а во-вторых, теме литературных экскурсий.

435

Феномен прошлого

идеологии и преобразование традиционных гуманитарных дисциплин в систему общественнознания, с

характерными установками на разрыв с прошлым и познание современности, а в ней — преимущественно производительных сил. Если в начале 1920-х гг. эта линия проводилась не слишком жестко, оставляя возможность для альтернативных подходов, то ближе к концу десятилетия происходит усиление идеологического контроля. Постепенно была свернута работа экскурсионных станций и институтов, проведена централизация краеведения и ликвидация его научной автономии, а затем вместе с фабрикацией "дела Академии наук" в 1929—1930-х гг. был осуществлен разгром краеведения, многие участники этого движения, в том числе и Н.П. Анциферов, были репрессированы. Экскурсионное дело начало новую жизнь в рамках советского туризма.

Изучение города и проблемы исторического синтеза в работах И.М. Гревса и Н.П. Анциферова

Формирование теории экскурсии И.М. Гревса связано в первую очередь с его интересом к изучению культуры, одним из основных символов которой для него выступал город. Характеризуя этот интерес, постараюсь объединить в своем изложении различные уровни исторического мировоззрения Гревса — от конкретно-методологического до философско-исторического. Выше уже была отмечена увлеченность Гревса проблематикой исторической топографии, проявившаяся уже в его диссертации, посвященной истории римского землевладения⁴⁸. Историко-топографические штудии стали одной из существенных основ его экскурсионного метода. В своих исторических трудах и учебных курсах Гревс занимался преимущественно изучением городов Средневековья. Краеугольным камнем разделяемого им подхода была, по его собственному определению, гипотеза о "средневековых городах и их освобождении как результате непрерывной преемственности основных плодов великой (в данном случае — античной) культуры,

⁴¹ Подробнее об этом см.: Каганович Б.С. И.М. Гревс — историк средневековой городской культуры. С. 215—217.

436

Знание о прошлом в теории экскурсии

трансформируемой под действием новых факторов обновляющейся жизни"⁴⁹. В этой формулировке отчетливо просматривается и его гуманистическое, в духе идеализма XIX в., понимание исторического процесса. Историческое развитие в его представлении было прогрессом культуры, непреходящее ("вечное") содержание которой Гревс связывал с античными традициями. Соответственно Средневековье воспринималось Гревсом в духе "умеренного романтизма". Как пишет Анциферов, "Иван Михайлович не стремился защитить Средние века их собственными ценностями, именно тем, что отличает их от других эпох. Он искал в них то, в чем они схожи с Римом и Новым време-

нем

нем

Город в этой перспективе выступает как очаг "возрождения" античной культуры, как средоточие культурного брожения и, следовательно, свидетельство того, что Средние века не были "неподвижной" эпохой и "ночью культуры" и что в них мы также можем обнаружить моменты динамики⁵¹. Что же касается оценки значения города для исследования эпохи, то в дальнейшем она, как кажется, становится еще более высокой. В своих статьях начала 1920-х гг. Гревс характеризует город как высшую форму концентрации культурной жизни данного типа или эпохи и указывает на свою близость в этом отношении к подходу Шпенглера, концепцию которого во многих других отношениях он и его ученики оценивали отрицательно⁵². Вера в прогресс культуры не делала историю в понимании Гревса сферой господства безличных процессов. Следствием его индивидуализирующего подхода и приверженности идее личности стало то, что общечеловеческие ценности воспринимались им сквозь призму "об-

⁴⁹ Цит. по: Каганович Б.С. И.М. Гревс — историк средневековой городской культуры. С. 224.

⁵⁰ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 168.

⁵¹ См. об этом: Степанов Б.Е. Время синтеза: средневековье и современность в работах представителей школы И.М. Гревса // Культура XX: Научно-образовательный альманах Института европейских культур. М., 2001. С. 237.

Утверждение подвижности в отношении средневековой культуры (или ее исследовательской характеристики) можно считать важной особенностью стратегии реабилитации эпохи в творчестве Гревса и его учеников.

⁵¹ Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл // Экскурсионное дело. 1922. № 4—6. С. 4; Гревс И.М. Город как предмет краеведения. С. 247.250.

437

Феномен прошлого

разов человечества, в качестве которых выступали гении, духовно прекрасные личности", такие, как Данте или Франциск Ассизский⁵³. Гений, таким образом, выступал и как личность, внесшая вклад в развитие культуры, и как источник для характеристики своеобразия эпохи, которое для Гревса выражалось понятиями "дух эпохи" или "couleur temporal"⁵⁴. Это двусмысленная трактовка "роли личности в истории", выражающая общую противоречивость исторического мировоззрения Гревса, проявилась и в том, что свой метод он определял как "биографический". Склонность к олицетворению индивидуального в истории, обоснованная в конечном итоге пониманием истории как биографии человеческого рода⁵⁵, получила свое гипертрофированное выражение в его работах по градоведению 1920-х гг. Здесь город, выступающий для Гревса преимущественным объектом экскурсирования, понимается как личность, обладающая анатомией, физиологией и психологией⁵⁶. Это понимание разделялось и Анциферовым, о чем недвусмысленно " Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 168—169.

⁵⁴ Этот подход разделял и Н.П. Анциферов: "Лучшим источником для понимания couleur temporal является гениальная личность. Здесь необходимо оговорится: гениальная личность не как фактор истории, а как ее документ" (Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 146. Следует отметить, что Анциферов также был склонен отдавать приоритет этической оценке предмета исследования. В своих воспоминаниях он писал: "Я оценивал человека исходя из того лучшего, на что он способен. Также оценивал и культуру любой эпохи, и сословие, и нацию" (Цит. по: Конечный А.М., Кумпан К.А. Петербург в трудах и жизни Н.П. Анциферова // Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 7).

⁵⁵ Гревс И.М. Лик и душа средневековья (по поводу вновь вышедших русских трудов) // *Анналы*. 1922. № 2. С. 27. Понимание истории как биографии человечества коренится в приверженности Гревса "всемирно-исторической точке зрения", которая уже его современниками Н.И. Кареевым и Д.М. Петрушевским была раскритикована как "остатки гегельянской метафизики" и "запоздалые отзвуки старой философии истории". См. об этом: Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX — начале XX веков: *Дне...* канд. ист. наук. Л., 1986. С. 60.
* Ср., например: "Город... надо понять, как нечто внутренне цельное, как особый «субъект», собирательную личность, живое существо, в «лицо» которого мы должны вглядеться, понять его «душу», познать и восстановить «биографию города»" (Гревс И.М. Город как предмет краеведения. С. 249). См. также: Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл. С. 5.

438

Знание о прошлом в теории экскурсии

свидетельствуют хотя бы заглавия двух его крупных работ "Душа Петербурга" и "Пути изучения города как социального организма".

Биография как образ целостности становится у Гревса горизонтом программы культурной истории в духе *Geistgeschichte*. Синтетический характер его восприятия культуры ("Культура — это весь человеческий мир..."), как мировоззрения или жизненной стихии, проявлялся во всем — вплоть до бытовых деталей⁵⁷. Этим восприятием были предопределены некоторые существенные особенности сформировавшегося в школе Гревса подхода к изучению истории. Вместо позитивистской установки на очищение реальности от субъективного вымысла в творчестве Гревса и его учеников мы видим стремление понять "миф", "легенду", "религиозность", т.е. само субъективное восприятие, как часть исторической реальности или даже — делая таким образом шаг к религиозной философии истории — как ее существо. В соответствии с этими устремлениями осуществлялось и переосмысление критериев достоверности знания, смена приоритетов в подборе исторических источников и технике работы с ними.

Поиски проявлений "психической стихии" автора источника или "жизненной стихии" эпохи повышали значимость не только "литературных" источников *par excellence*, но и вообще эстетических и стилистических аспектов любого источника и умения чувствовать их⁵⁸. Это открывало новые возможности использования "немых", "бессознательных" и "бесстрастных" отражений прошлого, в частности — монументальных памятников, которые станут для Гревса и Анциферова основными экскурсионными объектами⁵⁹. Значение эстетического опыта может быть подчеркнуто и в другом отношении: усиление внимания к историческим памятникам и, более того, признание многих из них таковыми (в частности, это касается византийского и древнерусского искусства) происходило часто в большей степени благодаря

"Анциферов в одной из работ использует для характеристики культуры заимствованное у А.С. Лаппо-Данилевского понятие "консенсуса", т.е. системы, "все элементы которой находятся во взаимной зависимости" (Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. Л., 1926. С. 33).

⁵⁷ См. об этом: Каганович Б. С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX — начале XX веков. С. 39.

⁵⁸ См.: Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. СПб., 1910. С. 9.

439

Феномен прошлого

искусству, нежели науке. Сдвиг в художественных вкусах оказывался условием изменения исторической оптики⁶⁰. Показательна в этом отношении тесная связь Анциферова с неоклассицистским движением. Тем не менее, как отмечает Б.С. Каганович, "позитивистский элемент" во взглядах Гревса на теорию истории "...всегда оставался силен"⁴¹. В частности, это относится к концепции исторического синтеза и его осуществлению в работе историка. Девизом Гревса была фраза Н.Д. Фюстель де Куланжа: "Для одного синтеза требуются годы анализа"⁶². Наиболее адекватной формой исторического труда Гревс, по воспоминаниям Е.Ч. Скржинской, полагал построение книги как ряда очерков. Такая форма позволяла, с одной стороны, "сохранить" индивидуальное и динамику истории, с другой — избежать окончательных выводов⁶³. Эту установку можно считать одной из ипостасей его индивидуализирующего подхода, проявлявшегося также в неприятии социологизма и номотетики. Это же понимание исторического синтеза выразилось и в критике, высказанной Гревсом в адрес синтетических трудов о средневековой культуре, среди которых были и труды его учеников — Л.П. Карсавина и О.А. Добиаш-Рождественской⁶⁴.

Показательно при этом, что синтетическое описание "души Петербурга" в одноименной книге Анциферова вызывает у Гревса сугубо позитивную оценку⁶⁵. Можно предположить, что для Гревса и, по-ви-

⁶⁰ См. об этом: Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры. М, 1990. С. 77—85.

⁴¹ Каганович Б.С. Русские историки Средних веков и Нового времени конца XIX — начала XX века. С. 34.

⁶² Там же. С. 56.

⁶³ Скржинская Е.Ч. Иван Михайлович Гревс // Гревс И.М. Тацит. С. 247. Сам И.М. Гревс избрал эту форму для основного своего труда "Очерки римского землевладения".

⁶⁴ Гревс И.М. Предисловие // Эйкен Г. История и система средневекового мирозерцания. М., 1907. С. XXVIII—XXX; Гревс И.М. Лик и душа средневековья (по поводу вновь вышедших русских трудов). С. 27; Гревс И.М. Подготовительные материалы к отзыву на "Основы средневековой религиозности XII—XIII веков, преимущественно в Италии" Л.П. Карсавина. ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 165. Л. 27—28; Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX — начале XX веков. С. 122.

⁶⁵ Гревс И.М. Предисловие // Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 25-26.

440

Знание о прошлом в теории экскурсии

димому, для Анциферова в образе города, формирующемся в контексте краеведения и экскурсионного подхода, оказываются объективно воплощенными различные аспекты исторического синтеза. Город воплощает сложность культуры и одновременно обладает целостностью, присущей организму и личности. Эта целостность дается наглядно и одновременно изучается индуктивно⁶⁶. Таким образом, город представляет собой объект изучения, который в своем бытии содержит основу синтетического постижения культуры. Важнейшим средством изучения города становится экскурсия, и речь, стало быть, идет об осмыслении возможностей включения опыта города в теорию истории⁶⁷.

Теория экскурсии и проблема репрезентации прошлого

Познавательный смысл экскурсии как формы исторической работы заключается в возможности более непосредственного соприкосновения с прошлым — в этом отношении она, по мысли Гревса, венчает длительный цикл предварительных научных занятий.

"Наблюдение непосредственным глазом разнородных археологических памятников искусства и быта в естественной обстановке, которая их вырастила, дает в один день яркую и искрящуюся жизнь длинной веренице фактов, в течение многих месяцев болезненным усилием разыскивавшихся в тяжелых толстых фолиантах и оставшихся туманными"⁶⁸.

При этом само восприятие экскурсии двойственно. С одной стороны, Гревс характеризует экскурсию как "важное средство обучения мастерству историка", дополняющее другие формы образования обращением к новому типу источников и способствующее "углублению

⁶⁴ Гревс И.М. Город как предмет краеведения. С. 247—248; Гревс И.М. Краеведение в современной германской школе. Л., 1926. С. 22. В некоторых местах есть оговорки относительно проблематичности органицистской метафоры (см.: Анциферов Н.П. Город как объект экскурсионного изучения // Краеведение. 1926. № 2. С. 181). "К сожалению, в рассмотрении темы города приходится ограничиться лишь формулировкой гипотез, задающих рамки дальнейшего анализа.

"Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 10.

441

Феномен прошлого

знаний, проверке понятий, образованию идей и уточнению приемов и навыков их добывания"⁶⁹.

"От книг к памятникам, из кабинета на реальную щеку истории и с вольного исторического воздуха опять в библиотеку и в архив! Таков должен быть девиз, который символизировал бы в историке взаимодействие различных факторов, обуславливающих возможность и силу его творчества"⁷⁰.

Таким образом, эффект экскурсий как нового момента в процессе обучения историка возникает из продуктивного напряжения между знанием о прошлом и восприятием связанных с ним объектов. Экскурсионный опыт характеризуется яркостью и свежестью⁷¹. И слова о "яркой и искрящейся жизни" и "вольном историческом воздухе" в приведенных выше цитатах — это лишь два свидетельства того, что этому опыту может придаваться исключительный статус, выделяющий его из ряда других дидактических приемов. Это преобразование рассмотрим преимущественно на материале работ по теории и методике экскурсионного дела 1920-х гг.⁷²

"Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 9.

Сопоставление с полученными впечатлениями предварительного знания, взятого как из научных трудов, так и из более или менее популярных туристических руководств, создавало полифонию, благоприятную для критической оценки последних. Примером здесь могут служить письма Л.П. Карсавина И.М. Гревсу.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Важным условием этого является, по Гревсу, интенсивность общения в рамках экскурсии (Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл. С. 10).

⁷² К сожалению, за рамками анализа остался целый ряд находящихся в архивах текстов И.М. Гревса и Н.П. Анциферова. О них см.: Враская О.Б. Архивные материалы И.М. Гревса и Н.П. Анциферова по изучению города // Археографический ежегодник за 1981 год. М., 1982; Каганович Б.С. И.М. Гревс — историк средневековой городской культуры. С. 219.

Неполнота привлеченного материала до некоторой степени компенсируется тем, что, по свидетельству Б.С. Кагановича, опубликованные тексты И.М. Гревса и Н.П. Анциферова достаточно репрезентативны для их концепции. Кроме того, за пределы рассмотрения вынесены также и тексты об экскурсиях других учеников И.М. Гревса — Г.Э. Петри, Т.Б. Лозинской и др. В этом ограничении мы исходили из представления о большей близости, систематичности и влиятельности концепций Гревса и Анциферова, не в последнюю очередь обусловленной их личной близостью.

442

Знание о прошлом в теории экскурсии

В статье "Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру" Гревс определяет экскурсию как "путешествие к определенной цели", состоящей в погружении учащихся

"в широкий мир для непосредственного изучения самостоятельным трудом, личными и коллективными силами подлинных объектов, которые намечены избранною темою в их естественной обстановке, среди природы, человеческой культуры или обеих вместе"".

В этом определении отмечаются практически все важные в понимании Анциферова и Гревса атрибуты экскурсии (целостность познания ("широкий мир", объединяющий природу и культуру), подлинность объекта и естественность его окружения, тематическая определенность и активность экскурсанта, непосредственность контакта, связанного с перемещением в пространстве, коллективность опыта)⁷⁴. В значительной степени выделение этих атрибутов было общим местом дискурса об экскурсиях начала века. Например, идея получения жизненного знания, противопоставляемого книжному знанию, закреплялась метафорой чтения "книги жизни" (природы, ландшафта и т.п.). Обращение к этой метафоре, традиционно обозначающей обозримость, представленность и постижимость значений в рамках чего-то целого", было, по-видимому, общим местом дискурса об экскурсиях. Оно обнаруживается также и в текстах столь разных по своим идеологическим ориентациям авторов, как А.Ф. Гартвиг, один из идеологов журнала "Экскурсионный вестник", и Н.К. Крупская⁷⁶.

⁷⁵ Гревс И.М. Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру // *Экскурсии в современность*. Л., 1925. С. 13; Ср.: Гревс И.М. Краеведение в современной германской школе. С. 7.

⁷⁴ Ср.: Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. Л., 1926. С. 34.

⁷⁵ См.: Дубин Б. В. Хартия книги: книга и архикнига в организации и динамике культуры // *Слово — письмо — литература: очерки по социологии современной культуры*. М., 2001. С. 84. Было бы интересно проанализировать эту метафору и в более социологически-конкретной перспективе состояния и места книжной культуры в первой трети XX в.

⁷⁶ Гревс И.М. Краеведение в современной германской школе. С. 26; Крупская Н.К. Педагогические произведения: В10 т. М., 1959. Т. 2. С. 372—373; Гарт-виг А.Ф. Школа и экскурсии // *Экскурсионный вестник*. 1914. № 1. С. 12.

443

Феномен прошлого

Экскурсия становится для наших авторов осуществлением идеи более непосредственного и целостного познания культуры⁷⁷. Возможность такого понимания, очевидно, обусловлена нечетким различением темы экскурсии и ее объекта. У Анциферова эта тедоенция реализуется уже в самой общей классификации экскурсий, которые он делит на демонстрирующие и комментирующие. В первых объект экскурсии имеет самодовлеющее значение, во вторых выполняет функцию комментария. Показательна устойчивость этого принципа классификации, получающей в разных исследованиях различное наполнение: в работе 1923 г. Анциферов относит к демонстрирующим эстетические, истори-ко-художественные, технико-экономические и этнографические экскурсии, а также ряд подтипов историко-культурных экскурсий, связанных с характеристикой индивидуальности города, реконструкцией его топографии и выделением следов его роста, с прослеживанием этапов развития определенного историко-культурного процесса; в работе 1926 г. к демонстрирующим относятся уже все не-гуманитарные: экономико-технические и естественно-исторические экскурсии, а также ряд гуманитарных, например, экскурсия, объектом которой является пейзаж Москвы^{7*}.

⁷⁷ Целостность, характеризующая познание культуры, противоплагается у Гревса узости "производственной точки зрения" в краеведении. В одной из работ Гревс пытается расширить последнюю до целостности культуры, связывая ее с понятием произведения. С утверждением целостности культуры связаны и указания на необходимость изучения быта. Ср., например: Гревс И.М. Город как предмет краеведения. С. 247; Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл. С. 2; Гревс И.М. Народное искусство в краеведческой школьной работе // *На путях краеведения*. М., 1926. С. 130; Анциферов Н.П. Экскурсии по экономическому и социальному быту городов // *Экскурсии в современность*. С. 35. О значении "целостности" как символического ресурса свидетельствует то, что на XVI съезде ВКП(б) гуманитарное краеведение критиковали за "аполитичность" и "узкое культурничество" (Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в России. С. 94).

⁷¹ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. Л., 1926. С. 63—64; Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. Пг., 1923. С. 25—31. Другую классификацию см. например: Гревс И.М. Гуманитарный отдел Ленинградского экскурсионного института (его общие задачи и ближайший план). 1924. С. 308—309.

444

Знание о прошлом в теории экскурсии

Выделение демонстрирующих экскурсий задает горизонт непосредственности познания и, как свидетельствует вторая из приведенных классификаций, теоретически эта непосредственность закрепляется прежде всего за естественнонаучными⁷⁹, хотя практически относится и к гуманитарным экскурсиям, что подтверждается приведенной выше общей характеристикой экскурсий. Утверждение "непосредственности" может быть истолковано вполне позитивистски (конечно, за вычетом всех недоразумений, возникающих в связи с приведенной классификацией), если увидеть в нем попытку сделать предметом рефлексии визуальные особенности объекта и пространственные предпосылки его восприятия. У Анциферова в эту рубрику попадают следующие аспекты опыта и его анализа: моторность познания, переживание реальных пространственных соотношений, "разбор видимых особенностей" и реконструкция на их основе первоначального образа памятника и т.д.⁸⁰ Предметом созерцания в данном случае становятся "возрастное углубление", "печать времени", "ощутимые следы" исторической жизни, закрепленные в облике города, в смене архитектурных стилей⁸¹.

Вместе с тем, в понимании Анциферова и Гревса, непосредственность познания характеризует и специфику гуманитарных экскурсий, несмотря на то что в большинстве своем они, как было сказано, относятся к типу комментирующих, посвященных рассмотрению недоступного наблюдению объекта⁸². Анциферов полагает вещественные и монументальные памятники более непосредственными свидетельствами-
" Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 9; Гревс И.М. Город как предмет краеведения. С. 247.

⁸⁴ Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. С. 32, 37—38. Ср. характеристику развиваемого историко-культурной экскурсией "умения видеть" у Н.А. Гейнике: "Во-первых, умение найти в объекте типичные черты и особенности историко-культурного характера. Во-вторых, надо уметь определять наслоения в экскурсионном объекте, сделанные временем, определить его эволюцию. В-третьих, надо уметь находить исторические факты в монументальных и музейных памятниках" (Гейнике Н.А. Культурно-исторические экскурсии. С. 6).

" Для такого рода проработки могут быть использованы особым образом подготовленные карты (Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 146).

" Ради полноты характеристики отметим, что в одной из работ Анциферов признает даже сконструированноеTM образа прошлого в историческом познании (Там же. С. 21).

445

Феномен прошлого

ми о прошлом в сравнении с памятниками документальными. "Немые памятники суть непосредственно данные элементы культуры, не преломленные чуждым сознанием"⁸³. В этой интерпретации "немые памятники" уже не просто еще один тип источников, но уже источник *par excellence*. Их уникальность, обусловленная специфической подлинностью, делает их необходимым предметом изучения для гуманитарных наук, специализирующихся на изучении индивидуального. Контакт с уникальным объектом, в котором таким образом воплощено индивидуальное, необходим "для постижения его целостного образа"⁸⁴. Намеченное здесь соответствие непосредственности восприятия и подлинности объекта можно сопоставить с рассуждениями В. Беньямина об ауре произведения искусства: подлинность этого объекта, его принадлежность к традиции, делающая объект уникальным и самоценным, заставляет более внимательно отнестись к самой его материальности, вплоть до восприятия его как объекта религиозного поклонения⁸⁵. Такое непосредственное восприятие прошлого возможно в рамках комментирующих экскурсий, посвященных рассмотрению объекта, недоступного взору экскурсанта (личность, событие, эпоха) на непосредственно связанном с ним материале в первую очередь к ним относятся литературные и некоторые типы историко-культурных экскурсий. Это восприятие Анциферов и Гревс называют "историко-топографическим чувством". Историко-топографическое чувство возникает в процессе соприкосновения с объектами, обладающими аурой подлинности, несущими на себе печать личности (личные вещи или излюбленные места) или являющиеся свидетелями определенного исторического события, излучающие "какие-то энергии, вложенные в них людьми или событиями"⁸⁶.

⁸⁵ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 8. Ср.: "Душа города — это нечто вполне осязаемое, познаваемое опытом..." (Гревс И.М. Городские ландшафты: этюд из культурной географии // Вопросы географии в школе. Л., 1926. С. 126).

⁸⁶ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 22—23.

" Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости // Озарения. М., 2000. С. 126, 128; ср. также рассуждения Г. Зиммеля о специфическом значении материальности руин (Зиммель Г. Руина // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 227).

⁸⁷ Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 158. 446

Знание о прошлом в теории экскурсии

"Словно место, озаменованное великим событием, побеждает время. Когда находишься на нем, размыкается цепь времен, текущий миг прикладывается к прошлому, и яркой искрой вспыхивает переживание угаснувшего былого. Такова сущность историко-топографического чувства, возводящего в наиболее ярких своих проявлениях великие события в культ"⁸⁷.

Эта характеристика историко-топографического чувства стилистически воспроизводит язык текстов Гревса, посвященных описанию итальянских экскурсий. Вместе с тем этому опыту определенно придаются мистические коннотации. Сами объекты экскурсии могут быть невыразительными и незначимыми, значима прежде всего аура подлинности, носителями которой они являются. Историко-топографическое чувство, по-видимому, можно считать специфическим элементом экскурсий комментирующих. "Они, — пишет об этом типе экскурсий Анциферов, — в гораздо меньшей степени базируются на зрительных впечатлениях, демонстрируемый материал в этом случае имеет чисто служебное значение"⁸⁸. Кроме того, важно, что этот сверхвизуальный опыт возникает преимущественно благодаря словесному ряду — будь то предварительная подготовка экскурсантов или талант руководителя экскурсии. Характерно, что время здесь воспринимается не как объективированное (ср. выше "печать времени"). В этом опыте происходит соединение настоящего и прошлого⁸⁹. Этот опыт, устраняющий временные различия, является итогом некоторого пути, пространственного перемещения. Показательно в этом смысле и то, что понятия *co-uleur temporal* и *couleur local* употребляются в характеристике предмета как однопорядковые.

"Очевидность" описываемого опыта "поддерживается" целым рядом визуальных метафор, обозначающих субъективную или объектив-

" Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. С. 34. Ср.: Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 43, 45, 79; Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за

вечность. (Фрагменты) (1918—1942). Историко-топографическое чувство у Анциферова связано не только с монументальными памятниками, но и с обстановкой дома, где жил великий человек, с принадлежавшими ему вещами и т.п.

" Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. С. 38.

" Ср. о темпоральной природе реликвий и эффекте пробуждения чувства прошлого у Д. Лоуэнталя (Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая страна. СПб., 2004. С. 382-390).

447

Феномен прошлого

ную глубину зрения/видимого: "мыслящий взор", "видение целостного образа"(заимствованные, соответственно, у Ф.М. Достоевского и у М.О. Гершензона), "былое просвечивает в настоящем"и т.п." Так выражается способность к символическому усмотрению "духа места", воплощенного в конкретных образах и объектах. Этими воплощениями могут быть и памятник, и отдельный ландшафт, и исторический и литературный персонаж (например, Павел I как *genius loci* Гатчины). Именно в описаниях историко-топографического чувства у Анциферова и Гревса возникает романтический дискурс воскрешения. Вот характерный пример:

"Надо уметь заселять дома предками нынешних их обитателей, опять по принципу отыскания былого вокруг нас. Так настоящее будет спаяваться с прошлым, пейзаж города (часто, кажется, серый и будничны) будет приобретать колоритность, углубится перспектива"⁹¹.

Этот дискурс у Анциферова и Гревса поддерживается и антропоморфическими метафорами, вроде "оухотворение дома" (города), представление о городе и доме как о "нечеловеческих существах" и т.д. Выраженный таким образом индивидуализирующий подход составляет, пожалуй, основной нерв их теории экскурсий. Нельзя сказать, чтобы задачи построения типологии не стояли перед Гревсом и Анциферовым — в целом ряде работ они намечают типологию городов и их развития. Однако типологическая задача экскурсии является для них второстепенной, о чем еще будет сказано ниже⁹². В соответствии с

⁹⁰ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 9, 23; Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 217, 223. Подобный дискурс был впоследствии иронически обыгран в кинокомедии Г. Казанского "Не имей сто рублей" (1959), в которой повествуется о злоключениях экспедиции, отправившейся на поиски древнего клада. Руководителем экспедиции в этой комедии, снятой в эпоху реабилитации краеведения, выступает директор краеведческого музея — человек добродушный, но не приспособленный к жизни, он обладает даром увлекать людей. В начале каждой такой речи он говорит своим спутникам: "Закройте глаза. Сейчас я нарисую вам картину".

" Гревс И.М. Город как предмет школьного краеведения // Вопросы краеведения в школе. Л., 1924. С. 81; см. также: Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. С. 33; Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 44.

" О типологических экскурсиях см.: Анциферов Н.П. Литературные экскурсии (Медный всадник) // Вопросы экскурсионного дела. Пг., 1923. С. 131; Анци-

448

Знание о прошлом в теории экскурсий

выраженной таким образом установкой на индивидуализацию и персонификацию скромная роль руководителя экскурсий, как комментатора, восполняется почти сверхъестественной, магической способностью воскрешать прошлое.

Различным в рамках демонстрирующих и комментирующих форм должно быть, по-видимому, и соотношение способов использования слова. Из шести способов, вошедших в приводимую Анциферовым классификацию, три — разбор видимых особенностей, общая характеристика памятника в связи с поставленной темой, реконструкция с опорой на зрительные впечатления первоначального образа памятника — связаны с анализом визуального восприятия от объекта экскурсий. Другие три формы использования слова — справки, метод "живого слова", позволяющий "обрисовать всю исчезнувшую жизнь", и индукция, связанная с переходом к характеристике эпохи, — выполняют синтетические функции и должны преобладать в экскурсиях комментирующего типа, где демонстрирующий материал имеет служебное значение⁹³. Можно предположить, что именно эти "синтетические формы", к которым относится и выразительное чтение соответствующих цитат, участвуют в формировании обсуждаемого сверхвизуального опыта. Таким образом, в этом опыте отсутствует граница между словесным и образным, между языком описания и языком объяснения-комментария, в качестве которого выступает язык монументов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 29; ср.: Гейнике Н.А. Культурно-исторические экскурсии. С. 17. Гревс отрицает в экскурсиях социологические задачи как исключительно абстрактные и разводит типологический и индивидуализирующий метод применительно к краеведению, связывая первый с образовательными задачами, второй — с научными (Гревс И.М. <Рец. на Культурно-исторические экскурсии / Под ред. Н.А. Гейнике. М., 1923> // Экскурсионное дело. 1922. № 4—6. С. 316; Гревс И.М. Город как предмет школьного краеведения. С. 68—69).

" Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. С. 14. В книге 1926 г. Анциферов соединяет разбор видимых особенностей с характеристикой памятника в один пункт, а в качестве отдельного пункта добавляет интерпретацию путем исследования места. Раскрывается этот прием на примере обнаружения в петербургском ландшафте такого места, где экскурсанты обретают конкретное понимание драматизма "Медного всадника" (Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. С. 37—47).

449

Феномен прошлого

тальных памятников⁹⁴. Следует отметить, что характер использования слова в экскурсиях был важным дискуссионным вопросом. В своих воспоминаниях Анциферов отмечает, что анализ зрительных моментов является особенностью московской экскурсионной школы, противопоставляя ему преобладание лекционных моментов у ленинградцев⁹⁵.

Одним из важных моментов, придающих объекту экскурсии качество подлинности, является пребывание его в естественной среде. Признание этого условия как необходимого момента экскурсии — общее место теории экскурсий того времени⁹⁶. Для Гревса и Анциферова естественность среды является основанием для утверждения "объектного" равноправия гуманитарного знания по отношению к естественнонаучному (существование "целокупной культуры" по аналогии с "целокупной природой"). Главный экскурсионный объект — город — обретает в их представлении черты организма, обладающего анатомией, физиологией, психологией. Таким образом намечается соответствие между целокупностью объекта и синтетичностью и комплексностью метода⁹⁷. Анциферов характеризует это соответствие, используя язык марксистского обществоведения: оно, по его мнению, позволяет исследователю преодолевать "гнет идеологических воздействий"⁹⁸. Связь с естественной средой, в качестве которой может оказаться как природная, так и культурная среда, выступает у него как критерий оценки познавательного "качества" объектов экскурсии. Наиболее соответствующими смыслу экскурсии объектами для него предсказуемо становятся городские и природные ландшафты и памятники, являющиеся сценой истории, причем руины оказываются в этом отношении предпочтительнее, чем восстановленные сооружения.

⁹⁴ Показательно, что, утверждая необходимость конкретизации литературных образов, Анциферов пишет о том, что "словесные образы только в переносном смысле могут быть названы зрительными" (Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 4).

⁹⁵ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 409. Симпатии в отношении лекционного метода и сдержанно-благожелательное отношение к вопросно-ответному методу анализа зрительных впечатлений отчетливо проявились и в его книге "Теория и практика экскурсий по обществоведению".

⁹⁴ См., например: Вопросы экскурсионного дела. С. 106.

⁹⁷ Гревс И.М. Краеведение в современной германской школе; ср.: Ангерт Д.Д. На путях синтеза // Экскурсионный метод в просветительской работе. М., 1923. С. 8.

⁹⁸ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 9.

450

Знание о прошлом в теории экскурсии

Представление о взаимопроникновении природы и культуры воплотилось и в идее использования природных состояний для познания прошлого, которая была сформулирована уже в ранних работах Гревса⁹⁹. Анциферов пишет о значении времени суток, времени года и погодных условий: их следует рассматривать в качестве дополнительных выразительных моментов экскурсии: они дают возможность точнее конкретизировать и полнее пережить атмосферу исторического события или литературного произведения. Природный ландшафт часто сравнивается с "рамой" города, однако очевидно, что отношение культурного объекта с его природным окружением скорее аналогично отношению иконы и храма, нежели картины и музея¹⁰⁰. Состояние природы и ландшафт выступают как залог устойчивости, неизменности смысла, передаваемого данным объектом, сам он приобретает черты явления природы. В этой перспективе время экскурсии — время синхроническое, обращенное к повторяющимся состояниям, или же вообще "снятое" в своеобразии посещаемого места, в его *genius loci*¹⁰¹. Показательно, что отношения "картины" и "рамы" могут получать интерпретацию в духе географического детерминизма.

"Значительно благодарнее будет наша работа, если мы сможем не только установить связь между событием и местом, но и вскрыть путем анализа ландшафта причинную зависимость... Иногда бывает возможным показать, что данное событие к лицу этому месту"¹⁰².

Таким образом, характеристика пейзажа может не только выступать как средство конкретизации, но и превращаться в объяснительную схему. Средством развития исторического воображения для Гревса и его учеников также оказываются и наблюдения над современной жизнью, которые, как пишет Гревс, "могут рождать бесполезные аналогии", поскольку "современное население многими пережитками прошлого в нынешнем его быту оживляет окаменелости вековой старины".

⁹⁹ Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 9.

¹⁰⁰ Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 208.

¹⁰¹ Ср. выше об однопорядковости понятий *couleur temporel* и *couleur local*.

¹⁰² Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. Л., 1926. С. 102; ср. также его концепцию "власти места".

¹⁰³ Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 33; ср.: Карсавин Л.П. Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л.П. Карсавина: Письма И.М. Гревсу (1906—1916). С. 26.

451

Феномен прошлого

В меньшей степени качеством естественности обладают такие традиционные объекты экскурсий, как музеи. Нынешнее состояние музеев и музейного дела представляется Гревсу и Анциферову неудовлетворительным, музеи критикуются ими за хаотичность и искусственность¹⁰⁴. В силу этого, по мнению Анциферова, в музеях "нельзя широко использовать экскурсионный метод"¹⁰⁵. Он признает трудность согласования интересов экскурсионистов и музейных работников, противоречие между задачами научной организации музея и потребностью сделать его местом, где посетители встречаются с живым прошлым. Давая оценку музейным комплексам, Анциферов подразделяет их на три типа: исторически сложившиеся, искусственно восстановленные в прежнем виде и искусственно созданные музеи типологического

характера¹⁰⁶. Наиболее соответствующими задачам экскурсии оказываются естественные комплексы, обращенные в музей. Примером здесь может быть дом великого человека, который сравнивается с храмом, наполненным реликвиями¹⁰⁷. Именно здесь возможно добиться пробуждения историко-топографического чувства. Более позитивной оценки заслуживают монументальные комплексы, которые могут быть названы музеями лишь метафорически¹⁰⁸. Метафора музея, таким образом, работает аналогично метафоре книги, о которой шла речь выше. Определенную ценность имеют в глазах Анциферова и музеи типологического характера. Вместе с тем вполне адекватной представляется

¹⁰⁴ Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. С. 15; Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 29.

¹⁰⁵ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 71. ¹⁰⁴ Там же. С. 76—79.

¹⁰⁷ Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 159; В другом месте Анциферов приводит в пример музей Чехова, в котором "время словно остановилось" (Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 45. Сочувствие идее естественных музейных комплексов ставит Анциферова и Гревса у истоков движения по организации так называемых сайт-музеев и мемориальных музеев, разворачивавшегося именно в 1910—1920-е гг. См. об этом: Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001. С. 157; Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 — первая половина 60-х гг. М., 1988. С. 75—76).

¹⁰⁸ Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. С. 15.

452

Знание о прошлом в теории экскурсии

ему экскурсия в музей как в научное учреждение, поскольку она отвечает принципу изучения объекта в естественной обстановке¹⁰⁹.

Приверженность идее непосредственности познания выражается в двойственной оценке Анциферовым субъективности — как познаваемой, так и познающей. Она может восприниматься и как подспорье, и как препятствие для познания. В этом проявляется двойственность восприятия позитивизма, характерная в целом для школы Гревса. Восприятие субъективности проявляется в отношении к словесным памятникам и их литературности. Как мы помним, определяющим в понимании Анциферовым немых памятников является признание их непосредственно данными нам элементами иной культуры. Обоснование значимости литературных источников производится иначе, теперь уже в гегельянском духе:

"Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность. Создается незабываемое впечатление, что душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, отмечали определенный момент в истории развития души города"¹¹⁰.

Приведенные фрагменты показывают, что субъективность, препятствующая "подлинному" познанию, характеризуется как "случайная", "произвольная", "стихийно сложившаяся", а способствующая таковому — как "необходимость" или "судьба"¹¹¹.

¹⁰⁹ Неоднозначность оценки и характер использования авторами метафоры музея переключается с их трактовкой другого образа "искусственности" познания — лаборатории, которые также могут иметь как положительный, так и отрицательный смысл. См. об этом, например: Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. С. 71; Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 8; Гревс И.М. К теории и практике экскурсий как орудия научного изучения истории в университетах. С. 12.

¹¹⁰ Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 44.

¹¹¹ Субъективные искажения могут также трактоваться в марксистском духе как результат воздействия классовых, национальных и профессиональных вкусов и предрасположений (Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 8). Таким образом, пространственная локализованность и монументальность города воплощает устойчивость объекта познания, по отношению к которой временная определенность субъективности оказывается вторичной. Ср.: Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 8, 135. Двойственная трактовка субъективности соответствует неоднозначной интерпретации органичности/неорганичности развития города, его отношений с личностью основателя и т.п.

453

Феномен прошлого

Такое понимание коренится в отношении Анциферова к проблеме соотношения фактов и фикций, о чем уже шла речь выше. Фикции (легенда, миф и т.п.) расширяют сферу исторической реальности и могут даже сделать реально не бывшее бывшим. Утверждая в работе "Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность" "правду мифа", как выражение "внутренней действительности" истории, Анциферов рассматривает пример посещения апостолом Петром Рима.

"Историческая наука в лице подавляющего числа своих представителей отрицает факт его посещения Рима. Но те, кто был в вечном городе, кто смотрел с высоты Яникульского холма у *San Pietro in Montorio*, откуда апостол послал свое предсмертное благословение *Urbi et orbi*, кто был в Мамертинской тюрьме, в храме *San Pietro in vincoli* или за Остийскими воротами, у маленькой церкви *Delia Se-pariciona* (где рельефы прощания перед казнью Петра и Павла), кто, наконец, ощутил все безграничное величие *San Pietro in Vbicano*, для тех *весь Рим уже полон присутствием апостола Петра*.

Души миллионов в течении веков, тысячелетий наполнили город св. Петра. Излучение энергии их веры насытили образом этого апостола все камни Рима. Вот эту форму исторической «внутренней действительности» не следует забывать историку... Историк не поэт, но плох тот историк, который совсем не поэт, который не способен ощутить действительное бытие легенды, связанной с «историческим местом».

Итак, легенда рассматривается как истинное *sui generis* событие в жизни души человечества, независимо от того, имело ли оно фактическую основу в жизни

¹¹² Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 147—148. Ср.: "События суть воплощения тех явлений, которые незримо вызревают в недрах общества" (Анциферов Н.П. Город как объект экскурсионного изучения. С. 169). Любопытным комментарием к этому может стать цитата из дневника Н.Н. Платоновой, свидетельствующая как о неоднозначности восприятия экскурсии ее участниками, так и о характере разлада между

Гревсом и его "блудными учениками"---Л.П. Карсавиным и Н.П. Оттокар. "Что касается отношений между Гревсом, с одной стороны, и Карсавиным и Оттокар, с другой, то, по словам Пр[есняко]ва, рознь между ними обнаружилась давно и (сказалась) резко уже во время экскурсии в Италию Гревса с его учениками и ученицами. Тогда во Флоренции были Оттокар и Головань, и Гревс сам просил их показать эк[скур]сии город. Они и начали делать это, как специалисты, с строго научной точки зрения, отмечая все то легендарное, над чем Гревс с экскурсией уже успел пролить несколько слез умиления. Их объяснения до такой степени шли вразрез с настроени-

454

Знание о прошлом в теории экскурсии

Приведенная цитата показывает, каким образом "литература" расширяет границы исторической действительности. Аура подлинности монументального источника, его историческая фактичность, обусловленная связью с уникальным событием и одновременно зафиксированной в нем внутренней действительностью, возникает также благодаря "литературе"¹¹³. В то же время это означает, что с точки зрения способности природных и культурных ландшафтов служить конкретизации представлений о прошлом границы между историей и литературой несущественны.

Проблемы "конкретизации" и статуса "литературности" обсуждаются Анциферовым в контексте возможностей использования литературных источников для разработки и проведения экскурсий. Общая постановка проблемы литературности приобретает у него герменевтический оттенок. Анциферов признает, что произведение есть "новая вещь", не являющаяся копией окружающей автора действительности, и призывает не "спутать искусство с фотографией", оговариваясь, что

"последняя, правда, тоже стремится к художественности. Литературность" произведения связывается с его принадлежностью "векам и каждому времени по-новому". Тем самым подчеркивается его эстетическая самоценность, не требующая для понимания никаких исторических экскурсов.

Альтернативой эстетическому подходу выступает историко-культурный подход. Он исследует жизнь произведения искусства, "связанную с творцом и эпохой, жизнь историческую, доступную только

историку через научный труд, сопряженный с интуицией. Литературную экскурсию Анциферов числит по ведомству историко-куль-

ями Гревса, что, н[априме]р, на гору Фьезоле Гревс повел экскурсию один, тихонько от Отг[ока]ра и Г[олова]ня, читая там по-итальянски... притом часть экскурсанток плакала от умиления, а другая часть не только не умилилась, а, напротив, возмутилась, и, вернувшись во Фл[оренц]ию, все рассказала Г[олова]ню и Отг[ока]ру" (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 2. Д. 5695. Л. 111 об.—112).^m Ср. выше о городе как образе синтеза.

¹¹⁴ Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 10—11. О значении фотографии, с точки зрения опыта прошлого, см.: Гавришина О.В. "Опыт прошлого": понятие "уникальное" в современной теории истории // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 4. М., 2002. С. 335—336.

¹¹⁵ Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 179.

455

Феномен прошлого

турного подхода, принципом реализации которого оказывается соотношение произведения с внеположной ему исторической реальностью. Осуществляться это соотношение может опять-таки в двух вариантах — позитивистском и гегельянском.

Согласно первой — позитивистской — версии экскурсия позволяет компенсировать слабость воображения. Литературная экскурсия является средством конкретизации, придающей нашему переживанию художественного образа необходимую жизненность, но и — что более важно — правильное направление в противовес "искажающим образам" и "произвольным иллюстрациям". Описывая такую конкретизацию, Анциферов неоднократно проводит параллели между экскурсией и театральной постановкой и ссылается при этом на опыт Художественного театра¹¹⁶. Статус этих "иллюстраций" в отношении к материалу может быть различным: бытовые реалии или ландшафт могут рассматриваться как окружавшие автора и "родные" (! — Б.С.) для него; как свидетельствующие о расхождениях между произведением и действительностью и, таким образом, характеризующие авторскую психологию; как достаточные в качестве типичных для эпохи; наконец, как подлинные вещи автора, позволяющие удовлетворить законному желанию читателя войти в контакт с личностью автора или созданными им литературными образами¹¹⁷.

Из сказанного видно, что диапазон решений проблемы фикции-ональности литературных текстов простирается у Анциферова от позитивистской верификации путем сопоставления с реальностью

¹¹⁶ Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. С. 61; ср.: Там же. С. 33, 44, 65, 134; Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 6—7, 70. В этом театре экскурсанты должны быть чуткими зрителями, руководителю же необходимо произвести работу, "аналогичную режиссеру, изучающему подходящие жесты, костюмы, интонации, выражающие свойства действующих лиц", а кроме того — обладать рядом актерских навыков: выразительными речью и жестами, умением "держать" публику и перенести группу в обстановку событий, ко-

торым посвящена экскурсия. Ср. возникшую в 1920-е гг. концепцию "музея-театра" и другие театральные эксперименты той эпохи, стиравшие границу между театром и жизнью (Колокольцова Н.Г. Периодическая печать об образовательной деятельности музеев в первые годы советской власти // Музейная пролагала 1920—1930 гг. в зеркале прессы. М., 1991. С. 6).

¹¹⁷ Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 10, 28—41; Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 182.

456

Знание о прошлом в теории экскурсии

до снятия проблемы через устранение границы между литературой и жизнью. Оценивая проделанный им анализ репрезентации петербургской топографии в "Преступлении и наказании", А.М. Конечный и К.А. Кумпан фиксируют двойственность исследовательской позиции.

"Подобранные в соответствии с описанием в романе дома он рассматривает то как «типологические» (характерные для города времени Достоевского), т.е. как иллюстративный материал, способный «волновать топографическое чувство», то, подпадая под хорошо знакомую читателям магию текстов писателя, склонен ве-

"118

рять в существование реальных прототипов

Эту характеристику, как представляется, можно отнести и в целом к подходу Анциферова, уточнив ее лишь в одном отношении: топографическое чувство Анциферов в первую очередь связывает не с типологическими, но с подлинными вещами и ландшафтами.

Во второй — гегельянской — трактовке проблемы конкретизации само произведение рассматривается как "оттиск духа творца (индивидуального или коллективного)". Значит, темой историко-культурного комментария будет психология творчества, причем отсылка к "коллективному духу" снова указывает на особую интимную связь литератора с "духом эпохи"¹¹⁹. Не случайно главными оппонентами интерпретации литературных источников Анциферова в обеих версиях оказываются формалисты, наиболее радикально сформулировавшие проблему литературности и отрицавшие как биографический подход, так и рассмотрение литературы как выражения истории духа. Критикуя работу Анциферова, который "нащупывал фон городского ландшафта для Свидригайлова и Раскольников", Л. Лунц говорил ему: "Дома Достоевского надо искать не на улицах Петербурга, а на страницах романов Бальзака и Диккенса"¹²⁰. Интересно, что пафос реальности открывает для Анциферова возможности идеологической самолегитимации, позволяя в полемике с формалистами примкнуть к социологическому

¹¹⁸ Конечный А.М., Кумпан К.А. Петербург в жизни и трудах Н.П. Анциферова // Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 17. Как свидетельствуют цитируемые авторы, обнаружение прототипов "домов Достоевского" сделало Анциферова творцом еще одного мифа о городе.

¹¹⁹ Ср.: Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 179; Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 31.

¹²⁰ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 410.

457

Феномен прошлого

методу в литературоведении. "Господствующий в наше время социологический подход к литературе открывает широкие возможности для

"171

применения экскурсионного метода^{III}.

Предшествующее изложение, как представляется, позволяет более точно охарактеризовать понимание экскурсий как формы исторического опыта в связи с проблематикой пространственности и литературности. Экскурсии становятся способом пережить историю, ощутить в опытах пространства разные уровни ее реальности: от уровня исторической необходимости или судьбы (соотносимого, в первую очередь, в опыте города как "нечеловеческого" существа и исторического организма) до уровня "сцены" или личности (связанного с историко-топографическим чувством, ощущением непосредственного контакта с прошлым, способностью переноситься "внутрь" событий прошлого). Это позволяет считать экскурсии воплощением того, что мы обозначили как гегельянско-позитивистский синтез, лежащий в основе представлений об истории у Анциферова и Гревса. В рамках экскурсии этот синтез проявляется в определенном сочетании различных временных режимов, соответствующих указанным уровням познаваемой исторической реальности.

Литературная традиция играет важную роль в качестве поставщика тем. Но еще более важным является использование арсенала средств организации восприятия прошлого, и в частности, создания эффекта реальности: обладающие разной степенью подлинности предметы и ландшафты дополняют и усиливают впечатление от конкретных исторических/литературных деталей, свидетельствующих, согласно Р. Барту, о реальности как таковой. Снятие границ между историей и литературой, фактами и фикциями, как оно осуществляется Анциферовым, делает монументы и ландшафты опорой фактичности знания о прошлом, выступающей как свидетельство внутренней действительности, даже если она опирается на "легенду".

Осуществленная выше реконструкция концепции экскурсии показывает, что для ее обоснования

привлекаются элементы различных, часто противоречащих друг другу, интеллектуальных парадигм. Здесь есть и своеобразно интерпретированное неокантианство, сводящее индивидуальное как предмет гуманитарного знания к уникальным объектам; и позитивизм, трансформировавшийся в специфическом

Знание о прошлом в теории экскурсии

¹²¹ Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 11.

утверждении соотнесенности объекта экскурсии с "запечатленными" им событиями прошлого; и обозначенную нами как гегельянство установку на существование "духа места", "его идеи", задающую основания контекстуализации и исторического синтеза в рамках экскурсии; и наконец, марксистские элементы, как в случае рассуждений Анциферова о социологическом методе или преодолении "гнета идеологии", ориентированные на вписывание концепции экскурсии в рамки господствующего дискурса.

Вместе с тем обоснование экскурсионного метода движимо некоторыми общими установками. Мы видим здесь стремление перенести акцент на переживание и воображение (в этом отношении характерно, что и субъект познания становится эмоциональным, движущимся и коллективным), устранить конструктивное значение субъектов знания и элиминировать его активность (ср. отношение к литературности и восприятие таких "искусственных" репрезентаций прошлого, как музеи) перед лицом объективности знания, воплощенного в экскурсионных объектах, приобретающих нередко ореол священного¹²².

В результате разработка в рамках экскурсии технических приемов работы с вещественными и монументальными памятниками сочетается с актуализацией своего рода неоромантического комплекса, связанного с идеями "вчувствования", "воскрешения", "видения былого", со снятием жесткой грани между фактами и фикциями, историей и литературой и т.д.¹²³ Показательно, что намечаемый в связи с концепцией экскурсий проект гуманитарной ("культурной") географии включает в себя самые разные работы (и соответственно различные типы географических объяснений): от конкретных историко-топографических (Ф. Грегоровиус, П. Видаль де ла Блаш и др.) и антропогеографических сочинений (К. Риттер) до текстов, представляющих откровенно почвенническую идеологию (Э. Шпрангер, Г. Герц и др.).

458

¹²² Эти качества экскурсии, чреватые своего рода идолопоклонничеством, могли становиться предметом не только теоретической, но и эстетической рефлексии. См. об этом: Пруст М. Дни паломничества. Джон Рескин // Пруст М. Памяти убитых церквей. М., 1999. С. 32-140.

¹²³ Ср. об этом: Савельева И.М., Полетаев А.В. Плоды романтизма // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 11. М., 2003. С. 40—83. Характерно, что в качестве авторитетов в сфере исторического познания для Анциферова выступают преимущественно историки-романтики или писатели.

459

Феномен прошлого

Теория экскурсии и философия памяти

Направления развертывания проблематики истории и культуры в теории экскурсии И.М. Гревса и Н.П. Анциферова (с ее неоромантической целостностью и теоретико-методологической гетерогенностью) становятся более очевидными при рассмотрении с позиций философии памяти. Отсылки к наиболее влиятельным теориям памяти того времени — А. Бергсона, У. Джеймса, П. Жане и М. Пруста — в текстах наших авторов достаточно редки. Память получает у них не столько психологическую, сколько социальную и метафизическую интерпретацию, выступая в качестве средоточия вечных ценностей и залога исторической и культурной непрерывности¹²⁴. Интерпретация темы памяти отражает характерную для Гревса и Анциферова двойственность отношения к современному историческому этапу и оценки последствий революции.

У Гревса эта тема возникает в отклике на рассуждения В.И. Иванова в "Переписке из двух углов", где память, освященная идеей воскрешения отцов, выступает как начало жизненности и обновления культуры¹²⁵. Он не приемлет опрощения и отказа от культуры, провозглашаемого Гершензоном. Созерцая происходящее вокруг разрушение культуры, Гревс призывает пронести "сквозь катастрофу грубых переоценок слепоты и невежества сложнейшие и тончайшие ее достижения"¹²⁶. В этой перспективе обращение к памяти оказывается связанным с идеей удержания прошлого, без которого невозможно сохранение культурной сложности. При этом основой и воплощением культурной сложности оказывается здесь уже не наука, а религия с ее чаянием абсолютного. Эта переоценка, однако, не мешает Гревсу сохранять прежнюю перспективу целостности истории, вытекающую из веры в культуру и ее прогрессивное развитие, происходящее несмотря на временные неурядицы и затмения, об аналогии личности и человечества и т.д. Несколько иначе подобная двойственность выражена в интерпретации темы памяти у Анциферова. Специальную ее разработку можно найти в неопубликованных фрагментах, озаглавленных "Историческая

Знание о прошлом в теории экскурсии

¹²⁴ Показательны в этом смысле отсылки к русской религиозно-философской традиции, идущей от В. Соловьева и Н. Федорова.

¹²⁵ Гревс И.М. О культуре. С. 296—301.

¹²⁶ Там же. С. 303.

460

наука как одна из форм борьбы за вечность". Эти фрагменты, создававшиеся на протяжении более чем 20 лет — с 1918 по 1942 г., являются, пожалуй, наиболее концентрированным выражением философии истории Анциферова. В ней достаточно очевидно влияние идей учителя: в ряде фрагментов проговариваются характерные топосы "биографического метода", раскрывающие значение личности как для познавательного конституирования истории в целом, так и для исследования отдельных эпох. Другой важной линией развития теории исторического знания в тексте становятся непосредственно связанные с экскурсионным методом сюжеты о статусе легенды и роли реликвий в историческом познании. Текст фрагментов вполне органично включает выдержку из его работы "О методах и типах историко-культурных экскурсий". Наряду с этим обнаруживаются рассуждения, задающие принципиально иные представления о целостности истории и смысле исторического знания. Эта линия рассуждений открывается экскурсом о связи исторического сознания с отношением к смерти, характерным для той или иной культуры. Тем самым историческое знание помещается в эсхатологическую перспективу, которая возвращает существенность понятию "вечность". "Вечность" здесь уже не просто стертая метафора подлинных ценностей, но то, что противоположно времени и его разрушительному действию. Именно стремление к вечной жизни и вечной памяти, победе над смертью и разрушающей силой времени придает подлинный смысл историческому знанию.

Образ этого исторического знания оказывается весьма противоречивым. С одной стороны, заглавие текста отсылает нас к науке. С другой стороны, ее трактовка Анциферова оказывается неизмеримо широкой, включая и знание о прошлом, и сохранение прошлого. Здесь "история" смыкается с "памятью", вмещающая таким образом в себя индивидуальную и социальную память, а также формы ее вещественного закрепления — захоронения, памятные места, музеи, биографии, исторические труды¹²⁷. Экскурсионные метафоры, используемые для характеристики знания, могут получать здесь квазирелигиозную ин-

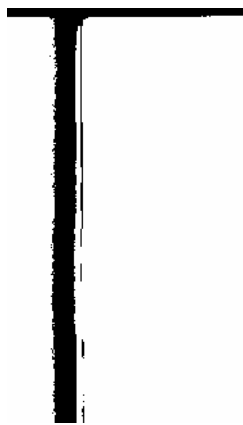
¹²⁸ Показательно, что захоронениям и кладбищам, которые У. Уорнер называл "местом, где память объективирует прошлое в пространстве", Анциферов уделяет в своих работах особое внимание (Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942); Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 115—118. Ср. также: Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 44.

461

Феномен прошлого

терпретацию: "История есть тоже нерукотворный памятник..." Однако, как мне представляется, смысл обращения к памяти может быть интерпретирован и иначе, если рассмотреть его не в когнитивном, но в этическом плане. С темой памяти у Анциферова связано религиозно-этическое обоснование исторического знания, в котором и сам он видит указание на границы чисто познавательной интерпретации последнего¹²⁸. В тексте намечаются две грани такого обоснования. Первая из них указывает на "долг благочестия" в отношении воли наших предков, жаждавших "в той или иной форме длить земную жизнь, участвовать в ней". В этом смысле занятия историей "являются особым видом культа предков"¹²⁹. Вторая грань связана уже с движением "к прошлому" из сегодняшнего дня, вызванным потребностью утолить "жажду бесконечной жизни". "Одним из путей общения с былым является паломничество к местам, связанным с великими событиями или с великими людьми (да и не только с великими)"¹³⁰. Существенно, однако, то, что, включая экскурсионный опыт в обоснование исторического знания, Анциферов опять-таки говорит не о познании, а о "встрече", которая связана преимущественно с индивидуальным опытом и его литературными интерпретациями.

Показательно, что в завершающих фрагментах текста аргументация Анциферова приобретает исповедальный характер, отсылая нас уже к его собственному личному опыту. Вся эта линия рассуждений, как отмечалось, предполагает уже совсем другой опыт истории. В отличие от статьи Гревса, текст "Исторической науки как одной из форм борьбы за вечность" не содержит инвектив в адрес наличной — советской — действительности. Однако уже сама опора на этические и мистические аргументы подчеркивает ощущение прерывности и трагичности исторического бытия. Разрыв с прошлым, получающий тем самым онтологический характер, делает существенными усилия по его воскрешению, "дело любви" оказывается последним основанием "честности и строгости ученого"¹³¹.



Знание о прошлом в теории экскурсий

^ш См. например: Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 156.159.

» Там же. С. 151.

«Там же. С. 153.

⁰¹ Такое же ностальгическое, по сути, переживание прошлого часто сквозит в воспоминаниях Анциферова и в его "Душе Петербурга", а также в ряде текстов Гревса.

462

Нужно признать, что даже в анализируемом тексте Анциферов не выдерживает чистоты этой логики.

Симптомом этого можно считать рассуждения о действительности познанного прошлого.

"Воскрешенные исторической наукой образы наших предков участвуют в нашей жизни, мало того, они действуют в нас. И в великие исторические години их тени призываются на помощь, мобилизуются для защиты нас в смертельной борьбе"¹³².

Поэтому и ценность памятных мест сопоставима для Анциферова с ценностью человеческой жизни, поскольку они рассматриваются как воплощение души народной. Помимо разрушительного времени им угрожает еще сила — некий безымянный "враг", отсылающий нас то ли к спорам о культурном наследии времен Первой мировой, то ли уже к временам Великой Отечественной войны.

В этом же русле движется и трактовка памяти в опубликованных в 1920-х гг. трудах Анциферова по изучению города и теории экскурсий. Здесь отсылки к памяти еще сохраняют религиозный оттенок, но имеют уже вполне позитивный и эмпирический характер. Например, в книге "Пути изучения города как социального организма" Анциферов пишет о городе как средоточии культуры, который "волею своих граждан превращен в ковчег, в котором содержатся народные реликвии"¹³³. Суть этого высказывания раскрывается в последних абзацах книги:

"Потребности памяти растут. Жажда увеличить свой кругозор порождает в человеке нового времени стремление видеть как можно дальше. Это распространяется и на мир былого. Уничтожая все, мешающее рождению нового, современное общество дорожит тем, что может напомнить об этапах борьбы, труда и творчества. Советская власть в жесточайшие моменты борьбы, в самый острый период революционного разрушения, создала организации по охране памятников старины и искусства. Музейное дело — одно из лучших достижений нашей Республики. Развивая и углубляя эту традицию, следует обратить внимание на те части городов, которые представляют комплексы исторических и художественных памятников. Желая сохранить останки природы в ее чистом виде, создают заповедники.

Ср., например, завершающие пассажи его статьи "В годы юности: за культуру", написанной в 1918 г.

⁰² Анциферов Н.П. Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность. (Фрагменты) (1918—1942). С. 151.

^т Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 9.

463

Феномен прошлого

Пришло время создавать такие заповедники из отдельных урочищ в городах, которые будут охраняемы городскими коммунарами как народное достояние"¹³⁴.

Удовлетворение по поводу массовых посещений памятных революционных мест и развития краеведческого движения может рассматриваться как свидетельство изменения отношения Анциферова к советской действительности. Усиление позитивной оценки связано с происходящей, по его мнению, активизацией исторического чувства и социальной памяти, которая выступает как симптом демократизации. Таким образом, в отличие от эсхатологической перспективы в "Исторической науке как одной из форм борьбы за вечность", в цитированном фрагменте присутствует обращенность в будущее и признание возможности позитивной политики памяти и осмысленной работы в области сохранения прошлого.

Неоднозначность, которая обнаруживается в интерпретации памяти, присутствует и в трактовке нашими авторами нацеленности гуманитарного знания на изучение современности, выдвинутой советским обществознанием. Резонно предположить, что доминирующий в работах Гревса и Анциферова подход, связанный с изучением и консервацией следов былого, традиций и т.п., будет, по сути, противоречить этой ориентации. Вместе с тем значимость понятия "современность" как символического ресурса побуждает их к вступлению в полемику и к выработке собственной интерпретации. Стратегии этой интерпретации

различны. В русле доминирующего в их работах стремления к удержанию прошлого оказывается попытка выявить сложностность современности, частью которой является и прошлое. Одно из наиболее ярких высказываний в этом духе мы находим в работе "Город как выразитель сменяющихся культур", написанной Анциферовым в соавторстве с женой:

"Современность — не только то, что в наше время является высшей и нарождающейся формой, но и то, что доживает свой век, но что полно жизненных сил, и даже то, что препятствует развитию, поскольку без понимания этого мы не можем постигнуть содержание текущего момента... Современность — вся совокупность явлений, определяющих бытие и сознание нашего времени"¹³⁵.

¹³⁴ Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. С. 141.

¹³⁵ Анциферов Н., Анциферова Т. Книга о городе: В 3 т. М., 1926. Т. 1. С. 17. Воплощением понятой таким образом современности для авторов становится город. Ср. также: Гревс И.М. Памятники культуры и современность // Краеведение. 1929. № 6. С. 314.

464

Знание о прошлом в теории экскурсии

Таким образом, современность, образом которой становится город, связана с задачами историзации настоящего.

Однако, наряду с такой и подобными трактовками современности, призванными противостоять сведению ее к повседневным задачам и производственным потребностям, в некоторых случаях можно зафиксировать ту или иную степень сближения наших авторов с господствующей ее интерпретацией современности, в силу чего экскурсии оказываются некоей формой социальной работы. Так, в разработанном Гревсом плане работы Гуманитарного отдела Ленинградского Экскурсионного института экскурсии в современность, называемые также краеведческими, характеризуются следующим образом:

"Они направляются к ознакомлению с тем, как живет ныне город, край, страна в различных сторонах своего быта, с тенденцией к построению синтетической картины всей жизни данного общегития или местности... Надобно фиксировать следы старины, подмечать рождение новых форм и течений, выяснить влияние свершившейся перемены на существование масс и групп населения в различных местностях и сферах материальной, социальной и духовной жизни"¹³⁶.

В этом же духе написана небольшая заметка под названием "Летопись современника", в которой Анциферов призывает краеведов быть летописцами — "историками настоящего", т.е. регистрировать для будущего историка значимые в текущей жизни края события¹³⁷. В текстах Анциферова и Гревса можно обнаружить и достаточно неожиданные, с точки зрения общей концепции, утверждения относительно современности, как отправной точки в формулировке задач краеведа и экскурсовода ("Ориентировка на современность при выборе тем, хотя бы исторических, необходима для того, чтобы они проникались жизненностью..."¹³⁸) и даже свидетельства полного принятия господству-

* Гревс И.М. Гуманитарный отдел Ленинградского экскурсионного института (его общие задачи и ближайший план), 1924. С. 309. Ср. о краеведческом принципе организации музеев, как противоположном художественному, и историко-бытовой ориентации экспозиции в указах Наркомпроса конца 1920-х гг.: Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 — первая половина 1960-х гг. : 85-86. " Известия ЦБК. 1926. № 7. С. 227-228.

¹³⁸ Гревс И.М. Введение // По очагам культуры. Л., 1926. С. 4.

465

Феномен прошлого

ющей точки зрения ("Изучение прошлого часто совершенно заглушает работу над познанием современности..."¹³⁹).

Рассмотрение проблематики памяти и отношения к современности позволяет подвести некоторые итоги реконструкции теории экскурсии. В основе метафизики памяти Гревса и Анциферова как способа обоснования культуры и исторического знания обнаруживается стремление к восстановлению чувства исторической непрерывности и целостности культуры, потребного для ее созидания в ситуации видимого ее распада. Это обоснование осуществляется либо с точки зрения надвременной целостности исторического процесса, либо исходя из утверждения действительности прошлого, либо через признание прогрессивности текущего исторического этапа.

Трактовка памяти у наших авторов интересна в перспективе генезиса проблематики связи истории и памяти и традиции поисков иной истории. Рубежной в этом отношении, по мнению Ф. Артога, является эпоха, символически репрезентированная 1914 г.¹⁴⁰ Специфика теоретизирования Гревса и Анциферова по поводу памяти явно выступает на фоне современных теорий самого разного толка — как связанных с опытом обоснования истории через понятие памяти, так и с попытками ревизии существующей практики историописания¹⁴¹.

В качестве общих для них моментов можно назвать два. Во-первых, это стремление рассматривать знание о прошлом в антропологической (в широком смысле слова) перспективе и соответственно акцентировать этические и эстетические основания исторического познания. Во-вторых, это проблемски некоего иного, по сравнению с господствующим, режима историчности, в котором уникальность объ-

¹³⁹ Анциферов Н.П. Как изучать свой город. М.; Л., 1929. С. 97.

¹⁴⁸ Артог Ф. Время и история. "Как писать историю Франции?" // "Анналы" на рубеже веков: Антология. С. 159—160.

¹⁴¹ См.: Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки) // Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ, 2003; Бессмертный Ю.Л. Это странное, странное прошлое... // Диалог со временем. Вып. 3. М., 2000. С. 34—46; Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого // "Анналы" на рубеже веков: Антология. С. 32—35; Уваров П.Ю. Апокатастасис, или основной инстинкт историка // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 3. М., 2000. С. 15—32; Нора П. Франция — Память. СПб., 1997; Анкер-смит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.

466

Знание о прошлом в теории экскурсии

екта конструируется как отличная от его культурной ценности через соотнесенность с личной памятью и принадлежность ландшафту¹⁴².

Вместе с тем, соотнося память и историю, Гревс и Анциферов остаются преимущественно в контексте историзма XIX в., представленного теперь в горизонте памяти. Память репрезентирует полноту исторического опыта¹⁴³ (в отличие, например, от поиска чистого исторического опыта в его нефункциональности и неприсваиваемости, как это происходит, например, у Ф. Анкерсмита). В ней отсутствуют критические импульсы, направленные на переосмысление образа прошлого, предлагаемого исторической наукой, отсутствует проблематика травмы. Соответственно память воплощает идею консервации и реификации прошлого (ср. метод "одухотворения места") в целях объективации непрерывности исторического процесса. В этом отличие описываемого подхода, например, от проекта "мест памяти" П. Нора с его установкой на дереификацию, символическую и функциональную интерпретацию мест памяти и обнаружения с их помощью исторической прерывности¹⁴⁴. Обращение к памяти у Гревса и Анциферова практически не вскрывает проблематичность и конфликт в знании о прошлом, оно в любом случае отсылает нас к вечным началам — либо в борьбе против их забвения, либо в утверждении их прогрессивного становления.

Заключение

Задачей предпринятого мною исследования теории экскурсии И.М. Гревса и Н.П. Анциферова было увязать и соотнести между собой различные — эстетические, когнитивные, политические — про-

¹⁴² Подобное противопоставление отчетливо выражено у М. Пруста в рассуждениях об амьенской мадонне (Пруст М. Памяти убитых церквей. С. 45—57). Требуется дальнейшего осмысления то, каким образом такое понимание уникального соотносится, например, с пересмотром отношений между произведениями искусства и пространством, как оно осуществляется М. Хайдеггером. (Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991).

¹⁴³ Для сравнения отметим, что ключевой для осмысления индивидуальной памяти у Л.П. Карсавина, в частности, оказывается тема бессилия в воскрешении образов прошлого.

¹⁴⁴ Это различие видно на приведенном выше примере трактовки Анциферовым пребывания в Риме апостола Петра. Ср. также: Трубина Е. "Места памяти", монументы и новая демократия // Топос. 2000. № 5. С. 85—93.

467

Феномен прошлого

екции рассмотрения этой формы знания. Разумеется, анализ мог бы быть проведен с большей полнотой и "плотностью" — как в привлечении текстов и "индивидуализации" подхода каждого из героев, так и в выявлении новых контекстов и проработке тех, что были с разной степенью подробности реконструированы в предложенном тексте. Однако признание различия проекций и многообразии контекстов важно не только для оценки сделанных выводов, но и как указание на существенные методологические трудности. Поэтому резюмируя проделанный выше анализ теории экскурсии как воплощения теоретического, политического и эстетического выбора интеллектуалов начала XX в., я хотел бы наметить и проблему исследовательской позиции¹⁴⁵.

Для понимания экскурсионно-краеведческих рамок теоретизирования И.М. Гревса и Н.П. Анциферова 1920-х гг. нужно иметь в виду их приверженность "культурничеству" и сочувствие процессам демократизации культуры, относительное разочарование в науке (оно характеризовалось как движением в сторону растождествления науки и культуры, так и необходимостью расширить рамки науки введением в них более "широкой" "культурной" работы) и, одновременно, осознание необходимости защиты науки в ситуации разрушения и перестройки научных институтов и идеологического давления. Построение теории экскурсии Гревсом и Анциферовым определялось задачами адаптации ее как рафинированного элемента системы высшего образования к массовому образовательному воспроизводству, осуществлявшемуся к тому же часто вне привычных образовательных институтов.

Вместе с тем важно учесть и то, что краеведение и экскурсионное дело находились под эгидой Академии наук и были осеяны ее авторитетом и, одновременно, были не только продолжением традиций "общественности" и "просветительства", получивших в этом качестве достаточно широкую социальную поддержку, но и деятельностью, которая могла быть интерпретирована как легальная культурно-политическая альтернатива победившей идеологии. Краеведение воспринималось Гревсом и Анциферовым не как чисто познавательная практика, но и как социальное движение.

¹⁴⁵ Аналогичную постановку вопросу можно обнаружить и у А. Дмитриева (Дмитриев А. Эстетическая автономия и историческая детерминация: русская гуманитарная теория первой трети XX века в свете проблематики секуляризации // Русская теория: 1920—1930-е годы. М., 2004. С. 34—35).

468

Знание о прошлом в теории экскурсии

Обоснование краеведения оказывается также двойственным. Так, в одной из статей Анциферова рисуется следующая перспектива развития исследовательской деятельности в рамках краеведения:

"Для того, чтобы придать подлинно краеведческий характер работе и для того, чтобы производить свои исследования в согласии с другими специалистами, требуется особый психологический тип ученого, крепко сросшегося со своим краем, широко образованного и зараженного духом общественности"¹⁴⁶.

Гревс и Анциферов видели в краеведческом движении аналог ре-нессансного гуманизма, представители которого, не будучи по существу учеными, художниками или политиками, не вписывались в существовавшие социальные классификации.

"Краеведы — это люди, соединенные в вольные дружины культурных работников, призваны историей во всех уголках нашей великой страны содействовать поднятию богатых, но дремлющих сил народа и направлению их на согласованную борьбу за культурное строительство"¹⁴⁷.

В связи с этим опять-таки показательно обращение Гревса к религиозному обоснованию краеведения.

"Знакомясь на местах со скромными культурными работниками, Иван Михайлович, тронутый их бескорыстной самоотверженной работой, говаривал: «Это подвижники: в старину спасали душу в монастырях, а теперь поддерживают живую душу краеведением»"¹⁴⁸.

Это подводит нас к вопросу о соотношении теории и практики. Задачей исследования было понять природу понимания истории и обоснования исторического знания, реализованного в теории экскурсии, выяснить, каковы были те разнообразные импульсы и рамки (начиная от идеологической цензуры и заканчивая экзистенциальным переживанием науки), которые определили эту конфигурацию знания как форму философии истории. Такая постановка вопросов может быть оправдана, только если мы отвлекаемся от практического горизонта оценки

¹⁴⁶ Анциферов Н.П. Краеведение и страноведение // Известия ЦБК. 1927. № 6. С. 202.

¹⁴⁷ Анциферов Н.П. Краеведение как историко-культурное явление // Известия ЦБК. 1927. № 3. С. 85; см. также: Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 401—402.

¹⁴⁸ Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 402.

469

Феномен прошлого

теории, т.е. от всей огромной работы по сопротивлению деструкции городской среды и культурного наследия, мобилизации горожан для осмысленного освоения городского пространства, изучению конкретных сюжетов связанных с историей городов, районов или отдельных памятных мест. Все эти усилия, которые вполне могли иметь смысл удержания исторической альтернативы или, пользуясь выражением Я. Ассмана, "создания несовременности" как очага сопротивления существующему порядку¹⁴⁹, требуют реконструкции собственной — "практической" — логики, тогда как здесь речь идет о характере и качестве теоретической рефлексии.

Нельзя сказать, чтобы проблема научных норм и стандартов применительно к экскурсионному делу и краеведению совсем не осознавалась нашими героями¹⁵⁰. Однако проведенный анализ, как представляется, подводит к признанию того, что стремлению "практически" сохранить сложность культуры сопутствует теоретическое опрощение, свидетельствующее о трудностях удержания рефлексивности. Претензия на прикосновение к реальности и целостность подхода свидетельствует об устранении методической дистанции, означающей "идентификацию исследователя с объясняемым материалом, проецирование на материал собственных оценочных представлений"¹⁵¹.

Наиболее характерным примером этого можно считать приверженность Гревса и Анциферова тезису о значимости для человека род-

¹⁴⁹ См.: Ассман Я. Культурная память. М., 2004. С. 88—91.

¹⁵⁰ В целом ряде высказываний обнаруживается озабоченность Гревса и Анциферова проблемой определения учебного (критика абсолютизации экскурсий как учебного приема в связи с утверждением комплексного метода в первые годы советской власти, постановка вопроса о возможностях объединения в одной экскурсии различных дисциплинарных задач и т.п.) и научного статуса краеведения и экскурсионного ведения (проблема соотношения этих практик между собой и с другими областями знания (например, страноведением), дисциплинами (например, географией), отношения к различным подходам (индивидуализирующим или типологизирующим) и функциям (научным либо просветительским). См., например: Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл. С. 9—12; Гревс И.М. Город как предмет школьного краеведения. С. 68—69; Гревс И.М. Краеведение и экскурсионное дело // Вопросы экскурсионного дела. Пг., 1923. С. 10; Анциферов Н.П. Краеведение и страноведение. С. 201—203. Ср. актуальные для того времени дискуссии об экскурсиях как "исследовательском методе".

¹⁵¹ Гудков Л.Д. Метафора и рациональность. М., 1994. С. 260.

470

Знание о прошлом в теории экскурсии

ства с объектом восприятия (городом, краем и т.п.) как основе знания. Этот тезис проецируется как на самого исследователя, так, например, и на писателя или мыслителя, в произведениях которого этот объект находит свое "подлинное выражение"¹⁵². Вечные ценности культуры оказываются теперь восприняты сквозь призму их принадлежности к тому или иному месту или объекту, возводятся к разного рода естественным комплексам, к ценностям почвы, родства, традиции, нации и т.д.¹⁵³ Это можно считать выражением доминирующей в текстах Гревса и Анциферова консервативной музеификации культуры.

К такой интерпретации в определенной степени склоняет и господствующая трактовка экскурсии как формы коммуникации с характерным для нее ролевым репертуаром, способами передачи и фиксации знания¹⁵⁴.

Более того, в некоторых случаях, скажем, в трактовке соотношения вербального и визуального в экскурсионном опыте, установки наших героев кажутся более консервативными, в сравнении с подходами представителей других школ в экскурсиеведении. В связи с этим возникает вопрос о характере самоопределения Гревса и Анциферова в отношении двух противоположных стратегий обоснования и представления экскурсий. Первая из них связана с восприятием экскурсии как средства поддержания групповой идентичности (характерно в этом смысле тяготение Анциферова к литературным экскурсиям, которые, по его же собственному признанию, не могут иметь широкого

¹⁵² Гревс И.М. Экскурсионный метод и краеведческий подход // По очагам культуры. Л., 1926. С. 15; Анциферов Н.П. Краеведческие экскурсии // Известия ЦБК. 1927. № 4. С. 186; Анциферов Н.П. Краеведение и страноведение. С. 202; Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 29; Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. С. 90; Анциферов подчеркивает также значение для краеведения органических общностей — семей, землячеств, культурных гнезд и т.д. (Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 401—402).

¹⁵³ Особенно показательно в этом отношении сближение с консервативно-националистическим дискурсом в работе Гревса, адаптирующей опыт немецкого школьного родиноведения, хотя он и оговаривает необходимость "отбросить шовинизм и отделить то, что свойственно литературному сентиментализму и традиционному национализму, от утверждения возможности построения синтетической картины действительности и заложения фундамента будущего мировоззрения" (Гревс И.М. Краеведение в германской школе. С. 21).

¹⁵⁴ Ср. об этом: Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Идеология бесструктурности // Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция. М., 1994. С. 168—173.

471

Т

Феномен прошлого

распространения и соотнесения экскурсионной практики с потребностями индивидуальной памяти). Вторая ориентирована на инструментаризацию этой практики и придание ей более массового характера, чем определялся не только выбор сюжетов (например, у того же Анциферова — "социально-экономический быт"), но и жанр, и адресация текстов об экскурсиях.

Не входя в анализ этого самоопределения, мы не имеем возможности дать сколько-нибудь исчерпывающую характеристику "политики теории" с эксплицитно выраженными политическими пристрастиями наших авторов. На данном этапе можно ограничиться лишь констатацией приверженности либеральным принципам, сопровождающейся более или менее вынужденными реверансами в сторону господствующей доктрины и дрейфом в сторону консерватизма.

В этой ситуации единственно доступной кажется "идеологическая" квалификация неоромантического комплекса теории экскурсии, которая одновременно позволяет — в отсутствие "практического" горизонта оценки теории экскурсии — поставить проблему соотношения теории и опыта. "Реалистический" пафос экскурсионного дела, истоки которого мы возводили к импульсам социальной модернизации, воплощается, как было сказано выше в обосновании метода через предмет. Это достаточно очевидный симптом нерелексивности теории, признания несамостоятельности гуманитарного знания и необходимости его легитимации через соотнесение с естественнонаучными, консервативными или социалистическими топосами.

Переводя эту нерелексивность в отношении проблематики автономии культуры в категориях концепции К. Манхейма, мы получаем возможность выразить важный импульс, определивший направление предпринятого исследования. Различая понятия "идеология" и "утопия", Манхейм относил к утопическим те трансцендентные бытию элементы, которые взрывают порядок бытия и оказывают на него преобразующее воздействие¹⁵⁵. Б. Дубин, характеризуя посредством понятия "утопия" выработку представления о литературе как автономной смыслотворческой деятельности, рождающей самодостаточную реальность, связывает с ней "принципиальную критику устоявшихся идео-

Знание о прошлом в теории экскурсии

логий литературы и типов литературности, борьбу с готовыми формами

"ича

мышления и языка

Таким образом, для меня было важно выявить те элементы концепции, которые в этой перспективе можно было бы признать утопическими. Эти элементы, трансцендируя реконструированный нами "порядок дискурса", позволяют выявить гетерогенность его оснований и таким образом задавать собственно горизонт теории как выражения автономной рефлексии, т.е. того, что в когнитивной, эстетической, политической проекциях и их столкновении могло бы стать точкой превращения теории экскурсии из "теории-в-себе" в "теорию-для-нас". При этом упоминаемое Манхеймом "преобразующее воздействие" оказывается в этом случае скорее возможным, нежели реализованным, а элементы — скорее вытесненными, нежели действенными. Последнее отсылает нас к некоему дотеоретическому состоянию и вводит перспективу экскурсионного опыта.

Назвать эти утопические элементы здесь можно лишь в беглом перечислении. Прежде всего к ним можно отнести те аспекты опыта переживания города и его истории, которые оказались маргинальными для теории

экскурсии. Если предположить, что становление теории экскурсии и присущего ей реализма связано с подчеркиванием цельности и функциональности города и естественной и непрерывной включенности в него человека, то в результате оказываются вытесненными те элементы экскурсионного опыта, которые мы могли бы соотнести с "рассеянным восприятием" такого персонажа городской современности, как фланер. Этот опыт сквозит и в описаниях "сближения с городом", которые мы встречаем в "Научных прогулках" Гревса, и в немаловажных для понимания анциферовской "Души Петербурга" указаниях на восприятие Петербурга как "мертвого города".

Более отрефлексированным выражением этого опыта эстетического осмысления (городской) повседневности мне представляются концепция "духа путешественности" Гревса, если не противоположная, то по крайней мере дополнительная по отношению к идее "духа

¹⁵⁵ Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 175—176.

¹⁵⁶ См.: Дубин Б.В. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б.В. Слово — письмо — литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 20-41.

472

473

Феномен прошлого

»117

71

**

**

места¹; и воспринятая от Достоевского идея мыслящего взгляда, способного "за внешней оболочкой презирать присутствие иного бытия" и "обретать в городской жизни лекарство от уединения"¹⁵⁸. Сюда же можно отнести и упоминавшуюся выше концепцию современности и города как ее воплощения, которую Анциферову удается сформулировать в полемике с господствующей идеологией современности. Это позволяет нащупывать стык опыта восприятия города и осознания истории, в котором удерживается познавательное напряжение и временное различие.

В ином смысле утопическая перспектива может быть обнаружена в сфере этико-политического и философско-исторического обоснования теории экскурсии. Воплощением ее являются даже не столько либеральные высказывания, которые явно выбиваются из цельности неоромантического дискурса теории экскурсии, сколько радикальный характер этических и мистических аргументов в обосновании памяти¹⁵⁹. Эсхатологическая и мистическая перспектива взрывают "неоромантический" дискурс теории экскурсий, обнажая его теоретическую и

¹⁵⁷ "Путешественность — погружение в природу и культуру при свободном и деятельном отношении с их объектами и необычайно интенсивная игра разнообразных психических сил и неповторимые формы их синтеза полнее культивируются только экскурсией, развертываются только ею" (Гревс И.М. Дальние гуманитарные экскурсии и их образовательный смысл. С. 15); ср. также: Гревс И.М. Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру // Экскурсии в современность. С. 13—19; Анциферов Н.П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. С. 25; Добкин А.И. Комментарии // Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 443. Понятие "дух путешественности", таким образом, определяет специфическое качество экскурсионного опыта, придающее последнему свежесть, яркость и полноту и позволяющее подвергнуть сомнению привычные способы восприятия и мышления. Будучи намеченным в дореволюционных работах Гревса, это понятие кристаллизовалось в 1920-е гг. Вместе с тем, как представляется, оно занимает все более маргинальное положение в рамках формирующегося неоромантического комплекса.

* См.: Анциферов Н.П. "Непостижимый город..." С. 216—217. Достоевский, с творчеством которого Анциферов связывает возрождение эстетического восприятия города, становится для него одним из важнейших предшественников экскурсионного подхода.

¹⁵⁹ Существенным представляется то, что эта линия аргументации связана с темой времени и в этом смысле противоположна разворачиваемой в связи с экскурсиями темой места и пространства.

474

Знание о прошлом в теории экскурсии

идеологическую гетерогенность, делают заметной природу организующей его литературности, отсылают к субъекту как источнику всей конструкции.

Введение такой утопической перспективы в процесс исследования позволяет не только удерживать многообразие возможных перспектив анализа теории как многопланового социального действия и оценки соотношения теории и опыта и аутентичности каждого из них. Оно позволяет уйти от навязчивости критической реконструкции и установить определенный ритм присвоения/различения в отношении теории, приблизиться к адекватной оценке, пониманию и степени ее рефлексивности и ее исторического своеобразия¹⁶⁰.

* Ср.: Серто М., де. Разновидности письма, разновидности истории // Логос. 2001. № 3. С. 7—18; Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. С. 365—390; Уваров П.Ю. Апокатастасис или основной инстинкт историка. С. 15-32.

475

Ф 42 **Феномен прошлого** [Текст] / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев ;

Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. — 476 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7598-0322-0 (в пер.).

Знание о прошлом в последние десятилетия является объектом активного обсуждения в самых разных аспектах — от проблем эпистемологии и национальной идентичности до школьного образования и "культурной памяти". Очевидно, что "прошлая реальность" является объектом не только исторической науки, но и других видов научного и вненаучного знания. Именно такой многомерный анализ представлений о прошлом впервые в исследовательской практике предлагается в монографии "Феномен

прошлого". Помимо теоретических статей представлены конкретные исследования образов прошлого, формируемых в рамках истории, историософии, идеологии, психоанализа, художественной литературы, кино, монументального искусства.

Для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов социально-гуманитарных специальностей.

УДК 930.1:316.7(06) ББК 63.3-7

Научное издание **Феномен прошлого**

Редактор *Н.И. Балашова* Художественный редактор *А.М. Павлов*

Корректор *Е.Е. Андреева* Компьютерная верстка *Ю.Н. Петрина*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.

Подписано в печать 30.09.2005 г. Бумага офсетная. Формат 60x88¹/₆.

Гарнитура Academy. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,09. Уч.-изд. л. 32,00.

Тираж 1000 экз. Заказ № 599. Изд. № 510

ГУ ВШЭ, 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Тел.: (095) 772-95-71 e-mail: id.hse@mail.ru

Отпечатано в ООО «МАКС Пресс». 105066, г. Москва, Елоховский пр., д. 3. стр. 2. Тел. 939-38-90, 939-38-91. Тел./факс 939-38-91.